ISSN 0012-6756

Дружба народов

1/2020

Дружба народов

1'2020

Независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал

Основан в марте 1939 года

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, д. 13, стр. 2,
журнал «Дружба народов»
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12

E-mail: dn52@mail.ru,
Сайт журнала:
http://дружбанародов.com

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.

Редакционная коллегия

Главный редактор Сергей НАДЕЕВ

Ольга БРЕЙНИНГЕР

Ирина ДОРОНИНА

Ответственный секретарь Елена ЖИРНОВА

Первый заместитель главного редактора Наталья ИГРУНОВА

Галина КЛИМОВА

Владимир МЕДВЕДЕВ

Заместитель главного редактора Александр СНЕГИРЁВ

Редакционный совет

Сухбат АФЛАТУНИ
Муса АХМАДОВ
Ольга БАЛЛА
Дмитрий БИРМАН
Денис ГУЦКО
Иван ДЗЮБА
Валентин КУРБАТОВ
Ольга ЛЕБЕДУШКИНА
Фарид НАГИМ
Илья ОДЕГОВ
Кнут СКУЕНИЕКС
Сергей ФИЛАТОВ
Ренат ХАРИС
Вячеслав ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.рф тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Сдано в набор 20.11.2019.
Подписано в печать 27.12.2019.
Формат бумаги 70 x 108 $^{1}/_{16}$
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 4712. Цена свободная.

16+

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Владимир САЛИМОН. Про «Каховку» и нечто такое. *Стихи* ***3***

Степан ГАВРИЛОВ. Рождённый проворным. *Повесть* ***8***

Марина КУДИМОВА. Реновация. *Стихи* ***82***

Павел КРУСАНОВ. Сдержанное путешествие по косте, сьерре и сельве. *Рассказ* ***86***

Елена ЛАПШИНА. Время слуха. *Стихи* ***119***

Елена ДОЛГОПЯТ. Урод. *Рассказ* ***121***

Герман КАНАБЕЕВ. Собиратель красоты. *Рассказы* ***134***

Анна МАРКИНА. На языке, на воздухе, на грани. *Стихи* ***154***

Сухбат АФЛАТУНИ. Мельхиты. *Рассказ* ***157***

Александр БАБИН. Распад. *Рассказ* ***166***

Адель ХАИРОВ. Такое весёлое кино. *Рассказ* ***176***

Владимир ТОРЧИЛИН. Лестница. *Рассказ* ***185***

Павел КОШЕЛЕВ. Стук и молния. *Рассказ* ***189***

ДРУЖБА НА ВЫРОСТ

Макс НЕВОЛОШИН. И три копейки на газировку. *Рассказ* ***192***

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

Андрей ГРИЦМАН. Москва, далее везде ***201***

ПУБЛИЦИСТИКА

Алексей БУРОВ, Геннадий ПРАШКЕВИЧ. О будущем и о смысле истории.
Два письма на одну тему ***204***

КРИТИКА

«Я читал тебя и думал, радуясь: вот сошлись, совпали...»
Из переписки Льва АННИНСКОГО и Игоря ДЕДКОВА (1973—1987).
Предисловие Натальи Игруновой ***212***

Слом иерархий: блогеры обживают реал. *Литературные итоги 2019 года*
Евгений АБДУЛЛАЕВ, Ирина БОГАТЫРЁВА, Ольга БРЕЙНИНГЕР,
Сергей ЛЕБЕДЕНКО, Илья ОДЕГОВ, Алексей ПОЛЯРИНОВ,
Валерия ПУСТОВАЯ, Алексей САЛОМАТИН ***252***

БИБЛИОНАВТИКА

Ольга БАЛЛА. Практика бессмертия. *(Б.Клетинич. «Мое частное бессмертие»)* ***266***

SUMMARY ***272***

© «Дружба народов», 2020

Владимир Салимон

Про «Каховку» и нечто такое

* * *

Ленинские горы называть
странно мне горами Воробьёвыми,
будто бы слепому прозревать
и сверкать глазами бирюзовыми

на друзей своих и на подруг,
вдруг заметив, что на башне каменной
стрелки описали жизни круг,
ландыш вырос на могиле маминой,

что лежит теперь в густом лесу,
а не на погосте тесном.
Голуби
прилетают пить туда росу,
словно воду чистую из проруби.

Прежде не любил я этих птиц,
но потом привык к ним окончательно,
принимая за больших синиц,
пропитанье ищущих старательно.

* * *

Я ждал прилёта птиц весной.
А что ещё от жизни ждать,
когда ты слабый и больной
на целый месяц слёг в кровать?

— Эй, женщина, открой окно,
скажи, не видно ли кого,
иль за окном темным-темно,
и никого, и ничего?

И вот она глядит в туман,
что ночью пал на стольный град,
что поглотил весь Тёплый стан,
Беляево, Коньково, МКАД,

глядит она в бинокль морской
на сухопутный наш район.

И вдруг — скворцы:
один, другой!
Кричат, летят со всех сторон!

Салимон Владимир Иванович — поэт, автор 25 книг стихов. Родился в 1952 году в Москве. Главный редактор журнала «Золотой век» (1991—2001). Лауреат премий журналов «Октябрь», «Арион», Европейской поэтической премии Римской академии (1995). Лауреат Новой Пушкинской премии (2012), премии «Венец» (2017) и др. Живет в Москве. Постоянный автор «Дружбы народов».

* * *

Кремлёвские стены,
зубчатые тени
от ёлок у стен крепостных,
где ленинцем юным и я на колени
вставал между тысяч других.

И я приносил в жертву мёртвому богу
бессмертную душу свою.
И я со страной умирал понемногу,
по капле в родимом краю.

Не знаю, как выжил я,
как не сломался,
как не оступился тогда,
как в бездну разверзшуюся не сорвался
с вершины сверкающей, словно звезда.

* * *

Буря на море,
морские сраженья,
рыбой и зверем на пристани торг —
маринистические измышленья
с детства меня приводили в восторг.

Климат умеренно континентальный,
но в отдаленье видны облака,
как корабли, те, что в гавани дальней
в кровь ободрали на рейде бока.

Эта иллюзия столь совершенна,
что отличить невозможно порой
всё вплоть — до качки,
до лёгкого крена.
Склянок на баке так явственен бой.

Столь достоверны матросские шутки.
Слышится, как караульный идёт.
Трели доносятся боцманской дудки.

Будто в Москве,
возле Красных ворот
в будке серебряной регулировщик,

словно соловушка в клетке свистит.
Катит тележку на сквер газировщик,
а лимонад и шипит, и шипит.

* * *

Только встав посередине
поля,
башенки Кремля
разглядишь в небесной сини,
жажду знаний утоля.

Есть ли Кремль на самом деле,
или это — только миф?
Мы стояли и смотрели,
широко глаза открыв.

Столь разнились наши взгляды,
что, не зная, как нам быть,
на картофельные гряды
мы присели покурить.

Кто-то вынул сигареты.
Я достал бутыль вина.
С виду мы — интеллигенты,
а по сути мы — шпана.

* * *

Широко расставив ноги,
шли по шпалам, по путям,
по просёлочной дороге
бабы утром в Божий храм.

Лесом. Полем. Диким лугом.
Невозможно не признать,
что взаправду русским духом
пахла эта благодать.

На дороге были лужи.
В лужах были — острова
небольшие части суши,
где с весны росла трава.

В зарослях её бескрайних,
когда смотришь сверху вниз,
видишь массу тропок тайных,
как за сценой средь кулис.

Иллюзорный, нереальный
существует там мирок,
в нём народец театральный:
хрущ, кобылка, мотылёк.

* * *

Овраг глубокий был водоразделом.
Как будто разорвали пополам
многометровый сросток глины с мелом
и под ноги его швырнули нам.

Расщелина с неровными краями
образовалась не сама собой,
её источник пробивал годами,
родник, как червь холодный и слепой.

Тут мужичок пахать заставил Змея,
когда они решили Русь делить.
Змей был наивней, чище, но глупее —
дал обмануть себя и погубить.

* * *

В Больших и Малых переулках
душа моя плутает ныне,
вздыхает о московских булках:
о сайках, бубликах в корзине.

Такая, право, ностальгия!
Но что поделать, коль пампушки
и калачи, и пироги я
любил в кондитерской на Пушке.

Любил морозец, но не крепкий —
не больше двадцати —
погоду
портвейную,
поскольку кепки
и шапки не носил я сроду.

* * *

Хорошо понимая, кому
на руку темнота больше всех,
я уверен, что сядет в тюрьму
не повинный ни в чем человек.

Я уверен, что вор и злодей
избежит наказанья,
хотя
вижу, как полноводный ручей
моет улицы после дождя.

Слышу, как он с подземной рекой
воедино сливаясь, журчит
на Пречистенке под мостовой
Чертороем средь каменных плит.

Черторой, чёртов зуб, чёртов клык,
словно зверь, непокорный Судьбе,
напролом, напрямки, напрямик
пробивает дорогу себе.

* * *

В осеннем свете — боковом неярком —
лучей последних отблески ловлю,
и жизнь моя мне кажется подарком,
поскольку я и верю, и люблю.

Я верю, что есть Бог, и Бога славлю,
что сбудутся надежды и мечты
я верю,
видя, как по разнотравью
ведут гнедых коней вдоль борозды.

Что мне рисунки в каменной пустыне,
когда над нами чертит самолет
такие знаки в поднебесной сини,
что их не всякий светлый ум поймёт!

Не это ли чудесные скрижали,
ниспосланные свыше нам с тобой,
рисунки, что дожди нарисовали,
а на реке — буксир с большой трубой?

Люблю следить за тем, как он неспешно,
бухтя себе под нос,
день ото дня
ход набирает, как поет утешно
его гудок, гремит его броня.

Люблю воображать себя матросом —
весёлым, сильным, смелым моряком,
пилотом в лётной куртке,
с красным носом,
что в холод душу греет коньяком.

Я жизнь люблю в трудах, заботах, битвах
в полях бескрайних и на площадях
в сраженьях за свободу,
и в молитвах
в уединенье тихом при свечах.

Степан Гаврилов

Рождённый проворным

Повесть

21 июня
10:03

Обычно я ей говорил: после того, как ты повесишь трубку, поставь песню Born Slippy лондонских электронщиков Underworld, слушай внимательно. На седьмой минуте, после слов про грязного обдолбанного мальчика-ангела и после фразы «сидя на корточках и писая в отверстие трубы на станции Тоттенхем Корт Роуд», там, где вокал Карла Хайда утихнет и начнется самое дикое техно на свете, я позвоню в твою дверь. Я говорил так и прятал мобилу в карман.

Потом закуривал и садился на велик, педали крутил почти не торопясь, приостанавливался ровно на середине пути, чтобы закурить вторую. И ровно в тот момент, когда в ее колонках звучало в последний раз: «She smiled at you bo-o-o-y», я звонил в домофон. Пока играл длинный проигрыш, почти полностью состоявший из электронной секвенции, я поднимал велосипед на площадку между первым и вторым этажом, оставлял его под почтовыми ящиками и мигом преодолевал еще несколько ступенек вверх. Она прыгала на меня, едва я успевал расшнуровывать кеды. Снять их она мне не давала, никак не разжимала свои бледные, гладкие, сильные ноги, обхватывающие меня почти смертельно чуть выше ремня.

Когда мне все-таки удавалось снять кеды — сначала левый об правый, потом правый об разутую левую ногу, песня Born Slippy — «Рождённый проворным» — уже утихала. Трахаться под саундтрек из фильма Trainspotting нам казалось неимоверной пошлостью: до сих пор уверен, что так оно и есть. Еще минут через десять в ней будто бы что-то взрывалось, будто бы все ее органы на долю секунды останавливались, а потом лопались от внутреннего напряжения, как в тех эффектных слоумоушн-съемках. Она задерживала этот всплеск невероятной силы в себе: мужественно, не издавая ни звука, будто бы терпя невыносимую боль, которую нельзя разделить ни с кем. Черные кудри ее вздрагивали и падали на глаза. Лицо моментально покрывалось неровными красными пятнами. Пятна ложились на шею и на грудь вплоть до сосков: как если бы ее кожа была бледным, полупрозрачным, замутненным оргстеклом, на которое изнутри попадали сгустки крови от разорвавшихся в мгновение органов.

Степан Гаврилов родился в г.Миассе Челябинской области в 1990 году. Работал строителем, разнорабочим, рекламным агентом, радиоведущим, библиотекарем, журналистом, редактором. В настоящее время живет в Челябинске и Санкт-Петербурге. Печатался в «Знамени» (роман «Опыты бесприютного неба», 2018). Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 10.

Потом она открывала глаза и роняла голову мне на грудь. Рождённая проворной, она спускалась ниже, чтобы потом оставить на моем животе длинный и влажный след.

Когда она шла в душ, я принимался рассматривать газетные и журнальные вырезки, накиданные на полу всегда как попало.

Так каждый день и повторялось. Мне кажется, что прошло не меньше года, хотя знакомы так близко мы были всего пару месяцев: начиная с горячего мая. Все было отрепетировано до мельчайших деталей: всегда я звонил ровно на тот момент, когда в колонках звучало: «She smiled at you bo-o-o-y» в последний раз, всегда след на моем животе оставался примерно одной консистенции и формы, никуда не девался беспорядок на полу — это ее брат-аутист, которого никто из нашей компании никогда не видел, каждый вечер делал новые вырезки и коллажи.

Так всегда и повторялось до мелочей, по кругу. Но только не сегодня. Сегодня песня доиграет до конца, но меня еще не будет.

На этом берегу

07:19

Бетонные стены завода по ту сторону леса совсем побелели, и мелкая паутина сырых трещин на них в этом свежем свете исчезла. Все казалось немного расфокусированным, как бы скользящим мимо своей плоти и тяжести. Повсюду завибрировало — кузнечики и, может быть, цикады. Еще не стояли в воздухе дымка и густота, которые лягут плотным грузом до середины следующей ночи совсем скоро, поэтому дышалось хорошо, легко. И курилось тоже здорово. Табак в папиросе казался Гере Хартбрейкеру, красавцу и здоровяку, особенно душистым.

Он остановил свой ржаво-баклажановый автомобиль марки «жигули двадцать один ноль пять» возле голой опушки с этой стороны леса, неподалеку от завода. Опушка полулежала на склоне холма. Гера, выйдя из тачки, тут же пошел осматривать решетку двигателя. Расчищая пальцами налипший к решетке горячий пластилин, состоящий из пыльцы трав, грязи, всякой другой био- и не очень био- массы серо-коричневого цвета, он искал кое-что другое. Он искал один цвет — васильковый.

Это все потому, что васильковые бабочки, в великом множестве вившиеся возле тонкого ручья, который Гера недавно пересекал вброд, завороженные собственным блаженством, никак не хотели понять, что на свете существуют еще и такие вещи, как, например, старые ржаво-баклажановые «жигули», что эти «жигули», будь они неладны, могут протаранить тебя, когда ты пребываешь на пике блаженства в своем пасторальном экстазе. И теперь Гера вычищал решетку двигателя, размазывая пахнущую мазутом, глиной и теплом субстанцию. Но ни одного василькового крылышка не оказалось.

— Фух! — прогудел Гера, выплюнул хибарик и весело принялся распутывать тугие жгуты, придерживающие здоровый, восьмидесяти, кажется, килограммовый бензиновый генератор, бережно погруженный в нутро багажника.

Багажник машины от размеров этой внушительной штуковины не закрывался и затруднял обзор назад, но Геру это не смущало — в дороге, если надо было, он отлично ориентировался по боковым зеркалам. Да и зачем вообще смотреть назад?

Тут Гера немного замер, припоминая, что при переезде через ручей он, пытаясь объехать порхающих бабочек, резко повернул руль и машину неслабо бахнуло днищем о валун. Но вспомнив, что ни одно живое существо от этого не пострадало, снова принялся за генератор.

Гере удалось поднять штуковину со второго раза. Мышцы его при этом напряглись до предела, жилы вытянулись так, что чуть не прорезали кожу. Жигули, освободившись от груза, хрустнули разогнувшимися рессорами, будто артрозными коленями, и

словно бы выдохнули. Без особого героизма пронеся генератор несколько шагов, Гера поставил его в центр поляны и смахнул ладонью слабую росу со старого глянца бензобака. Тут на зеленом корпусе генератора, там, где бак прячется за чернотой каркаса, он увидел нечто васильковое, совсем-совсем матовое.

— Хм-м... — простонал он задумчиво.

Гера аккуратно протянул здоровенную ладонь и аккуратно снял с зеленого глянца одно-единственное васильковое крылышко: со слабой, белого цвета зигзагообразной обводкой почти по самому краю.

Лицо Геры исказилось. Другой рукой он нащупал в кармане пачку беломора и, чуть прижав картон, так, чтобы пачка смялась и приоткрылась, бросил крылышко в пахнущую влажным табаком темноту.

Гера еще раз обследовал машину — теперь уже не только решетку. На фарах и дверях подтеки от разбившегося на холодные жемчужные брызги ручейка уже высыхали. Но крылышек не было. Порядок. И, тяжело выдохнув, Гера угрюмо принялся выгружать оставшийся багаж, заполнявший весь салон «жигулей двадцать один ноль пять». Там было:

две колонки по сто ватт, они будут отвечать сегодня за середину; масса проводов (Герин любимый — грязно-янтарный, с тонкими серебристыми прожилками внутри); микшерный пульт на 16 каналов (первый не работает, его залили ликером «Бейлиз»); лимитер аналоговый; пластиковые стаканчики на 0,25 мл — 15 штук; катушечный удлинитель питания на 220 вольт; небольшой деревянный ящик от противогазов, в котором, закутанный в тряпье, лежал винил (перечислять наименования нет времени, сказать можно лишь то, что было пластинок не меньше трех десятков, плюс еще штук десять миньонов); далее шла пятилитрушка с казахстанским коньяком, великолепным в своей мерзости пойлом, который называли не иначе как «стиратель» за его свойство напрочь вычищать содержимое кратковременной памяти; потом — барабан бонго (один побольше — мужской, а другой поменьше — женский).

Кстати, о женщинах — на полу завалялся мятый женский чулок.

Гера улыбнулся, вспоминая, как чулок попал к нему в автомобиль, даже будто разволновался и вытащил пачку папирос. Но вместо беломорины на ладонь ему упало васильковое крылышко. Гера, тут же погрустнев, отправил крыло обратно во мрак пачки.

Вскоре к жужжанию многочисленных насекомых, совсем разошедшихся к тому моменту, прибавился шум — тарахтели движки легковушек. Сначала слабо, то пропадая, то появляясь за холмами, потом ближе и ближе.

Из подъехавших авто повыскакивала вся мятая от такого раннего подъема бригада: Сеня Сантьяго — маленький, смуглый, кудрявый, главный организатор всего грядущего замеса; Антон Солнце — хайратый диск-жокей и барыга хорошими вещами; Дэн — сын майора ФСКН, маленький, похожий на Элайджа Вуда барабанщик; Малыш — бугай, проигрывающий в размерах только хартбрейкеру Гере; Дятел — наш личный панк; а также прочая братва, среди которой можно выделить разве что художника по имени Разведчик, который всегда круто танцевал, зажигая народ, да еще щуплого прыщавого упыря по имени Сгуха — его брали на тусычи только потому, что он барыжил вещами плохими, но, как думалось в то время, необходимыми для того, чтобы вечеринка прошла успешно.

У всех на лицах поигрывало не то детское, не то азартное что-то. И по этому играющему чему-то читалась всеобщая готовность встретить сегодня Солнцестояние должным образом, то есть на ура.

Распив бутылку паленого вискаря, который притащил Малыш, и тут же схлопотав не столько свежее опьянение, сколько мгновенное похмелье, банда довытаскивала из машин прочий аппарат и акустику, а затем дружно принялась коммутировать и заводить всю эту машинерию... Каждая вещь была на своем месте.

Вроде бы.

10:06

Я увидел его сутулую фигуру еще издалека. Если бы движение в нашем городе было организовано по-другому, если бы было больше пространства для маневра, ну и если я бы был более артистичным человеком, если бы мог искусно и без стеснения изображать сложный комплекс чувств и эмоций, например: «Ух ты, да я ж забыл выключить утюг!», то я бы смог резко развернуться и уехать.

Но тогда не было бы всей этой истории. А она должна была случиться.

08:50

— Дети мои! Всё во спасение, всё во спасение! Это я вам как сын священника говорю! И неисповедимы пути Господни... Но ведь это ж надо было так! Один единственный бензонасос у этого пылесоса, сосущего энергию из космических глубин, и тот — пропал! Где, я спрашиваю? — кричал Сеня Сантьяго. — Суета суёт, я больше не могу!

— Су-ет, — тихо поправил его Солнце.

— Что?

— «Суета сует», по идее. Это из Екклесиаста.

— Антошенька, поверь, в данный момент она действительно су-ёт.

Остальная братва тихо курила. Закурить потянулся вместе со всеми и Гера. Привычно вытряхнув папиросу на ладонь, он отвлекся от созерцания небесного эфира и посмотрел туда, где папироса задела пальцы, а рядом с ней еще что-то коснулось ладони.

— Г! — гыкнул он.

Народ дружно посмотрел на Хартбрейкера. Тот сжимал пальцами какой-то лоскуток и старательно показывал его друзьям.

— Г! — повторил Гера.

Сантьяго ненадолго замер, присматриваясь, а потом в отчаянии мотнул кудрями.

— Гера, дорогой! — крикнул он. — Еще ты тут. Че это?

Сантьяго бросил окурок и в два шага преодолел поляну.

— Крыло какое-то. Бабочки что ли? — щурясь, простонал Сеня.

Народ стал подходить к Гере, разглядывая матовое, васильковое крылышко с тонким зигзагообразным кантиком почти по самому краю.

— Люблю я тебя, дорогой мой, но нас это не спасет. Ты, кстати, зачем скотинку замучил?

Гера нахмурился, а потом громко прогудел, показывая на машину:

— Жах!

Сантьяго понимающе кивнул:

— Да уж понимаю, мы тоже чуть не встали в том ручье, когда сюда ехали.

Он развернулся к народу и чуть ли не вскинул руки:

— Так, братва, у кого есть в гараже какие-нибудь детали, какие-нибудь старые запчасти и прочие артефакты?

Народ задумчиво зачесал подбородки.

— Жа-ах! — еще громче крикнул Гера.

— Гера, я люблю тебя, люблю гетеросексуально, как брат любит брата, как друг — друга, как солдат — солдата, как спартанец — спартанца... Хотя нет, это плохая аналогия. Короче, люблю я тебя и понимаю, но тебе надо поработать над своим вокабулятором... Вокабулярием. Я понял, понял, что ты имеешь в виду. Твой авто на полной скорости протаранил невинную оргию бабочек, и одна из них теперь лишена конечности. Но если бы это была единственная проблема в мире, то мы были бы счастливы. А тут — волнения в братской славянской республике; грядущий конец

света, согласно календарю майя; анархистов вон без суда и следствия сажают; радикальные феминистки становятся все более радикальными и популярными; вдобавок, и это самое печальное, — отсутствующий бензонасос на нашем генераторе.

И Сантьяго присел на корточки, нахмурился и опять принялся разглядывать генератор. За массивным баком, примерно там, где Гера недавно нашел крылышко, торчали две промасленные трубки. Некогда их соединял маленький, мускулистый механизм — бензонасос. Сантьяго смотрел на это добро сосредоточенно, со знанием дела, хотя о существовании этой детали, да и самого слова «бензонасос» он узнал всего несколько минут назад, когда братва безуспешно пыталась запустить динамо. И хоть Сеня владел этой машиной год, обо всей ее хитрой механике он столь точных представлений не имел. Он вообще не углублялся в детали, пока они не терялись или не вылетали из рук, как последние джойнты, подхваченные ветром.

Сантьяго погладил бак генератора, на котором под государственным знаком качества «Сделано в СССР» красовалась надпись «ЗУ-2», и почти шепотом проговорил:

— Нет какого-то сраного маленького бензонасоса, а что это значит? Это значит, что празднику Солнцестояния не состояться. Празднику, к которому мы, братва, столько готовились. Это значит не прозвучит сегодня священное техно во имя матушки-земли, и тогда... Да и фиг бы с ним, с техно, но ведь я тогда не...

Но он не успел договорить. Кусты на краю поляны раздвинулись, и к бригаде шагнул высокий, худой, как узбекский дутар, человек. В руках он держал огромную связку кислицы, пучок поменьше выглядывал из кармана его жилетки, а один стебелек торчал в его белых, больших и ровных, как клавиши пианино, зубах. И улыбался этот человек так, будто бы иного выражения лица не предусмотрено строением его необыкновенного черепа.

10:07

Но вот прошло чуть больше часа, и этоь человек уже стоял передо мной посреди городского проспекта, пожевывая свою кислицу и, как всегда, улыбаясь. Зовут его Нат. Месяц назад возле дверей клуба, после того как мы оттащили наевшегося транквилизаторов Малыша в тачку, он... Да что там, он точно так же стоял и улыбался, потому что Нат никогда не умел делать по-другому. Даже несмотря на то, что иногда причин улыбаться не было совсем.

Я спросил у него: «Как дела?» — и закурил. Мы не виделись с того самого вечера. Мне бы побыстрее узнать, как у него там эти дела, и двигать туда, где меня уже шесть минут как ждут.

— Будешь кислицу? — спросил он в ответ и протянул мне несколько влажных стебельков.

09:45

— У него не получится. Он же святой, как мой отец, — отпив из канистры коньяка, прокряхтел Сантьяго, а потом сразу поперхнулся, поняв двусмысленность сказанного.

Он заметался по поляне, кого-то выискивая, и, таки отыскав могучую фигуру за сосной неподалеку, громко проорал:

— По коням!

Гера послушно вылез из-за сосны, на ходу застегивая ширинку.

Антон Солнце тем временем раскладывал свой винил по боксам, устанавливал на небольшой столик вертаки и, тихо улыбаясь, поглядывал на тонкий плед, расстеленный на траве. На пледе неизвестный художник изобразил каноничный сюжет — искушение Будды. Тихо медитирующий Гаутама был на самом краю

Просветления и потому не открывал глаза и не поглядывал на все то, что творилось вокруг него. Не смотрел он даже на соблазнительных дев, дочерей кровожадного демона Мара.

Гера, тоже поглядев на эту картину, подумал о чем-то своем и завел «жигули», Сантьяго тут же плюхнулся в пассажирское, но, что-то вспомнив, выбежал на поляну, захватил канистру со стирателем и, вернувшись в машину, махнул рулевому.

10:16

Представьте себе около сотни людей всех возрастов, занятий и полов, собравшихся ночью в лесу. Представьте много неона и светодиодов. Их молодое мясо, источающее терпкий мускус, исчезает и появляется во вспышках стробоскопов. Музыка — преимущественно техно, в перерывах — классика психоделики 60-х проходит сквозь тела, разбивается о сосны в лесу, тонет в ночи. Все-все это, слившееся в единый организм или, лучше сказать, в машину, гремит, играет, разговаривает, смеется, вдыхает и выдыхает дым, потом искрит или, напротив, ловит бэд, а после, на рассвете, срывается в панельные дома, где до полудня эякулирует, пока наконец не валится от усталости и похмелья в объятия друг друга. Мускуса не слышно в еловом лесу, наполненном другими запахами — запахами природной плаценты, запахами протоплазмы, терпким или сладким дымом.

Все это превращается в единую машину ночи, но только при одном условии: если работает ее сердце — мощный армейский генератор «ЗУ-2». Если нет — то ничего и нет. Что же может жить без сердца?

— У них же на протяжении трех лет этот генератор исправно робил, в чем же причина? — Я курил уже третью, не в силах остановиться.

Нат улыбнулся еще шире, тихо помолчал и ответил:

— Сущая мелочь. Ее нужно отыскать.

Произнес он это так, словно «сущая мелочь» — это секрет, открывающий путь ко спасению. Впрочем, так отчасти и было.

— Ну ладно, — ответил я, докуривая, — удачи в поисках.

А сам нажал на педаль велика и медленно покатился. Там, в квартире на Олимпийской, уже доиграл до конца великий трек Born Sleepy.

— Вообще-то... — услышал я сквозь шелест колес, — я за тобой. Нам без тебя не справиться.

Это еще почему? Все в городе знают, что другого такого рукожопого человека, как я, не найти. И такого же равнодушного к технике во всем ее многообразном виде. Из всего, что имеет греческий корень «техно», я люблю, собственно говоря, только само техно. А в последнее время, так только тот момент, когда оно, это техно, затихает.

— Дядюшка Коршун, — сказал Нат, чуть покашляв.

Но я еще раз нажал на педаль. Конец связи! Даже слышать не хочу об этом. Еще чего придумали. Дядюшка Коршун!

Впереди — долгий летний день, пропахший потом и другими жидкостями. Грязный обдолбанный мальчик-ангел, дёти намб энжел бой.

10:17

Давно замечено, что в самом начале лета трагедии куда больше, чем, например, во время золотой осени, когда деревья грустно скидывают свою листву и все такое прочее. Там не то чтобы тоска увядания, там ты уже смирился с неизбежностью и просто спокойно себе катишься в зиму. А вот в начале лета листва и тепло вызывают недоумение и чувство неловкости, будто бы ты этого не заслужил. Ты еще совсем

не освоился и ходишь в лете как по чужой незнакомой квартире, в которой проснулся одним утром с похмелья. А лето ведь не квартира, оно не ждет — и катится, и уходит с каждой минутой.

Вот так я и использую свои летние дни — не действую. Я трачу время на любовь и ожидание любви. На персональные техно-хиты и короткие поездки на велике, на сумерки, на разную другую ерунду. Но даже этим мне не дают заняться, как будто это роскошь несусветная, доставшаяся мне несправедливо и не по праву. Мой единственный выход — безропотно просрать это лето, как и почти с десяток других за спиной и бог весть сколько впереди.

Короче, дальше все было довольно предсказуемо в общей логике событий, но весьма неожиданно для меня в тот момент. Только я прощаюсь с Натом, нажимаю на педаль и весело качусь по разбитому асфальту с влажными темными прожилками трещин туда, где меня ждет маленькая женщина с черными кудрями и сильными бледными ногами, только я успеваю выдохнуть и расслабиться, как путь мне преграждает ржаво-баклажановый автомобиль марки «жигули двадцать один ноль пять». За рулем, пыхая папиросой «Беломор», улыбается красавец и здоровяк, хартбрейкер Гера.

Черной молнией устремляется ко мне с пассажирского Сеня Сантьяго. Пока он произносит все ниженаписанное, я с велосипедом еще не успеваю потерять равновесие и завалиться направо или налево. Итак, Сантьяго тараторит:

— Стоп, стоп, стоп! День велосипеда закончился, слезаем. Далее по планам — пересадка на транспорт посерьезнее. Ты нам нужен, как нужен всему человечеству! Как в фильме!

— В каком таком фильме?

— Допустим, про Годзиллу.

Гера в этот момент нажимает пару раз на гашетку. Машинка, стоя на месте, довольно урчит.

— Пока ты едешь навстречу приключениям, у кого-то приключения обламываются, — продолжает Сантьяго. — Мы говорим о непереносимости запланированного. Незапланированности переноса. Так невозможно терпеть голод, а прежде всего — голод плоти. Так невозможно отрицать очевидное: самый длинный в году день и самую короткую ночь.

Наконец я потерял равновесие и коснулся правой ногой асфальта. Что-то подсказало мне: «Это проигрыш».

— Есть законы, которые можно обойти: римское право, армейская обязанность, законы термодинамики, да-да, закон отсутствия закона, разные другие глупости про бутерброды маслом вниз. Есть законы, которые лучше не обходить: закон компенсации кайфа, например. А есть законы, которые невозможно обойти. Закон отсутствия бензонасоса. Слышал о таком?

Мой велосипед плавно взмыл в воздух. Он проплыл сквозь древний дым папиросы и отправился в багажник «жигуля». Из сизовато-желтого облака улыбнулся Гера.

— Я знал, что он, — Сантьяго замахал в сторону Ната, — не справится, поэтому я здесь. Ты нужен нам как никто. Без тебя не будет летнего Солнцестояния. И черт бы побрал все эти коловороты и неославянство! Я, как достойный представитель восточного народа, вертел эти коловороты на своем жилистом, мосластом, черном...

— Сантьяго, дорогой, — умоляюще проскулил я, доставая велик из нутра багажника. — Ничем не могу помочь.

— Мы сами себе не можем помочь. Нам уже никто не поможет.

— Вот тем более. Где вы его посеяли, этот бензонасос? — спросил я в достойном отчаянии.

— Гера?

— Ф, — махнул Гера куда-то в сторону гор.

— Вон там и ищите.

Гера одной рукой, легко и непринужденно, но безумно крепко сжал мой велик ровно посередине руля. Бросив попытки освободить своего коня, я кинулся к багажнику и начал там рыться:

— В багажнике! Бензонасос улетел в багажник, надо поискать.

Но внутри я обнаружил только женский чулок, канистру масла, водный бульбулятор весь в саже, рассыпанные зубочистки, наклейки с Power Rangers. Неуловимый запах бензина свидетельствовал о недавнем наличии внутри багажника бензогенератора.

Достойное отчаяние закончилось. Я посмотрел на Сантьяго. Он улыбнулся как тот, кто вдруг почуял свою власть:

— Мы только туда и обратно. Едем до Печек, потом забросим тебя вот прям сюда же. Слово мастера кунг-фу.

Я промолчал.

— О'кей, слово сына священника! — Сантьяго поднял руки к небу.

— Да я вряд ли помогу, хлопцы, — ответил я и кинулся к велосипеду.

Гера схватил руль.

— Можно я своим ходом? — спросил я на всякий случай.

— Извольте вас подвезти все же? — с неподдельной вежливостью спросил Сантьяго и встряхнул кудрями в изысканном реверансе.

Он распахнул ржаво-баклажановую дверь с грязными подтеками внизу. Я уже хотел сделать шаг к машине, но тут за моей спиной дверьми клацнул рыже-зеленый троллейбус. Я сделал сначала шаг назад, затем два шага назад, потом развернулся, прыгнул и оказался в брюхе троллейбуса. Тот, лениво толкаясь, снова клацнул дверьми. Теперь уже прямо перед носом Геры, Ната и Сантьяго. Съели?

Выдыхая, я отдал за проезд кондукторше. Тут яростная вибрация разорвала мое спокойствие. Спокойно, всего лишь телефон. Она. Born Sleepy доиграла до конца. Впервые.

— Я уже подъезжаю. Сегодня на троллейбусе. Велосипед... Сломался, в общем, велосипед.

— Не ст*о*ит. Мне только что звонил Сеня Сантьяго. Он сегодня устраивает Солнцестояние. У меня нет шмоток. Я отправляюсь в магазин, заодно и братика заберу из интерната. Увидимся вечером.

Сначала тишина повисла в трубке, потом — в троллейбусе. Он встал на остановке и зловеще клацнул дверьми.

На остановке Сантьяго, опершись на кузов жигулей, с папирой во рту, в своих черных кудрях смотрелся латиносом-гэнгстой, который прекратил убивать, потому что ударился в религию и в этой своей религиозности стал не менее яростным. Сложа руки на груди, он поглядывал, как я с позором вытекаю из троллейбуса.

— Любой, кто помогает семье, делает это по своей воле. С чистым сердцем. Это золотое правило. Именно поэтому семья никогда не забывает своего благодетеля.

Я выкинул кулак, чтобы ударить Сантьяго в худосочный живот, но затормозил ровно за сантиметр от его солнечного сплетения. Согнувшись в рефлексе, он уронил папиросу на асфальт.

— Я бы и сам ушел. Но еще не время, — пожевывая оставшийся стебелек кислицы, мягко сказал мне Нат, когда я недовольно уселся на заднее сиденье.

— Как понимать, не время? — отпив стирателя, повернулся к нему с переднего пассажирского Сантьяго.

— Вот прям чую, что ничем хорошим это не закончится, — сердито ответил я и не менее сердито хлопнул ржаво-баклажановой дверью.

10:45

Всю дорогу Сантьяго хлестал из пятилитровой пластиковой бутылки стиратель. Заедал он его огромным лимоном, который хранился в пыльном бардачке «жигулей». От нечего делать и я пару раз приложился к пятилитрушке.

Мы проехали весь город и покатились по ровной лесной дороге. Сразу за лесом лежала деревня Печки, а неподалеку от Печек текла река, за которой и жил мой дядюшка, прозванный пацанами дядюшкой Коршуном. Именно так его за глаза и называли — дядюшка Коршун.

Мой дядюшка не был бы собой, если бы не поселился весьма оригинально — в отдалении от деревеньки, а именно — за речкой Ильменкой, в небольшом домике. Добраться до домика — дело нетрудное. Встал на навесной хлипкий мостик, три минуты страха, и ты на месте. Вот только мост по весне то и дело смывало. Был и другой вариант: дать доброго крюка и, переехав Ильменку по дамбе в десятке километров от Печек, прошагать еще дюжину верст по лесу. Так уж вышло, что я не любитель путешествий и приключений, потому с дядюшкой виделись мы нечасто.

Самого же его трудности — такие как, например, отсутствие моста — не страшили ничуть. Ходили слухи, что дамам дядюшки ну очень нравилась вся эта романтика, и дамы ходили — или, может, плавали брассом? — к дядюшке в великом множестве. Он всегда был охоч до женщин, и с самого детства я пускал слюни на его спутниц, с которыми он изредка заходил к нам в гости.

В целом дядюшка был хорошим, толковым мужиком, но с таким сложным и тяжелым характером, будто бы его, этот характер, отмачивали в солярке. Прошлым летом мы тоже ездили к нему, отвозили на починку диффузоры от колонок. Я согласился этим обалдуям помочь, и дядя все сделал как надо, даже денег с парней не взял. Все могло бы закончиться хорошо, я уже стоял на пороге, мечтая о том, как сейчас пойду и потусуюсь с братвой, но дядя оставил меня и заставил наводить в гараже порядок. Видя, что я быстро управился, дядюшка устроил мне марш-бросок до южной части города, а потом заставил отжиматься и подтягиваться на скорость. И это в то время, пока эти уроды спокойно себе отплясывали под гоа-транс в еловом лесу, попивая стиратель и покуривая марихуану. Вот поэтому ехать я и не хотел, ведь спорт, как, впрочем, и уборку в гараже, я с тех пор не полюбил, да и планы у меня сегодня были совершенно другие.

Я, конечно, любил своего дядюшку, любил с детства, но никогда — по принуждению.

Вообще он принадлежал к особой породе людей, которые прошли через все мыслимые и немыслимые домны ада, но вернулись почти полностью живыми и, во всяком случае внешне, — невредимыми. Все у них было на местах, согласно номенклатуре, сообразно анатомическому атласу, но вот нервы, нервы порой сдавали. Выражал дядюшка свое негодование исключительно на вербальном уровне. Это был тот мастер боевых искусств, который никогда не применяет силу. Подозреваю, что такой навык был дан ему как награда за все мучения. За его спиной была десятилетняя служба на подлодке, какие-то контрактные военные дела в Африке и, конечно же, Первая чеченская. После всего этого дядюшка не потух, блеск его светло-голубых, нет — лазоревых! — глаз стал еще ярче, чем в молодости.

Давно, будучи подростком, я пошел работать к нему на завод. Он там был бригадиром. Завод занимался переработкой вторичного металла. Красивый и даже немного поэтичный термин «вторичный металл» подразумевал, что разного рода фонящие гамма-лучами гнилые железяки привозили сюда со всего бывшего Союза, а мы с бригадой в этом говне радостно копались за 30 рублей в час. Вагоны грязных микросхем, фуры внутренностей межконтинентальных ракет, подводные лодки, списанные допотопные компьютеры, оргтехника и даже кинопленка — все это

разбиралось, раскурочивалось, пускалось в жернова огромной молотильни и перемалывалось в разномастную крупу, которую потом увозили на переработку.

Высушенный, как суджук, одна сплошная жила — подвижный, с чуть жадным взглядом своих лазоревых глаз, расположенных по разные стороны длинного крючковатого носа, он действительно напоминал какую-то хищную птицу. Почему-то мы решили, что коршуна. Ясно было одно — коршун этот не из тех, что гордо реет над долиной, поджидая какого-нибудь жалкого суслика, а — понюхавший пороху, но не потерявший своего истинного достоинства старый коршун, который, только дождавшись смерти буйвола, неспешно спускается ему на лоб и метким движением клюва выбивает животному еще горячий, сладкий глаз.

Так что — да, я люблю своего дядюшку, однако вся эта затея казалась мне чрезвычайно несвоевременной и тупой. Утром я ехал туда, где лилось молоко и мед, а теперь меня ждут пыль гаража и запах мазута вперемешку с запахом собственного пота.

После указателя на Печки Гера свернул. Тут надо бы описать пейзаж. Ну там, как красив, таинственен и прекрасен уральский лес смешанного типа, когда он лежит у подножий гор и холмов, как он манит заглянуть в него, пройтись по его свежим тропам и так далее, как здорово собрать лукошко грибов или ягод или — просто остановиться на опушке и пописать на ближайшую березу. Как мироточивы сосны, как лес в июне благоухает своей свежестью и молодостью, хотя он такой древний, о да, такой древний и могучий... Но фигово мне даются пейзажи. Поэтому я переключусь внутрь машины и расскажу о пассажирах, тем более о них уже кое-что известно.

За рулем Гера, которого иногда называют Хартбрейкер. Здоровый мужик, реально здоровый, с небольшой бородой и густыми, темными волосами чуть ниже плеч. Как стало понятно из вышеизложенного, Гера не особенно любит поговорить. Он вообще обладает свойством полнейшей незаметности, это несмотря на свои размеры. Тишайший человек, во всех смыслах. Однако ж поговаривают, что один раз Гера чуть не навалял Сантьяго. За что — неизвестно, история умалчивает. Но кто из нас не хотел бы навалять Сантьяго? Короче, Гера — славный малый.

Сантьяго. Руководитель драм-н-бейс и дип-техно картелей, местный капореджиме электроклана, спекулянт, провокатор, антрепренер, фармазонщик. В девятнадцатом веке Сантьяго владел бы цирком уродов, бил бы кнутом карликов и бородатых женщин, нещадно бы их эксплуатировал и еще более нещадно пил. Но теперь другие времена, и в моде электронная музыка, а не уроды, женщины же повсеместно бреются. Несмотря на собственные сомнительные моральные качества, Сантьяго имел безупречный вкус на людей, и поэтому на его вечеринках всегда было все по-доброму. Делал исключение он только для стремного барыги, который фасовал плохие вещи, это я про Сгуху. Но тут Сеня молодец — выбрал меньшее из зол. Сантьяго умел искать компромиссы, даже в самых щепетильных делах, при этом все-таки иногда беспощадно бесил (см. историю с Герой). На что жил Сантьяго, было никому не известно. Он говорил, что не работает из религиозных побуждений, потому что «Аллах не велел». При этом его отец был пастором протестантского прихода. Но противоречий здесь не было, просто примите это как данность.

Нат. У Ната был абсолютный слух, он умел играть на всех инструментах, и это притом, что из музыкальной школы его выгнали почти сразу же. Произошло это после того, как ночью он вскрыл окно музыкалки и вытащил оттуда геликон. Пропажу, помнится, обнаружили на утро, но следов Ната не нашли. Он мог бы и не спалиться, если бы не поддался соблазну и не играл бы на этом геликоне утром, днем, вечером и даже по ночам. Ну на что он рассчитывал? Конечно, его быстренько схватили. Из милиции добрая директриса музыкалки заявление забрала, потому что знала: украл он дудку не для продажи, а для себя. Нат как бы баловался, играя на всех этих гитарах и гуслях, волынках, сопелках, всяких там джембе и диджериду, вотерфонах, удах и

кастаньетах. От него были без ума многие женщины, но он, в отличие от Хартбрейкера Геры, как будто бы ими не интересовался, предпочитая уделять внимание чтению художественной литературы, просмотру итальянского неореализма и, конечно, музыке. Со всеми этими невероятными свойствами он так и не нашел себе женщину. Кроме одной. Но однажды и это закончилось... Однако я отвлекся от темы.

Ну, обо мне, последнем пассажире, и говорить нечего. Если я и обладаю какими-то выразительными качествами или достоинствами, то все они целиком и полностью перекрываются недостатками: прежде всего воли. Ленив и спокоен, воодушевлен в меру, тусовки люблю тоже в меру (в последнее время не люблю совсем).

Вот и закончился лесной пейзаж за окном, а вместе с ним — пассажиры старенького ржаво-баклажанового «жигуля ноль пять», который мчался по полю к реке, чтобы найти на том берегу потерявшийся бензонасос от бензогенератора.

Всю надежду возлагали на моего любимого дядюшку.

11:15

Сказать, что мы обрадовались — ничего не сказать. Ильменка радостно плескалась прямо перед нами. Я даже видел карасей и ротанов, которые играли в ее водах. Дом дядюшки Коршуна поглядывал на нас прямо из-за небольшого холма на том берегу. Это совсем близко, так что радости нашей не было предела. Ее несколько омрачало одно лишь почти незначительное обстоятельство — отсутствие какого бы то ни было моста или иной переправы. Мост, собственно говоря...

— ...смыло, — прохрипел дюжий рыжий человек с мясистыми губами и россыпью веснушек по лицу размером с ведро. Такая смелая аналогия пришла на ум мне не случайно, ведь как раз в ведро, которое стояло у этого человека под ногами, он складывал ротанов. Рыбу одну за другой он тянул своим китайским спиннингом из воды. Нерест у ротанов, что ли?

Сантьяго посмотрел на быстрину перед нами, на большеротых рыбин и для чего-то уточнил:

— Что, совсем?

— Что «совсем»?

— Смыло совсем?

Рыбак хрипло усмехнулся:

— Так точно. К бебеням.

Вместо прежнего висячего моста из берегов на нашей и на противоположной стороне в небо тянулись только ржавые рельсы: две здесь и две там — бывшие пилоны переправы. Множество стальных тросов, некогда державших доски, теперь были оборваны и грустно опущены в воду. И только один-единственный трос связывал два берега. Да и тот беспечно телепался, по большей части в воде, вторя многочисленным водорослям Ильменки.

— И чего, друже, как нам быть? — крикнул рыбаку весьма уже пьяный Сантьяго. После этого он откусил лимон и, подбросив его над головой, попытался пнуть фрукт, пока тот падал. Не получилось. Лимон брякнулся на траву, а Сантьяго чуть не потерял равновесие.

— У тебя чего в канистре? — осведомился рыбак.

— Дары Казахстана, — улыбнулся Сантьяго и протянул пятилитруху рыжему.

Тот открыл огромный рот и влил в него по меньшей мере одну пятую канистры.

— Так-то оно получше, — выдохнул рыбак, а затем снова закинул удочку, шумно выдыхая воздух.

Сантьяго все это время в нетерпении крутился, играя худосочными желваками. Но рыжий его не замечал, он полностью ушел в личную рыболовную нирвану — его сознание стало одним большим поплавком на фоне гипнотических водорослей под

водой. Тогда Сантьяго отыскал падший лимон, зацепил его краем носка, эффектно подпнул и резким ударом ноги отправил в воду, аккурат рядом с поплавком рыжего.

— Вы кто? — вдруг отмер рыбак.

— Мы из налоговой, — ответил Сантьяго.

— К офицеру, что ли? — рыбак указал подбородком на тот берег.

— К нему, родимому.

— Не платит, что ли?

— Чего не платит? — нахмурился Сантьяго.

— Ну налоги. Не платит, что ли?

— Это конфиденциальная информация.

Рыбак пошевелил челюстью и нахмурился.

— Цимес в том, — буркнул он вдруг, — что есть плотская флотилия.

— У нас у самих плотских дел хоть отбавляй, земеля. Нам на тот берег, только и всего. Отблагодарим!

Рыжий покрутил глазами, потом резким движением стелескопировал спиннинг обратно, подхватил снасти и отправился к машине. Он тяжело сел на переднее пассажирское, предварительно поставив себе между ног ведро с уловом.

— Зжай! — прохрипел он Гере.

Сантьяго только успел прыгнуть на наше заднее сиденье, и «жигули», развернувшись, поехали в сторону деревни Печки.

— И называть меня Боцман! Рыбак — это дед твой. Я — Боцман. И вообще, я не понял — вы кто?

Дальше события развивались стремительно и на редкость для уголка, удаленного от кипящего делами города, слаженно. Мы остановились возле чуть покосившегося домика почти на краю улицы. Боцман выпрыгнул из машины, зашел во двор и через минуту отворил изнутри ворота пустого гаража. Откуда-то из мрака он стал вытаскивать огромные блоки, полностью сделанные из пятилитровых бутылок — точь-в-точь как из-под стирателя.

Пока мы укладывали панели на крышу автомобиля, пока приматывали их веревками, из дому тихо выбежали маленькие мальчик и девочка — рыжие и веснушчатые, видимо, в папу. Они уставились на всю эту возню, внимательно изучили нас и, прежде всего Ната, а потом юркнули между бутылок и достали с пассажирского ведро с ротанами. У ворот они снова посмотрели на всю заваруху и снова — особенно пристально — на Ната. Тот потянулся в карман жилетки, что-то там нащупал, поймал любопытные взгляды детей, присел на корточки и поманил детвору к себе. Когда дети приблизились, он открыл ладонь и протянул девочке небольшую керамическую свинюшку. Девочка недоуменно посмотрела на предмет, тогда Нат прикоснулся губами к гузке фигурки и попеременно закрывая пальцем то левую, то правую ноздрю свинюшки, высвистел тихую, шуршащую мелодию. Девочка засияла, схватила подарок и шмыгнула в дом, за ней погнался брат.

На обратном пути Боцман нашел в своем плаще аудиокассету и засунул ее в проигрыватель. Заиграло что-то из 80-х, кажется — Careless Whisper Джорджа Майкла. Слушая вкрадчивый, чувственный саксофонный проигрыш, я вдруг вспомнил, что дядюшка Коршун научил меня одной важной вещи, он научил меня одной фразе, даже заклинанию. Это заклинание он применял каждый раз, когда понимал, что количество прикладываемого усилия никак не соответствует результату. Эта фраза — приговор. Под этим грифом любая вещь или схема делаются бесполезными настолько, что не достойны больше никакого осмысления. Теперь каждый раз, когда меня посещает неловкая догадка о несуразности всего происходящего, ну, например, когда я еду под Джорджа Майкла по проселочной дороге на машине, груженной самодельным плотом, мне является мой личный супергерой — дядюшка Коршун. Он цедит сквозь зубы свое любимое: «Суходрочь левой рукой». Это почти метафизический термин,

закрепляющий за вещью ее полную и абсолютную ненужность, онтологическую неукорененность. И вот что-то такое мне сейчас мерещилось... Что-то такое крутилось на языке...

Мы остановились возле берега.

— Кассету пока высуни. Это дядьев моих, — рыкнул Боцман и стал выбираться.

Вот, не один я люблю своего дядю.

Боцман зашевелился, отцепляя бутылки с багажника. Через несколько минут перед нами стоял настоящий плот, собранный исключительно из пластиковых пятилитрух. Чудеса.

— Ну что, поехали? — спросил Сантьяго.

— Отдать швартовы, — прохрипел Боцман, взвалил на себя конструкцию и побрел к воде.

11:35

— Эй, Боцман! — крикнул ему вслед Сантьяго. — Ты как вообще, умеешь управлять этим своим судном-то? Ты на нем плавал?

— Ходил, — буркнул себе под нос Боцман.

— Куда ты там ходил?

— Боцманы не плавают, а ходят. Я — Боцман.

Я снова посмотрел на здоровенный плот, собранный исключительно из пятилитрух. Боцман тащил его к воде, иногда справляясь с инерцией собственного весьма нетрезвого тела. Гера задумчиво чесал бороду, Нат, как обычно, любовался природой, а Сантьяго горел от нетерпения, поэтому семенил за Боцманом.

Я перерезал путь Сантьяго и, приблизившись к нему вплотную, сказал:

— Сеня, мы так не договаривались.

Он остановился.

— Я на этом говне не поплыву. Это фарш, это ж какие-то психоделические очумелые ручки. Давайте найдем кого-то с нормальной лодкой.

Боцман тем временем дотащил плот к самому краю воды.

— Дорогой мой, мы только туда и обратно. Как хоббиты, — добродушно ответил Сантьяго, махнув в сторону домика дядюшки Коршуна.

— Сантьяго, ты головой уронился? Это же груда мусора. Ты смотри, какое течение! Рыжий этот сегодня скормит нас своим ротанам.

Сантьяго посмотрел в сторону Ильменки так, как смотрят на какое-нибудь досадное недоразумение, вроде разлитого на пол пива.

— Да перестань. Нас ждет столько народу! Всем хочется музыки. Всем.

— Да мне плевать.

— Столько людей хотят солнцестояния, ты издеваешься?!

— Да мне срать просто.

— Совсем от коллектива откололся, совсем пал в разврат. Ну перестань. Туда и обратно, один круг.

— Сеня. Я никогда и ни за что не поверю, что ты затеваешь это только ради музыки, танцев и веселья. И я никуда не поплыву.

Сантьяго резко сменил улыбку на кривую ухмылку.

— Значит так, да? — будто бы осторожно спросил он.

Я помедлил. На всякий случай еще раз посмотрел на плот.

— Значит, так.

Он сделал шаг в сторону машины.

— Уверен? Все узнают, что ты зассал пойти на подвиг ради двух сотен братушек и сестричек, которые сегодня уйдут с поляны несолоно хлебавши. Без музыки, на ногах, не ведающих усталости. А когда Сгуха припрет товар, когда распродаст его

народонаселению, считай, всё — привет. Карачун, баста. Ты, лично ты, будешь повинен в массовых беспорядках. Ведь никто из них не получит свой дозы музыкального экстаза, и две сотни людей с огромными глазами — вот такими вот! — вбегут в город и будут поджигать, грабить, чинить беспредел. Они будут разбивать на улицах машины, чтобы только добраться до проигрывателя и включить его. И они будут громить витрины социальных магазинов и аптек, будут переворачивать авто одно за одним до тех пор, пока не найдут техно. А техно они не найдут ни в одной машине в этом городе, они не найдут его в магазинах и аптеках, потому что ни одна машина, ни одна аптека, ни один социальный магазин в этом городе не имеет винилового проигрывателя. Плотоядные зомби выйдут на улицы твоего родного города. И в этом будешь виноват ты! Ты увидишь разруху, увидишь этот апокалипсис в отдельно взятом городе и будешь проклинать себя и посыпать голову пеплом. Но только будет уже слишком поздно! А ведь тебе всего лишь надо сплавать с нами на тот берег и забрать бензонасос. Одна маленькая деталь, чтобы спасти то единственное святое, что у нас есть! Единственное святое, святая всех святых, Скиния собрания! От тебя требуется только попросить у своего дядюшки маленький насос!

Народ молчал. Даже Ильменка притихла своими водами.

— Мне все равно. Хоть рагнарек придет, — сказал я и направился к машине.

Сантьяго устало плюхнулся на траву, поднял голову к небу и прогудел:

— О, ну почему же всегда все именно так? Почему для достижения всеобщего благоденствия не хватает всегда какой-нибудь одной детали? Какой-нибудь ерунды? Какой-то сраной, маленькой пиздюлины? Гори оно все, никого здесь уже не спасти!

Гера уже стал искать в кармане ключи, когда Боцман вдруг резко повернулся и пробубнил:

— Не спасти... Захарика?

— Чего? — раздраженно прикрикнул Сантьяго.

— Захарик. На площади! — промычал Боцман.

— На площади Захарик, на площади, — согласился Сантьяго и с недоверием посмотрел на Боцмана. Тот глазел на нас, как на слизь, а глаза его вдруг стали наливаться мутным лиловым цветом.

Тут нужно сделать важное уточнение, иначе смысл происходящего дальше будет для не посвященных не совсем понятен. Дело в том, что на площади в нашем городе стоит памятник первой машине, сошедшей с конвейера нашего автомобильного завода. «Захарик» — так ласково называют машину горожане. Ее уважают и относятся к ней почти как к святыне. Ей даже приписывают разную мистику. Мы в это не верили, однако считалось оскорбительным проявлять хоть какую-то неконвенциональную активность рядом с Захариком. Рассказывали, например, про парней, которые решили пописать на газоне рядом с памятником, а под их струями вдруг оказался электрический щиток. Или про беднягу, который раскурился рядом с Захариком, и у него случился тяжелейший трип — он увидел солдата времен Второй мировой с простреленной головой, который просил передать послание любимой девушке. Сама по себе история не впечатляет, мало ли чего покурилось парню, но ведь на следующее утро, в страшной паранойе, он пошел по указанному адресу и нашел глубокую старушку, которая в молодости была санитаркой на фронте. Парниша рассказал бабушке все, что слышал накануне от солдатика. Бабушке пришлось вызывать скорую — он не только угадал имя и фамилию, но и поведал бабуле нечто такое, от чего сердце ее не выдержало. Короче, Захарик был чем-то сакральным для всех. Даже пиво нельзя было под его сенью пить. И вот, по версии Сантьяго, его собирается разбить толпа упоротых любителей техно. Попыток манипулировать мной грубее я в жизни не встречал.

Однако глаза Боцмана все наливались и наливались лиловым, и я видел, как Сантьяго все больше и больше напрягался. Наконец по нему стало видно, что он чуть ли не обоссывается от страха, глядя на свирепеющего Боцмана.

— Захарика?.. — почти плакал, весь сотрясаясь, Боцман.

— Гера! — оглушительно заорал Сантьяго, вдруг оказавшись на заднем сиденье. — Рвем!

Гера проворно завел машину.

— Не пущу! — громче двигателя взревел Боцман и за долю секунды пересек поляну.

Огромной тенью он метнулся на мою сторону. Громадная, мощная лапа застлала мне взгляд. В ушах просвистел воздух. Когда я пришел в себя, то почувствовал, как вишу в воздухе, а мой череп и ляжку озверело сжимают свирепые пальцы Боцмана, предназначенные вовсе не для этого, а для того, чтобы держать в руках штурвал и отвоевывать право жизни у жестоких, яростных штормовых волн, чтобы ласкать престарелых блудниц портовых городов, чтобы трепать ими густые струи грозного Аквилона.

— Пойдешь по воде! Спасти Захарика! Насос для Захарика! Отдать швартовы!

Тут Боцман поскользнулся. К счастью, он уже стоял одной ногой в воде. Я плюхнулся в прохладную Ильменку и тут же, изрядно хлебнув из нее, а затем повинуясь инстинкту дайвера, задыхаясь, взобрался на плот у берега.

Парни — Нат и Сантьяго — радостно подскочили и взобрались на эту конструкцию за мной.

— Насос для Захарика! Якорь под клюзом! — кричал Боцман. Он тоже, наконец, вскочил на плот, одной рукой держа спиннинг.

Сантьяго схватился за трос — единственную ниточку, связывающую берега Ильменки. Боцман, встав во весь рост, растелескопировал спиннинг и стал ловко толкать им дно.

— Держать двенадцать часов! — кричал Боцман. — Скорость три узла! Отводи! Прямо руль! Спасти Захарика!

Но примерно на середине рулевой Сантьяго встал, как вкопанный. Видимо, холодная вода, свободно проходившая между бутылок, отрезвила его. Он завертел глазами и левой рукой стал колошматить себя по ляжкам.

— Тапки! — крикнул он куда-то в воду.

Я подумал, что он увидел в воде чьи-то тапки и стал смотреть в волны, но, конечно, никаких тапок там и в помине не было. Сантьяго истошно закричал и согнулся до самой воды.

— Мои тапки! — вдруг перешел он на смех.

Я на всякий случай посмотрел на его ступни, но они как были в кроссовках, так и остались. Левой рукой Сантьяго стал нащупывать что-то в кармане и вдруг вытащил пакетик-зип. В нем лежали три синие таблетки.

— Тапки, — зарыдал Сантьяго, — мои тапки!

Сантьяго тряс пакетиком у нас над головой. Когда он в следующий раз, уже с гневом сказал «тапки!», то принялся одной рукой открывать пакетик, а второй стал помогать. Трос при этом он, конечно же, отпустил.

Легкий плот, нагруженный тяжелыми мужчинами, потеряв направляющую, завернулся сначала вправо, затем влево и метнулся вниз по водам Ильменки.

Равновесие было потеряно, и самый тяжелый из нас — Боцман — стал терять былую уверенность и пластику венецианского гондольера, несмотря на опьянение ему все-таки, в некоторой степени, присущую. Боцман вдавил плот под себя, и, недолго пробалансировав, плюхнуся в воду. Наше судно теперь качнулось в другую сторону, и без лишних усилий воды Ильменки смыли и меня.

Лабиринты стен. Лабиринты ведут через кусты жимолости, роняющей первые слезы. По соленой от жары почве растекается жирная яблоневая смола. Слышен смех из скворечников, повернутых на север. Осока жмется к берегам, склоняется в поисках своего отражения солнце над прудом, в котором никогда никто не жил, кроме

ансамбля фиолетовых суккубов. Ледовитый цветник стряхивает березовые опилки с висков грядущего века. Дин*а*мит. Знобит. Серебрится. Произрастает. Глупо оставить семена здесь, под присмотром низких проводов и почти уничтоженного кариесом тротуара из невероятного змеевика. Валаам. Пиршество. Магниты. Надо было делать что-то. Я, наконец, вынырнул и, сориентировавшись по краешку дядюшкиного домика, погреб к берегу. Вдруг силы закончились, и нестерпимо захотелось просто дышать. За горло схватила сильнейшая в своей бесполезности обида от невозможности сделать это. Руки вдруг потеряли управление, и двумя плетями повисли, собирая водоросли. От страха я успел даже прийти в себя и успокоиться мыслью: «Мне помогут».

Кое-как я повернулся и увидел кудри Сантьяго. Они то появлялись, то исчезали в воде, трепетались где-то ниже по течению. Еще дальше читалась бравая фигура Ната, оседлавшего плот. Рывками, по сложной геометрической кривой он направлял к берегу. Справа от нас виднелся Боцман — тот стилем «баттерфляй» умело плыл поперек течения к берегу. Разумеется, как и всякий настоящий моряк, к родному берегу.

Когда я увидел его фигуру, выходящую на сушу, то постарался как можно сильнее прокричать, предварительно заглотнув как можно больше воздуха. Но легкие мои наполнились водой, такой тяжелой и жгучей.

Нежный, властный мрак закрыл многочисленные пузыри вокруг, закрыл вспышки гнева и радости, шума и ярости. Чистейшее H_2O, обогащенное биологическими элементами, наполнило мои альвеолы и направилось разрушать мою кровь клетку за клеткой. Мою кровь — человеческую, слишком человеческую. Когда клетки жаждали кислорода — О, О, О — кричали они, им упорно отдавали только Н. Аш аш аш! — горели клетки одна за другой. Это то, что нам нужно, говорили они, это первоэлемент, это то, с чего началась Вселенная, давай-ка вернемся, давай вернемся к началу начал, ты слишком тяжел в своем скафандре из мяса! Но яростный, страстный пожар разгорался в клетках, не желающих менять спецификацию, предавать идеалы, терять знамя священного O_2. Зелень и стыд.

Фантазмы плоскогорья в рутине облаков. Движение в сторону разрисованных иероглифами вечности ржавых каркасов. Ветреная позолота мгновений. Высохшая аристократическая тропа вверх по склону века. Ярость. Репейник. Анамнез. Зависть. Красный.

А на том берегу

12:00

Гелиотроп. Если произносить это слово вслух громко и уверенно каждое утро, то у вас нормализуется давление, пройдут боли в спине и артрит. Вам даже не надо будет пить сырые яйца, чтобы ваш голос был чист и звонок. Вы можете забыть про проблемы с кишечником. Возможно, у вас даже улучшится потенция. Попробуйте. Просто с завтрашнего утра начните произносить слово «гелиотроп», а если сейчас у вас утро, то прямо сейчас громко, уверенно произнесите слово «гелиотроп». Это не шутка. Это гелиотроп. Связь тут сложная, но если немного задуматься, в принципе, понятно, почему первая вещь, которую я отчетливо вижу на этом берегу — запах водорослей. Это заставляет меня оглядываться вокруг — неужели можно видеть запах? Водорослей и вправду больше, чем обычно — целая подушка из речных растений под моей головой. Слишком много, учитывая, что в обыденной жизни я с ними совсем никак не сталкиваюсь, даже морскую капусту не ем.

Дальше по течению пришвартован Нат. Он уже выкинул плот на берег, а сам

бежит во весь опор к нам, ко мне и Сантьяго. Тот, согнувшись, лежит в паре шагов от меня. Жалобно всхлипывает, козлина. Понимает, что впутал нас в это все, думает, как жить дальше. Впрочем, комментарии излишни.

— Сука, Боцман! — вдруг, как дождевой червь, которого ударило электричеством, выгибается и вскакивает Сантьяго.

Сквозь грохот речных вод его отчаянный вопль все-таки прорывается на тот берег. Боцман, выжимая шмотки, поднимает голову — мол, чего еще надо?

— Ты когда-нибудь рулил этой своей хернею?

Боцман делает пару шагов в сторону Сантьяго, щурясь, пытаясь уловить, что тот ему кинул. Все лицо его выражает недоумение: «Какие-то претензии, что ли?»

— Твоя херовина когда-нибудь плавала? Я не шучу, морячок, ты когда-нибудь управлял своим плотом?

Боцман, усмехнувшись, тут же громогласно отвечает:

— Я че те, больной по-твоему, плавать на этом? Меня и тут муха не жрет!

Сантьяго с размаху садится на жопу, потом поднимает руку, разжимает пальцы и смотрит на прозрачный пакетик-зип с тремя мокрыми таблетками в нем.

— Тапки промокли! — кричит он, будто сжимаясь от невыносимой боли.

Затем Сантьяго опять встает и истошно кричит, да так, что Ильменка на время будто бы застывает.

— Гера! Слушай сюда!

Гера, задумчиво куривший папиру, поднимает голову и смотрит прямо на Сантьяго. Тот продолжает:

— Мобилы мы промочили нахер! Жди тут. Сейчас сходим за этим блядским насосом и вернемся, на этот раз постараемся не сдохнуть! Ты меня понял?

Гера кивает.

— Захарика оставьте целым! — кричит Боцман. Он уже закончил с вещами и, закинув штанцы на плечо, не спеша топает домой, слегка покачиваясь.

Мы разворачиваемся и пытаемся сориентироваться: в какой стороне дом дядюшки Коршуна?

— Я понял, кто вы! — слышно нам в спину.

Боцман, вдруг чему-то обрадовавшийся, машет своими мокрыми штанами.

— Вы не из налоговой нифига!

Радостный Боцман аж подпрыгивает на своих мощных волосатых голых ногах.

— Вы не из налоговой! Вы — хиппи!

12:12

Делаем мы пару шагов от берега, и тут сознание ко мне внезапно возвращается, будто это такой оптический аппарат, у которого на время вышел из строя фокус. Я вдруг все отчетливо понимаю, всю вот эту произошедшую только что дичь несусветную. Я кричу:

— Сеня, ты понял вообще? Ты только что чуть не утопил меня, себя, Ната. Ты болен?!

Нат держится чуть позади. Он приосанивается, как бы между делом говорит:

— Я почти даже не намок. Реакция.

Сантьяго машет руками, будто его атакует небольшой рой мошки.

— Ты мне обязан по гроб, — продолжаю я. — Ради танцулет чуть не утопить друзей!

— Так, успокойся, — отвечает он и открывает пакетик с синими, разбухшими, постепенно превращающимися в кашку таблетками.

— Нам просто нужен бензонасос для пизженного старого бензогенератора. Тоже мне великая задача. Коршун — твой дядя. Просто попроси его, и все.

Я останавливаюсь как вкопанный.

— Что? Повтори.

Сантьяго меняется в лице. Отрешенный пофигизм вдруг махом слетает с его хитрой смуглой рожи. Вид у него мгновенно становится как у щенка, которого поймали с поличным за обоссыванием хозяйского коврика. Он поспешно запечатывает зип и сует таблетки в мокрый карман.

— Ну, началось. Перестань... Мы просто забрали эту херовину, потому что она никому не была нужна. Гора железа, как и весь завод. Как и вся тяжелая промышленность в стране. Как и вся страна. Остынь, амиго.

Тут весь расклад является мне четко и ясно, как в уголовном досье. Прошлым летом Сантьяго с Герой искали работу и попросили меня устроить их на завод через дядюшку. Ну я, добрая душа, и устроил. А потом дядюшка уволился с завода, и странное дело, почти синхронно Сантьяго стал устраивать эти выездные тусовки, весь свет и звук от которых получали благодаря бензиновому генератору «ЗУ-2». Теперь понятно — тыренному на заводе моего дядюшки. И теперь им нужен бензонасос, ведь свой они где-то умудрились потерять. Наркоманы. Мне вдруг нестерпимо хочется утопить Сантьяго в Ильменке.

— Так, иди сюда, — говорю я ему и подхожу вплотную.

Сантьяго с наглой улыбкой смотрит мне в глаза.

— Роман Фомич? — говорит Нат и смотрит за наши плечи.

Мы с Сантьяго оборачиваемся и видим один лазоревый глаз, зорко следящий за нами аккурат поверх двух черных маслянистых отверстий, поверх двух бесконечностей — это дядюшка Коршун разглядывает нас в прицел двустволки.

— Твою ж за ногу! — горланит дядюшка. — А я думал, опять желтые говноеды. А это, оказывается, совсем обычные!

Дядюшка опускает ружье, но потом, зыркнув лазоревым глазом на Ната, почему-то снова поднимает ствол.

— Слушай, малыш, а этот вот точно не из желтых у вас?

— Нет, дядь, он же белый.

— Белый, значит. А я по-вашему что, красный? Ну ладно, малыши, айдате-ка, коль уж добрались.

12:29

По дороге дядюшка тыкает Сантьяго в плечо и принимается рассказывать историю.

— Слушай, цыганенок, давно тебя не видел, вот тебе история. Был кореш у меня, дальнобой Рустам. Рустам развелся в тридцать пять, а женился в восемнадцать. Во как угораздило! Баб у Рустама не было ни до женитьбы, ни во время. Всем он был хорош, только в церковь по воскресеньям не ходил. И вот все это его заманало в край, и он развелся со своей малышкой, считай, она же и первая его любовь, и первая женщина — так себе сочетание, надо сказать. И вот, Рустам решает, что надо бы цель себе поставить добротную. В материальном плане, раз личная жизнь дала трещину. И решает горбатиться на квартиру. Потому что хоть он с женой и развелся, но все же продолжал жить на ее квадратных метрах. «Какая цель у тебя, Рустам?» — спрашивали мы. «Заработать на квартиру», — отвечал. «Зачем тебе квартира?» — спрашивали мы. «Чтобы баб водить», — отвечал. Я солидарен с ним. Потому что мужчина лишается девственности не по факту случившегося, а...

— По любви? — пытаюсь угадать я.

— Мал*о*й, — дядюшка притормаживает и перебрасывает двустволку на другое плечо. — Ты к кому зашел? Ты что, разве видишь в моей руке пяльцы, чтобы я тут сказки добрые рассказывал? Мужик лишается девственности только со второй

женщиной. Именно тогда он может действовать как мужчина. Так вот. Возвращаясь к намеченному. Рустам пытался разойтись со своей первой малышкой. Но как ты от нее уйдешь, когда она у тебя на кухне хозяйничает и беляши жарит? И предпринимает наш Рустам тогда опасный заход: звонит каким-то браткам и берет некий странный груз с Китая. Ему и раньше поступали такие предложения, но рисковать он не решался. Братки эти мутные, груз непонятный. Он воображал, что на границе с Китаем его остановят и попросят открыть багажник. Что там от этих братков можно было ожидать? Нерастаможенное мясо? Незаконные товары? А может быть, наркотики, за которые в Китае сажают пожизненно? И вот Рустам выезжает за баснословные бабки на эту операцию. Грузится в каком-то мрачном хунвейбинском гетто, едет на границу. На таможне сотрудник кивает и говорит на китайском: «Приятного чаепития!» Эту фразу Рустам знал, потому что пару раз пил чай в китайских чайных. Проехал границу. Пронесло. Все ровно. Деньги пришли Рустаму на карточку еще на подъезде к городу. Отдал фуру, пошел домой, по пути зашел в кабак и как следует жахнул за начало новой жизни.

Но вот его жена-то не дождалась. На правах разведенки нашла себе мужика, пока он там с чаями, а может и не с чаями, в фуре по Поднебесной мотался, и поменяла замки. У Рустама была куча бабок, не знаю, почему он не вызвал в ту ночь такси и не отправился в теплый угол. Он просто сел на скамейку и...

— Замерз насмерть?

— В октябре? Че мелешь? Жив остался. Отправился на следующий день квартиру выбирать и выбрал. Дело нехитрое. Но вот меж делом так его крепко что-то схватило за яйца. Но Рустам внимания не обратил. Ну трещат яйца и нехай себе. Жизнь и покрепче хватала, на той же таможне вон как лихо сжались тестикулы. На новоселье была куча одиноких баб. Рустам даже приметил себе одну и оставил ее на ночь, но так перебрал, что у них ничего не получилось. Да и ладно, куда торопиться? Впереди еще столько теплых баб за тридцать. И он проспал весь день и всю следующую ночь. А наутро понял, что его яйца так сильно набухли...

— Спермотоксикоз?

— Чего? Это простуда была. Короче, чуть не отрезали Рустаму яйца, обморожены они были будь здоров. Каждое — размером с бильярдный шар. Нечего потому что сидеть на лавочке синим под окнами бывшей жены, когда она там беляши новому екарю жарит. Баб теперь он водить не водит. Спрашиваю, малышня: зачем ему квартира, если яйца отморожены?

Мы молчим.

— Правильно молчите, потому что я пошел от обратного. Мне не нужна квартира, у меня есть дом. В него можно водить сколько угодно баб, но меня это уже не интересует. Ведь я нашел единственную.

— Ты женился, дядя?

— Нет, замуж вышел.

— Ты нас с ней познакомишь? — спрашиваю я осторожно.

— А как ее зовут? — интересуется Нат.

Но дядя не слышит, он снова перебрасывает двустволку с плеча на плечо и топает к своему дому.

Перед тем, как открыть калитку, он поворачивается к нам:

— Так, малыши. Среди вас нет ли нацистов, скинхедов каких-нибудь, ультраправых мудаков?

Он окидывает нас взглядом и, вдруг расслабившись, начинает посмеиваться, глядя на Сантьяго.

— Ну ты, цыганенок, точно уж не фашист.

Он тыкает ружьем в Сантьяго, тот почему-то тупит взор, будто бы виноват в том, что он не фашист.

— Ты, — он показывает на Ната, — вообще чудной какой-то, точно не фашист.

— Ну а ты, — показывает он на меня, — был бы фашистом, давно бы тебя уже убил. Даже если бы твои ультраправые симпатии в тебе проснулись в младенчестве.

— Дядь, — спрашиваю я, — а что сейчас с Рустамом?

— Да как что. Лечится помаленьку. Аудиосистему себе крутую купил. Каждый вечер слушает «В пути шофер-дальнобойщик». Все у него будет хорошо, потому что это история не о потере, а об обретении яиц, если вы, конечно, понимаете, о чем я. Проехали. Короче, добро пожаловать, малыши.

И дядя Коршун распахивает калитку и проводит нас внутрь. Глаз Сантьяго, как прожектор, тут же устремляется к гаражу, у стены которого приставлены моторы, сети, сломанные весла, автохлам и даже огромное крыло от самолета. А я разглядываю дом: еще в прошлом году крыша его была укрыта новенькой черепицей. Теперь же сверху добавился новый слой их множества листьев, елочных и сосновых иголок, другого неопределенного материала природного происхождения. Под скатом крыши все те же сушатся добротные сети.

— Я слышал, Роман Фомич, в вашем гараже все есть, — ухмыльнувшись, спрашивает Сантьяго.

— Все есть, точно, — на миг останавливаясь, отвечает дядюшка.

— И вы можете похвастаться, что в нем найдется любая деталь для любой машины?

— Обижаешь!

— Тогда, если бы вы мне помогли, я ищу одну деталь... — кидается к нему Сантьяго.

Но фразу он закончить не успевает. Его резко прерывает громкий голос дядюшки. Он открывает дверь в дом и говорит, глядя на Ната:

— Помнишь, малой, ты спросил про мою единственную? Зовут ее — не поверите — Сезария. Но я кличу ее просто Маня, а то мудрено как-то. Малыши, добро пожаловать в мое гнездо!

Он распахивает низенькую скрипучую дверь. Из избушки к нам выходит стройная девушка с кротким взглядом, одетая в такое кайфовое плотное, разноцветное платье, связанное вручную из тяжелой шерсти. Платье просто светится на ней — до того оно хорошо. А мы хором забываем себя, потому что девушка просто неотразима в этом жарком и влажном июньском уральском лесу. А еще она до ужаса смущена и ко всему прочему — негритянка.

12:46

— За дружбу народов я, — чеканит дядюшка, — и расистов не терплю еще больше, чем буржуев! Всем же понятно, что не негр вызывает ненависть, а ненависть вызывает негра.

— Всегда ценил вашу принципиальность, — улыбается Сантьяго.

Мы стоим в сенях. Дядюшка начинает задорно брызгаться холодной водой из умывальника.

— Че замолкли-то? — фыркает он. — Щас будем есть фуфу.

— Аппетитно звучит, — замечает Нат.

— Не остри. Это национальное нигерийское блюдо. Из пшеницы. В русской печке готовится впервые.

Дядюшка, обтеревшись полотенцем, ведет нас по своим хоромам. Я с интересом смотрю на стены и полки, хотя некоторые предметы здесь знакомы мне с детства: головы животных, среди которых есть как известные, так и неизвестные науке, чучела птиц, вырезки из американских газет прошлого века с описанием зверств Сталина, и

тут же рядом — закрылки самолета, вилки офицеров СС, моя фотография. Я там двухлетний пучу глаза на горшке.

Девушка все это время стоит возле печи, помешивая что-то горячее в чугунке. В полумраке дома ее кожа блестит нежно-лиловым и там, где падает от окна свет, светится золотистым. Вот она поднимает голову, глядит на дядюшку, как-то причудливо двигает губами, издавая при этом пару нежных щелчков, будто невероятная птица. Дядюшка тут же подлетает к ней и обнимает ее гибкий, сильный стан. Сухой и смуглый, со своими лазоревыми глазами, он смотрится рядом с ней как властный колонизатор. Она наклоняется к его уху и что-то низко ему шепчет.

— Обед готов, малышня, садись, поклюем! — кричит дядюшка.

Мы усаживаемся за стол и принимаемся за обжигающий, ароматный фуфу — вязкую пшеничную кашу. Ее Маня-Сезария вывалила на большую деревянную доску, предварительно придав массе форму идеально гладкого полушара. Едим мы прямо руками. Видимо, таков нигерийский столовый этикет.

Наши глаза скользят то по контуру ее удивительной фигуры, то по стенам обиталища. Там — все те возбуждающие умеренное любопытство предметы и фотографии. Картриджи от «Сеги», приклеенные к деревянной стене, корабельный барометр, большой флаг Сербии с надписью «Kосово је Србија», рядом — рисованный маслом портрет Хайли Селассие. На другой стене — великое множество фотографий с завода, где на больших коллективных снимках — молодые загорелые ребята, заслуженные финалисты муниципального конкурса «Я — заводчанин».

— А вот и две тысячи седьмой. Твой год, цыганенок! — с полным ртом говорит дядюшка и бьет Сантьяго в плечо.

— Спасибо, Роман Фомич! Мы тоже вас с теплом вспоминаем всегда! И любовью...

Дядюшка всасывает кусок пшеничной массы и, грозно нахмурившись, вдруг ударяет по столу. Маня-Сезария, смиренно стоявшая возле дверей, прошлепав своими ступнями цвета слоновой кости по деревянному полу, стремительно подбегает к нему.

— Да не звал тебя, родная! — кричит дядюшка и кивает в нашу сторону. — Мы беседуем с малышами!

Нат засовывает руку в горячую массу и отщипывает себе кусочек.

— Ты знаешь, цыганенок, — погладив девушку по упругим бедрам, говорит дядюшка, — а ведь не зря мы стали тебя называть цыганенком.

Повисает долгая пауза. В доме довольно темно, но я вижу, как Сантьяго бледнеет.

— Ты ведь не обижаешься?

— Да нет, Роман Фомич, вы что, — резко выдыхает он.

— Вот и я про то же. Ведь только в том обществе может развиться любовь и мир, в котором исходные значения уничижительных расистских словечек забыты. Понимаешь, к чему веду? Вот какой у нас на заводе был замечательный и славный коллектив — все друг друга уважали, настоящая бригада. Только киргизов я не любил, но, может, это у нас особенные киргизы были, не лучшего пошиба.

— Конечно, Роман Фомич, — зарывшись в ладонь, полную фуфу, мямлит Сантьяго.

— Славный был год тогда, правда ведь? — прищурив глаза и склонив голову набок, спрашивает дядюшка.

— До сих пор с пацанами вспоминаем, — махом проглотив ладонь дымящейся каши, отвечает Сантьяго. — С любовью.

— Славный-то славный... А ведь в тот год какие-то пидоры свистнули у нас генератор. Представляешь, нет? Эх, отличный генератор был: «Зу-два».

Мне уже никакого фуфу не хочется. И так весело. Сантьяго вдруг закашливается, и из него летят куски пропаренной пшеницы.

— Ох, детки... Убил бы я этих говноедов, что стащили генератор. Всех бы

говноедов переубивал. А вот лесных этих — в первую голову. Ну, а потом уже тех, кто генератор стащили.

— Лесных говноедов? — дергает спросить меня.

— Лесных желтых говноедов, которые били мою Маню. Она же от них прибежала. Как дело было. Иду ночью на рябчика, никого себе не трогаю. Вижу — желтые тащат девку за волосы к реке. Ну, думаю, пусть развлекаются, как хотят: у нас вроде как с ними негласное соглашение, я их не трогаю, они — меня, да и потом — в свободной же стране живем, как говорится. Но я всегда знал: желтые пидоры и есть желтые пидоры. А девка тем временем сопротивляется, верещит. И верещит как-то не по-нашему. Это я сразу понял. Я что, не знаю, как наша баба верещит? Ну, думаю — у каждого свои развлечения. А они ее к берегу подносят, в Ильменку — р-раз! И поют что-то свое говноедское, и в горн медный там один дудит лажу какую-то. Девка сопротивляется, булькает пузырями. Потом снова — р-раз! Тут уж я не выдержал, любопытства сдержать не смог, присел и из-за кустов на них смотрю.

Маня-Сезария незаметно исчезает с кухни, бесшумно пропав в комнате. Дядюшка невозмутимо продолжает:

— И снова, и снова. И поют что-то, и в горн свой дуют.

Тут дядюшка крепко задумывается, уставившись на изрытый нашими руками полушар фуфу.

— А потом? — осмеливаюсь я спросить.

— А че потом? Отстрелил я ихнему жирдяю одному ухо и увел Маню. Хорошо, что у меня травы есть добрые, для души. Мне тут один отшельник их поставляет. Напоил ее, успокоил. В баню сводил. Представляете, бани никогда не видела! Все думала, что это кухня такая. Ну, им там в Нигерии хорошо, вышел в чем мать родила на своей Лимпопо, искупался да пошел обратно. Главное, чтобы крокодил ничего по пути не откусил, не отберешь же у него потом.

— В Нигерии течет Нигер, — с улыбкой говорит Нат.

— Я тебе сейчас язык отрежу, если слова не научишься подбирать, — рявкает на него дядюшка.

Улыбка на мгновение пропадает с губ Ната. Однако он опять улыбается и невозмутимо говорит:

— Это речка такая. Лимпопо в Нигерии не течет. В Нигерии Нигер течет.

Дядюшка сердито замолкает. Делать ничего не остается, я ем еще кусочек каши.

— А что теперь с Маней? — спрашивает Нат.

— С Маней все отлично, вот сами спросите. Ну, посольство их уже в курсе. Теперь — сначала дождемся ответа ее нигерийских родственников, те и не надеялись уже, что от нее будут еще когда-нибудь весточки. Желтые же выкрали ее из Саратовского студгородка — на экономиста же поехала девочка учиться. Всем нигерийским аулом деньги ей на учебу собирали... Вот, ну а как получим ответ — пригоним родственников сюда и отпразднуем русско-нигерийскую свадьбу. Первую на Урале! Но давай не будем о планах. Предпочитаю Бога не смешить и думать делами. Так что давайте закруглим тему и перейдем к вашим баранам. Что ты там, цыганенок, говорил? Что тебе нужно было в гараже?

13:01

Дядюшка Коршун заходит в темноту. Следом и мы делаем шаг в сырую прохладу. Щелкает выключатель. Сначала чикают, эпилептически моргая, люминесцентные лампы, появляется непропорционально длинное нутро гаража.

— Так что там нужно-то, какой там бензонасос? — радостно спрашивает дядюшка, окидывая взором несметные богатства внутри. Они, эти богатства, прибиты и пришиты к стенкам, они свисают с потолка, они вмонтированы в пол — все эти

миллиарды ящиков, набитых отвертками, сверлами, шурупами, надфилями, черепами животных, все эти полки, на которых громоздятся электромоторы и глушители, пылесосы и обогреватели, эти петли, на которых висят вилы и косы, серпы и молоты. К потолку приделан массивный мотоцикл «Иж-Юпитер», в дальнем конце гаража — целый слесарный парк аттракционов: сверлильный, токарный, фрезерный станки и еще какой-то механизм, похожий на устройство для средневековых пыток. По правую руку, в нише, располагается самогонный аппарат, который подпирает древний, пузатый алфавитно-цифровой монитор. Сразу возле нас стоит потрепанное, но внушительное чучело медведя.

— Зу-два, — глотая воздух пересохшей глоткой, произносит Сантьяго.

Дядю Корушуна в это время занимает какая-то трещинка в стене, поэтому он реагирует не сразу. Он матерится себе под нос, что-то по поводу хреновой штукатурки, потом переводит лазоревый глаз на Сантьяго, мол, повтори.

— Зу. Два... — сглатывая, говорит Сантьяго. Его голос почти не дрожит.

Дядя Коршун сверкает глазом и снова отворачивается к стенке:

— Знатный был генератор. Однажды Алёша на своем кране расхреначил высоковольтную линию. Подрубили «Зудву», воткнули в общую сеть — вытянул весь завод, красавчик. Литров двадцать соляры за день сожрал всего. Эх! Жаль, нет больше «Зудвы»!

— Может, и найдется... — побледнев до цвета стены, выдавливает из себя Сантьяго.

— Да схуяли! — усмехаясь, отвечает дядюшка.

Тут Сантьяго выдыхает и ровно, громко и старательно произносит:

— Роман Фомич, мы к вам пришли с особой миссией. Уже год с молодежным отрядом мы выслеживаем банду воров, которые могут быть причастны к похищению «Зудвы». Мы знаем, что они орудуют по всему уральскому региону: воруют старые машины, переделывают их и продают как новые.

Люминесцентные лампы в гараже вдруг снова стрекочут. Дядя Коршун взмывает над Сантьяго:

— Тебе зачем бензонасос от «Зудвы», цыганенок?

Тот, будто бы во сне, продолжает:

— Нужны неопровержимые доказательства. Банда действует тихо и осторожно. Но, кажется, они прокололись... В газете мы нашли объявление. Некто, мы подозреваем, представитель преступного картеля, хочет купить бензонасос именно от «Зудвы». Понимаете?

— Цыганенок, что ты мелешь? — рычит дядюшка.

Что он молол, действительно? Еще секунда, и дядюшка вцепился бы в Сантьяго своими когтями и порвал бы его на четыре части.

— Именно так, Роман Фомич, — ледяным голосом произносит Сантьяго. — Вероятно, у вас есть запасной бензонасос для генератора «Зудвы»? Тогда мы могли бы организовать контрольную закупку, скрутить этих нечестивцев и проверить, зачем же им деталь от такого редкого бензинового генератора. Если мы выйдем на них, то сможем вернуть генератор и доказать вашу невинность.

— Невинность? — на всякий случай уточняю я.

Дядюшку Коршуна тоже озадачивает это слово. В тусклом свете мне даже кажется, что он на короткое время улыбается, видимо, вспоминая век своей невинности. Но через мгновение дядюшка опять мрачнеет и впивается глазами в бледного Сантьяго. Его сердцебиение раздается по всему гаражу.

— Вас ведь именно из-за генератора уволили с завода, Роман Фомич? — спрашивает Сантьяго.

Дядюшка вначале будто бы игнорирует вопрос, но потом так мощно сверкает глазами, что становится невыносимо дышать.

— Да вертел я их всех! Я выходил лучший молодежный отряд в области, такие щеглы были, а стали орлами. Я собрал все призы по округе! Эти потроха из руководства, эти стервятники, этот Данылыч, пингвин жирный, давно хотел меня сплавить. Вот и дождался случая, сучара. Тоже мне — генератор! А я что? Ну, добрый генератор, базара нет, но это ж суходроч левой рукой. Вы к службе охраны предъявы кидайте! Эх! Пятнадцать лет, отданных заводу, — псу под хвост.

— Обидно вышло... — вставляет Сантьяго.

— Да вертел я их. Отличный насос на «Зудве» стоит, редкий. Экспериментальная модель «Рум-один». У нас на заводе всего два их было. Один — красный, рабочий, другой — синий, на всякий случай. Такую комплектацию раньше делали, не то что нынешние буржуи. Первый-то стоял и робил исправно. Так что запаска и не нужна была. Уходя с завода я ее и свистнул под шумок. Зачем — не знаю. Ну цыганенок, повезло вам!

И дядюшка кидается перебирать многочисленные ящики, мешки, полки. С антресоли на нас валятся сушеные грибы и велосипедные насосы, ядерные боеголовки и банки с малосольными огурцами, кирзовые сапоги и советские вафельницы, лук-севок, фотоаппарат «ФЭД» и матовые открытки с молодой Гурченко. Нервный, блестящий от пота Сантьяго находит на полу полупустую мягкую пачку сигарет «Балканская звезда», достает одну и закуривает. Вскоре по завалам к нам пробирается дядюшка. Он держит в руке небольшую цилиндрическую деталь, длиной буквально в ладонь. На ней — резной замысловатый узор, напоминающий тольтекские орнаменты. Поверхность ее отсвечивает тусклым сизым.

— Это оно, — шипит Сантьяго.

Дядюшка Коршун вручает бензонасос Сантьяго, как кубок победителю «Формулы-1», и тут же хмурится.

— Держи, цыганенок. Найди этих говноедов. Хочу в глаза им посмотреть да по клюву пару раз щелкнуть.

Дядюшка впивается в Сантьяго своими глазами. Тот глядит в эту яростную лазурь решительно и непоколебимо.

— Считайте, вы уже в них смотрите. Мы найдем говноедов!

13:38

Когда мы подходим к воротам, Сантьяго поворачивается и говорит:

— Вы обязательно вернетесь на завод. И честь ваша будет...

— Слушай, малышня, ты мне это не надо, — перебивает его, сощурившись, дядюшка Коршун. — Я там пятнадцать лет разбирал подлодки. И меня это так достало, кто бы знал. Если бы не отсутствующая половина кишечника — я бы еще на этих подлодках ходил! И ни один баклан не осмелился бы у меня ее отобрать. Для офицера это позор — разбирать судно, на котором ты когда-то ходил. Так что пусть засунут себе этот завод куда захотят.

Дядюшка останавливается посреди тропинки и показывает вправо, где на аккуратной зеленой полянке устроен миниатюрный круглый бассейн, в котором плавает пластиковый макет охотничьей утки. Диаметр у бассейна едва ли больше человеческого роста.

— Вот что это, ты как думаешь, цыганенок?

— Бассейн, Роман Фомич.

— Верно. А из чего он сделан?

— Ну как... бетон там, цемент.

— Сам ты цемент. Подлодка это. Нос ее, понял?

Сантьяго восхищенно кивает, но надо знать Сантьяго довольно долго, чтобы видеть за этим восхищением жгучее желание поскорее смыться. Мы вновь двигаем

дальше, через пару шагов дядюшка резко поворачивается. Сантьяго не успевает затормозить и бьется в его плечо лбом.

— Что вспомнил-то! Ключ у «Рум-один» особенный. Без него вы насос не прикрутите к генератору... Просто придите на встречу к этим говноедам и дайте им как следует по башке, можно прям насосом. А потом сразу ко мне тащите — я добавлю.

Сантьяго вдруг меняется в лице.

— Роман Фомич, а где же ключ?

— Да я его... у Тычинкина же!

— У кого?

— Да старик Тычинкин заходил прошлой осенью — говорит, дай что-нибудь из инструмента, мне для мотоплуга, свечи закрутить. Увидел от «Зудвы» ключ, тот на стене прямо у входа висел, схватил, радостный пошел. Кричу ему — это не то! А он все равно его взял, да жалко что ли? Так и не вернул. С припиздью же старик. Но вам-то он и не нужен! Говноедов мне найдите!

На этих словах дядюшка открывает калитку. Нат шагает первым, затем, улыбаясь мелко трясущимися губами, идет Сантьяго. Я тоже двигаю к калитке.

— А ты куда, птенчик мой? — громко спрашивает вдруг дядюшка.

Я разворачиваюсь и вцепляюсь в калитку, как будто это последнее, что есть у меня в жизни.

— В гараже весь срачевник кто теперь убирать будет? Нельсон Мандела?

Пацаны тоже замолкают и смотрят на дядюшку. Сантьяго улыбается еще шире и протягивает мне открытую ладонь.

— Ох, амиго, — весело говорит он. — Семья тебя не забудет! Твой жертвенный, самоотверженный путь. И твое желание помогать даром! Мы сегодня потусим за тебя.

На этой фразе глаза его округляются, он с внезапным страхом смотрит в лазоревые очи дядюшки Коршуна и резко тараторит:

— ...после того, как найдем говноедов, разумеется. После этого сам бог велел... Отметить победу.

Я замечаю на губах под острым носом дядюшки ухмылку.

— Закрывай ворота, — сухо командует он мне.

Парни удаляются. Дядюшка разворачивается, командует: «За мной» и уходит вглубь своего участка. Я послушно плетусь по его стопам. Вдруг за нашими спинами слышен голос Ната:

— Роман Фомич, а где живет старик Тычинкин?

— Что? — хмурится дядюшка.

— Старик Тычинкин. Он раньше моим соседом был. Я бы проведал его.

— Георгий Иваныч-то?

— Да. Он. Георгий Иваныч.

Дядюшка сплевывает, сверкает из-под бровей лазурью, пристально смотрит на Ната:

— Да рядом тут. Через французскую горку перевалите и увидите его делянку. Бывайте, щеглы, не балуйте. Мамкам привет!

Он делает пару шагов, потом поворачивается:

— И это... На французской горке не курите. Усекли?

13:45

— ...да ладно, забей. Разгребет там хлам весь этот, сплавает на тот берег за продуктами, поотжимается на скорость да домой поедет, как и хотел. Здоровей только будет,— говорит Сантьяго, жуя травинку. — Вот тебе не все ли равно? Да тебе вообще должно быть приятно, что его сейчас запрягут, как ишака. После всего, что он тебе сделал.

— Он мне ничего не делал, — все с той же улыбкой отвечает Нат.

— Нат, ты святой человек, — остановившись, заявляет Сантьяго. — Это, может, и хорошо, если ты собрался делать карьеру где-нибудь ну, не знаю, в «Красном кресте». Но, ё-маё, амиго, послушай. Так ты никогда не найдешь себе в этом мире места. Надо хвататься, понимаешь?

— Найду. Когда-нибудь.

— И где? — ухмыляется Сантьяго и выплевывает травинку.

— Не знаю. Посмотрим, — безучастно отвечает Нат и продолжает шагать.

— Ладно, проехали. Ты, кстати, не знаешь, почему горку называют французской? И что там за стена стоит? Из щебня какого-то.

— Это не щебень. Это каменная кладка. Я что-то слышал про это. Еще в конце девятнадцатого века французы взяли в аренду кусочек земли за Ильменкой. Начали добывать там асбест. Они и вправду его добывали. Поставили фабрику, проложили дорогу, все было по уму. А потом вдруг обнаружили на этом месте золото. Об этом стало известно царскому правительству. Но дело быстро умяли. Через взятки. И жили дальше. Для прикрытия добывали асбест, а на деле — мыли золото. Но вот пришел семнадцатый год, и местный народ решил спалить их французскую фабрику. Ну чтобы неповадно было чужое золото мыть. Такая история. Вот теперь только одна стенка и стоит. А еще говорят, там иногда случаются не совсем обычные вещи...

— Это какие такие «не совсем обычные»? — хмурится Сантьяго.

— Да разные. Вот говорят... — начинает Нат.

Парни идут все глубже в лес. Из-за холма показывается кусок старинной каменной кладки.

13:45

Дядюшка Коршун щелкает выключателем в гараже. Вся эта несметная гора всевозможных вещей дышит на меня холодной сыростью и дрожит, будто в нетерпеливой истоме, под светом люминесцентной лампы.

Дядюшка шумно выдыхает и твердо, с нажимом вдруг спрашивает:

— Ну, а если я скажу тебе, что ты лох?

— Дядь Ром, ну ругаться-то зачем?

— Лох, лохудра, лошье.

— Дядь Ром, ну хватит, — молю я.

— Ссыкло и соплежуйка, додик и ванька.

Его слова грохочут в гараже.

— Ты ведь не хотел сюда приходить, да? Они тебя вынудили, да?

Я вскидываю брови с такой скоростью и лицо мое принимает вид настолько жалостливый, что дядюшка уже не слушает. Я все равно мямлю:

— Ну почему, пацаны сказали, что нашли объявление о продаже...

— Ац-тавить! — орет дюдюшка оглушительно. — Я что, по-твоему, первый год на Земле живу? Нашли фраера! Запомни, цыпленочек: птицу по полету видно, тут экспертом в психологии быть не надо: просто помолчи, послушай, что чирикает человек напротив, все поймешь. Вот жеж! Большей наглости я и не встречал никогда, даже от чичей в Грозном. Но у твоих корешей она настолько восхитительна, что все им простить можно. Но с ними ладно, пусть себе идут, жизнь каждого, как говорится, припечатает, их еще много интересного впереди ждет. Ну а ты? Ты ведь хотел отмудохать этого цыгененка, хотел ведь? Слушай, ты хоть раз сопротивлялся сегодня? Ты хоть раз в жизни вообще сопротивлялся?

— Я много раз сопротивлялся. Говорил им, что не хочу ехать, — почти шепчу я. — Я даже хотел убежать.

— Ну, а они?

— Да бесполезно было...

— Что «бесполезно было»?

— Сопротивляться.

Дядюшка открывает дверь и выходит на улице. Он, щурясь, смотрит на солнце, будто где-то там, вверху, существует единственное сознание в мире, способное понять все его презрение к таким мудакам, как я.

— Эх, говорил я твоей мамке, надо тебя...

Он жирно сплевывает.

— Слушай сюда. Когда в твоей жизни случится такое, что сопротивление будет оказывать бесполезно, ты будешь его, это сопротивление, оказывать так, как никогда раньше. Поэтому пока в твоей жизни все идет своим чередом, и проблемы твои такие же смешные, маленькие и нелепые, как грудь у тринадцатилетней школьницы, будь ДОБР — он орет так, что я невольно закрываю уши, — оказывай сопротивление всякому, кто делает с тобой что-то против твоей воли. Дерись, грызись, пинайся. Если надо — беги без оглядки. Но делай только то, что хочешь... Или только то, что должен. А теперь назвался груздем — полезай в жопу.

Повисает такая мертвая тишина, что я боюсь дышать.

— Сейчас я пойду к Мане. Надо нам будет обворковать кое-что, обсудить детали грядущей свадьбы, дело это серьезное, это тебе не с этими хиппи шароебиться по окрестностям. Приду не скоро, про тебя забуду, потому что плотно займусь дебетом и кредитом. Надо нигерийские найры в наши рубли перевести, чтобы грамотно все расходы распределить и себе на жили-были еще оставить. А ты — за работу. Перчатки найдешь в ящике верстака. Запомни — в первом ящике верстака. Ну и клюв собери, а то раскис че-то.

Хлопает дверь. Дядюшка проворачивает ключ в замке. Я громко матерюсь и плюю на пол. «Суходрочь левой рукой».

13:47

— Я в эти байки не верю, — ухмыляется Сантьяго и достает из кармана пачку «Балканской звезды», — хотя, конечно, слушать такое интересно. Блин, все эти призраки. Жуть так-то, если подумать!

Он щелкает зажигалкой. Пьезоэлемент отсырел, искра не срабатывает, поэтому Сантьяго пробует опять и опять. Он торопливо перекладывает бензонасос под мышку и снова щелкает зажигалкой. Нат в этот момент задумчиво осматривает мощную стену, возникшую прямо в лесу, между сосен. Кладка громоздится ввысь, в ней есть какие-то окошки, выступы. Стена, несмотря на дефекты, вполне крепкая. Тут Нат обращает внимание на частые щелчки за спиной. Когда он оборачивается, Сантьяго наконец-то удается раскурить сигарету.

— Арсений... — выпучив глаза, шепчет Нат.

— А? Тебе оставить? Прости, амиго, не в этом случае, тут последняя, — сосредоточенно смоля окурок, отвечает Сантьяго и для доказательства сминает в руке пачку «Балканской звезды».

Но Нат не успевает ответить. За спиной Сантьяго, на вершине холма, вспыхивает пламя высотой в человеческий рост. Оно стремительно разлетается вправо и влево, как огромные крылья.

13:51

Распинав по гаражу хлам, я наконец прохожу к огромному верстаку возле самой дальней стены. Я открываю ящик и принимаюсь перебирать кучу старых рукавиц и перчаток. Они пахнут мазутом, сожем, резиновым клеем. Мне не удается найти

ни одной пары без дырок. В бессильной злобе я достаю ящик из полозьев и переворачиваю его на пол. Что-то железное брякает о бетон.

Я переворачиваю ящик, вновь перерываю кучу рукавиц и перчаток и обнаруживаю на полу большой железный ключ.

«Делай то, что хочешь», — все еще звучит у меня в голове голос дядюшки. А может быть, голос все еще звучит эхом в самом гараже?

Я беру ключ, преодолеваю гору хлама и устремляюсь к двери. Ключ легко входит в скважину. Несколько раз проворачиваю, тяну дверь на себя и делаю долгий, неторопливый вдох. Вдох свободы.

Спешить мне некуда, поэтому я оставляю ключ в замке и медленно, достойно иду по тропинке к калитке. Дядюшка будет мной доволен.

13:51

Нат и Сантьяго обежали всю низину. И почему она называется французской ГОРКОЙ? Ведь это настоящая ЯМА. Горит везде — по всему периметру. Уже начинают забираться сосны. Мелкие язычки бегут вверх по стволам, будто пальцы пианиста, если, конечно, дьявол играет на пианино.

— Ты слышишь? — спрашивает вдруг Нат.

— Что? Что слышу? Что мы скоро сгорим? — чуть не плача взвизгивает Сантьяго.

— Голоса. Говорят по-французски.

13:57

Ну ладно. А что мне делать-то теперь?

Я смотрю на реку. Тысячи пузырей вдруг шумят у меня в голове. В альвеолы забивается речная вода, дышать хочется больше, чем жить. Зеленый, много зеленого. И несет тебя, и тащит, и обидно отчего-то, что все вот так вот может закончиться.

Плевать! Поплыву на плоту, справлюсь без них. Я медленно спускают к воде. А эти — пусть хоть весь день ходят по лесам. Это их рейв, это их головная боль. Я тут не обязан, как шалый, шататься в поисках всяких там насосов и ключей. Еще и по французской горке какой-то. Тут что у вас, форт Боярд? Хватит того, что сегодня я не увижу красные пятна, которые брызгают на ее грудь изнутри. Хватит того, что сегодня она не проведет своими тонкими, плотными губами влажный след до середины моего живота. Хватит, в конце концов, того, что я залил свою мобилу и теперь она бессмысленным грузом трепыхается, влажная, как селедка, в моем кармане. Дальше — без меня.

В таких вот триумфальных мыслях я останавливаюсь и смотрю в Ильменку, в эту широкую, бурлящую быстрину. Все о'кей, — говорю себе. Все в ажуре. Тот берег недалеко. Если перебираться аккуратно и без всяких там мудил с их таблетками, то это проще легкого, легче простого или как там.

С этими полными оптимизма мыслями я делаю шаг в воду и смотрю, как пляшут зеленые водоросли, струящиеся вниз по течению. Вдыхаю полной грудью. Я до сих пор помню этот подводный запах.

Плот лежит неподалеку. Я хватаю его и без особого труда тащу к рельсам, торчащим в небо. Я проверяю трос — он так же надежно соединяет два берега. Надежный, прочный трос. Мудак Сантьяго отпустил единственную направляющую, от этого и произошло крушение.

Перед тем как положить плот на воду, я снова гляжу на тот берег. Ни Геры, ни Боцмана нет — только бескрайнее поле дурнины, за которыми виднеется деревня Печки. Наверное, Гера поехал в магазин за папирами или типа того, а Боцман пошел домой отсыпаться. От этой мысли мне становится немного теплее — представляю себе

большого пьяного Боцмана, который дрыхнет дома, а на его широкой груди свистят в свинью-свистульку двое его молчаливых веснушчатых детей.

Я кладу плот на воду и тут же чувствую, как его подхватывает лихой поток. Его вырывает из-под моих рук, но я сдаваться не собираюсь. Одной рукой цепляюсь за трос, потом все же сажусь на постоянно уходящую из-под меня организованную массу пустых бутылок. Страх, поднявшийся изнутри на мгновение, вдруг утихает, а может быть, просто сосредоточивается в руках, яростно сжимающих трос. Спокуха. Трос хоть и крепкий, но старый, он порядком износился, и его ржавые металлические ворсинки впиваются в ладони. Но это вполне терпимо. Куда сложнее цепляться за кромку плота, чтобы он не ушел вниз по Ильменке. Я аккуратно тяну себя в сторону правого берега. Меняя руки и ноги, то цепляясь, то отпуская свое суденышко, я двигаюсь в нужном мне направлении. К свободе, мать ее. Никаких больше бензонасосов, только полуденный секс во славу аутизма.

13:59

Дятел, поскрипывая своими винтажными туфлями об траву, достал изо рта хибарик, плюнул на свой мизинец и подлечил бумагу.

— Форшмак, — сказал он себе под нос и с сожалением уставился на скелет высоковольтки, видневшийся из-за холма. Провода протяжно гудели.

Дэн, собиравший барабанную установку, посмотрел на Дятла:

— Совсем фарш?

— Чуть звиздюлей от них не получил, вот че, — с достоинством сказал он, поглаживая свои волосы, заплетенные в тугую шишку на затылке.

— Короче, с завода у нас кабеля не будет, — констатировал кто-то в толпе.

— Давайте сами врубимся, вон же лэп, — прошмыгал Сгуха, но на него, как обычно, никто не обратил внимания.

— Стоило ожидать, — пробасил Малыш. — Сначала вы у них генератор уводите, а потом приходите просить розетку.

Дэн, высунувшись из-под флортома, крикнул:

— Да ладно вам! Гера с Разведчиком поехали в гараж, может, найдут замену. Херовину там какую-нибудь по типу. Ну или Сантьяго с Натом подтянутся.

Все то время, пока мы ходили по неведомым лесам, бригада решала, как жить дальше. Дятел вот сходил на завод и попытался честно договориться о врезке в систему электроснабжения. Ему чуть не наваляла сначала охрана, а потом и весь завод. Обзвонили всех знакомых механиков и все автосалоны. Действительно, бензонасос от генератора «ЗУ-2» — несусветная редкость. Сам генератор-то — какая-то несерийная вещь, изготовленная, видимо, для военной промышленности. Иначе как объяснить такие сложности? Приходилось рассчитывать только на чудо, на что-то хорошее.

Этим и занимался Антон Солнце. Разложив пластинки по боксам и закоммутировав все в неработающую саундсистему, он лежал на пледе и рассчитывал только на хорошие вещи. Беря по щепотке из небольшого цветастого вязаного шарика-сокса, он скручивал гербарий в папиросную бумагу и думал: «Ах, какие же хорошие у меня есть вещи!» Вещи получались примерно с полмизинца. С приятной асимметрией контуров, как бы стремящиеся по спирали вверх, в небесный эфир.

Суетной народ вокруг занимался звонками. Общая атмосфера не была накалена до предела, но как-то неприятно вибрировала, как бы закипая или, вернее, находясь каждый раз в микроградусе от закипания. Еще бы: вся тусня была на грани провала.

Сгуха шустрил вокруг толпы, чего-то все выжидая и почесывая свое прыщавое, белесое лицо. Оно и понятно: он торговал плохими вещами, а плохие вещи: а) уместны только тогда, когда тебе слишком хорошо, хорошо так, что аж нет мочи; иначе плохие вещи никому не нужны; будь всем плохо — Сгуха давно бы разорился, ведь он просто

изымает переизбыток хорошего, вот и все; б) могут получиться только из хороших вещей; то есть сначала есть нечто хорошее, а только потом плохое эманирует из него, а не наоборот. Сгуха хоть и не смог бы выразить смутные свои догадки в столь лапидарных тезисах, нутром истины эти понимал. Именно поэтому его и мучила тревога. Он у кого-нибудь стрелял, закуривал и тут же бросал в траву недобитые хибарики, он что-то постоянно щупал и жамкал, в том числе и свои многочисленные прыщи. Он делал все, но только не стоял на месте.

И только у Антона Солнце на своих полутора квадратных метрах индийского покрывала с нарисованным на нем древним сюжетом — искушением Будды — был полный порядок. Светила кружились в вечном движении, рождались дети, умирали старики и солдаты. И все это здесь — в этом рисунке и острожном дымке, стелившемся по влажной, пахнущей зноем летней траве.

Когда кто-нибудь проходил мимо острова спокойствия, Антон протягивал человеку хорошую вещь, а затем шепотом говорил:

— Все состоится!

Да, конечно же состоится! Не изменят же планеты ход, в конце-то концов, отвечали ему и тут же куда-то в спешке убегали в поисках электричества, спокойствия, винила, деталей, коньяка, сигарет.

Протарахтели ржаво-баклажановые «жигули двадцать-один-ноль-пять». Гера и Разведчик остановили мотор, вышли и открыли багажник. В нем, помимо моего велика, лежал целый набор железяк, измазанных маслом и мазутом. Помещалось все это добро на сложенной в несколько раз сдутой резиновой лодке. Ее-то, ухватив с четырех сторон, и вытащили на траву перед машиной.

— Откуда все это, бандиты? — обрадовался Дятел и тут же заприметил мой велик, утрамбованный в недра багажника.

— У мамки твоей в косметичке нашел, — на полном серьезе ответил Разведчик.

Бригада кинулась разбирать железяки и придумывать из них разные комбинации, а затем по очереди примерять эти конструкции к бензогенератору. Но ни один из получившихся механизмов не подходил на роль топливного насоса. Казалось, что счастье так близко. Однако — то тут была не та резьба, то у трубки диаметр не соответствовал нужному, то старый, уставший металл очередного разъема рассыпался в руках. Один раз даже удалось запустить «ЗУ-2», он протарахтел, выплюнул облако черного дыма и снова заглох. Мужики не унимались. Командовал процессом Малыш. Через десять минут после начала конструирования его белая майка стала блестеть антрацитовыми пятнами технической смазки.

Дятел все это время рассекал по поляне и окрестностям на моем велике. Вскоре он ему надоел, и Дятел оставил велик возле вышки линии электропередач, а сам курнул оставшуюся пятку и уснул на полуденном солнце.

Тем временем Антон Солнце, поднявшись над всей Вселенной, а если быть точным, встав на своем пледе, разглядел на пассажирском сиденье жигулей старую акустическую гитару. Как водится — с портретом-камеей некой романтичной особы, прилепленном в верхний левый угол деки, с логотипом LEVIS чуть ниже струн. Эх, отличная ленинградская гитара! Антон растолкал мужиков, открыл дверь и взял инструмент.

— Бери, Антош, сыграй нам чего! — одобрительно крякнул Разведчик. — В гараже тоже нашли.

Солнце забычковал хорошую вещь, одернул прядь волос и аккуратно положил пятку себе за ухо. Он заиграл хриплую, немного развязную, но мощную слабую долю. Гитара звучала глуховато, однако так и надо было в этот жаркий, пропахший разнотравьем день. Солнце дугой прошел мимо орудующих с железом пацанов и направился к Дэну, который на тот момент закончил собирать установку. Через пару тактов Дэн разгадал намерения Антоши. Он улыбнулся, опустил веки и ударял

попеременно то в малый — женский, то в большой — мужской бонг. Мужики прекратили ковырять железо и перевели взгляд на музыкантов. Разведчик вытер руки лопухом, запрокинул голову назад, закрыл глаза и стал вальяжно отплясывать, ловя всем телом этот вселенский полуденный вайб.

Дэн твердо и уверенно колотил в бочку, прямо подхватив расслабленный, но уверенный риддим Антона. Бригада рассмеялась, все закурили по сигарете, а потом опять погрузились в конструирование.

Так каждый на поляне нашел себе занятие по душе. Дэн с Солнце играли долго. Все было на своих местах. И только сокса с хорошей вещью на месте больше не было. Сокс бесследно исчез. Но куда же?

Мы без труда поймем это, когда спросим себя — «А где же Сгуха? Куда делся этот небольших размеров молодой человек с обильным юношеским акне?» А Сгуха, зачем-то пряча руки в карманах штанов, тихо двигался по просеке. Спустившись с холма, он увидел оставленный велосипед, прислоненный к скелету вышки ЛЭП. Рядом с велосипедом под палящим солнцем спал Дятел.

Сгуха задумался, безопасно ли брать велосипед, прислоненный к опоре линии электропередач? Тут надо было вспомнить советы с уроков ОБЖ в школе. Всегда беритесь за металл, который может быть под напряжением, только внешней стороной ладони, иначе ваши мышцы могут сомкнуться и тогда вам не избежать мучительной смерти. Итак, вспомнив все это, Сгуха проверил своим гниющим кулачком раму моего велика и, убедившись, что она в полном порядке, то есть не бьет нестерпимо электричеством, вконец обнаглел. Он сел на велик и поехал, едва справляясь с управлением, по ухабистой полулесной тропинке. Но все же, несмотря на сложную дорогу, иногда Сгуха успевал одной рукой найти на своем фейсе прыщ и, злобно сдавив его, почувствовать, как хрустит под пальцами эпителий, выпуская в атмосферу мерзкое содержимое.

Куда же ехал Сгуха, торговец плохими вещами? Куда же он торопился, спросим мы?

14:01

...и наконец плот уходит из-под моих ног. Мало того — он просто вылетает, радостно и быстро, как огромная льдина из-под ледокола «Таймыр». Я успеваю только вдохнуть побольше воздуха и схватиться двумя руками за направляющий трос.

Но тот висит совсем необязательно, как бы между делом. Он мне совсем не помогает, этот трос, и я снова оказываюсь полностью в воде. Какое-то время я держусь, но ржавая проволока впивается в ладони все сильнее. Наконец я разжимаю пальцы. И единственное, что мне остается, — дышать водорослями. Салатовыми, изумрудными, малахитовыми, короче, всеми оттенками зеленого. Это все досужие вымыслы кинематографистов, что тонущий человек бьется в воде и истошно зовет на помощь. На самом деле, если смотреть с берега, тонущий человек спокоен и сосредоточен, потому что боится потерять последний кислород из легких. Вот и мой кислород — O_2 — заканчивается так быстро, что у меня даже паника мгновенно исчезает. На смену сопротивлению приходит старушка-безнадега.

Ну дышать водорослями, ну и что с того? Слиться с этим зеленым, надышаться им на эпохи вперед. Дышать этими инфузориями-туфельками, этими циклопами, дафниями, этой речной слизью. Но почему-то все вовсе не так: я делаю вдох и вдруг вижу так много красного. Откуда здесь красный? Это капилляры в моих глазах лопаются? Ветреная позолота мгновений. Высохшая аристократическая тропа вверх по склону века. Ярость. Репейник. Анамнез. Зависть. Красный.

14:01

Красный. Все, что видит Нат, и все, что видит Сантьяго. Испепеляющий красный, прожигающий насквозь красный. Это чрезмерно красный, это инфернальный инфракрасный. Где-то вверху истерично трезвонит небольших размеров чугунный колокол. Кто-то совсем рядом яростно колотит палкой в пустое ведро. Ясно и громко кто-то рядом кричит: «Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!» Он кричит истошно.

Но звуки — последнее, что беспокоит пацанов. Вокруг них жарит. Все объято пламенем — каждый сантиметр вокруг. Пламенем и дымом. В самое небо взмывают высоченные корабельные сосны, искореженные в смертельной, испепеляющей агонии. Сквозь гарь и пламя двигаются фигуры. Они кричат: «Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!»

Периодически разрезая гарь и удушающий туман вокруг, мимо проносится объятый огнем человек. Разобрать, что он кричит, уже невозможно. Он смертельной кометой пересекает пространство и навсегда исчезает в клубах дыма.

Нат и Сантьяго пытаются найти выход, они, оглядываясь по сторонам, пятятся назад. «Ле фу!» И они пятятся, не понимая, что*о* больше приводит их в этот ужас — запах гари, красный испепеляющий повсюду или эта французская речь? «Дэ лю!»

Так они и отступают — метр за метром назад. Каждый из них пытается вспомнить, как они оказались в этом аду. Они максимально быстро схватывают: надо быть как можно более спокойными. И они отступают шаг за шагом. Кажется, даже веет свежестью. Кажется, тут даже есть кислород, но Нат делает еще один шаг и упирается спиной в высоченную стену — надежную каменную кладку. От нее веет нестерпимым жаром. Стена устремляется в небо так же высоко, как кроны горящих вокруг деревьев. И хоть в стене и есть неровности и выступы, они слишком малы, чтобы можно было за них уцепиться. Карабкаться не получится, ведь как можно карабкаться вверх по раскаленной стене? Да и куда, скажите на милость?

14:03

И там, где-то под толщей воды Ильменки, за водорослями, где владычествует красный, где все растекается и твердых форм не существует, где не существует контуров и границ и все едино, именно там я и вижу Ната — впервые за всю жизнь не улыбающимся. Струи чистого красного цвета не дают мне сфокусироваться, но я знаю, что в каждом его белом локоне, в каждой складке его кожи на лице отчетливо читается: страх, смерть, разрушение, пиздец. Я вижу все это где-то на глубине, за водорослями. Я вижу много красного — много настоящего красного, который вдруг переливается радостной палитрой, смывая огонь. Яростный вздох, еще один — и еще несколько. Красный мгновенно растворяется. В меня проникает зелень, она здесь хозяйка. Зелень каждой отдельной водоросли прорастает в мое легкое. Из теплой прохлады Ильменки меня выбрасывает случайный валун. Я успеваю вздохнуть, и тут же опять проникаю в бесконечный зеленый, струящийся и даже радостный. Порядок и вещь, имя и число. Двадцать девять — так же изысканно, как холод среди июня. Двадцать девять — это срок, который обречены мотать отроки всех подземелий. Двадцать девять — это устремление всегда вглубь, где обнаруживает себя ясность и прозрачность каждой вещи, данная на поверхности. Двадцать девять слов. Двадцать девять точек после. Синева. Аберрация. Воскрешение. Иллюзия. Июль. Пропуск. Вакса. Проблеск. Насекомое. Завтра. Ересь. Стон. Тварь. Вереск. Простуда. Шорох. Распутье. Всплеск. Бильярд. Корень. Жердь. Сорок. Ложь. Пропасть. Ведьма. Минет. Чабрец. Фронтир. Пульс.

Он возвращается ко мне на берегу. Опять подушка из водорослей. И опять встречный трепет момента. Пощада и корысть. Помимо бурления Ильменки, я слышу ритмичный, назойливый стук. На берег, рядом со мной, одна за другой, но столпившись

в воде, как гигантская лягушачья икра, приплывают пустые пятилитровые бутылки, много, много пустых бутылок — обломки нашего доблестного фрегата.

14:04

«Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!» — вот и все, что кроме приятного треска слышно в этом удушающем, раскаленном красном. Нат не улыбается. Сантьяго сжимает голову, будто боится, что она отпадет.

14:04

Первая же попавшаяся мне пятилитруха вполне пригодна. Я откручиваю крышку и, не без осторожности войдя в Ильменку, погружаю бутылку в поток. Она, нехотя бурлыкая, наполняется водой и водорослями.

Я с трудом поднимаюсь вверх по склону. Я еще чувствую воду, будто бы мне теперь всю жизнь ею дышать. Впрочем, дальше бежать легко. На середине пути я понимаю, что не закрыл бутылку, но это уже и не важно. Запах водорослей начинает перебивать запах костра. Вначале приятный, но по мере того, как я подбегаю к его источнику, настолько въедливый, что я уже начинаю думать, что водоросли и вода намного лучше дыма и огня.

Тропинка резко поднимается вверх. Дыхания снова не хватает, теперь меня душит не вода, но все тот же дым, тяжелый и древесный. Еще и еще, бежать. Вдруг и я оказываюсь на краю огромного котла — именно так это и выглядит.

Великий адский котел. Горящая масса горящих домов, деревьев и людей. И посреди этого — непоколебимая стена буквой «Г». Добротная каменная кладка. Сжимая, как святой Грааль, свою пятилитровку в двух руках, я бегу вниз по единственной тропинке в это ужасное, великое пекло.

«Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!» — все, что можно разобрать в этой мешанине из жары, красного и треска сгораемого дерева. «Ле фу! Дэ лю! Дон ма дэ лю!». «Ле фу!». «Дэ лю! Дон ма дэ лю!» — снова и снова, с разных сторон.

Я пытаюсь найти что-то, хоть какую-то тропку к стене, мне нужно именно туда, но жернова пламени колдуют вокруг.

«Дэ лю!» — слышу я хриплый, едва осязаемый голос внизу.

«Лю!» — свистит внизу кто-то.

«Дэ лю!» — снова повторяет он.

Трава, мгновенно пожухшая, горит под ногами как порох. Из тоталитарно красного виднеется кисть, объятая пламенем. Затем появляется рука, а за ней — крепкий, большой мужчина. Он ползет ко мне прямо из пламени.

«Дон ма дэ лю!» — хрипит он, плача.

Я смотрю на свою пятилитрушку, делаю несколько шагов и поливаю мсье водой. Он переворачивается на спину, открывает рот и сквозь воду и боль кричит: «Дон ма плю до!»

У него грязное, но красивое и сильное лицо. Его сюртук разорван, прямо под шеей видна большая блямба — не то ожог, не то сильная ссадина. Мужчина жадно пьет воду, потом начинает ее извергать обратно. Он выплевывает ее сначала редкими, яростными толчками, потом все мощнее и мощнее.

«Мерси, гарсон! Дю ву бенис!» — хрипит он. Вода из его рта льется на окружающее нас пламя и шипит. Он зычно закашливается. Все вокруг застилает уже не ярость красного, а проворность белого. Это пар, текучий, терпкий и теплый. Он рождает ситуацию. Ситуация рождает предел. Заплетаясь языками в невозможности собственного чистого голоса, звеня осколками распадающегося присутствия, приходит будущее. В промежутках между секундами нечто знакомое. Соль проела основания

вещи, ты позабыл фрагменты лучезарного генезиса любви. Жмет гидрокостюм тела, явь уразумеет сама себя в твердых параллелепипедах на трех осях. Сдвинешься с места — и течение сметет все, что осмелилось считаться прозрачным в своей безропотности. Переливать речную воду из сосуда в сосуд — несложно. Сложно не побояться вернуться обратно в реку. Не потеряться этому небольшому объему влаги в бесконечном потоке — невозможно.

Именно поэтому я замер. Я готов раствориться. Но белый пар делится на секторы. Белый пар проигрывает свежести лесного воздуха. Белый пар растворяется. Он тает, как нечто чужеродное и желанное.

Мои глаза, мой нос и уши — все на местах. Жар еще пульсирует отдельными фрагментами по телу, но в целом — все в норме. В норме и лес — нормальный, смешанный уральский лес. Единственное, что в нем смутило бы стороннего наблюдателя, — высоченная стенка, каменная кладка, взмывающая в воздух. Высотой она доходит до середины сосны. Кое-где — полуразрушенные обломки внушительных каменных ступеней, ведущих от тропинки. А так — лес как лес. Не тронутый ни огнем, ни великой электрификацией, ни капиталистами, если не считать капиталистами французов. Обычный лес, стоявший здесь и сто, и тысячу лет назад. Замечательный лес, вон и птицы запели.

14:31

Итак, вся эта возня с бензонасосом была Сгухе на руку. Ой, как на руку! Пока Сантьяго шорохается там в поисках никому не нужной детали, Сгуха все перепровернет. Ведь где тайник, знают только он и Сантьяго. Тупой, самодовольный, тщеславный и жадный Сеня Сантьяго. Настоящий жлоб! Маленький кудрявый черныш! Да какой там! По складу характера он типичный жиденок. Жиденыш. Жид пархатый!

Подбирая синонимы, Сгуха так увлекается, что чуть не проезжает нужный поворот. Он уже полчаса с огромной страстью крутит педали своего — то есть моего — велосипеда по дороге, ведущей из города. Он уже проехал бензоколонку и кладбище, уже обочина потянулась по лесу, а Сгуха все скрипит зубами, меняет руки на руле, чтобы успеть подавить прыщи, и все думает, какой же гад и жид Сантьяго, а какой же офигенный он, Валентин Фильченко, классный, скромный, симпатичный, в общем-то парень с небольшим юношеским акне. И какие все они, эти невменяемые животные, которые не следят за своим товаром, которые не могут ничего толком организовать, еще и называют его позорным прозвищем Сгущенка, олухи.

Резко выкручивая руль, чуть не теряя равновесие и не улетая в канаву, Сгуха сворачивает по едва заметной тропинке, ведущей прямо с дороги в лес. Крутить педали становится сложнее — велик плохо идет по высокой траве, но Сгуха, оставив наконец прыщи, хватает руль двумя руками и яростнее давит на педали. Велик поддается и въезжает на горку. Наверху Сгуха останавливается, чтобы перевести дух и проверить уже намокший от пота мешочек Антона Солнце, который он положил в свой правый карман.

Дальше со склона колея идет получше. Видимо, грибники на своих машинах примяли. Когда Сгуха приходил сюда с Сеней Сантьяго пару дней назад, трава росла аж по колено, а теперь — вполне себе дорожка. Даже на велике можно проехать. Ну, спасибо, спасибо вам, грибники!

На следующем подъеме Сгуха оставляет велик возле кривой березы и бежит в лес.

Итак, думает он, пробираясь по лесу, а почему это его мучить совесть должна? Да не должна она! Причина раз — это он нашел продавцов. Это он вышел на барыгу. Скольких трудов это ему стоило! Сколько стремных, реально стремных людей он узнал, прежде чем вышел на этого тихого, ровного седого мужичка на аккуратной желтой «копейке». Все это подозрительно, конечно, но ведь он не угрожает Сгухе

расправой, не звонит посреди ночи. В бизнесе это называется конверсия: чтобы найти одну жирную сделку, надо провести много тухлых переговоров. Но все позади! Эта сделка была максимально удобной: деньги, тут же — товар на заднем сиденье «копейки». Да. Это он нашел продавцов... и он же нашел покупателя!

Спокойно, спокойно. В бизнесе это называется «ключевые показатели эффективности», или ки-пи-ай. Выше ки-пи-ай — дела твои лучше. Как повысить ки-пи-ай в данном случае? Все просто: чем толкать стафф на их гнилой тусовке, которая сегодня, скорее всего, уже провалилась, он лучше сделает это одним хлопком. Все и сразу — в одни руки. Вот такая вот наука менеджмента и экономики с их непростыми законами, мотай на ус.

Правда, тут надо будет сжать удила. Покупатель Сгухе не понравился, он куда как стремнее, чем продавец — сутулый, чалый, мутный, с лиловыми мешками под зенками, похожий на шакала Табаки из мультика про Маугли. Но вроде сговорчивый, только нагловатый. Сгуха встретился с ним в летнике неподалеку от заправки, быстро перетер и забил стрелку сегодня в четыре. Так вот, чтобы один раз сделать красиво и без сучка и задоринки, надо перепробовать кучу говна, а кто, как не он, Валентин Фильченко, знает всевозможный вкус разных говен, говн, говнин. Он просто эксперт по этой субстанции! Но — достаточно! Теперь никакого говна. Впарит таблетки этому шакалу, и будет покончено! Деньги, занятые у мамы, вернет. Хотя маме, в сущности, все равно, у нее этих денег — завались, как говна за баней, вон уже третий магазин открывает. Но довольно про говно! Впрочем, есть, есть еще над чем подумать — в товаре ведь еще и деньги Сени Сантьяго. Сгуха лопает очередной прыщ, глядя вверх, в летнее небо, пробирающееся сквозь кроны и как бы пульсирующее. Хватит думать! Сегодня он сбагрит товар — и завтра его уже не будет в городе. Уже в эту субботу — Арамболь, пляжи Гоа! А Сантьяго будет валяться с похмелья после своей вечеринки, его обступят страхи и сомнения, злоба и бессилие. Так что все с ним понятно. Он и сам тип мутный, этот жиденок, как-нибудь перебьется. Его долю Сгуха присваивает как человек, который познал сущность конверсии говна в деньги.

Лес расступается перед горящими глазами Сгухи. По лицу течет ручьями пот, от чего раздавленные по дороге прыщи мерзко зудят. Он выходит на просторную, заброшенную делянку. Пейзаж — как у Шишкина на картине. Такое же поваленное дерево, только медведей не хватает. Но они сейчас тут нахрен не нужны. Как и грибники. Сгуха облизывается, оглядывается по сторонам — почему-то, когда он шел сюда, ему казалось, что где-то рядом раздается треск веток. Но здесь никого нет, никаких тебе грибников, и Сгуха подходит к выкорчеванному корню. Забыл лопату! Но хер на нее. Земля еще свежая и теплая, коричневая, почти как... Да хватит уже про говно! Сгуха разрывает землю руками, пока его пальцы не упираются во влажный, прохладный полиэтилен. Он бережно поднимает упаковку и в который раз радостно думает: не могу привыкнуть к тому, какой этот пак тяжелый. Какой же здоровый он! В нутрях его, под полиэтиленом, переворачиваются нежно-синие таблетки. Как на византийских фресках — такой спокойный синий с прожилками белого. Цвет божественной благодати и финансового благополучия.

Сгуха жадно смотрит на таблетки в плотном полиэтилене, а затем поднимает голову и прямо на уровне своих глаз видит, что по поваленному, полусгнившему стволу громадной сосны, в корнях у которой он только что рылся, по этому мощному и твердому некогда стволу ползают муравьи — мураши. Они торопятся по своим делам в разных направлениях, эти мураши. И от этого слова — «мураши» — у Сгухи начинаются натуральные мурашки. Сначала как приятный холодок, потом как зуд, и потом — как назойливый, невыносимый чес. Переложив пакет в левую руку, правой рукой Сгуха тянется к лицу, но, вспомнив про налипшую на пальцы землю, снова опускает руку и дергано вытирает ее сначала о внутреннюю, затем о внешнюю сторону футболки. Нетерпеливо он поднимает руку к лицу, к щеке, и начинает дергать

прыщи — один за другим, ища подходящий. Ему надо только чтобы один лопнул, только один, и тогда Сгуха свалит отсюда.

— Эй, дружок, — раздается сзади, — а тебе мама не говорила, что давить прыщи нехорошо?

Сгуха сначала думает повернуться, но от неожиданности только сильнее хватается за свою зудящую щеку.

— Про Скрябина, композитора, не слыхал? Знаешь, как он умер? Выдавил себе прыщ грязными руками, и привет, сепсис. Заражение крови.

«Блядские грибники», — думает Сгуха и находит в себе силы повернуться. Прямо перед ним стоят два кота в своей серой форме. Два сержанта: старший и младший. Один из них, сняв фуражку и бросив ее на траву, резко приближается, прописывает Сгухе с правой под дых, а затем, повернув его в сторону поваленного дерева, шлепает лбом о полусгнивший ствол. Труха красочно разлетается в стороны. В самой своей сердцевине дерево еще не сгнило, оно достаточно твердо для того, чтобы от удара Сгуха отключился. Последнее, что он думает — ну какие, нахер, грибники? Сейчас же только июнь.

14:37

Как-то на удивление быстро всех отпустило. Никто не говорит о случившемся, будто бы это обычное дело — чуть не сгореть в лесу заживо.

Нет, конечно, по первой была и ругань, и много весьма крепких слов (скорее, риторического содержания, направленных вовне, а не какому-то конкретному лицу). Но под мою раздачу попал и Сантьяго. Мне достаточно было увидеть, как он украдкой выкинул в кусты пачку «Балканской звезды». Пока огонь плясал вокруг него, он лихорадочно сжимал ее в левом кулаке, а в правом не менее лихорадочно сжимал бензонасос.

Часть запаха дыма и гари постепенно выветрилась из наших одежд и волос, но часть запаха осталась с нами навсегда. И вот мы снова идем по прямой, заросшей лесной тропинке. Опять куда-то, как ни в чем не бывало, в поисках чего-то, будто бы это что-то спасет человечество. Да нет же, не спасет, на это и надеяться глупо. Просто другого нам не дадено — вот и идем мы по этому бесконечному, сырому и очень летнему лесу. Иногда тропинка спускается вниз, тогда духота и запахи трав становятся такими плотными, что почти невозможно дышать — растения выпивают в этих низинах весь кислород, здесь и не атмосфера вовсе, а нечто совсем иное. Какая-нибудь там еще -сфера. Возможно, даже время здесь за ненадобностью останавливается. Вокруг нас кружат липкие и увесистые, как переспелые абрикосы, слепни. Они водят свой хоровод, не то подталкивая идти вперед, не то предупреждая о чем-то опасном впереди.

Постепенно мы снова обретаем дар речи. Сначала из звуков получаются совсем даже не матерные слова, потом — предложения. Человеческий язык первым вспоминает Нат:

— Все это меня удивляет. Удивляет своей непостижимостью.

Тут и я вспоминаю, как нужно говорить.

— Да непостижимого здесь хоть отбавляй! Например, удивительно и непостижимо, что я тут с вами со всеми делаю... Я вообще восхищаюсь превратностями судьбы, — скриплю я зубами, попутно отгоняя слепней. Но на меня уже никто не обращает внимания.

— Ты лучше подумай, почему все это происходит в день Солнцестояния. Мы неспроста выбрали именно этот день. Победа света, победа Солнца. Это день, чтобы достичь единства, — встревает Сантьяго.

— Ага, это с тапками-то твоими. Грех его не достичь, единства-то.

— Ты многого не понимаешь. Человеку дана возможность менять химию своего тела. Ни у одного животного на планете такой способности нет. Отчего же этим не воспользоваться? Ты просто скептик и крайний индивидуалист, ты ни к чему так не придешь. Из каждого своего путешествия ты будешь возвращаться тем же: и по химическому составу, и по составу души. Ты не коллективного действия субъект. А вместе с тем сделать что-то можно только вместе. Социумом. Сплотившись, понятно? Для этого надо немного вырасти над собой и над своими мелочными индивидуалистскими интересами... Трансцендируй!

— Трансцендируй, ага... и пи*з*ди генераторы между делом.

— Проехали, — по-хозяйски парирует Сантьяго. — Нат, скажи лучше, а ты правда Тычинкина знаешь?

— Нет. Я специально сказал. Чтобы правдоподобнее. Я его видел. По телевизору.

— По телеку? Он что, какой-то особенный?

— Не думаю. По телевизору ведь все врут, так?

— Да и не по телевизору вранья предостаточно, — говорю я и, наконец поймав одного слепня и скомкав тельце насекомого в увесистый липкий шар, кидаю его в Сантьяго.

— Что ты имеешь в виду? Люди сами хотят, чтобы их обманули. Взять того же Боцмана. Мульку с Захариком накинул не я. Это он сперва завопил: «Захарик! Захарик!» А я всего лишь докрутил мальца.

— Несчастный человек, — шепчет себе Нат.

— Кто? Я? Да я самый счастливый на свете, учитывая, что Кали-Юга никого не щадит.

— Нет. Я про этого Боцмана. У него явно проблемы. С алкоголем, — тихо поясняет Нат.

— Пф! Я тебе скажу, как раз и навсегда избавить страну от пьянства. Нужно просто поменять названия у всех алкогольных напитков. Легко распивать алкашку, будучи уверенным при этом, что ты исполняешь священную миссию русской нации. Ты обращал внимание, какие поэтичные названия у водки? «Русский лес», «Рубежи империи», «Белая родина», «Народная». А вы назовите ее иначе. Сделайте распитие алкоголя непрестижным, и тогда проблема сама собой исчезнет!

— Сень, че ты мелешь опять? Ты вроде как и сам выпить не дурак, — останавливаю я его.

— Послушай. Во-первых, я потребляю алкоголь в целях исключительно рекреационных, я в этом смысла жизни не нахожу. А во-вторых, я делаю это осознанно и могу как пить, так и не пить. Так вот, возвращаясь к теме спасения страны. Я предлагаю насильственно сменить названия всех продуктов, содержащих алкоголь. Вот кто станет пить, например, водку под названием «Мужеложеская»? Или «Опущенный народ»? Или «Когда не стоит»? Или просто «40% раствор этилового спирта для дезинфекции ротовой полости после акта фелляции». Бля, да я лично за новый брендинг возьмусь! Я вам за неделю в стране пьянство искореню! И для пива у меня есть названия. Ну, например, можешь ли ты себе представить, что по улице будут ходить пацанчики с пивом «Любовники» или «Сладостный сатир моих грез»? Как, например, они будут покупать новые марки в магазине? «Девушка, дайте, пожалуйста полторашку “Гомоэротики” и баночку “Мужских соков”». Короче, у меня стратегия готова! А принты на этикетках я вот какие придумал...

Но я его уже не слушаю. Лес перед нами немного расступается, его удушающий, густой запах остается чуть позади. Впереди расстилается небольшая поляна, постепенно вырастает низенькая землянка, покрытая толстым слоем мха и щедро усыпанная елочными иголками. Рядом, через грядку, громоздится маленькая тепличка, сделанная из сотового поликарбоната. К дровнице прислонился старый мотоплуг марки «Урал». Все это — все эти вещи, не только землянка — как бы укрыто мхом, пожухлой палой

листвой, иглами, веточками. Все будто бы спит, укрытое под сенью времен. Мы останавливаемся и смотрим на эту картину. Спокойствием, тихим умиротворением и вялым теплом веет от открывшегося нам. Будто все эти вещи — и теплица, и мотоплуг, и дом — созданы не для человека, а для вечного забвения или, лучше сказать, для вечного божественного созерцания. Но где-то посередине пейзажа вдруг появляется движение. Две черные точки мелькают туда и сюда, переливаясь живым интересом. Это пара блестящих глаз наблюдает за нами. Пара смородинок-зрачков следит за нашими лицами.

На завалинке сидит маленький сухой старичок с аккуратной белой бородкой. Он улыбается.

14:52

— Репортеры, поди? — спрашивает голос откуда-то из-под лохматой бороды, ехидно так интонируя на гласные.

— Георгий Иванович Тычинкин? — спрашивает Нат.

— Это кто вам сказал, что меня так звать-величать? — чмокает старичок.

Мы переглядываемся. Нат делает шажок вперед:

— Роман Фомич сказал.

— Ах, он жук, Роман Фомич! С фамилией-то не ошибся.

Старичок глуховато смеется, легко вскакивает с завалинки, смахивает с коленок огрызки тыквенных семечек и хвойных иголок, поправляет на голове рыжий берет, с него тоже валятся труха и иголки.

— На да ладно, чего ж. Пусть буду Георгий Иванович! Хоть горшком назови, только в печку не ставь. Ну что? Поди спр*о*сите, пошто эт я из города срулил? Поймете ли?

Мы снова переглядываемся, не в силах ни утвердительно ответить, ни отрицательно. Просто полянка вокруг вдруг сама зашевелилась, все пришло в движение: спорхнула птица, прошелестел листвою лес над нами, покрывало из иголочек, расстеленное по всей полянке, тоже будто бы задышало, ожило. Засеменил миллионом маленьких лапок большой муравейник возле сосны.

— Ну, это вопрос ваш регулярный, — добро улыбаясь, говорит старичок. — Вы его с завидной частотой задаете, не сморкаясь и не жужжа. Поймете ли? Включай свою кинокамеру, механик, — моргает он Сантьяго и показывает на бензонасос.

— А это и не камера совсем... — поначалу теряется Сантьяго, а потом хмурится и делает вид, что нажимает кнопку на абсолютно гладкой сизой стали бензонасоса. После этого деваться уже некуда, и Сантьяго, видимо, входит во вкус. Он наставляет на старика один конец трубки, а в другой смотрит, как в видоискатель камеры.

— Знаю я, что не камера. Это универсальное записывающее устройство. Я не видел таких, что ли? Нам на заводе еще при кубинском кризисе такие показывали, мол — везде слежка. Жучки! Американцы-то давно уже таким промышляют. Ладно, чего это я? Как ушел из города, спрашиваете?

Старичок опять замолкает, видимо, выжидая реакции. Мы молчим. Через всю полянку пролетает бабочка-лимонница, за ней вдогонку — крапивница. А слепни, замечаю я мимоходом, куда-то вдруг отступили.

— Так вот, ушел-то неспроста... Не с бухты-барахты, не на авось, не с кондачка. И не скажешь всего, и не вышепчешь!

Старичок вновь умолкает, улыбаясь. А мы просто молчим, мы смотрим на все, что вокруг. И тишина эта, этот покой осторожно меняются. Как именно — нам сложно сказать. Почва под ногами шевелится, но — едва заметно глазу, как поверхность воды в тихий штиль.

— Перед этим, — закрыв глаза, продолжает старичок, — сорок лет на заводе

отпахал да бабку схоронил в землю. А вещью, основательно подвигшей меня удочки сматывать, так сказать, каркасом истории, было такое: захожу я как-то в туалет ночью, а там сороконожка на меня смотрит. Ну, такая, понимаете, как сколопендра, только масенькая и неядовитая. Ну, натуральная сороконожка, буквально с ноготь на мизинце длинной. Худющая...

Тут старичок вытягивает свой длинный желтый мизинец с почерневшим от земли ногтем. Он внушительно трясет пальцем, а мы смотрим, кивая.

— Ну, и говорю ей: здравствуй, подруга! А она будто бы на дыбы даже встала. Как собачка совсем. Вот так, понимаете?

Старичок, согнув руки в локтях, старательно изображает услужливую цирковую собачку.

— Ну ладно, сделал я свои дела, из туалета-то вышел, пошел на кухню сочень жевать. Сочень жую да думаю про себя: а чей-то меня это так удивило, ведь эти сороконожки — «литобиус пулкрам» по латыни — тут, на земле, были покуда нас еще не было. И отцов наших не было тогда, и дедов в помине. А теперь я пускаю ее как бы в свой туалет и удивляюсь еще. А все ведь напротив, поймете ли? Это они меня к себе пустили, вот эти древние подруги. Это я перед ней собачкой встал, получается. И ведь нечего терять теперь, если ты всего лишь собачка перед насекомым. И пошел я, и продал свою квартиру, и уехал сюда. И живу теперь, и каждой твари поклоняюсь. И мышке какой, и сове, и мошкам-букашкам, и червяку. И тебе, репортер! И тебе, дорогой уважаемый телезритель!

— Благодарю, — кланяется ему Сантьяго.

Тычинкин, закончив монолог, опирается голой ладонью о бревно в дровнице. Я в этот момент озадачено смотрю на Ната и вдруг вижу, что на его бледных щеках начинают проступать красные, неровные, будто очертания материков, пылающие пятна: именно так выглядело его лицо сразу после пожара. Он смотрит куда-то с восхищением и ужасом, его улыбка застывает, а уголки губ — тихо подергиваются.

Я поворачиваюсь и вижу Тычинкина, задорно улыбающегося из-под своей растрепанной, но каким-то непостижимым образом все же аккуратной бороденки. Вновь смотрю на Ната и вновь на старика. Тут до меня постепенно доходит: Нат смотрит не в озорные глаза старичку, а на его кисть, лежащую на поленнице. Я пристальней смотрю на сухую кисть старичка и наконец все понимаю.

Длинных и узловатых пальцев его руки почти не видно, они будто бы утонули в вязком, черном дегте. Это не обман зрения. Вязкая масса действительно есть, она жива, и это не деготь — это сороконожки, личинки, муравьи, клопы и другие букашки копошатся, слившись в единый живой организм. Насекомые просачиваются сквозь бревна, сквозь щели в дереве и радостно ласкают длинные, худые старческие сухожилия. Они копошатся по всему запястью, они двигаются по руке выше, проникают под рукав. По открытой шее и лицу старичка пробегает сначала один скромный муравей, затем еще и еще. Тут за моей спиной слышится звонкий, неровный керамический стук. Это от увиденного зубы Сантьяго так щелкают.

Я набираюсь сил и спрашиваю:

— Дедушка, это ваш мотоплуг?

Он глядит в сторону «Урала». Насекомые уже во всю резвятся в его бороде.

— Ото ж. Единственная вещь на моей делянке, которая имеет неприродное происхождение. Ну, помимо сотового поликарбоната... Вспахиваю им островок земли, мотоплугом-то. Сам-то стал стар на силы, не справляюсь. А мои друзья пахать не хотят, все зовут меня к себе.

— Ваши... друзья? — с отвращением спрашивает Сантьяго. Ему это не дается легко, слышно по артикуляции — он боится ненароком откусить себе язык.

— Мои друзья. Мои. И ваши!

Тычинкин семенит к мотоплугу.

— Двигатель внутреннего сгорания! — деловито говорит он, сердечно обводя рукою поверхность «Урала». — Сколько же разъединил ты, и сколько же воссоединил! Знаете, молодежь, сердце насекомых чем-то похоже на двигатель внутреннего сгорания. Я думаю, что единственный способ человеку жить вечно — это искусственное сердце. Маленький двигатель внутреннего сгорания! «Сердца пламенный мотор»! Поймете ли? Я знаю, о чем я говорю. Я в отделе двигателей внутреннего сгорания сорок лет проработал. Вот так, от печки!

Старичок ласково гладит бак мотора. Насекомых мы больше не видим, но зубы Сантьяго все еще стучат, а щеки Ната все еще светят красными неровными пятнами.

— После моей смерти, — шепчет дед, — мои мышцы станут из хитина, а мои кости соберутся в один большой двигатель внутреннего сгорания. Вот и заживем тогда.

Тычинкин продолжает гладить бак, руль мотоплуга, будто бы машина — это нечто теплое, родное и живое. Сантьяго перестает стучать зубами, но начинает забавно подтанцовывать, поочередно вскидывая плечи. Он уже давно опустил бензонасос и, кажется, вышел из роли телеоператора. Вдруг Нат делает шаг вперед.

— Мы как раз за этим сюда и пришли... — говорит он.

— За моим сердцем? — хмурится Тычинкин.

— Нет. Не ради него. Мы не совсем репортеры, Георгий Иванович. Вернее было представиться вам корреспондентами. А если точнее — членами-корреспондентами. Членами-корреспондентами Российской Академии Наук. Мы работаем в научно-исследовательской лаборатории. Изучаем возможности механики двигателя внутреннего сгорания. В области трансплантологии.

— Отдел дэ-вэ-эс? — вскидывает тонкую правую седую бровь старичок.

— Его научный сектор, — кивает Нат. — Так вот, нам сказали, что у вас есть ключ для генератора «Зу-два». Понимаете ли, это очень редкая деталь. Без нее дальнейшие изыскания не представляются возможными.

— Вот так, — вскидывает уже обе брови Тычинкин и, задумавшись, начинает чесать свою бороду. Большая сороконожка выбегает на поверхность в районе губ и шмыгает обратно в заросли в районе уха. Нат видит это, и опять на его белом лице вспыхивают ярко-красные пятна. Он собирается с силами и продолжает:

— Да, так.... Сейчас мы работаем над макетом большого искусственного сердца. На солярке. Могли бы вы дать нам ключ от бензонасоса? Мы здесь только за этим.

Тычинкин так щурит глаза, глядя на Ната, что кажется, будто бы он их совсем закрыл и спит. Он причмокивает губами и спрашивает:

— А тебе ведь тоже в тяжбу легонько, да?

— Что, простите? — улыбается Нат.

— Ну, не от мира ты этого, да? Вроде как моль.

— Да нет, дедуль, — на полной скорости тараторит Сантьяго, — он не моль, а просто альбинос.

Старичок задорно ухмыляется. По его морщинистому лбу, вдоль тонкой правой брови, проползает черный муравей.

14:52

Очнувшись на заднем сиденье котовской «девятки» Сгуха первым делом видит размытый силуэт кота, сидящего за рулем. Дымно. Пахнет ганджей. Серая униформа напоминает ему брезентовую куртку, в которой грибники обычно ходят за своими опятами — ну такие обычные, старые, брезентовые куртки. На секунду Сгуха даже верит в это совершенно полностью. Совершенно полностью — но на секунду. Но тут же вспоминает — ну какие опята в июне?

Трещит лоб. Сгуха тянется левой ладонью к месту ушиба. Лоб от прикосновения начинает саднить — здорово его припечатали. Сгуха пытается сфокусировать взгляд на

пальцах — нет ли крови? Крови нет, зато на пальцах остается труха и несколько трупиков раздавленных муравьев. Сгуха разглядывает это с пару секунд, пытаясь сфокусировать взор, а затем резко выпрямляется и в ужасе гадливого отвращения трясет рукой, издавая при этом высокое «И-и-и-и!» Лицо его от такого перепугу искажается, как если бы он, проснувшись поутру, обнаружил у себя в кровати гигантскую, размером с овчарку, муравьиную матку.

Рулевой резко делает по тормозам и вминает Сгуху в переднее кресло, на котором, он только теперь замечает, сидит второй кот. Оба кота резко поворачиваются в мутном ганджевом дыму и хором горланят, мол, ты че, вконец ебу дал. От двух неизвестных рож, от их лычек, от запаха ганджи Сгуха проваливается в какую-то крайнюю степень паники и уже не отдает себе отчета в дальнейших действиях. Он резко дергает за ручку двери, но дверь не открывается. Тогда он автоматом хватается за пуговку и поднимает ее вверх, снова дергает ручку. Дверь на этот раз распахивается. Сгуха вываливается из машины и пробует сделать шаг. Однако кто-то или что-то больно держит его за запястье правой руки.

— Пустите! — верещит он.

В ответ слышит густой издевательский смех. И смех этот настолько неуместный, что Сгуху враз отпускает. Он смотрит вокруг — лес поредел, впереди — обрыв заброшенного карьера. Коты весело палят на него из машины — из дыма видны только их носы. Сгуха собирается с мыслями и делает еще один шаг, но его что-то снова больно дергает за правое запястье. Он, наконец окончательно одуплившись, смотрит на руку и видит серый браслет наручника. Второй браслет пристегнут к подлокотнику двери. Растерянно Сгуха смотрит на котов, будто спрашивая — «и что мне теперь делать?»

— Садись, че встал-то, Сгущенка? — отсмеявшись, говорит кот на пассажирском. Он, видимо, умеет читать мысли.

Сгуха медленно усаживается. Дверь не закрывает, поэтому сидит в нелепой позе, вытянув правую руку из салона.

— В пещере что ли родился? — медленно спрашивает кот на пассажирском.

— Нет. В Златоусте.

Кот за рулем начинает истошно хохотать. Он согнулся бы пополам, но ему мешает руль. Затем он тянется к полке на торпеде. Там уложена смятая жестяная баночка от колы. Кот берет ее, просовывает руку в цветастый сокс, тот лежит рядом с банкой, достает оттуда щепоточку, укладывает ее бережно на подкопченный пятачок на баночке, чиркает зажигалкой и прикладывается губами к отверстию. Делает полную хапку, потом еще одну, прокашливается, но все равно делает третью хапку.

— Сука, абориген, — хрипло говорит он, очевидно, Сгухе, и снова начинает смеяться.

Сгуха почему-то не обижается на это «абориген», но про себя отмечает, что кот скурил всю горку в одного, даже не предложив товарищу на пассажирском.

— Дверь закрывай, — говорит кот на пассажирском.

Сгуха успевает его разглядеть. У него живое, большое, сытое лицо. С таким обычно играют в КВН и даже становятся капитанами команды, потом, правда, всю эту лабуду бросают и начинают продавать какие-нибудь запчасти для грузовиков в своем офисе. Че он в коты пошел?

Сгуха понимает, что сидит в очень нелепой позе и послушно закрывает дверь. Машина трогает с места. Кот за рулем продолжает покашливать. Вдруг Сгуха думает: «Они что, не знают, что мне скоро улетать на Арамболь?»

Кот на пассажирском снова, видимо, читает его мысли. Он, особо не поворачивая головы, спрашивает:

— Сгущенка, ты мне одно скажи. Ты куда намылился?

Сгуха сначала думает ответить про Арамболь, но вдруг передумывает и просто молчит.

— Вот с этим вот килограммом без ста грамм, куда ты собрался? Скажи честно? На побережье Индийского океана?

Сгуха продолжает молчать.

— Ну загнал бы ты его, а дальше что? Это ж неплохие такие деньги. Маме бы долг хоть вернул?

— Да, — отвечает пересохшими губами Сгуха.

С этого момента что-то в нем начинает клокотать, будто бы на медленный огонь поставили кастрюлю с холодным, наваристым супом.

— Это понятно. Ты ей, наверное, нормально так задолжал? Сколько? Двести, триста? Но мамке можно не отдавать, да? Мамка третий магазин открывает, у нее все в ажуре. В отличие от всех нас.

Сгущенку начинает дико трясти, щеки вспыхивают и жутко чешутся. Он дергается почесать, но наручники не дают.

— Слушай, Сгущенка, ты за свою старушку должен быть очень горд! Когда лет семь назад она открыла первый магазин со всеми этими бадами, с этим мумием, я аж охренел. Я подумал — ну ведь никто не купит. Ну ладно бады, но вот мумие — это ж говно, в буквальном смысле. А потом народ как пошел! Сколько же у нее бабок, а? Ну ты же из приличной семьи, Сгущенка. Зачем полез в это все? Неужели тебе денег мало? Мамка столько говна продает, что тебе должно хватать на нормальную жизнь.

Машина вдруг останавливается на небольшой опушке возле самого края карьера.

— Слушай, — опять поворачивается кавээнщик. — Только что вот подумал. Торговать колесами — у вас это вроде как семейное, да?

Кот за рулем снова хрипло смеется.

— Только знаешь, Сгущенка... Если мать твоя торгует бадами, от которых ничего — ни голове, ни жопе, то ты решил пойти дальше. Ты знаешь, скольким мальчишкам и девчонкам это снесет башню? Ты пробовал вообще сам, чем торгуешь? Пробовал, спрашиваю?

Сгуха в отчаянии мотает головой.

— Молодец, Сгуха. Ты — отличный барыга, пять баллов. Нам бы таких побольше. А вот твой друг Арсений — не очень хороший. Не профессионал. Любитель. Салага потому что и торчок. Кстати, ты думаешь, ты один такой умный сюда приходил? Сеня вчера здесь был, только он не додумался забрать все. Он отсыпал себе немножечко да пошел восвояси. А тебе надо все и сразу, а?

Тут от внутреннего напряжения Сгуха задыхается, а потом, сбиваясь и кряхтя, выплевывает:

— Вы ничего не докажете! Мне нужен адвокат! У меня есть право одного звонка!

Сгуху трясет. Рулевой снова, как гиена, хохочет. Кавээнщик, деликатно подождав, продолжает:

— Слышишь, олень, в этом пакете столько, что тебе ни один адвокат уже не поможет. Ни адвокат на мамкины деньги, ни страсбургский суд по правам человека. Потому что там, в Страсбурге, защищают людей, а не животных. Да вот этого даже хватило бы, чтобы ты поехал далеко и надолго.

И кот сует под нос Сгухе краденный у Антона Солнце сокс, полный ганджи. Сгуха смотрит на него и какое-то время не может ничего понять. Как бы пытаясь вернуть ему память, кот берет маленькую щепоточку из сокса и бросает Сгухе в лицо. Будто бы это ритуал такой магический: возвращение памяти бросанием в лицо ганджи.

— А если бы у тебя в кармане груза не было, мы бы тебе, будь уверен, одолжили бы, — хрипит шакал за рулем.

— Ну как, товарищ старший сержант? — обращается к нему кавээнщик. — Приобщаем улику к делу?

— Никак нет, товарищ сержант, — отвечает тот.

— Это почему, разрешите осведомиться, товарищ старший сержант?

— Разрешаю. Потому что, товарищ сержант, эта улика мне самому чрезвычайно понравилась, — говорит кот за рулем и тянется к соксу, зачерпывает оттуда щепотку, кладет на сплющенную баночку и поворачивается к Сгухе.

Сгуха смотрит ему в лицо — такое мерзкое бледное лицо с широко расставленными глазами, каждый из которых внизу снабжен лиловым мешком. Бровь у него одна — мохнатая, как щетка для обуви. Только посередине — не по годам глубокая морщина. Похож он на стремного шакала Табаки из мультика про Маугли.

— Здарова, Сгущеныш, — хрипит шакал и, присосавшись к баночке, взрывает.

У Сгухи мгновенно вспыхивают щеки, лоб, скулы. Чешутся они так, что хочется просто содрать кожу вместе с мясом.

— Узнал? — спрашивает шакал и выдыхает дым Сгухе в лицо.

15:00

— Как доберетесь до весьма косматой сосны, сначала — по тропке прямо. Потом — так, — говорит старичок Тычинкин и, вытянув ладонь вперед, резко поворачивает ее направо.— А потом — вот так. Поймете ли?

И он «ломает» ладонь в противоположную сторону.

— Так напрямки, а там и дорога, и дизеля бегают.

Видя мое озадаченное лицо, он снова повторяет жест.

— Сначала так и так, потом так и вот так.

Я неуверенно улыбаюсь и киваю.

— Так и так! — снова повторяет он жест.

Я киваю уверенней.

— Не трухай, комарик, — вдруг подмигивает мне Тычинкин. — Ты как клоп будь. Свое кусай, а другим не давай. Как прихлопнуть хотят — текай. Ну а вошь — на гребешок и — под ноготок. Поймешь ли?

Тянет переспросить, но вместо этого я кидаю тихое «спасибо» и бегу за парнями. Сантьяго уже скрылся из виду.

— Отделу двигателей привет! — кричит нам вслед старичок.

Но мы его уже не слышим. Мы с Натом едва успеваем догнать Сантьяго, который нервно подергиваясь то левой, то правой частью тела, быстро топает по тропинке. Двигается он чрезвычайно стремительно, даже не успевает сгибать ноги. Руками Сантьяго истошно машет вдоль туловища.

— Домой, домой! Солнцестояние!

Со стороны Сантьяго выглядит как человек, который неожиданно для себя занялся финской ходьбой, только забыл взять в руки палки. Он яростно втыкает пятки в мох, будто бы пытается раздавить невидимых насекомых. Его корежит не на шутку, он поминутно отряхивает что-то то с левого, то с правого плеча. Зрелище это сколь странное, столь и увлекательное.

Тем временем мы добираемся до весьма косматой сосны.

— Сначала прямо. Потом — так, а потом — так, — показываю я ладонью в воздухе.

— Это все детали, ненужные детали. Скорее! Скорее же! — скрипит зубами Сантьяго.

И мы двигаемся от этого действительно весьма и весьма косматого дерева налево. «Поймете ли?» — будто бы ухмыляется лес нам вслед.

15:25

И вот идем мы по колее, проложенной кем-то в лесу. Мы идем, не сбиваясь с пути. Еще чуть-чуть, и мы выйдем на дорогу с шустрыми дизелями. Иногда нам даже кажется, что мы слышим шум проезжающих машин, но это только шуршит ветер в кронах. Мы молчим. Нат достает из кармана маленькую кругленькую свистульку, расписанную китайскими драконами, и начинает тихо, неровно дудеть в нее, периодически делая паузы и вслушиваясь в эхо.

Если бы я изучал лекарственные растения средней, европейской и азиатской части России, то я бы обратил внимание на девясил и горец птичий, на ноготки, пастушью сумку, на хвощ, чистотел, на щитовник мужской, на венерин и капельный башмачок — на это все многообразие растительного мира у нас под ногами и вокруг. Но я просто, как и мои товарищи, шагаю прямо среди неназванных трав.

Когда мы понимаем, что свернули от весьма косматой сосны не в ту сторону, уже слишком поздно. Сантьяго так разогнался и так быстро и уверенно шагал поначалу, что остановить его не было никакой возможности. Так мы изначально двинули совершенно в другом направлении, куда-то вглубь леса, и теперь вернее было бы не менять направления. Ведь дорога куда-то идет, а значит — куда-то да выведет. А дальше — какой-нибудь пригородный автобус с дачниками. Мне уже спешить некуда. Поэтому я никуда и не спешу. Меня уже никто не ждет.

Тут Сантьяго, видимо, от стресса там всякого, припирает. Нарвав листьев медуницы, он уходит с дорожки в лесок. Нат стоит, напялив смешной рыжий берет Тычинкина. Старичок подарил ему свой чудной головной убор вместе с ключом. «В знак признания великих научных устремлений», — сказал Тычинкин. Нат опять достает свистульку и начинает играть, а я вдруг понимаю, что другого такого момента у нас не будет.

— Нат, я должен с тобой поговорить, — начинаю.

— Едва ли...

— Это все сантименты. Давай к делу.

— Ну давай.

— Короче, к делу. У тебя с Ёлой все было по-настоящему. Но она тебя... Как это? Не ценила что ли?

— Она ценила. Только по-особенному. Как все вы цените.

— Как все мы?

Нат тихо улыбается, не отвечая.

— А как же тогда было?

— Где было?

— Там в клубе, ночью.

— Там в клубе ночью она спросила меня, может ли она уехать с тобой. И я сказал: о'кей.

— «О'кей»? И все?

— И все. Так что ты мне ничего не должен. Тем более извиняться.

— Откуда ты знаешь, что я хотел извиниться?

— А что ты, просто поговорить хотел?

— Вообще-то, действительно, извиниться. Извини.

— Не стоит, серьезно. Я все понимаю.

— Но так ведь нельзя.

— Можно.

Кусты раздвигаются, и из них высовывается порозовевший, довольный Сантьяго.

— Эй, голубки! Глядите там, что я нашел! Айда-ка!

Мы сходим с тропы вслед за Сантьяго. Я пристально смотрю под ноги.

— Сеня, только покажи место, где ты присаживался, а то у нас сегодня приключений предостаточно.

— Да все это фигня, а не приключения! — говорит Сантьяго взбудораженно. — Там целая канистра, пацаны!

— Как из-под твоего коньяка? — спрашивает Нат.

Мы выходим на небольшую светлую просеку, вполне для леса обыкновенную. Все здесь уместно: обыкновенное разнотравье пахнет июнем всюду, обыкновенные пни и сильно вдали за лесом — прослойка сиреневых, будто что-то выжидающих гор. Единственное, что тут неуместно, так это огромная цистерна из-под горюче-смазочных материалов. Такие ездят по железной дороге, в них перевозят пропан-бутан, всякую там смолу, битум и, наверное, нефть. Цельная, громадная железнодорожная цистерна со всякими там номерами и буквами по бокам. Жирно, гордо выведен логотип «УралВагонЗавод». Все мы дружно прикидываем, где тут поблизости железная дорога. Даже начинаем осматриваться, может, мы в разговорах не заметили, как перешли одноколейку? Ну, может тут поблизости какая секретная ветка или вроде того?

Но ничего не обнаружив, мы хором вспоминаем, что ближайшая железная дорога как минимум километрах в пятидесяти. И находится она за озером, а это вообще ой как неблизко, даже дизель туда не проедет.

— Это ты эту цистерну канистрой назвал? — спрашиваю я, глядя на озаренного Сантьяго.

— Ну перепутал слова немного. Че докопался?

— Может быть, это бригады, которая лес валит? — нахмурившись, спрашивает Нат.

— А ты тут где видишь работы? — удивляется Сантьяго. — Где лесоповал? Где техника? Пилы, цепи, че еще надо там для работ?

Мы обходим цистерну. В ее торце я обнаруживаю надрез. Прямоугольный. Почти во всю вышину.

— Дверь, что ли?

Пацаны недоверчиво смотрят на меня, потом — на надрез.

— Кажись. Даже вот ручка есть.

— Верю, — спокойно отмечает Нат и аккуратно берет за маленькую петельку из проволоки, торчащую из тоненькой дырочки в двери. Нат тянет. Дверца бряцает, но не поддается.

— Ладно, компаньерос. Идем-ка отсюда, пока никого не встретили, — говорит вдруг Сантьяго. — Надо найти дорогу и вернуться, а то нас уже заждались.

Вернуться, ишь размечтался... И Сантьяго шагает вперед.

15:30

Все мы себя будто для чего-то готовим. Для какого-то особенного переживания, для чего-то большого. Сантьяго вот — для своего рейва, кто-то еще — для каких-то других несуразных прожектов. И мы забываем, что наша история ни за какой крюк не подвешена. Ни у кого нет ключей от невозможного и прекрасного будущего, каким бы невозможным и прекрасным оно там не казалось или каким бы там нам его хором не обещали. Нет, я вовсе не хочу сказать, что нужно жить здесь и сейчас, ведь это просто иногда невозможно физически. И дело вовсе не в том, что надеяться — глупо. Просто ничего уже не повторится. Все будет другим, совершенно другим, а это значит, что и готовиться к нему нет нужды. Понятно ли? Сейчас объясню все на пальцах.

Вот куда этот кудрявый кретин так спешит, скажите мне на милость? Какие такие блага ему там померещились? Ну, врубит он саундсистему, ну, потанцует народ, а дальше-то? Что он все суетится? Что я суечусь? Разговор же не об этом, а о том, что все, что происходит, — происходит только с нами. Только с нами. Я поворачиваюсь,

чтобы сказать это Нату, но он так улыбается, будто бы и без меня все понял. «Ага, — говорит он своей слегка размазанной улыбкой, — с нами, чувак, с кем же еще?»

Тогда я подаюсь чуть вперед, чтобы сказать об этом Сантьяго, а то он убежал опять куда-то вперед. Я только хочу окрикнуть его, но он сам вдруг оборачивается:

— Пахнет дымом! — орет он и машет руками.

— Эй, может, дыма на сегодня хватит? — кричу я в ответ.

Но Сантьяго бросается вперед, перемахивает через небольшую горку. Мы ускоряемся. С вершины видим: Сантьяго стоит возле высоких ворот из профнастила. Довольнехонький.

— Цивилизация! — истошно орет он. — Ох, сейчас стрельнем папирос, как же я курить хочу, аж зубы чешутся!

Мы идем к Сантьяго. Огромный забор высится прямо среди леса впереди.

— Ворота открывай! — хватается Сантьяго за ручку и тянет на себя.

И он распахивает ворота и делает шаг внутрь.

— Цивилизация! — кричит он. — Эй! Есть кто живой? Курить дайте!

За забором открываются дома, какие-то строения из прозаичного серого кирпича. Возле них — движняк, ходят люди, откуда-то негромко играет музыка.

— Сеня, — осторожно зову я.

Но он меня не слышит. Он поворачивается и с видом человека, которому подарили автобус, тараторит:

— Блин, братва, кажется, я знаю это место! Это ж пионерский лагерь! Я сюда в шестом классе ездил!

Тут-то до меня все и доходит. Но уже слишком поздно. Сантьяго, однако, продолжает:

— Помню вожатую! Светлана Валентиновна звали! Уволилась уже, наверное. Блин, я знаю, у кого стрельнуть сиг — у дворника Арсенича, мы у него спирт покупали всем отрядом. Ну, че встали, айда!

Мы смотрим на Сантьяго, на желтые фигуры, которые скользят за его спиной из зарослей. Огромное желтое покрывало, как флаг, развивается на мгновение над головой Сени, как социалистический флаг над свободной Кубой, а потом опускается, скрывая его из виду. Еще за секунду до этого он смотрит на нас с внезапной гадливостью и отвращением, как моряки смотрели на гнилое мясо в фильме «Броненосец Потемкин». Понять не могу — что же он так впялился-то, куда? Но тут же желтая пелена застилает мне глаза. Я чувствую несколько твердых рук, они скручивают меня вдвое, втрое. Мгновение — и меня уже толкают куда-то вперед. Повсюду — спешный топот десятков пар ног и мой собственный скрип зубов.

— Вы тащите свою цивилизацию везде, всюду! В океаны и в заповедные уголки! В наш святый дом! Но вам этого не удастся! Мы спасем себя. Мы спасем вас!

Я почти максимально склонен к земле. Жёлтая накидка сидит на мне неплотно, она периодически слетает, и я могу видеть свои ступни. Трава под ногами исчезает, появляется выжженный газон. У Сантьяго накидка и вовсе падет с головы. На секунду он замечает вполне красивую и прилично выглядящую желтую «копейку», припаркованную возле ворот.

— Вы проникли на территорию Желтых Жнецов и Свидетелей Озарения. Теперь мы спасем вас!

— А Арсенич работает еще? — успевает выкрикнуть Сантьяго, прежде чем его бьют под дых.

Меня тоже сильно толкают в бок, и я иду, что остается делать? Собраться и подумать. И идти.

Ну, теперь-то понятно?

15:05

Сгуха смотрит в лицо шакала так, будто бы оно значит что-то кроме того, что оно просто есть. Шакал еще раз присасывается к бутылочке, выпускает струю Сгухе в лицо. От тумана в тачке тот уже давно словил маяки — или это его с собственного адреналина так прет.

Шакал смотрит на кавээнщика.

— Пошли, — говорит он и откладывает баночку на торпеду.

Коты синхронно выбираются из тачки. Дверь Сгухи открывается. Кавээнщик достает ключи и отцепляет наручник от ручки, жестом показывает — мол, выметайся. Сгуха и встает, че еще делать-то. Он выбирается и тут же чувствует, как вибрируют его колени — мерзко, мелко, противно, просто как мамина массажная машинка.

Кот-кавээнщик тем временем хватает Сгуху за левую и четко, уверенно накидывает на его запястье браслет. Секунда — и вот Сгуха стоит с руками за спиной и смотрит в открытое небо — обрыв карьера всего шагах в двадцати. Теперь небо пульсирует куда как заметнее. Такое, блин, летнее небо, о котором только рассказывать или вспоминать можно, но которое отчего-то никогда, сука, сам не замечаешь, только если в особо важные моменты жизни.

Шакал на небо вообще не смотрит. Он даже на Сгуху-то не смотрит, он смолит сигарету — медленно и задумчиво. Сгуха заканчивает всю эту лирику с небом и сам смотрит Шакалу в глаза — мыльные, красные от ганджи. Затем Сгуха переводит взгляд на его лычки. Ну почему он не сел на палево три дня назад, когда впервые увидел эту физию в пыльном летнике на окраине города? Ну ведь сразу понятно, что кот — по этим ублюдочным широко расставленным глазам, по общей надменности, ущербной усталости во взгляде.... Да ни хера не понятно, если честно. Такой взгляд и такие повадки у каждого второго мужчины в стране, читай — у каждого мудака. Смотри в это лицо: брезгливая покорность своей судьбе. Просто мутный тип со сросшейся бровью и морщиной посередине — как у всех любителей покурить.

— Пошли, — говорит это лицо Сгухе.

И Сгуха чувствует толчок в спину. Ростом Шакал поменьше Сгухи, хотя и Сгуха не сказать, что высокий. От его прикосновения Сгуху сначала берет оторопь, но вдруг находятся силы, смелость, и он говорит:

— Если вы думаете, что я сейчас вам дам показания, то вы ошибаетесь. Я... — на этом месте Сгуха противно дает петуха и прокашливается.

— Пошли, — только и отвечает кот-шакал.

Он толкает его к карьеру. К самому краю. Кот-кавээнщик в это время просто смотрит в сторону.

— То, что вы договаривались со мной в кафе — еще ни о чем не говорит. Проверьте ваши записи, вы же писали эту встречу! — чирикает Сгуха.

Шакал толкает его в спину.

— А сегодня я забрал таблетки, чтобы привезти их вам! Я все осознал, я решил прийти с поличным!

— С чистосердечным, — поправляет его кавээнщик.

— Пошли, — повторяет шакал и снова подталкивает Сгуху.

До обрыва остается шага три.

— Стой тут, — глухо говорит шакал и хлопает себя по поясу.

Сгуха послушно стоит. «Что за говно», — вертится у него в голове. Хочется почесать лицо. Сзади какой-то шорох.

— Блядь, Дима, — говорит шакал кавээнщику.

Три шага.

— Не буду же я из табельного. Принеси из багажника.

Кот-кавээнщик Дима возвращается к машине и открывает багажник. Шакала тем временем начинает подтрясывать, это видно даже затылком.

Кавээнщик возвращается, идет быстро. В его руках — пистолет с какой-то пластиковой бутылкой на стволе. В бутылке что-то телепается — какая-то металлическая стружка или типа того. Все это добро замотано изолентой. Выглядит довольно нелепо, как, блин, скворечник, слепленный садиком ЗПР под предводительством похмельного дворника. Кавээнщик передает пистолет Шакалу.

— Отвернись и не смотри, — сипит Шакал.

Сгуха тяжело дышит, всхлипывая. Только сейчас он понимает, что та мелкая дрожь из коленок теперь одолела все его тело. Сгуха думает: «Че это я трясусь как мамин массажер или как резиновый член с моторчиком?» Он медленно отворачивается к обрыву и смотрит сначала вниз — там растут молодые березы. Карьер глубокий, до верхушек берез метров десять. Потом Сгуха смотрит в небо. Оно пульсирует, как огромный полиэтиленовый мешок с голубыми таблетками на ветру. «Хорошо, что туч нет, до самолета на Арамболь съезжу на озеро, искупаюсь», — думает Сгуха.

15:10

Итак, что мы знаем про желтых?

Если вы смотрели новости лет 10 назад по центральному ТВ, то, наверное, видели истории про пропавших мальчиков. Родители отдавали их в разные спортивные секции. Обычные такие секции при местных раздербаненных дворцах спорта. Сначала пацаны подавали надежды, им выдавали желтые спортивные костюмы и увозили на соревнования куда-то на Урал. А потом — хоп, и нет пацанов. Куда девались все эти мальчики, не знал никто. Однако существовали причины считать, что все это было связано с сектой Жёлтых Жнецов. Формально же взятки с них были гладки, желтые ни при чем, они просто люди, которые любят собраться в местном ДК и попеть не то песни, не то мантры. Они всего лишь живут на территории одного бывшего лесного пионерского лагеря, выкупленного неизвестно на какие шиши, и только. Наверное, у каждого в городе был диковатый страх относительно этих желтых, и чтобы не напрягаться, чтобы не думать себе лишнего, люди договорились считать их эдакими безопасными фриками, которые никому в общем-то не мешают. Но каждый себе по-тихому проецировал на этих мутных граждан свои тревоги и ужасы. И правильно: кто знал, что там у них творилось в этом полузаброшенном пионерском лагере, да и зачем знать?

В городе нашем нередко были такие истории: разведенный муж, или там жена, которой изменили, или какой-нибудь бывший наркоман, или бывший солдат первой чеченской с посттравматическим синдромом оставляли семью и уходили к желтым. Для нашего города это была не редкость. Люди, в чьей семье случилась такая тема, обычно говорить про ушедшего родственника не любили, как не любят говорить про отклеившиеся на самом видном месте обои. Поэтому подробностей никто не знал: разрешено ли адептам писать письма, звонить родным, курить сигареты? Во всяком случае, на калитке я не увидел почтового ящика. И знака, запрещающего курение, тоже, кстати.

Что там еще? Говорили, что заправляет всей этой петрушкой старая толстая баба Прасковья. В общем, да, обычные фрики, чего мы тут не видели.

Продумав все это, я немного успокоился. Видимо, нам просто не надо было вторгаться на территорию этих ребят. Сейчас нас отпустят, когда поймут, что мы без злых намерений и принесли мир с любовью напополам.

Вот под ногами замигал обычный бетонный пол — такие по всей России в детских садах, дворцах культуры, школах: серая поверхность с белыми точками щебня, отполированная тысячами ног до едва пористой структуры.

— Амигос! — верещит тут Сантьяго. — Я за солнце и жатву обеими руками! Да будут поля космической пшеницы цвести и золотиться!

Нас резко выпрямляют. Я вижу Ната в смешном берете, вижу Сантьяго с выпученными глазами. Успеваю оглядеться — человек десять в желтых балахонах плотно окружают нас. И хотя вокруг темно, их желтый с непривычки слепит. Лица у них добротные, кормят тут, видимо, хорошо. Самые из всех — Нат и Сантьяго. У второго сейчас еще глаза как у филина, ну а Нат чуть потерял свою отрешенность и почти не улыбается. Хотя очень старается.

Мы стоим в темном сыром коридоре, окруженные недовольными незнакомцами. Их не выражающие совсем ничего глаза глядят в нас. И тут один из них — самый маленький и толстенький, похожий на маленький чайничек, — вдруг смотрит на Сантьяго, а затем на каждого из нас. Он закрывает пельменеобразные глаза и говорит:

— Тише. Тише, пришельцы. Мы идем слушать слово преподобного Мауса. Закройте рты. И откройте уши.

Чайничек распахивает дверь сразу за мной, и несколько желтых рук толкают нас внутрь.

Здесь просторно. Впереди — большая сцена, чуть подсвеченная желтыми софитами. Стоит полная тишина, и только шелест длинной одежды окруживших нас дает аккуратное эхо по помещению. Чайничек идет впереди, но тут мешкает и встает на месте. Конвой послушно останавливается. Воспользовавшись секундой, я оглядываюсь. И сразу же, впервые за то время, как мы оказались в компании этих джентльменов в желтом, я по-настоящему, не на шутку пугаюсь.

Мы стоим в большом зале — такой есть в любом уважающем себя пионерском лагере. В здоровом таком зале, где проводятся концерты, дискотеки, всякие там родительские дни и прочая культурно-досуговая вакханалия. Но сегодня, судя по всему, никакой дискотеки не планируется. На откидных креслах, ровно расставленных от самой сцены до противоположной стены, сидят плечом к плечу десятки, сотни людей в желтых балахонах. Мужчины, женщины, старики, едва оформившиеся чуваки-подростки. Руки у всех аккуратно сложены в замочек и смиренно уложены на колени. Все они поочередно недолго разглядывают нас, а потом, видимо, не найдя ничего примечательного, отворачиваются и безучастно смотрят на сцену. Стоит тоталитарная, мертвящая тишина.

Наконец Чайничек находит наполовину незаполненный ряд и делает знак конвоирам. Нас толкают в узкий проход и усаживают в кресла. Между мной, Натом и Сантьяго сидят по два желтых. Чайничек, вставший возле ряда кресел, вдруг поднимает руку. Тут я замечаю человечка перед сценой. Он видит знак Чайничка, кивает в ответ и удаляется в дверку кулисы.

Через пару минут свет на сцене резко гаснет. Тишина просто звенит. И в ней бьются три наших сердца. Сердца никого кроме здесь не бьются, или под желтыми балахонами их попросту не слышно.

— Сиблинги мои! — раздался голос в колонках.

— Ж-ж-ж-о-о... — протягивает одними губами зал.

— Мои дражайшие сиблинги! Мои солнечные братья, мои не менее солнечные сестры! В этот день ничто не омрачит наших чаяний. Ни искусственный дождь над нашими крышами, ни выходки заблудшего, ни его лазутчики, что встали на путь разрушений и зла и должны покаяться, чтобы спастись. Да пойдет солнечный неф наш по желтым волнам!

Краем глаза я замечаю, как Сантьяго привстает. Если абстрагироваться от всего происходящего, в этом движении можно даже прочитать нечто вроде восхищения — ого, мол, как тележит! Это только если абстрагироваться. Но соседи этот порыв, видимо, не ценят, сразу четыре желтые руки хватают Сантьяго за плечи и бухают его назад.

— Они раскаются. Они принесли нам то, чего не желают сами. Но сиблинги мои! Не о том. Все не о том... Есть свет, и есть жниво.

— Ж-ж-ж-о-о... — снова протягивает зал.

— Сегодня для вас выступает преподобный Маус. Откройте уши свои!

— И закройте рты, — хором протягивает зал.

— Правильно, правильно. Молодцы, — совсем уж по-учительски говорит голос.

На сцене резко вспыхивает зеленый луч. Тут же раздается фруктовая, кислотная музыка с шумными и въедающимися сразу в спинной мозг электронными ударными: будто бы группа «Руки вверх» скурила по жирному джоинту и записала совместку с Aphex Twin.

В зеленый луч боком вплывает высокий сутулый гражданин, одетый как обычный менеджер по продажам в средней конторке: джинсики, черная рубашка, мокасины на босу ногу. Гражданин сначала будто бы робеет и ужасно себя перебарывает, но потом кататонично начинает дергаться под музыку, словно бы каждый удар рабочего барабана двигает весь его мышечный скелет нестерпимой адской болью. Каждую секунду лицо его от судороги меняется. Он то улыбается, то скалится, то высовывает язык. Члены его тела двигаются независимо, каждый по своей причудливой траектории. Кажется, что руки с ногами у него на сошедших с ума шарнирах. Тут я замечаю в правой его руке беспроводной микрофон. Проигрыш заканчивается, гражданин не без усилия поднимает микрофон к своим влажным губам и закрывает глаза.

— Нет! — протягивает он со скрипом искривленным от боли ртом.

Проигрыш продолжается, а голос гражданина неестественно гулким эхо раздается по залу. Звукорежиссер за сценой явно не считает нужным сдерживать себя в исследовании возможностей микшерского пульта.

Гражданин опять поднимает микрофон и низким и дрожащим, но вдруг волевым голосом поет:

Права геям! О да!
Права геям! О да!
Геям права, геям права!
Я стою на своём!
Я приду к вам с огнём!
Прямо сейчас, прямо сейчас, о да!
Дайте, дайте геям права!

Электрический орган в колонках делает ядовитый, полный отчаянного очарования пассаж. Гражданин в этот момент успевает сделать еще пару зловещих кататонических па. Вот он снова поет, еще увереннее:

Права геям! О да!
Права геям! О да!
Геям права, геям права!
И ещё кое-что важное:
Бесплатная медицинская помощь — каждому!

Опять звучит глючная рулада на электрическом органе. Чувак на сцене уже в полном изможднии, он весь блестит от пота.

Доктор у дверей! Доктор вошёл!
О да!

Свет гаснет.

— Преподобный Маус исполнил для нас свою новую композицию — сюиту аллегро номер два, ля бемоль.

Толпа сдержанно аплодирует.

— А теперь — оркестр, — командует голос в колонках.

15:12

— Валера, подожди, — говорит кавээнщик у Сгухи за спиной.

Шакал уже поднял пистолет с этой смешной бутылкой на стволе, но тут останавливается и смотрит своим тупым красноглазым взглядом на коллегу.

— Наручники, — объясняет кавээнщик и кивает в сторону Сгухи.

Шакал зависает. Он явно не вдупляет, в чем дело.

— Он же потом улетит. Полезешь за ним или на память ему оставишь?

Кавээнщик ждет. Шакал продолжает тупо смотреть.

— Ему и пацанам из эска заодно, — спокойно говорит кавээнщик.

Шакал все молчит, потом глухо командует:

— Сними.

— Ключи у тебя, — с небольшим нажимом отвечает ему кот-кавээнщик.

Шакал ругается себе в нос и идет к Сгухе. Тот уже не стоит покорно и не разглядывает небо. Он вертит башкой, будто бы что-то обронил.

Шакал хватает за цепочку между наручников, начинает мешкать и нервничать — куда деть пистолет? Он зажимает его между ног и начинает шарить по карманам в поисках ключей. Он шарит и шарит.

— Потерял, что ли? — спрашивает кавээнщик.

— По ходу, — рычит Шакал, но не смотрит на коллегу. Он уже по второму кругу проверяет карманы и все ворчит что-то в свой острый нос. Он только собирается повернуться и что-то спросить у коллеги, как кот-кавээнщик плавно подходит к нему сзади и, сняв дубинку с пояса, бьет шакала прямо по затылку. Сросшаяся горизонтальная бровь шакала ломается ровно посередине, а за ней все его лицо от неожиданности и боли искривляется. Он заваливается вперед, но остается в сознании. Сгуху колбасит не на шутку, он периодически еле слышно выкрикивает короткие «а» и «о». Когда шакал заваливается на него, он, наконец, выходит из оцепенения и делает шаг в сторону. Шакал падает на бок, смотрит своими круглыми, полными ужаса, но все еще мутными, красными глазами по сторонам. Кот-кавээнщик со всего маха снова бьет его по голове дубинкой. На этот раз удар приходится в висок. Шакал закрывает глаза.

Сгуха давно развернулся, он смотрит на это. От громкого шлепка, с которым дубинка плюхает по голове шакала, он кричит «А!», будто бы в ногу ему впилась оса.

У кавээнщика дрожит правая рука. Наверное, и левая дрожит тоже, но этого не заметно — в нее он переложил дубинку. А правой, дрожащей, он зачем-то лезет в карман брюк.

— «Где они», блядь? — почти кричит он мычащему на земле Шакалу, доставая ключи. — Где они, блядь, могут быть? Они всегда были у меня, волчара ты шелудивая.

Сгуху контрожопит, будто бы на улице не плюс двадцать, а минус тридцать. Он что-то сдавленно шепчет, но покорно слушается кота-кавээнщика, когда тот отцепляет один браслет с руки Сгухи и защелкивает его на ноге мычащего в пыли шакала.

Сгуха, присев на корточки и обхватив колени, внимательно смотрит, как кавээнщик последовательно снимает с пояса шакала газовый баллончик, потом дубинку, потом вынимает пистолет из кобуры, подбирает другой пистолет с бутылкой на дуле, как он идет в машину. Сгуха все смотрит: вот кавээнщик достает из багажника плотный полиэтиленовый пакет с голубыми таблетками. Вот он подходит к самому краю обрыва, он рвет пакет, высыпает колеса на камень. Вот он яростно их топчет, прямо всю кучу. Топчет их и смешивает с пылью и песчаником, а потом краем подошвы остервенело пинает все получившееся в карьер. И вот он разворачивается, садится в машину и дает по газам.

Сгуха сидит и смотрит на поднявшееся облако пыли. Прохладно стало почему-то. И щека чешется. Левая.

15:22

Антон Солнце отложил гитару в сторону и кивнул всем аплодирующим. Братва давно все закоммутировала. Саундсистема была готова к использованию. Недавно пришли девушки, теперь они осторожно пили еще помнящее прохладу торговых залов вино из супермаркетов, поглаживая свои браслеты и постукивая по бутылкам крашенными в черный лак длинными ногтями. Девочкам нравился джем Антона Солнце и Дэнчика, маленького, похожего на Элайджа Вуда, сына майора ФСКН, лучшего барабанщика за Уральским хребтом.

Эти двое — единственные, кто на всей поляне умели извлекать стройные звуки из музыкальных инструментов. Электричества нет и, судя по всему, не будет. Братва закончила с конструированием. Несчастный бензиновый генератор стоял с разомкнутым контуром.

Ничего страшного. Ничего страшного. Девушки были рады, вон как радостно и многообещающе звенят браслеты на их тонких запястьях. Они ждали. Но так не могло продолжаться вечно.

Кто-то врубил техно на своей магнитоле в машине. Светило солнце, небо было дикое, мимолетное — после полудня, когда облаков нет, солнечный свет немного тускловат, будто лучи падают сквозь едва мутное стекло, будто бы солнце само плавится от своей жары. Кто знает, почему так? Но все равно небо было кайфовое. В такое небо хорошо смотреть, например, в последний раз в жизни, стоя на краю карьера. Не менее хорошо смотреть в такое небо в совершенно другой ситуации, когда вокруг все тихо и спокойно, когда знаешь, что жизнь впереди будет еще ох какая длинная, иногда скучная, а иногда — совсем нет.

Антон Солнце отложил гитару, посмотрел на Дэнчика, послал ему воздушный поцелуй. Дэнчик поклонился и поправил барабаны.

Солнце направился к своему пледу, к тому, на котором Будду искушает демон Мара. Там такие искушения! Там всякие черти вперемешку со сладострастными девами, несущими серебряные блюда с яствами на своих головах. По их идеальным телам стекает мед вперемешку с молоком. Между их ног расцветают лотосы. Эти девы — сплошное вожделение, явленное во плоти. Они обещают самые грязные наслаждения, дающие самое чистое удовольствие, они обещают остаться с тобой навсегда, превратив тебя в один сплошной пульсирующий фаллос. Тебе никогда не надо будет просыпаться в восемь утра и ходить на работу, — говорят они, тебе не надо будет думать про долги и мыть посуду после еды, — говорят они, у тебя вообще не будет в жизни таких категорий, чувак, — говорят они. И за всем этим — за этим великим искушением — своими ужасными, жабьими глазами навыкате наблюдает кровожадный, черный и страшный, как семь собак сразу, Мара. Он думает: мать твою, Будда, ну нельзя же быть таким сухарем и ботаником, ну-ка, глянь на моих сучек, ну-ка, бля, глянь на них, гляди на мед, стекающий по их влажным чреслам, ты такие восхитительные соски когда-нибудь в жизни видел, а? У тебя вообще баба-то была, слышь ты, спаситель человечества? Мои девки сделают тебе хорошо. Давай раскуримся, Гаутама, успеешь еще помедитировать. Заманал уже со своим Просветлением, расслабься, че ты так напрягся?

Но у Будды не напряжен ни один мускул.

В общем, все было на этом красочном пледе. Не было лишь одной хорошей вещи, насыпанной в большой цветной сокс.

— Дорогие, кто-нибудь видел мой сокс? — чуть тревожно спросил Антон Солнце у народа. Но народ его не услышал, народ смеялся над растрепанным Дятлом, который только что вышел на поляну. Он вертел красным обгоревшим лицом и спрашивал про какой-то велосипед.

Солнце тоже рассмеялся. Видок у Дятла был и вправду смешной.

15:22

Низенький дядька брякает оркестровыми тарелками, туба выдает что-то неуклюжее, но довольно забавное. Остальная медь подхватывает.

В зале включают тусклый свет. Народ резко встает и хлопает в такт, потом разворачивается и начинает медленно течь к двери — такая желтая река вяло пробирается между рядов кресел. Они двигаются на выход под кабацко-маршевую музычку, разбитную и гордую одновременно.

Несколько рук берут нас под мышки и крепко держат. Наши конвоиры отрешенно смотрят на толпу, покидающую зал. И только когда последний человек выходит, нас начинают толкать к проходу. Нат в это время оборачивается и с улыбкой говорит мне:

— Трубач у них лажает. Безбожно. Убил бы.

Говорит он это так добродушно и мягко, что я даже захотел оказаться на месте этого трубача. Мне кажется, Нат убил бы его быстро и безболезненно, и смерть трубача была бы похожа на сон.

18:45

— Да что им всем, наконец, нужно! — кричит Сантьяго и вскакивает, задевая плечом гипсовый бюст Дзержинского. — Курить дай, начальник!

Бюст проворачивается вокруг свой оси, но не падает. Нат успевает остановить его в последний момент. Феликс Эдмундович своими гипсовыми глазами без зрачков сердито смотрит на Ната, будто бы тот — гнилая империалистская сука. В этом берете, который дал ему старик Тычинкин, со своей белой кожей, Нат и вправду похож на представителя старорежимной интеллигенции. Сантьяго с опаской втягивает голову в плечи, но потом разворачивается и начинает молотить в дверь.

Сколько мы уже в этой душной и тесной подсобке? Наверное, чуть больше часа. Дышать здесь вообще нечем, кажется, мы выдышали весь кислород. В кумаче, которым обернуты стены, в этих деревянных красных транспарантах с лозунгами и воззваниями, на этих бюстах, в этой наглядной агитации столько пыли, что я начинаю ощущать, насколько мои легкие потяжелели. Еще чуть-чуть, и воздух можно будет жевать. Тусклая лампочка над нашей головой — единственный источник света. Но от этого не рассеивается мрак на душе. Свет этот такой липкий и такой удушающий, что я бы предпочел посидеть в темноте. Однако мы все равно не вырубаем лампочку. В довершение ко всему пахнет паштетом. Нат отыскал пару каких-то замотанных упаковок в пакете за собранием сочинений Сталина. Жрать хотелось так, что мы напали на паштет и разделили трапезу по-братски, не особо думая над вкусовыми качествами находки.

Сантьяго херачит в дверь с такой силой, что она чуть не слетает с петель. Где-то в глубине коридора снаружи слышны шаги. Ключ попадает в скважину, щелчок — и свежий воздух наполняет подсобку.

Пухлый чувак держит дверь и с ненавистью смотрит на нас через маленькие очечки. На левом ухе у него здоровенная повязка, прикрепленная к пудовой голове многочисленными кусками пластыря. Один из кусочков держит дужку очочков. Сам чувак похож на недовольного слоненка из какой-то детской книжки. Своими маленькими, едва заметными глазками за линзами он оглядывает всю каморку, вдыхает удушливую ее атмосферу и делает один резкий жест рукой: выметаемся, мол, мыши.

Мы выходим, Сантьяго глядит чуваку в глаза, глядит с вызовом и гонором. Тот отворачивается и проходит по коридору к свету. Он набирает скорость, резво петляет, но мы успеваем. Наконец он открывает еще одну дверь. Мы делаем шаг, и тут же

десятки желтых рук начинают ходить по нашим карманам. У меня забирают намокшую мобилу — единственное, чем я богат.

Нас вталкивают в небольшую комнату, полностью завешанную белыми простынями. Тускло светят небольшие прожекторы: они попеременно меняют цвет от кислотно-зеленого до ядовитого бордового. Вся комната пульсирует слабым светом, свет заползает во множество складок на простынях. Такой галлюцинаторный, переливающийся всеми возможными оттенками свет. Какое-то замедленное диско, какая-то фабрика Энди Уорхола. Мы входим в легкий транс, оглядываясь, — после затхлой подсобки то ли от кислорода, то ли от цветомузыки нас буквально мутит.

Полутемнота комнаты четко делится надвое мерцающим лучом, исходящим из большого пузатого телевизора.

«Зверобой заказан нам на бракосочетание, фараоны закрыли веки космосу, ожидают неусыпной протяженности вещей. Опрокинув кувшины озер, выгибаются в блаженной испепеляющей алалии двадцать девять девственных стеблей. Разнотравье. Берега занесло пенопластом личинок. Крики из-за решеток. Ступени исчезают в клейстере ила», — доносится из телевизора.

Мы покорно встаем перед экраном. На нем полная, крепкая женщина, полузакрыв глаза, вещает в микрофон. Изображение изредка подергивается помехами.

«С игл каплет мгла самой короткой ночи полнолуния. Лобби. Скатываясь хлопком, искрясь запредельной алой лампой, фонтанируя образами во время трансформаций, тихо жмется в тени сквозняк будущего. Ярит жмых спетого. Солнце диктует неорганическому геометрию без изъяна. Ты навсегда явствуешь, формально пребывая в ломких мгновенных стрелах, пронзающих антициклон и падающих в клейстер ила. Там и ищи обломки, завернутые в полиэтилен видимого», — говорит женщина. Она стоит на сцене — конечно же, на знакомой нам сцене. Внизу — сотни желтых силуэтов.

«Человек из Бангкока сторожит порядок здешних мест. Твоих ассигнаций мало, чтобы отвлечь его взор от пристального, неописуемого, несравненного процесса. Там хоровод мусора на пустыре вступает в реакцию с солью под светом аргоновых фонарей, там пожары и моллюски невостребованного превращаются в расширяющийся зрачок полуночи. Просто ухватиться покрепче за края простыни, прикрывающей эту локацию, и свернуть ее в семь раз. Там будет спокойнее, легче, фатальнее. Плерома», — заканчивает женщина и сворачивается в тугой пучок света.

Экран гаснет. И вот только выйдя из оцепенения, я смотрю за телевизор. Там и обнаруживаю ее — девочку в обтягивающем желтом комбинезоне. Две широкие, соблазнительные, бесконечные черные полосы ползут по ее стройным бокам от щиколоток до ключиц. Сколько ей лет? Она слишком молода, но уже достаточно развита, чтобы понимать свою силу.

Она сидит на большом белом пластиковом кубе посреди комнаты, будто позируя невидимому фотографу. Она просто смотрит на нас, не меняя полулежащей позы. В ней столько непроницаемой наглости и какой-то извращенной власти, что все во мне рушится.

— Зачем вы пришли? — шевеля полными и блестящими, как сливы, губами, спрашивает она. Губы у нее в крупных серебристых пайетках, будто у поп-звезд ранних 80-х. В этих блестках отражаются все переливы тусклых прожекторов.

Мы втроем пытаемся взяться за что-нибудь твердое, так все это неожиданно для вестибулярки. Эта дева, этот свет, этот туманного происхождения паштет внутри.

Первым очухивается Сантьяго. Он делает шаг к деве:

— Уважаемая... Моя уважаемая царица! Спасибо за ваше радушное гостеприимство! Я бы хотел принести извинения от всего нашего коллектива!

Дева буквально режет его своими черными зрачками.

— Спасибо, что дали насладиться этой необычной речью на экране. Кстати, я уже лет десять не видел видеодвоек.

Я оглядываю телевизор и действительно замечаю, что это не просто телевизор, а настоящая старинная видеодвойка — слот для видеокассет расположен прямо под кинескопом.

— Моя сердечная, — продолжает Сантьяго, — знаете, мы пришли из тех мест, где люди живут не в таких идеальных условиях. Вероятно, поэтому часто заблуждаются. И, видимо, поэтому говорят про вас разное... неправильное! Вот, говорят, например, что вы куда старше. Также говорят, что вы не... как бы это сказать... не отличаетесь привлекательностью. Я вас представлял примерно как вот ту даму по телевизору... То есть по видеодвойке, разумеется! В общем и целом и я, и мои друзья, все мы приятно удивлены вашей красотой и молодостью!

Серебристые уголки губ девы едва заметно ползут вверх. Сантьяго ловит эту улыбку — улыбку женщины, которая, точно неопытный боксер, пропустила мощный апперкот комплимента.

— Мы — я и мои благородные, но невоспитанные компаньерос — имеем очень плохую привычку ходить туда, куда не надо. Примите мои извинения! У вас очень мило! Мне знакомы эти места, здесь некогда трудился мой друг Арсенич. К тому же желтый — мой любимый цвет! Я прошу лишь одного...

Сантьяго распален, он понял правила игры, ему по кайфу, однако дева поднимает руки и скрещивает ладони. Сеня замолкает.

— Сейчас мы вас отпустим, — говорит она и щелкает пальцами.

Выскакивают чуваки в желтом, они кладут перед ней на белый пластик куба наши вещи.

— Что вот это такое? Объясняй.

И она вытягивает перед Сантьяго слим с разбухшими синими таблетками. Сантьяго выгибается, как червяк, которого ударили электричеством:

— Дорогая Клеопатра, несмотря на мой юный возраст, я испытываю проблемы со здоровьем. У меня болит голова. Хроническая ретинальная мигрень, знаете ли. Эти таблетки мне доктор прописал.

Дева улыбается и показывает на топливный насос. Только сейчас я замечаю, что ногти у нее длинные, как у росомахи, накрашены они в какой-то яркий цвет — в меняющемся освещении очень трудно понять, что и к чему. Красный? Тыквенный? Синий?

— О, — смущаясь, говорит Сантьяго, — это важная деталь для одной нашей машины.

— Это очень важно?

— Это очень важно.

— Важнее всего?

— Важнее всего. Нас ждут друзья, и мы не можем их подвести. Мы планируем большие пляски. Во славу Солнца, к слову! В этом мы с вами имеем одинаковые ориентиры.

Дева вздыхает и закатывает глаза.

— И сколько ты с этого заработаешь?

Сантьяго, впервые с того времени, как начался разговор, теряется. Он начинает тихо дрожать.

— Заработаю с чего, простите?

— Со своих, как ты сказал, больших плясок.

— Моя сердечная, я не заработаю нисколько, — на этих словах Сантьяго морщится, будто глотает что-то очень горькое. — Это я делаю для друзей. Для людей.

Дева смотрит на бензонасос.

— Хорошо, — говорит она и чуть прикусывает серебряные губы. — Тогда забирай свою «важную деталь».

Сантьяго радостно кидается вперед. Девица брезгливо поднимает бензонасос и с небольшим отвращением протягивает его Сене. На мгновение их пальцы прикасаются. Сантьяго вздрагивает от этого прикосновения. Он оживляется, улыбается и всеми силами старается скрыть улыбку.

— Одно «но», — томно пожимая плечом, говорит она.

Сантьяго влюбленно смотрит на насос в своей руке, затем переводит оживленный взгляд на деву.

— Условие такое. Либо ты забираешь эту «важную деталь», — продолжает она, — либо вы уходите втроем.

— Отлично, — шлепает себя по ляжке Сантьяго. — Пошли, пацаны! Грасиас, моя сеньора!

Сантьяго подмигивает деве, разворачивается на пятках и успевает сделать только полшага. Желтые чуваки выпрыгивают из всех этих темных складок в простынях. Один из них прописывает Сантьяго под дых.

— Ты меня не слушаешь, — устало говорит дева, полузакрыв глаза. — Повторю: либо ты уходишь отсюда с этой деталью, либо с друзьями. То, что должно остаться здесь, останется здесь.

Сантьяго прокашливается, потом смотрит на деву, на чуваков в желтом.

— А вы знаете, — вдруг говорит Нат, — у вас трубач сильно лажает. Сил нет это слушать.

Дева переводит взгляд на Ната, но Сантьяго вдруг перебивает ее:

— Позвольте, я заберу и таблетки тоже?

Ну неужели урод?

— Позволяю.

Сантьяго дрожит, как пес, он возвращается к кубу, на котором сидит дева, и хватает таблетки.

— Я могу идти? — чуть присев в притворном реверансе, спрашивает он.

Дева слегка кивает головой. Желтые чуваки расступаются, и Сантьяго уходит. Я, развернувшись, пытаюсь встретиться с ним взглядом. Но он прячет глаза за желтыми спинами.

— Хороший у тебя доктор, — улыбается девочка ему вслед. — Хорошие он тебе средства прописывает. За качество я могу поручиться. Как и все мои сыны и дочери.

— Почему? — застывает Сантьяго уже в дверях.

— Потому что это не таблетки. Это наша небесная лайола. Великое благо, которым мы делимся с миром. Каждый, кому не уготовано места на солнечном жниве, уже не спасется, но в утешение найдет для себя небесную лайолу. Лайолы хватит на всех.

— Простите, мадам?

И дева указывает длинным ногтем на левую стену.

— Лайола — это наш подарок миру.

Сантьяго вжимает голову в плечи, будто бы ему хлопнули мокрой тряпкой по ушам. Он потерянно разворачивается и окидывает взглядом всю комнату: этот танцующий свет, желтых чуваков, нас, деву.

— Так таблетки вы, что ли, делаете?

— Мне кажется, или ты вовсе не против такого положения дел? — вздергивает тонкую бровь дева.

Я на секунду закрываю глаза и вижу переоборудованные в лаборатории корпуса бывшего детского оздоровительного лагеря. Я вижу сотни вальсирующих вокруг колб силуэтов в желтых балахонах с белыми респираторами на лицах. В колбах перемешивается ровная голубая масса. Сотни, тысячи колб с голубой пастой

опрокидывают в пресс, который день и ночь штампует и штампует голубые пилюли. Сотни желтых рук упаковывают свой товар и пушат их молодежи по всей стране. Тонны таблеток, вагоны.

— Думаю, я выскажу общее мнение всех жнецов, если запрещу тебе подходить хотя бы близко к нашему дому. А теперь иди, куда шел, — говорит дева, глядя прямо в глаза Сантьяго.

Тот вдруг мешкает, но ему не дают забыть, где он. Пара желтых толкают его к двери.

— Цивилизованнее надо быть, — с вызовом говорит он у самого порога.

— Что? — вскидывает вдруг брови дева.

Желтые останавливаются. Сантьяго трусливо смотрит на них.

— Повтори, — командует дева.

— Цивилизованнее. Быть надо, — отчего-то тоненьким голоском повторяет Сантьяго.

Дева еще выше вскидывает тонкие брови, отчего ее лицо напоминает какую-то древнюю зловещую маску.

— Я и есть цивилизация. Пошел вон.

Сантьяго выпинывают из комнаты. Дальше — по темным коридорам. И вот наконец он втягивает свежий воздух, наполненный ароматом хвои, влажной от июньского тепла. Перед ним тропа, и ведет она прямо к воротам. Сантьяго неуверенно улыбается и шагает вперед. За его плечами аккуратно шагают несколько желтых. Они уже не касаются его, просто идут по пятам, как две странные тени. Взгляд Сантьяго падает на желтую «копейку», та стоит возле самых ворот. Сантьяго проходит мимо и выходит за территорию бывшего детского оздоровительного лагеря.

19:05

А нас — меня и Ната — тоже толкают по темным коридорам. Щелчок — и мы опять в каморке. Запах тушенки выветрился. Горит та же тусклая лампочка. Но теперь каморка не пуста. В слабом свете угадывается длинная фигура человека.

Дверь закрывают.

Человек с интересом смотрит на нас, а потом вдруг улыбается.

— Приветствую. Будете томатный сок? Хороший томатный сок. Вкусный. И для связок полезно.

Мы с Натом всматриваемся в лицо человека, его трудно рассмотреть. Но через пару мгновений у меня уходят все сомнения. Этот гражданин — преподобный Маус.

— Не откажусь, — отвечает ему Нат.

Маус наливает в пластиковый стаканчик кроваво-красный сок, протягивает Нату. Тот с радостью выпивает.

— Что вы тут делаете? — спрашивает Нат, облизывая томатные усы.

— Обычно это моя гримерка. Я в ней молюсь перед выступлением. И еще переодеваюсь.

— Молитесь? — подключаюсь я к разговору.

Маус наливает сок и протягивает стакан мне.

— Конечно, без этого никуда.

— Я думал, у вас только там молятся... Там, ну, в зале.

— Простите, а у кого это «у нас»? — обаятельно улыбается Маус.

— У вашей... общины.

Маус смеется заливистым, ярким смехом, оголяя ровные белые зубы.

— Уважаемый, я не из жнецов. Видите, на мне даже нет желтого балахона.

Он и вправду одет в обычный спортивный костюм.

— А кто же вы?

— Я — обычный артист... В необычном жанре.

Дверь щелкает. В каморку засовывается Слонёнок, он гундосит:

— Преподобный Маус, я хотел убедиться, что все хорошо.

— Все прекрасно, мой друг...

Слоненок открывает дверь пошире и засовывает голову глубже в комнату:

— Простите, преподобный, я не расслышал, — говорит он и поворачивается к Маусу вторым, не замотанным в бинты ухом.

— Я говорю, все прекрасно, мой друг! — чуть громче говорит Маус. — Я допью сок и дам знать. Мы мило беседуем с молодыми людьми. Кстати, мне кажется, они весьма голодные. Они, судя по всему, от безысходности съели консервы для моей кошки, я оставил их здесь, в пакете.

Слонёнок резко открывает дверь и с ненавистью хватает меня за шиворот.

— Мой друг! Мой друг! — кричит ему Маус. — Я прошу вас, без рукоприкладства, ведь это — сущий пустяк!

Слонёнок отпускает меня.

— Нельзя ли организовать молодым людям еды?

— Матерь не велела...

Маус огорченно вздыхает:

— Тогда не буду спорить с вашей обольстительной мессией.

Слонёнок закрывает дверь.

— Так что же вы за артист? — спрашивает его Нат.

— Мне трудно определить свой жанр, молодые люди. Просто я езжу вот по таким общинам, совершенно разным и непохожим, со своей авторской программой. Моя аудитория не так многочисленна, но очень преданна.

Он очаровательно улыбается и делает глоток сока.

— И что, — осторожно спрашиваю я, — таких общин, как эта... много?

— О, достаточно, достаточно, мой друг. У всех разные воззрения относительно надматериального мира, у всех свои боги... Или, скажем так, субстанции, помещенные на это в наши дни вакантное место. А сообществ таких — да, действительно много. Еще сока?

Он наливает сначала мне, потом Нату.

— Вот и все, — улыбается он, — готово. Последние капли. Божественный сок! А мне пора.

И он достает мобильный, делает дозвон. Через минуту приходит Слонёнок. Маус выходит в коридор, но вдруг кидается назад. Он наклоняется и быстро хватает пластиковый пакет, стоящий в углу коморки.

— Сценический костюм! — смеется Маус своими белыми зубами. — Чуть не забыл!

И на прощание он одаряет нас своей яркой улыбкой. Дверь закрывается. Я выключаю тусклую лампочку, сажусь на пол, облокачиваюсь на стену и, кажется, засыпаю. Над моим левым ухом осторожно начинается тихий, вкрадчивый шорох. Он баюкает меня.

Через какое-то время сон разрывает оглушительный лязг ключей. Нат включает свет. Шорох слева пугливо прерывается. Я поднимаю голову и вижу большую, мохнатую, серую крысу. Она сидит на страницах открытого тома сочинений Сталина и спокойно смотрит на меня, затем на Ната. Потом, схватив своими желтыми зубками точно такой же желтый клочок страницы, она нехотя уползает.

— Мы ждать не будем, — раздается в дверях.

Наш старый друг Слонёнок смотрит на нас своими маленькими глазками. Мы встаем и выходим. Слонёнок опять ведет нас коридорами, и вскоре выводит на сцену. В зале темно, пусто, только прожектор светит в угол сцены. Там сгруппировался оркестр. Музыканты устало и даже несколько испуганно глазеют на нас.

— Что ты там говорил про трубача? — слышим мы властный голос из-за кулис.

На сцену порывисто вышагивает дева. Теперь поверх ее эффектного комбинезона надета жилетка из искусственного меха. Она пересекает сцену, увлекая, помимо нашей ослабевшей воли, наши полные огня взгляды, подходит к оркестру и внимательно смотрит на каждого участника, будто бы прикидывая, за какую сумму она бы их продала. Те стыдливо опускают глаза. Дева поворачивается к нам. В руках у нее — спортивный шейкер со смузи.

— Ты, — показывает она на Ната своим длиннющим ногтем. — Я спрашиваю: что ты там говорил про моего трубача?

Нат смотрит, как она важно втягивает в себя коктейль через трубочку.

— Кстати, это же твое?

Она поднимает губы от шейкера и вытягивает руку. В ее пальцах — маленькая глиняная свистулька, на которой Нат играл нам в лесу. Он спокойно смотрит на свистульку, потом — точно в глаза деве.

— Лажает он у вас. Трубач так называемый.

Дева опять делает глоток из шейкера, будто забыв про Ната. Его это не смущает, он говорит:

— В ноты не попадает то есть. Да и техника так себе...

— Докажи, — перебивает она.

Нат, улыбнувшись, поворачивается к музыкантам.

— Пусть сыграют.

Дева тоже поворачивается к прижимающимся в угол музыкантам.

— Играйте, вам сказано.

Музыканты поднимают инструменты.

— Играйте, играйте быстрее, — крутит она в воздухе рукой.

— Пусть без трубы играют. Сначала, — уточняет Нат.

Оркестр начинает играть ту же тему, которую мы уже слышали. Звучат они не идеально, но сносно.

— Теперь труба! — перекрикивает их Нат.

Осторожный трубач, похожий на тушканчика, неуверенно вставляет в рот мундштук и начинает играть. Сначала тихо, потом погромче. Он и вправду лажает: если в середине фразы еще ничего, то со вступлением совсем беда. Нат мотает головой. Оркестр доигрывает такт и останавливается.

Дева поднимает свои тонкие брови и смотрит на Ната.

— Слышно? — спрашивает он.

Дева раздраженно выдыхает воздух и быстро подходит к оркестру.

— Так, — говорит она и протягивает шейкер со смузи трубачу, — подержи.

Трубач робко ступает вперед, берет ее шейкер.

— А инструмент дай ему, — показывает она своим коготком в сторону Ната.

Трубачу это не нравится, он весь зеленеет и сжимает свои тонкие лапки вокруг инструмента.

— Ты меня слышишь? — визгливо спрашивает дева. — Я сказала тебе, отдал инструмент ему. А сам держи... держи мой шейкер. Если хочешь — попей.

Трубач набирается смелости и отдает трубу Нату. Нат держит инструмент и с интересом смотрит на деву.

— Играй, — говорит она.

— Я сыграю, — соглашается Нат. — Только верни мне ключ.

— Какой такой ключ? — помотав головой, спрашивает дева.

— Вы забрали у нас вещи. Там был ключ. Без него играть не буду.

Дева делает знак своим желтым подопечным. Через пару минут приносят ключ. Нат кладет его в карман жилетки и дает знак оркестру. Те играют. Нат ждет начала такта с трубой, ритмично качая головой и облизывая губы.

19:59

Сантьяго шурует сначала по ровной, хорошо прокатанной лесной дороге. Его дыхание только приходит в норму, он только-только меняет полубег на шаг и даже почти успокаивается, как вдруг за спиной отчетливо слышится шум двигателя. Сеня, спотыкаясь, кидается в лес. Оттуда, спрятавшись за сосной, он осторожно выглядывает на дорогу, по которой в облаке пыли проезжает УАЗ-буханка. Сантьяго успевает прочесть несколько слов на боках машины. Написаны они радостным, разноцветным шрифтом: «Корпоративы. Поминки. Обряды инициации. Авторская музыка для торговых центров и светских салонов. Преподобный Маус — эксклюзивные гимны для ваших празднеств и мистерий».

Сантьяго думает: «Нафиг эту дорогу» — и решает, что лучше бы ему пробраться через лес. Он взбирается на небольшую горку и, прикинув, что можно хорошенько сократить, если не менять направления, топает дальше, руками раздвигая жидкие кусты колючей дикой малины. Но вскоре сквозь зелень снова показывается пыльная дорога. Да твою ж!

В руке у Сантьяго — топливный насос. Он держит его как крест животворящий, чуть ли не перед собой несет. Он делает шаг, второй и потом бежит со склона, все больше и больше набирая скорость. Вылетает на дорогу Сантьяго головой вперед и тут же врезается животом в капот котовской «девятки». От такого нежданчика Сеня разжимает ладонь, и топливный насос летит куда-то в кусты.

Кот младший сержант, похожий на кавээнщика, тоже весьма удивлен. Он роняет сигарету в пыль. Он только что закурил и, опершись спиной о машину, разглядывал лес, прислушивался к шороху в кустах. Сантьяго приходит в себя, смотрит на машину, на кота, на его сигарету под ногами и приходит в ужас. Сам кот, тоже немного очухавшись, глядит на Сантьяго и улыбается.

— Куда бежим? — спрашивает он и закуривает другую.

Сантьяго ничего не отвечает. Округлив глаза, он собирает ноги в руки и бросается бежать, но тут же запинается и падает на землю, сильно ударившись подбородком. Кот делает несколько шагов и, присев на корточки, садится возле лежащего на земле Сантьяго.

— Не спеши. Давай сядем посидим, курить будешь?

— Буду, — отвечает Сантьяго и садится на жопу.

— Я тебя надолго не задержу, — говорит кот и помогает Сантьяго подняться.

Они садятся в машину. Сеня — на пассажирское, кот — за руль.

— Проедемся ненадолго. А потом, если захочешь, я тебя сюда же верну. Только херню свою подними.

— Херню? — не понимает Сантьяго.

— Ну да. В руке у тебя была. Вон туда отлетела, — говорит кот и показывает на кусты.

Сантьяго смотрит «туда» и морщит лоб. Через секунду он вспоминает про бензонасос. Он выходит из машины, лезет в кусты и скоро находит деталь. В это время мимо проезжает брендированная УАЗ-буханка.

20:10

Нат играет соло на трубе. Музыканты сначала морщатся от той свободы, которой веет от игры Ната, но потом, прислушавшись, начинают играть с бо́льшим энтузиазмом, с таким веселым огоньком и задорной небрежностью, будто бы в них проснулось то, что давно спало. Композиция подходит к концу, но Нат жестом показывает — еще раз! Они берут квадрат заново, и тогда Нат уходит в основной аккомпанемент, а рукой

показывает на тромбониста. Разгоряченный тромбонист уходит в отрыв и играет свое соло.

Мы разворачиваемся и видим толпу в желтых балахонах. Они столпились в зале возле двери и с интересом наблюдают за тем, что происходит на сцене. Оркестр, достигнув апогея в своем почти цыганском кураже, заканчивает играть. Чувак с тарелками даже присвистывает в конце. Сияющий Нат жмет руки музыкантам и, увидев народ в дверях, радостно им кланяется.

20:25

— Понимаешь, Сеня, — говорит кот. — Есть такое понятие в психологии — «фундаментальная ошибка атрибуции». Объяснить тебе, что это такое?

Сантьяго кивает. Кот задумчиво смотрит в окно, там неторопливо мелькает лес.

— Я сам недавно про него узнал, не думай, что я такой умный. Брали барыгу одного, а у него схроны в книгах, понял? Он такие в страничках тайнички вырезал и туда все свое добро ныкал. И вот один схрон был устроен у него в учебнике по психологии. Но начало книги не пострадало — первые две главы целые. И вот я сел рапорт среди ночи писать и прикололся. Остальные полночи читал. Ну, это детали. Так вот, в чем заключается эта ошибка? А в том она заключается, что когда кто-то другой облажался, то это он сам такой мудак. Сам виноват, усек? Ну, так мы думаем. Это внутренняя диспозиция, значит. А если ты в говнецо ступил, то это просто «так случается, с кем не бывает». Понял?

— Немного, — отвечает Сеня, хмурясь.

— Вот. Это внешняя диспозиция. Например, смотришь ты на полнейшего в своей пидорастичности ублюдка и говоришь себе: «Ну что ж ты такой пес-то шелудивый? Ну почему бы не быть чуть-чуть лучше? Почему же не быть нормальным? Не говнить там, людей не кидать, не быть такой невероятной мразью». И думаешь — ну тебя, сука, только могила исправит. И вот в этот момент, Сеня, ты фундаментально ошибаешься, с точки зрения современной психологии. Потому что кто-то смотрит на тебя и думает точно то же самое. Такая вот асимметрия действующего лица и наблюдателя.

Лесная дорога ровно расстилается перед «девяткой». За соснами начинает неторопливо гореть рыжий закат. Кот вдруг сворачивает и едет по другой дороге, менее накатанной. Сантьяго сильнее сжимает бензонасос в руке.

— Но понимаешь, Сеня, в чем подвох. Ведь переживать собственную ущербность — это не в наших силах. Это титаническую мощь надо. И тогда мы придумываем разные оправдания, обстоятельства там: работа, окружение, воспитание, бабок нет. И прочее, и прочее. «Не я такой, — говоришь себе, — а жизнь такая. Жизнь, падла, меня таким сделала. Сучья жизнь». И все в таком духе. Это я понятно веду?

— В целом понятно, только...

— Да подожди ты, — перебивает его кот. — Кстати, меня Дима зовут.

Дима протягивает ладонь и улыбается

— Сеня, — говорит Сантьяго.

— Да я-то в курсе, Сеня. Мы за тобой давно следили.

— Как следили?

— Да так и следили.

И Дима вкратце дает весь расклад: про Сгуху и его намерения, про договоренности.

— Контрольная закупка? — говорит пересохшим горлом Сантьяго.

— Нет, Сеня, — с улыбкой отвечает Дима и останавливает мотор.

Машина стоит прямо на высоком берегу небольшого лесного озера. Сантьяго хмурит брови.

— Нет, не контрольная закупка. Мы просто хотели забрать ваши колеса, чтобы их потом двинуть. Вот и все.

Сантьяго смотрит на озеро, пытаясь вспомнить, был ли он здесь раньше.

— Я ничего не понимаю, — говорит он.

— Я теперь тоже, — с улыбкой говорит Дима и закуривает.

Они какое-то время молчат.

— Понимаешь, Сеня, — говорит Дима. — Бывают все-таки моменты в жизни, когда ты вспоминаешь про фундаментальную ошибку атрибуции. Чтобы понять, что к чему, конечно, требуются силы, и не факт, что они у нас есть. Но хотя бы раз попытаться-то можно, а? Всю эту психологию социальных ситуаций переломить, опровергнуть. Ходить по кругу, может, и прекрасно, но все же есть еще и другие геометрические фигуры. Это я не сильно гружу?

Сантьяго мотает головой, мол, нет, все понятно. Дима кидает окурок в озеро и садится за руль.

— Поехали, Сеня.

— Куда? — недоумевает Сантьяго.

— А куда скажешь, Сеня.

И вот котовская «девятка» снова едет по лесной дороге. По лобовому стеклу закат бьет длинными и упругими тенями сосен. Сантьяго смотрит в окно, будто пытаясь что-то разглядеть в этом густом янтарном воздухе. Он пытается что-то сам себе доказать, но у него не получается. Тогда он мотает головой и трясет своими кудрями из стороны в сторону. Тут Дима останавливает машину.

Сантьяго выходит из «девятки». Кот дает заднюю, шустро разворачивается и едет прочь от Сени. Облако пыли, перемешанное с мошкарой, зависшей в воздухе, пропускает сквозь себя ритмичные тени тонких сосен. Сантьяго чувствует, как внутри него в горячей тесноте что-то колотится. Вдруг машина останавливается, дверь водителя открывается. Выходит Дима, он срывается с места и бежит сквозь пыль к остолбеневшему Сантьяго. Он подходит еще ближе и ближе. Сеня почти уже не может дышать, он смотрит на правую руку кота и не может понять, что же он так крепко сжимает. А когда Сантьяго все же понимает, глаза его почти лопаются от ужаса, но бежать уже слишком поздно. Что-то в груди разрывает свою горячую, тесную клетку.

20:26

— Твой друг — потрясающий музыкант. Он в желтом потоке. А тебе остается только ходить возле. Но мы давно придумали, как научить таких, как ты, чувствовать свет солнечного жнива.

Чайничек сидит напротив и медленно, подбирая слова, говорит. В комнате переливается тусклый свет множества оттенков. Если бы я мог шевелиться, то я бы нашел розетку и выключил бы это глючное мельтешение. Но я не могу двигаться. Поверх желтого балахона на мне — тугие веревки.

Чайничек встает и дотрагивается до моего плеча.

— Как жаль в таких ситуациях... Жаль, что сейчас ты не захочешь сказать нам спасибо. А потом — не сможешь. Как жаль.

Над моим правым ухом что-то железно гремит. Из пульсирующего полумрака выплывает Слонёнок. Перед нем — медицинская тележка из нержавеющей стали. На ней какой-то врачебный инвентарь.

— Включи потоки Большой Матери, — говорит ему Чайничек.

Темнота передо мной расступается, из тонкого пучка появляется квадрат света. На экране видеодвойки — крепкая, полная женщина. Она стоит на сцене перед микрофоном. Глаза ее полузакрыты. Внизу, под сценой, трепещется желтая масса.

«Пора решиться на церебральный филогенетический анамнез бабьего лета, вернувшегося из пьяных голых ланчей посеребренного сторожевого поста. Шербет весны растаял, сгнили стебли травы, обломались верхушки мелиссы. Узоры

самоподобны, зимы лелеют рассудок бастардов. Листы порнографической стали укутывают теплотрассы. Раздобыть кресало для ироничного пламени злаков», — нараспев произносит она.

Справа вспыхивает огонек. На медицинской тележке, отражаясь о сталь, танцует пламя. Я замечаю добрую горсть голубых таблеток, уложенных в керамическую вазу. Слонёнок что-то помешивает в маленькой колбе над пламенем. Он сосредоточен и спокоен, его повязка на ухе переливается вместе с комнатой тусклыми оттенками. Под мерную речь женщины в телевизоре я чувствую, как лицо мое наливается теплом, как тяжелеют ноги.

Чайничек тихо улыбается рядом:

— О, ты еще не понимаешь, насколько тебе повезло. Всего один поцелуй, и ты сольешься со всем живым. И мертвым.

Тихая дрожь прокатывается по мне. Я двигаю плечами и чувствую, как веревки врезаются глубже в мое мясо.

«Едва ли расстелется покров власяницы над прозрачной кромкой бледного океана твоей кожи. Этой источающей запах парного молока поверхности больше подойдет войлок, свитый из теплых течений Гольфстрима. Закатать рукава солнцестояния и расстегнуть рубаху июня нужно до того, как соловьи совьют гнезда в маленьких узких карманах для зажигалок», — глухо доносится их динамиков.

— Каждый раз открываю в этих словах что-то новое. Невероятно, — говорит Чайничек, улыбаясь экрану.

Слонёнок поднимает вверх огромный шприц, наполненный мутной жижей.

— Послушай, — с улыбкой произносит Чайничек, — ты ведь не будешь сопротивляться?

Слонёнок делает шаг в мою сторону. Какая-то животная сила подбрасывает меня вверх. Нестерпимо врезаются веревки в голени, но кресло, к которому я привязан, не выдерживает. Его ножки разлетаются. Я успеваю сделать два шага, прежде чем слышен оглушительный визг Слонёнка. Я запинаюсь и валюсь на видеодвойку, и она с утробным «бах» падает на пол. Изображение подрагивает, но звук не заканчивается. Всхлип.

Пергамент кожи становится ломким под пристальным взглядом небесного ока. Ночь сегодня — это случайная тень, которую бросает тело планеты. Жирные, неповоротливые точки на небе не успевают вспыхнуть, они только зажигают свои брюха и тут же сметаются молодым и яростным рассветом.

Я чувствую себя древним. У меня почти нет плоти, она так податлива и слизиста, она почти вода. Поэтому я запросто ухожу от захватов десятков желтых рук. Наконец мужчины, внезапно наполнившие комнату, все же прижимают меня к полу. Это бесполезно, но я сопротивляюсь дальше, на молекулярном уровне меняя состав тела.

В переливающемся тусклом свете блестят очки Слонёнка. Он склоняется надо мной в блаженном оскале. Жало его шприца целится в мою шею. Если и бесполезно сопротивляться, то я буду это делать до тех пор, пока могу. Я — сама бесполезность, и всем целям, когда-либо существовавшим, придется мириться с моей инаковостью. Я — и есть поток, и меня не перенаправишь, не растворишь. Единственное, что может меня отвлечь, — глухой низкий хлопок, внезапно раздающийся в комнате.

Руки больше не давят. Желтые ошарашенно оглядываются, забыв про меня.

— Так, лесные говноеды. Руки прочь! Размотали его, быстро!

21:01

На поляне было тепло и влажно. Струился осторожный ранний закат. У кого-то в машине тихо играл хардкор. «You can stop the party, but you can't stop the future», —

по кругу раздавалось из колонок. Скучающие девушки стучали в такт своими черными ногтями по бутылкам с давно уже горячим красным вином.

— Почему вы вообще выдернули его? — спросила одна из них у Антона Солнце.

— Ёла, — серьезно ответил тот.

У нее было редкое имя Ёла. Всем мужчинам нравилось просто так произносить его, скользя кончиком языка по небу и далее в известном анатомическом порядке. Но вся эта фонетика тут была ни при чем, она не имела бы силы, если бы не ее бледные, гладкие, сильные ноги и ее черные, будто заряженные мощным, но тихим женским электричеством кудри. Она очень редко улыбалась, еще реже — хмурилась.

Антон посмотрел на нее, на лучи заката в ее локонах.

— Что, «Ёла»?

— У него, вроде как, долг.

— Денежный?

— Не знаю. Я просто слышал что-то про долг. Может, моральный?

— Что за глупости? — она наконец нахмурилась. — Я замерзла, могу взять твой плед? Вообще, мне надо идти домой. Да, и кстати, я скоро уезжаю из города. Надолго. Может быть, насовсем.

— Ёла, — снова зачем-то повторил Солнце.

21:01

Я поднимаю голову и вижу Сантьяго, стоящего у входа. В правой вытянутой руке он держит несуразную конструкцию: разодранную пластиковую бутылку, насаженную на ствол черного пистолета. Если не заметить пистолет, то кажется, будто Сантьяго размахивает кормушкой для птиц. В левой руке он держит бензонасос.

— Я буду стрелять и стрелять, пока мне не надоест. Жирному отстрелю не только второе ухо, но и все, что плохо приделано. Ты, — тыкает он дулом в Чайничка, — развязывай его. Поживей, гринго!

Чайничек, внезапно вспотевший, замирает, сосредоточенно глядя на вдруг явившегося Сантьяго. Трясущейся рукой Сеня наводит пистолет на видеодвойку. Раздается оглушительный выстрел. Видеодвойка тихо пукает и мгновенно затыкается и тухнет.

— Сука, надо было сразу глушак снять, Дима же сказал, — шипит Сантьяго с досадой.

Чайничек кидается ко мне и методично принимается распутывать узлы веревок.

— Так, — цедит сквозь зубы Сантьяго, водя пистолетом вокруг, — сейчас мы спокойно выходим на улицу и идем к себе домой. Не заставляйте меня нервничать.

Последняя фраза звучит как просьба.

20:27

Пыль на дороге постепенно оседает. Сантьяго все еще немного трясет, но теперь это не страх, теперь это волна почти священной эйфории катается по нему туда и сюда. Между делом Сантьяго думает, что это уж очень похоже на приход. А ведь никаких колес не надо, надо только испугаться до усрачки, а потом расслабить батоны. Вот тебе и выплеск серотонина — честно и легально. Он улыбается, стоя на этой пыльной дороге, он думает: «Господи, как же я люблю этого кота! Какой же он хороший человек».

Кот-кавээнщик тем временем еще раз показывает Сантьяго, как снять пистолет с предохранителя, как взвести курок. Сантьяго блаженно кивает.

— Понял? Вот так. И, наверное, надо глушитель снять. Ты ведь не собрался никого валить?

— Нет, никого не собрался, — с улыбкой на лице отвечает Сантьяго, — так, припугнуть.

— Ну, тогда точно сними глушак, а то получится фуфлово. Ну все, теперь точно пока!

Кот-кавээнщик хлопает Сеню по плечу и разворачивается. Сантьяго вдруг приходит в себя, он удивленно вскидывает брови.

— А ты куда?

— Да пойду искупаюсь.

— Искупаешься?

— Ну да. Лето же на дворе, а я еще ни разу не купался.

— Подожди, — озадаченно трет виски Сантьяго, — а потом?

— А потом — посмотрим. Прощай, Сеня. Будь молодцом!

И кот-кавээнщик бодро шагает к машине.

21:14

— Нат, пошли! Чего ты там встал?

Нас отделяет от войска желтых всего несколько шагов. Мы стоим во дворе бывшего пионерского лагеря. После удушающего воздуха подвалов и каморок дышится легко, кружится голова. Толпа стоит спиной ко входу в здание, будто охраняя свои рубежи от злобных интервентов. Нат опускает голову и смотрит на свою трубу.

— Я не иду, — тихо говорит он

Сантьяго широко шагает к нему, держа пистолет в согнутой руке.

— Так, завязывай, пошли.

Толпа качается и отступает назад.

— Сеня, он не пойдет, — наконец доходит до меня.

— Че ты, бля, гундосишь? — поворачивается он ко мне. — Тебя че, успели уже ужалить? Кстати...

С этими словами Сантьяго перекладывает пистолет под мышку и тянется в карман. Зип с размокшими таблетками появляется в его руке.

— Нате-ка, заберите ваше хулайлу!

Он бросает пакетик в толпу. Желтые хором охают.

— Все, пошли, братва. Нам еще возвращаться уйму времени.

— Сеня, он не пойдет, — еще раз говорю я.

— Нат, клади дудку, пошли! — тыкая в народ пистолетом кричит Сантьяго.

Нат смотрит на трубу, смотрит вокруг, смотрит на Сантьяго.

— Я не пойду.

Толпа вокруг вдруг начинает гудеть: «Ж-ж-ж-о-о-о».

— Завалите! — кричит на них Сантьяго и снова тыкает в них дулом. — Нат, пошли, если понравилась дудка, забирай с собой! Вообще, бери, все что хочешь, я разрешаю.

— Я остаюсь, — спокойно говорит Нат.

Толпа опять гудит. Сантьяго разъяренно трясет пушкой, но на этот раз они не реагируют, они закрыли глаза.

— Нат! — кричит опять Сантьяго.

— Я остаюсь здесь, — говорит Нат тише.

Он смотрит на нас и, как всегда, улыбается. Тихо и степенно. Толпа замолкает.

В наступившей тишине звучит глухой бас. Звук нарастает, к нему подключается пронзительный, визгливый перезвон. Нат вдруг хмурится, прислушивается и тут же хлопает себя по причинному месту. Он опускает руку в штаны, прямо к хозяйству, и достает оттуда сотовый телефон, внимательно изучает экранчик, затем нажимает на кнопку и прикладывает телефон к уху:

— Да, алло.

В трубке кто-то бубнит.

— Гуляю с ребятами.

Чайничек тихо поворачивается и спрашивает у кого-то в толпе: «Вы же его досматривали!»

— Нет, не смогу в магазин сходить. Слушай, я уже никуда сегодня не пойду.

В трубке опять бубнят.

— Никогда. Никогда не приду домой.

Звучит короткий вопрос с той стороны эфира.

— Ну так получилось. Пока, мам.

Нат сбрасывает вызов и снова улыбается.

— Ну все, друзья. Идите.

Сантьяго начинает пятиться к высоким воротам, я — за ним. Мы двигаемся медленно, будто по темноте.

Нат негромко произносит:

— Стой.

Он что-то ищет в карманах жилетки и наконец достает ключ, добытый у Тычинкина.

— Возьмите.

Он быстро подходит и вручает мне ключ. Толпа тем временем снова начинает тянуть «ж-ж-ж-о-о-о». Сантьяго рычит:

— Жопа. Жопа! — с этими словами он сует мне в руки бензонасос. — Держи-ка.

Он поднимает пушку вверх и что есть мочи орет:

— Да заткнитесь вы, говноеды!

Сантьяго, сжав зубы, несколько раз нажимает на курок. Оглушающие хлопки разлетаются в стороны, эхом отражаясь об сосны. В ушах от выстрелов противно звенит. Наконец, звук выстрелов сменяет тихий щелчок. Сантьяго снова нажимает на курок, но теперь выстрелов не слышно.

— Бежим теперь! — кричит Сантьяго. — Резче!

Мы бежим к забору. За нашими спинами слышится сначала осторожный, потом быстрый топот десятков ног.

Когда мы оказываемся за забором, топот смолкает. Мы осторожно, неуклюже пятимся по дороге. В левой я сжимаю ключ, в правой — тяжелый сизый бензонасос. Сантьяго все еще пытается добыть из пистолета огонь, но только тихие щелчки доносятся из-под курка.

— Побежали, — только говорит Сантьяго, как вдруг его сносит тяжелый желтый человек. Он выскакивает из-за мощной сосны и тут же валит Сеню на землю.

Моя рука с бензонасосом мгновенно поднимается и опускается на голову человеку. Я делаю это до тех пор, пока Сантьяго не вскакивает на ноги. Сложив руки, будто бы молясь, человек хватает тяжелую сталь насоса и тянет на себя.

— Бросай! — командует Сантьяго и разворачивается.

Я едва поспеваю за ним. Через несколько мгновений мы оказываемся на вершине холма. Там получается оглянуться: возле ворот бывшего детского оздоровительного лагеря стоит желтый народ и злобно смотрит нам вслед. Один человек лежит на земле, держась за окровавленную голову. Мы разворачиваемся и бежим.

— Оставил его! — задыхаясь, кричу я Сантьяго.

Мне и самому непонятно, кого я имею в виду — Ната или бензонасос, который мне так и не удалось вырвать из желтых рук.

21:25

Деревья бросают длинные, темные, опасные тени. Кажется, что за каждой сосной кто-то есть, кто-то в желтом балахоне. Как назло, солнце в это время светит

особенно желтым. Но скоро мы привыкаем к этой мозговой игре, и Сантьяго решается выбросить пистолет со съехавшей вбок разлохмаченной пластиковой бутылкой. Мы уже не бежим, мы быстро шагаем по лесу, покачиваясь из стороны в сторону, как два матроса, не привыкшие после долгого плавания к неподвижности земной тверди.

От первого вздоха до первого по-настоящему важного решения на протяжении всего времени моего земного существования меня не покидает чувство внезапности, соседствующее с привычностью. Привычная внезапность, или, может быть, внезапная привычность. Что-то живое и умное, сама жизнь, если это не слишком громко и пафосно сказано, движется через меня и посредством меня. Но сам я не умею жить. Это, скорее, жизнь умеет жить, а я так — сбоку припеку. Как там греки называли любое умение? Техно? Вот, вот. Невыносимое техно бытия.

Карты открыты, ты только продолжаешь работать над их детализацией. Не осталось белых пятен, не осталось неизученного, но связь частей все еще недоступна для понимания. Лесничие не плутают в обширных лесных массивах, обходятся без компаса, достаточно чутья. Рыбаки знают, где берег, лесные озера больше не меняют своих очертаний. Все кажется изученным и понятным, но вряд ли ты отважишься назвать это место своим — ведь если лечь прямо здесь, трава не будет нежно обвивать твое тело, не будет вплетаться в волосы и обвивать пальцы. Она прорастет напрямую сквозь тебя, забирая свое. Так, несмотря на изученность всех мест, мы здесь чужие.

И вот Сантьяго бросает свое оружие куда-то в заросли дикой малины. Мы делаем еще несколько шагов и выходим на небольшую делянку. Посреди нее стоит огромная вагон-цистерна, из-за которой вьется небольшой дымок. Мы осторожно обходим цистерну и видим такую картину: в центре полянки горит небольшой костер, над пламенем висит котелок. Возле очага сидит косматый мужичишка, одетый в брезентовый костюм сварщика и японские деревянные сандалии гэта. У мужичишки спокойное, сосредоточенное рабоче-крестьянское лицо. Глаза у него сначала закрыты, но услышав шорох наших шагов, он тут же поднимает веки, смотрит на нас, махом вскакивает и бежит к цистерне. В ней открывается небольшая дверка — та самая, которую мы еще недавно не могли открыть. Мужичишка пропадает во чреве жилища буквально на несколько мгновений, потом вновь высовывается. В руках у него — спортивный арбалет небольших размеров. Тетива угрожающе натянута.

Мы автоматически поднимаем руки вверх. Мужичок резво выкрикивает:

— Я говорил вашей матке, чтобы никто из вас, сатанинских выблядков, сюда не хаживал!

Сантьяго оглядывает меня, на секунду задумывается, потом устало проводит рукой по лицу с мучительным «бля-я-я». Затем он смотрит на мужичишку и медленно отвечает:

— Простите, уважаемый! Мы просто проходили мимо. Нам вообще домой бы попасть. А мой друг... вы не смотрите на него. Дело в том, что...

— Сантьяго, завали, — говорю, потом вздыхаю и обращаюсь к мужичишке: — Слушайте, у нас был очень трудный день. Меня чуть не убила эта кучка сумасшедших. Если хотите, можете это сделать за них, только вложите стрелу в арбалет.

Мужичишка смотрит на свое оружие, затем говорит одними губами «бля» и наконец опускает арбалет. Там действительно нет и не было стрелы.

Мужичишка смотрит на нас и сильно хмурится, будто прицениваясь.

— Если вас очень смущает, он может снять балахон, — тараторит Сантьяго. — Только под ним ничего нет. Совсем. Если вы дадите ему одежду или хотя бы средство от комаров, то...

Мужичишка перекладывает арбалет в другую руку и, перебивая Сантьяго, спрашивает меня:

— Ну-ка скажи: «Ехал грека через реку, видит грека — в реке рак».

Я вдруг оглядываюсь по сторонам, будто бы мужичишка сказал это кому-то

другому. Сантьяго нервно выдыхает, мужичишка испытующе смотрит на меня из-за арбалета.

— Вы это мне? — осторожно спрашиваю у хозяина цистерны.

— Не тупи, — рычит на меня Сантьяго.

Я как могу повторяю скороговорку.

— Ну, можно было и бы получше. А ну-ка скажи: «Бык тупогуб, тупогубенький бычок...».

— У быка бела губа была тупа, — продолжаю.

Мужичишка задумчиво почесывает бороду.

— Хрущи хватают хвощи. Охапки хины хватает на щи.

С большим трудом и запинками повторяю прибаутку. Мужичишка щурится, внимательно в меня всматривается:

— Поработай над шипящими.

— Хорошо, — киваю я. — Ну так что? Пристрелите нас?

— Он — племянник Романа Фомича, — как заведенный молотит Сантьяго.

Мужичишка еще больше улыбается.

— Надолго? — уточняет он.

— Простите? — мотаю я головой.

— Ты все услышал, — с раздражением говорит мужичишка.

— Вроде бы... — смутившись, отвечаю.

— Так «вроде бы» или надолго? — строго спрашивает дядька, но арбалет свой не поднимает.

Я задумчиво подбираю ответ.

— Чего вы к ним вообще поперлись? — окидывает нас мужичишка не то насмешливым, не то гневным взглядом.

Сантьяго прокашливается.

— Да как, идем-идем, видим, забор. Хотели у добрых людей водички попросить попить.

— Водички, забор... Неужели непонятно, что добрые люди за заборами не прячутся?

Теперь уже Сантьяго в поиске лучших слов разглядывает свои кроссовки.

— Ладно, пошлите травушек попьем, — говорит мужичишка и исчезает в своем жилище. Мы заходим следом.

Я осматриваю длинную утробу цистерны. Успеваю заметить гусиные перья на вешалке, печку-буржуйку, вымпел «Участникам соревнований Голубой огонь-1984. Лучший кузнец», мусорное ведро, газовую горелку, водный бульбулятор, календарь на 2009 год с лицом нашего мэра, фигурку розового кота с опускающейся и поднимающейся правой лапой, большой телескоп, ловец снов с налипшими на него мухами, ситар, китайский мафон. На просторном столе напротив двери стоит печатная машинка «Москва» с листом бумаги в каретке. Уже исписанные листы лежат рядом аккуратной стопочкой.

Мы выходим на улицу, а мужичок выносит кипящий чайник, ставит его на низкий пенек и, поболтав там щепкой, приглашает нас к столу.

— Юлук, — говорит он из-под своей жидкой бороденки, наливая из чайника в кружки.

— Какой лук? — не понимаю я.

— Юлук горный. Трава такая, — отвечает он, кивая на кружку.

Молча мы делаем по глотку чая. Настой пахнет чем-то сырым и терпким. Я только делаю второй глоток, как вдруг мужичишка ставит свою кружку на землю.

— Провожу вас, — говорит он, отправляется в цистерну и выходит с арбалетом.

— Нам бы только до дороги, — уточняю я.

— Поздно. Машины не ходят. Пойдем туда, откуда пришли.

Мы шагаем по тропе уже в сумерках. Мужичок проворно бежит впереди, несмотря на то, что его гэта явно не созданы для лесных марафонов.

22:39

После стольких часов на природе ты уже не чувствуешь всего разнотравья в воздухе. Дышать — это так просто и естественно. И жить в лесу, и ходить по узким тропам.

Когда лес вдруг заканчивается, на секунду становится даже страшно: зачем столько пространства? Зачем столько неба? Мы смотрим с холма вниз, на огромную поляну, большую плешь, застроенную одинаковыми домами из красного кирпича. Кирпич поглощает последние алые лучи, отчего кажется, что дома мягкие, вельветовые, бархатные. От этого становится уютно. Вот ведь: пока ты тут валандаешься по лесам, вне себя от усталости и всей той фигни, что пришлось пережить, кому-то здорово и легко. Он обнимает своих детишек и женушку, смотрит что-нибудь по телеку и изредка поглядывает в окно, где тихо колышется лес. «Ах, как же здорово я устроился в своем доме!» — думает этот счастливый человек.

— Это чего, деревня? — поворачивается Сантьяго к нашему проводнику.

— Ага, закрытого типа, — говорит тот и спускается с холма.

Мы тоже идем, и шаг за шагом приближаясь к деревне, я чувствую, как домашнее тепло, которым меня обдало минуту назад, совсем не усиливается. В воздухе нет запаха дыма: неужели счастливый человек не затопил сегодня баню? Не кричат радостно дети: счастливый человек наказал их и запретил сегодня играть? Я делаю еще несколько шагов — и тревога окончательно сметает ту радость на холме.

Сантьяго смотрит на меня, а я на него. Но чей-то еще взгляд сверлит нас. Кто-то безмолвно смотрит за нами. И не парой живых глаз — а множеством пустых глазниц.

Сначала я замечают кусок полиэтилена, торчащий из-под кровли одного дома и чуть трепещущийся на ветру. И из этого куска, будто из зловещей черной дыры, разворачивается весь ужас. Вся деревня, каждый ее дом — это нечто оставленное, брошенное навсегда.

Эти взгляды, сверлящие нас тиранично и навязчиво, — просто пустые окна десятков домов в этой деревне. Одна разбитая дорога. Ржавые ворота, покосившиеся крыши, капитально заросшие дурниной участки, осколки стекол, полиэтилен, строительный мусор, вполне нормальные детские качели. И пустые окна. Много пустых окон.

— Я ничего не понимаю. Объясните, что это? — наконец спрашиваю я, стараясь не смотреть в пустоту, которая прячется в каждом доме.

— История делится на две части: обычную и необычную. С какой начать? — отвечает мне мужичишка.

— Давайте со второй.

— Все люди из этой деревни пропали. То ли просто ушли, то ли их кто съел... Я склоняюсь к чему-то среднему.

— А первая часть истории?

— А в первой части истории разжившийся кто на чем в девяностые народец решил сделать коттеджный поселок закрытого типа в экологически чистом месте за городом. В складчину вырубили лес, проложили дорогу, заказали общий проект деревни, построили дома, зажили в них.

Громкий шорох прерывает рассказ нашего мужичишки. Мы резко оглядываемся, и стайка неизвестных мне птиц вылетает из глазницы дома.

— Это жутко, правда, — говорю я.

— Местные из Печек одно время таскали отсюда стройматериалы. Но чего-то больше не таскают. Хотя забор весь поснимали.

Теперь глазницы сверлят наши затылки. Мы подходим к краю деревни.

— Вот, — говорит мужичишка, показывая на два столба слева и справа от дороги, — некогда это были ворота в рай. Теперь у этого рая даже забора нет. А какой же рай без забора?

23:28

Глаза отказываются видеть мощные, мохнатые лапы хвои, свисающие над нами в сумерках и прячущие небо, на которое кто-то медленно крошит крупные куски соли цвета ультрамарин. Светит месяц. Любой звук глохнет в густом воздухе — будто бы мы пребываем в той эре становления законов физики, когда материя еще не остыла от печки Большого взрыва и потому не способна издавать звонкие ноты.

В этой густоте фальшиво, негромко поет Сантьяго. Поет по-испански. Ниже привожу замечательный перевод этой блистательной кубинской песни. Перевод принадлежит не мне, а талантливому отечественному переводчику Александру Гаврилову, чей труд значительно позже всей этой истории я нашел в интернете, на личной странице Александра:

Здесь осталась светлая
Родная прозрачность
И твоё любимое присутствие
Команданте Че Гевара

Аккуратно, не обращая на фальшь Сантьяго, в воздухе разливается мелодичный шум — Ильменка уже за холмом.

— Приплыли. Вся Санта Клара уснула, — остановившись, говорит Сантьяго.

Поднимаясь на холм, я вдруг понимаю, каким тяжелым за этот день я стал. Никакой проворности. Усталость и нудная лень. Кора на соснах впереди вдруг освещается лиловым и тепло-янтарным, это на вершине холма редкие огни Печек встречают нас осторожным мерцанием. Справа виднеется уютный свет из окон дядюшки. Сантьяго садится, смотрит вперед и мычит:

— Приплыли.

Мы замолкаем. Ноги тянет, хочется жрать, но почему-то, по каким-то необъяснимым причинам, все же хорошо.

Вдруг неподалеку, слева, раздается мерный глухой шум — кажется, тарахтит двигатель. Из леса, по заросшей дороге, навстречу воде бодро выезжает «девятка» с мигалками и синими полосами по бокам. Машина двигается к отлогому берегу, потом поднабирает прыти и с гневным грохотом разрезает бампером воды Ильменки. Валит тяжелый дым, вода прыгает и пузырится, двигатель ревет отчаянно и остервенело. Вся Ильменка будто бы наваливается на нос машины, но та и не думает сбавлять ход. Тогда вода вздыхает и выдыхает, в один момент укрывая «девятку». Еще недолго я вижу фары, блекло, фосфорически светящие из-под воды.

Вновь устанавливается молчание, только тихо и мелодично шумит быстрина.

— Сядь, посидим. Че встал-то, как тесть на именинах? — говорит мне Сантьяго.

Я действительно стою, не в силах понять, что это за такой изощренный акт самоубийства только что произошел.

Сантьяго в изумительном спокойствии жует травинку. Вдруг река посередине вспучивается. Мы слышим выдох и жадный, хриплый вдох. На поверхности Ильменки показывается голова человека. Он плывет к тому берегу, преодолевая течение. В свете звезд и половинки луны я вижу, как человек доплывает до суши, качаясь, вылезает из воды, снимает всю одежду до трусов, оставляет ее на песке и уходит в темноту, туда, в поле.

— Говорю же, приплыли, — с какой-то поучительной интонацией произносит

Сантьяго. — А мы с тобой никуда не поплывем, ми амор амиго. Ты плот просохатил зачем-то.

— Сеня, что это было? — спрашиваю я, в недоумении глядя на воду.

— Да один знакомый.

— Что он сделал?

— Не видел, что ли? Плавал.

— Плавал?

— Ну конечно. И неплохо притом.

— Странно.

— Ничего странного. Просто решил человек поплавать.

Я достаю из кармана балахона цветастый шерстяной сокс размером с крупное яблоко. Щупать его приятно: что-то сухое и травяное заштопано в нем. Вещицу дал мне на прощание мужичишка, лесной обитатель бочки. Где он теперь? Шагает своими гэта по лесной тропе, возвращаясь в свой дом, гордо неся на плече незаряженный арбалет. Я думаю, что сейчас было бы неплохо попробовать содержимое сокса и уснуть прямо вот здесь, под звездами. Но курить не из чего, мы даже не сможем разжечь огонь. Можно, конечно, постучаться к дядюшке и попросить спичек и бумаги, но на сегодня приключений хватит.

Сокс перевязан шерстяной тесемочкой, к краю которой примотан бумажный свиток. Я срываю его и разворачиваю. Красивым убористым почерком — кажется, тушью — на листочке написано:

«К ВОПРОСУ О МЕТОДЕ.
ЗВЕРЬ ВНУТРИ ЯЗЫКА КАК СМЫСЛ СУЩЕСТВА МАШИНЫ».

Сантьяго заинтересованно смотрит на бумажку. Дальше шрифт не рукописный, а набранный на машинке. Я читаю вслух:

«*Мы должны обновить наше видение тел. Секс, если правильно взглянуть на ситуацию, есть обновление тела, потому как мы сливаемся в Океанос и размыкаем иерархию и упорядоченность, конституциональное “где и зачем”. По-настоящему организм будет организмом тогда, когда целиком откажется от своей органичности. Когда он признает себя механизмом и выйдет из утробы природы. Или когда создаст механизм настолько же изящный, как организм. Не будет ли это тогда означать, что организм настолько изящен, что способен создать механизм как организм? Что, если мы сами себя бесконечно воссоздаем? Это сейчас человек хочет сконструировать машину, но скоро, очень скоро машина будет хотеть сконструировать человека. Рождение не из утробы? Машина будет думать: “О, ну почти похоже на меня”. И так далее. Вечное Возвращение, превращение. Перетекание.*

Нет просто души и просто тела. Есть беспощадная органика обновления.

Не является ли критика прогресса очень прогрессивной и потому — скучной?

Это не идея разложения, но идея единения. Это не идея прогресса.

Вся проблема в том, что диалектику становления заменили на простой прогресс. Прогресс — это и есть мертвящая механика. Это механизированная диалектика, в которой отброшено самотворение вечно себя познающего духа. Но диалектика неполиткорректна. Идея эта тоталитарна, потому и может стать достоянием постгуманистических островков мышления. Все повторимо в своем неповторении, и все неповторимо в своем повторении. Вечное невозвращение — вот, скорее, как это называется. Все неповторимо в частичном проявлении этого становления, в строгом повторении неповторяемого. Короче, никогда ничего не повторится. И даже вы. Вот испытание. А не Вечное Возвращение.

И еще: если ты открываешь в себе способности к потоку, не думай, что это нечто священное само по себе. Поток либо есть, либо нет. Река либо течет, либо не течет. И вообще — непонятно еще, что лучше, уметь расколдовывать или уметь заколдовывать. При следующем своем эстетическом опыте подумай об этом хорошенько.

Мы по-настоящему любим стареть, прокуривая легкие. Никогда ничего не будет. Ведь может быть только то, что уже будет. А такого не будет.

Создавайте машины.

Я понятно изъясняюсь?..»

Вдалеке, на том берегу, снова шумит мотор. Две прямоугольные фары режут атлас тьмы и быстро приближаются к нам. Когда свет падает на воду и машина подъезжает к самому берегу, мы узнаем знакомый нам автомобиль. Открывается дверь. Из салона доносится Джордж Майкл. Высовывается здоровая, лохматая голова с бородой. Красавец Гера.

— Хо! — кричит он и машет руками, чтобы мы не сомневались больше.

Гера суется в багажник, немного ковыряется там и выносит на берег огромную массу чего-то тяжелого. Он кидает массу на песок. Будто огромный носовой платок, который давно не меняли, лежит это нечто возле самой кромки берега. Гера снова бежит до багажника, потом шевелит массу, выпрямляется и начинает делать нелепые движения всем телом. Каждая фаза движения сопровождается уморительным писком, будто кто-то давно не может вылечить гайморит и одной ноздрей пиликает во сне. Масса на песке подергивается и шевелится, обретая формы.

— Ну ты даешь! Гера, амиго, ну красавец! — кричит Сантьяго, вскакивает и бежит к берегу.

К моменту, когда мы добираемся до воды, гигантский носовой платок на том берегу уже почти полностью разворачивается и надувается.

— Оу! — кричит Гера и машет руками, при этом продолжая раскачиваться на одной ноге.

Под ногами Геры постепенно набухает средних размеров лодка. Гера спускает ее на воду, но вдруг одумывается, снова бежит до багажника, приносит весла и длинный кусок веревки. Он быстро привязывает веревку одним концом к ушку на носу лодки, а другим — накидывает ее поверх единственного стального троса, соединяющего берега Ильменки.

Наконец Гера садится в лодку и радостно гребет к нам. Свет «жигулей» отражается от воды. И я вижу: на носу шлюпки, ближе к носу, белой краской, ухабистым, кривым почерком выведено: «Бригантина “ПРОВОРНАЯ”».

23:55

Снова на этом берегу

— Ничего хорошего здесь нет. Ничего.

Сантьяго курил Герины папиросы и смотрел сквозь приоткрытое окошко «жигулей», как горят и полыхают на западной стороне неба звезды. На торпеде, рядом с пачкой «Беломора» был уложен ключ от затерянного в складках судьбы бензонасоса. Нежно шептал в колонках Джордж Майкл. Мы мчали по трассе.

Сантьяго опять что-то скулил, замолкал, как во сне стряхивая пепел себе на штаны. Я никогда не видел, чтобы он был таким медлительным и чтобы он так долго и тяжело думал. Гера рулил и смотрел на мелькающую полустертую разделительную полосу.

— М... — выдохнул он.

Сантьяго отмер и вопросительно посмотрел на Геру.

— Что, Гера, есть что добавить?

Гера нахмурился и вдруг ответил:

— Да ничего, Сеня. Уймись. По-моему, у вас был шикарный день. Чтобы это понять, просто попробуй, ну я не знаю, заткнуться, что ли? Вы сделали все, что могли, а это уже неплохо. Как же ты иногда меня бесишь, давно хотел тебе сказать!

— Да я просто, как бы это. Думал, что так не бывает. Ну просто....

— Че просто? Просто уймись и помолчи. Когда же ты станешь человеком?

— Я уже. Вот сегодня, например...

— Ну и молодец, че еще сказать? Если ты рад этому событию — то умей радоваться молча. А если огорчен — то попереживай с закрытым ртом. Всегда сможешь обратно расчеловечиться, если захочешь.

Гера отвернулся, прибавил Джорджа Майкла, а затем поддал газу. Я сидел и пытался вспомнить, когда в последний раз слышал Герин голос. Я думал, что бедный Сантьяго ведь не понимает, что дело тут совсем не в бензонасосе. И даже не в рейве. Не в упущенной выгоде. А в чем же дело? Мы медленно въехали в город и покатились по пустым, душным улицам. Вскоре Гера задумчиво свернул за гаражный кооператив, и мы снова оказались в лесу.

Гера сбавил ход, и машина недовольно затряслась по неровной дороге. Навстречу нам, в свете фар, на обочинах стали вырисовываться силуэты людей. Парни и девушки, ежась в своих кофтах и худи, обмотанные покрывалами, тряпками, шли с пустеющей поляны в город. Грустные, словно травоядные и добрые зомби, они плелись друг за другом маленькими компаниями. У девушек на тонких запястьях бесшумно блестели браслеты. Никакой музыки не было, никакой музыки не будет. Не будет ни Солнцестояния, ни рейва, ни экстаза, ни пота, ни слез. Саундсистема сегодня молчит. Впереди только огромное скучное лето на краю новой эпохи. Без права на реабилитацию. Лето на тектоническом разломе — бесконечное и безжалостное.

Впереди мелькнул тоненький ручеек, который уже скоро, с первыми лучами, будет облеплен васильковыми матовыми лоскутами с белой окантовкой.

— Гера, останови, — сказал я.

— М? — буркнул тот, нахмурившись. Видимо, вспомнил крылышко в пачке «Беломора».

— Пить хочу, останови.

Компания ребят перепрыгивала через ручей, когда я вышел и двинулся немного вверх по течению, туда, где русло было чуть шире. Я сел на колени и наклонился к воде, в которой бликовали фары и немного — звезды. Ледяная вода дотронулась до моих губ, я стал пить. Стоя так на коленях, будто делая намаз, я втягивал воду короткими глотками, закрыв глаза, потом посмотрел на гладь и тут же заметил матовый лепесток, медленно плывущий вниз по течению. Лепесток тихо поворачивался вокруг себя и убегал дальше, набирая скорость. Я встал с колен и пошел по берегу внизу, к броду, пытаясь дождаться, когда крылышко приблизится ко мне настолько, чтобы я мог его схватить.

Но оно все плыло, набирая скорость, вальсируя на поверхности. И вдруг что-то его остановило, крылышко затанцевало и закрутилось на одном месте. Я подошел поближе и протянул ладонь. На дне, в массе песка, что-то блеснуло красным. Небольших размеров металлический цилиндр торчал в песке на дне ручья. Я схватил его и без труда поднял — массивная деталь, омытая в родниковой воде, с налипшим на нее песком лежала в моих руках. «РУМ-1» — значилось у нее на латунно-красном боку.

22 июня
00:20

— Ты меня не нашла?

— Я тебя не искала, если честно.

Если стоять на опушке леса, прямо за которым играет во всю мощь техно, то можно сойти с ума от количества хаотичной реверберации. Звуки отражаются от тысячи сосен и возвращаются к тебе уже совсем другими — преобразованными, будто тысячи экспериментальных электронщиков предложили свое видение трека. Если следить за каждым — то можно просто двинуть с ума.

— Прости.

— Да нет, ничего. Забот сегодня хватало.

Хотелось закурить, это подошло бы к ситуации. Ну, стоим, разговариваем с ней, и я такой задумчиво курю в ночи, под россыпью звезд на ультрамариновом небе, которое пытается реанимировать мое сплющенное от любви и страсти сердце. Но сигарет нету, я просто щелкаю зажигалкой. Да и будем честны, сердце у меня от любви не плющится. Оно вообще не плющится.

— Так куда ты уезжаешь?

— Я давно хотела тебе сказать. В Сочи. Послезавтра.

— В Сочи?

— Ну да.

— Надолго?

— Наверное. Сначала хотела до конца лета, но потом подумала остаться.

Я щелкнул зажигалкой и зачем-то спросил:

— Там скоро будет олимпиада, да?

— Вроде бы. Но это неважно. Там какой-то детский врач лечит детей с аутизмом.

— Детский врач?

— Знаешь, наш разговор напоминает мне разговор двух аутистов. Не думаешь?

— Есть что-то похожее, мне судить трудно. Ты повезешь брата к этому врачу?

— Да. И сама хочу у него поработать. Врач ищет волонтеров. Возможно, потом устроюсь к нему ассистенткой. Знаешь, в этих делах много шарлатанов. Аутизм ведь не лечится.

— Как и многое.

— Ладно, я пойду.

— И я пойду. Классное платье. Ты его сегодня купила?

— Спасибо. Да. На распродаже. А у тебя классный балахон. Под ним ведь ничего нет?

Я зачем-то оттянул краешек желтой одежды и улыбнулся.

Иногда я вспоминаю коллажи ее брата-аутиста, разбросанные по полу. Иногда мне кажется, что все так и повторится. И завтра, встав с утра, я не обращу внимания на то, что прошло столько времени, что одна за другой родились и умерли миллионы эпох — так техно в сосновом лесу рождается в диффузорах саундсистемы, затем деревья дробят его на бесчисленное количество своих версий, а потом все это улетает бесследно в небо, целебно укрывающее лето. И я подниму трубку городского телефона, наберу ее номер и скажу: после того, как ты повесишь трубку, поставь песню Born Slippy, слушай внимательно.

А потом ее органы в один момент лопнут.

Поймёте ли?

2019
Челябинск—Москва

Марина Кудимова

Реновация

Пьяный

Зыбом идёшь, зыбом
По леденям, глыбам,
Яминам и ухабам
Хлябом скользишь, хлябом.

Словно из сна в кому,
Выныришь — и впадаешь.
А далеко ль до дому?
Сразу не угадаешь.

За Куликовым полем?
Падающим рейхстагом?
Брассом плывёшь, кролем,
Танговым тянешь шагом.

Раком гребёшь, рыбом
Чвакаешь по намывам.
Зыбом идёшь, зыбом,
Дрыгающим извивом.

Кто твой отец крёстный?
Н*а* тебе день постный,
Н*а* тебе рупь, что ли.
Дай тебе Бог доли!

Но не ищи света
В сердце кровавом волка.
Моченьки нет?
— Нету!
Водка спасёт, водка.

Цвелью и ржой рябый,
Дом твой под шар-бабой
Крошится — и не вякни.
Как добредёшь, звякни.

Кудимова Марина Владимировна — поэт, переводчик, публицист, литературовед. Родилась в Тамбове, там же в 1973 году окончила пединститут. Печатается с 1969-го. Автор нескольких книг стихов. Лауреат ряда литературных премий. Живет в Переделкине.

Притравка

Над притравочной станцией солнце встаёт...
Раньше всех просыпается мёртвый енот.
Отряхая кровавую жижу,
Констатирует он: «Ненавижу!»
Вслед за ним пробуждается мёртвый медведь,
Порционно порублен, разделан под снедь,
Пакетирован, сложен на ледник,
В разблюдовку внесён не в последних.
А собаки добычные дрыхнут пока,
Воздымая и всасывая бока.
Пегих гончих заливисты стайки,
И нестомчивы рыжие лайки.
Их натаскивают на цепную лису,
Чтоб в сезон промысловый в засечном лесу
Не помяли козявки и травки.
Не нагонишь гонца без притравки.
Позже прочих прокинётся Мил-Человек,
Он потычет в хай-тек, растолкает ковчег
И во лбу поскребёт одноперстьем,
Ротовым выдыхая отверстьем.
Кто из нас тот медведь, тот барсук и енот?
Над притравочной станцией солнце встаёт...
Это всё аллегории, басни —
Чем двусмысленней, тем безопасней.
А и спал-почивал бы ты, Мил-Человек.
Поднят хай, стоумовый погашен хай-тек,
Но расчёт траектории точен,
И шматок человечины сочен.

Реновация

Семь камней, пять костей во дворе забивают
с эффектами грома.
Домино доминирует —
как отдуплишься из дома?

И когда так бывало, что быть не могло ещё хуже?
Только небо не лжёт, и наплюй на синоптиков, друже.

Что они понимают в закате с прожилкой бекона?
Хватит булки отсиживать!
Ну-ка пойдём поглазеем с балкона.

Вот и стартовый цикл темноты,
репетиция смерти безвидной —
Бутафорская старость
и пыльная немощь с медл*и*нкой, почти не обидной.

Ну, придёт и придёт, губоногая, как сколопендра!
Человек — это дом.
Разрушается он постепенно.

Постепенно и пиво не пенно,
и лира не лирна.
И народ — это дом,
многогласный и многоквартирный.

Постепенно тишает соборное главное слово,
Постепенно слетается несыть,
кружит возле фонда жилого.

Постепенно отходят обои от перегородок фанерных.
Что вам надо
от наших панелек, хрущобок и сталинок верных?

Наши души оставьте архангелам,
или аль-маутам,
или харонам.
Ошибаетесь!
Мы ни хрена не завидуем вашим хоромам.

Мы, до колик наслушавшись ваших речей и велений,
Не забыли своих коммуналок, своих подселений!

Не забыли, как тырился вождь в генеральские Горки,
Как насильно впирался в модерн Рябушинского Горький.

Образами мы печки топили,
но с гаком и с верхом
Все кровями отмыты
подо Ржевом и под Кенигсбергом.

И пока не дошло до замеса — короче, до драки,
По-хорошему просим:
не трогайте наши бараки!

Наши лавки лоснёные, наших дворняг, наше дно городское,
Гаражи с «ижаками», сараи с тисками
оставьте в покое!

Наши окна в геранях
и баб наших в платьях нелепых,
На верёвках крахмальные простыни в синих прищепах.

И какое вам дело до нашего тощего ада?
Мы свой ад заробили,
нам вашего рая — не надо!

Сквозь корявые ветки в пролёт погружается солнце,
Словно сетчатый давит ровнитель на чёрное донце.

Так и мы постепенно проваливаемся, убываем.
Только небо не лжёт.
Только памяти знак водяной несмываем.

Парадокс Ферми[1]

Тень ли мелькнула в окне или вспышка сверхновой,
С вилкою наперевес в лабораторской столовой
Ферми чудной вопрошает Вселенную:
«Где все?!»

Мы досмотрели кино до последнего титра.
К вам обращаюсь я, не прошедшим Великого фильтра:
«Где все?!»

Где роковые князья, фрейлины и камергеры?
Мщение завершено — что тут делают эти мегеры?

Русское поле осыпано маком и нутом.
Может, есть смысл попытать Равшана с Джамшутом:
«Где все?»

Чёрных ли дыр столкновение справа и слева?
Красные карлики, белые карлики, где вы?

Ваня, Мыкола,
я вас совершенно не слышу средь лая.
Моня и Хая,
в Дахау не встретили вы Будулая?
Где все?!

Сухо пошуршивают на ветру
венки в иммортелях из воска.
Где моя мама,
где ухажёр,
где прекрасная тёзка,
Где все?!

В общей крови захлебнулись
или в отдельно извергшейся сперме
Десять ответов на парадокс изумленного Ферми:
«Где все?!»

Если же предположить, что нету ни рая, ни ада,
Главный ответ
отпадает струпом от язвы:
«Где надо!»

Пуст мой анамнез, но вскрытье покажет, Асклепий,
Как я устала,
как выродилась,
как ослепла.
Кто доведет меня *до* дому,
кто объяснит на жестуно,
Где все?

---

[1] *Энрико Ферми* — один из «отцов» атомной бомбы, лауреат Нобелевской премии. В 1950 году при обсуждении феномена НЛО он задался простым вопросом: где все?

Павел Крусанов

Сдержанное путешествие по косте, сьерре и сельве

Рассказ

Ночью в сонном аэропорту Вантаа, пока Пётр Алексеевич и Полина в ожидании рейса дремали, утомленные поздним вечерним перегоном из Петербурга в Хельсинки, Иванюта сотворил стихи:

Муж и жена —
Одна сатана.
Муж без жены —
Две сатаны.

Без жены (холост) в странствие отправился именно он, поэтому финальные строки выдавали волну сугубо личных переживаний.

Иванюта потянулся за блокнотом, чтобы записать, но передумал. Нет, не то... С годами минуты озарения нисходили к нему все реже, и сердце уже не отзывалось на них обморочным замиранием. Однако случалось. И когда случалось, слова начинали благоухать, фразы колыхались, как травы, из-под букв выглядывали цветочные венчики, страница превращалась в благодатный цветущий луг, и уже ничего больше не требовал счастливый ум Иванюты.

В юности он считал себя поэтом. Не отрекался от участи и сейчас, но принимал ее теперь смиренно, без трепета и обольщения. Подстать характеру была и лира Иванюты — ее отличал спокойный, уравновешенный, трезвый и даже ироничный лад. Струны этого таинственного инструмента с одинаковой легкостью пели как баллады и оды, так эпиграммы и сатиры, но и в тех и в других напрочь отсутствовал пафос — Иванюта восхвалял без восторга и порицал без страсти. Прописные истины — без них куда? — он высказывал с улыбкой и этим лишал их жала уныния и горечи. Он верил в бессмертие души, но не впадал в пыл религиозности, и если обстоятельства вынуждали его говорить о вере, делал это так, словно рассуждал о гастрономической пользе сельдерея, — он был не пророк, а только прихожанин. Вместе с тем отсутствие патетики не обрекало стихи Иванюты на апатию и остылость — его беспорывный дух

Крусанов Павел Васильевич — прозаик. Родился в 1961 году в Ленинграде. В первой половине 80-х — активный участник музыкального андеграунда, член Ленинградского рок-клуба. Четырежды финалист премии «Национальный бестселлер», финалист премии «Большая книга» за роман «Мертвый язык» (2010). Живет в Санкт-Петербурге.

Предыдущая публикация в «ДН» — 2019, № 7.

умел находить красоту в обыденности, ограняя ее лукавым юмором в мерцающий самоцвет.

А каков он был в эпистолярном жанре! Однажды Пётр Алексеевич (товарищ по жизни и главный технолог типографии Русского географического общества, где Иванюта работал завскладом), памятуя о литературной жилке сослуживца, попросил Иванюту помочь составить отказное письмо поставщику, отгрузившему на склад битые рол*и* бумаги. Послание начиналось так: «Беспокоим Вас письмом лишь потому, что чтение его займет меньше времени, чем телефонный разговор — негодование и гнев при звуке Вашего голоса, без сомнения, помимо воли заставили бы нас бесконечно углублять и расширять нашу недобрую беседу». А заканчивалось следующим образом: «Примите уверения в нашем полнейшем к Вам непочтении и выражение искренней радости при виде Ваших бед, сияющих для нас лучами счастья!»

Вспомнив эту проказу, Иванюта улыбнулся.

Под утро аэропорт ожил, наполнился гомоном голосов, раскатами информационной трансляции и снующими — в одиночку и стайками — пассажирами, выгуливающими разнообразные породы чемоданов. Из Хельсинки в Новый Свет лететь оказалось дешевле, чем из отечества. Даже с учетом расходов на маршрутку из Петербурга в Великое княжество Финляндское. Полина, взбодренная чашкой кофе, выглядела бравой, а Петра Алексеевича ни прерывистый короткий сон, ни душистый эспрессо не освежили — он то и дело встряхивал плечами, как вылезший из воды пес, и прятал в ладонь зевок.

Повозившись с электронной регистрацией, сдали багаж. Изъяснялась за всех Полина — она свободно говорила на английском и испанском. У Иванюты с устным английским были проблемы, хотя читал в оригинале Бёрнса и Донна и даже, как ему казалось, что-то из прочитанного понимал. Что касается Петра Алексеевича, он со школьной скамьи знал полтора десятка слов по-французски и расширять запас не стремился, полагая, что пластичная и емкая русская речь куда больше подходит в качестве языка мировой дипломатии и международного общения, чем любая другая. Просто действительность как всегда запаздывает — мир еще не осознал этого преимущества и не подтянулся.

— Три грации досель считались в мире, но как родились вы, то стало их четыре, — в духе девичьих поэтических альбомов отвесил комплимент изящной Полине Иванюта, когда та у пестрого стеллажа в зоне дьюти-фри перевела ему мелкий текст на этикетке виски.

— Роза вянет от мороза, наша прелесть — никогда, — в тон ему откликнулась Полина.

— Метлу придержи, — добродушно зевнул в сторону Иванюты Пётр Алексеевич. — Сокрушу.

Впереди были пересадка в аэропорту Амстердама, пестрящего всеми цветами кожи, и долгий перелет над Атлантикой в интернациональном соседстве: слева — француз, справа — китаец.

Одиннадцать часов в запертом самолете измотали их окончательно, хотя улыбчивые стюардессы и пытались развлечь, беспрестанно предлагая еду и выпивку.

Иванюта отыскал в базе бортового компьютера несколько фильмов на русском, кликнул первый попавшийся и заткнул голову наушниками. С выбором не угадал — увяз в какой-то несусветной ерунде, сфабрикованной Бондарчуком-младшим. От огорчения сперва принялся следить за зеленой линией на мониторе с картой четырех частей света, разделенных Атлантическим океаном, — линия мучительно медленно удлинялась, отмечая пройденный путь, — потом пошел гулять по аэробусу, благо проходы между тремя рядами кресел позволяли. Отстоял из любопытства очередь в туалет: все было в порядке — вода в горшке сначала журчала и вдруг резко хлопала, как

пробка от шампанского. Затем в хвосте самолета обнаружил Петра Алексеевича с Полиной и поточил с ними балясы. Потом вернулся в кресло и открыл «Соляной амбар» Пильняка — взял с собой на случай внезапного досуга. Через час, утомившись литературой, принялся листать распечатанный на цветном принтере атлас-определитель Curculionidae of South America — картинки не требовали перевода, а вся систематика была на латыни...

Да, помимо поэзии, имел Иванюта еще одну склонность — долгоносики. Он собирал долгоносиков. Коллекция его уже насчитывала порядка пятисот видов, причем большинство из них, как и полагается, были представлены парой, а некоторые и пятью-шестью экземплярами, если насекомыши с хоботами-головотрубками ловились в разных регионах или имели отличия в параметрах — размер/расцветка. Некоторые, вроде *апионов* или *рамфусов*, не превышали макового зернышка (их на белых плашках расправлял для Иванюты человек редкой профессии — монтировщик насекомых Полубабкин, а с теми, что покрупнее, можно было управиться и самому) — ими Иванюте приходилось любоваться в бинокуляр, под оптикой которого малютки представали во всей красе своих хитиновых доспехов, но были и пальмовые долгоносики — эти едва умещались на ладони. Если Пётр Алексеевич с Полиной, зачарованные экзотической авантюрой, отправились в скитания исключительно за впечатлениями, не в силах противиться манящему соблазну далекого заповедного мира, то Иванюта рассудительно — хотя и с внутренним трепетом предвкушения — уповал на пополнение своего пестрого собрания. Собственно, он и предложил маршрут.

В Лиме на паспортном контроле за всех снова отдувалась Полина: мол, эти два guys со мной — they don't speak any language. На местную лингву переходить не спешила, должно быть, за редкостью применения не была в своем испанском достаточно уверена, хотя в пору студенчества целый год практиковалась в языковой среде на Кубе.

— Ничего, здесь быстро защебечет, — заверил Иванюту Пётр Алексеевич у ленты багажного транспортера.

Таксист от аэропорта до гостиницы на авениде Ареналес, где забронировал номера Гуселапов, запросил двадцать долларов. Без пояснений было ясно — грабеж.

«Все, что я пишу, — думал в пути Иванюта, — я пишу о любви. Просто любовь, как вода, имеет разные агрегатные состояния. Лед — это замерзшая вода. Ненависть — это оскорбленная любовь». Он хотел столь же чеканно сформулировать соображение и про пар — какому агрегатному состоянию любви он соответствует, — но от художественной мысли отвлекала набегающая перспектива городских улиц за лобовым стеклом машины. Некоторые авениды походили на бульвары, посередине строем стояли пальмы с растрепанными шевелюрами, а тротуары других были обрамлены экзотическими деревьями и незнакомыми ярко цветущими кустами.

Гуселапов, прибывший утром, встретил их в холле гостиницы. Он сидел на низком диванчике и рассматривал сквозь роговые очки две одинаковые сим-карты, в которых совершенно нечего было рассматривать. В юности Иванюта учился с Гуселаповым на биофаке двумя курсами младше Петра Алексеевича. К началу девяностых, несмотря на молодость, Гуселапов снискал в профессиональной среде признание как один из ведущих арахнологов России. Но тут страна, подхваченная вихрем *революции стяжания*, пошла вразнос и посыпалась. Науку, как бедную сиротку-падчерицу из русской сказки, отправили замерзать в зимний лес под елку, авось, как волк, прокормится ногами, и Гуселапов, спасая от унизительной нужды семью, уехал по приглашению одного исследовательского института в Англию. Думал — ненадолго, пока Феникс не воспрянет, но прошло двадцать с лишним лет, двуглавый Феникс поднялся из пепла и отряхнул с перьев прах, а он все ел британский пудинг. Хотя в соцсетях костил сладко гниющий Запад, подло злоумышляющий против всего дорогого

и милого его русскому сердцу, с таким пламенным негодованием, какого не сыскать было и в отечестве. Жар его патриотического темперамента, оторванного от Родины, был полной противоположностью нешумной и иронической натуре Иванюты. Принято считать, что противоположности прельщают и очаровывают друг друга — возможно, в этом и состоял залог их товарищества. Сейчас Гуселапов преподавал в Манчестерском университете и время от времени возил студентов на биологическую практику в национальные парки Коста-Рики, так что, в отличие от вновь прибывших, сельва была ему не в диковинку.

Друзья распахнули встречные объятия.

— Вот, местные симки взял, — доложил Гуселапов. — Одна — моя. Кому вторую?

— Потом, — решительным жестом остановил его Иванюта. — Сначала душ.

Отдали паспорта кареглазой брюнетке за стойкой. Иванюта подселился к Гуселапову, а Пётр Алексеевич с Полиной получили ключ от номера. Полина между делом испытала на брюнетке свой кастильский диалект и осталась довольна.

В номере на прикроватной тумбочке лежали Библия на испанском и рекламный проспект с маршрутом по злачным местам города. Иванюта записал в блокнот: «Кладбище с родильным домом рядом...»

Распаковав вещи, приняв душ и переодевшись, собрались на прогулку — надо было обменять доллары на местные соли и подыскать заведение для ужина. Одну симку Гуселапов вставил в свой телефон, другую взял Пётр Алексеевич. Опробовали — связи не было. Гуселапов энергично выругался, и всей компанией отправились в торговый центр, где днем были приобретены сим-карты. Там же шелестел счетчиками банкнот пункт обмена валюты.

Дело было не в симках, дело было в смартфонах — трагическая рассогласованность систем. Пришлось купить местные трубки — кнопочные, из тех, что подешевле. Связь заработала, и Гуселапов позвонил Паоло — подручному Никиты Аплетаева, с которым (Никитой) имел дела, когда курировал в музее Манчестерского университета отделы арахнид и насекомых. Самого Аплетаева в Лиме сейчас не было, но он заверил, что Паоло передаст «охранную грамоту» — разрешение на вылов — и поможет арендовать машину, а ко времени их отъезда Никита оформит для Гуселапова и Иванюты документы на вывоз собранного материала.

С Паоло договорились о встрече на завтра.

В тихой кафешке с пятью столиками, где даже плазма на стене разговаривала шепотом, подогрели аппетит бокалом *писко сауэр* с пышной шапкой белой пены, после чего махнули чистого писко, запивая фиолетовой *чичей* и закусывая *севиче*, — перуанской разновидностью северного сугудая. Все то же самое, только в сугудай к сырой рыбе с луком, перцем и солью прыскают уксус, а в севиче — сок лайма. На горячее Иванюта и Гуселапов заказали бифштекс из альпаки, Полина печеную форель, а Пётр Алексеевич морскую свинку, которая здесь называлась *куй*. Иванюта не удержал на языке остроту:

— Не перцовку, не сосиску — подают здесь куй и писку.

Голубоглазый Никита Аплетаев, невысокий, но ладный мужчина зрелых лет, был человеком заковыристой судьбы. Родившись в Харькове, университет заканчивал в Томске, после чего работал на Дальнем Востоке — сначала в Лазовском заповеднике, потом в лаборатории хабаровского биологического института. Занимался чешуекрылыми, но интересы имел обширные, в том числе и в ботанике — написал и опубликовал книгу об орхидеях. В начале девяностых наудачу укатил в Перу — чистая авантюра. Там занялся изучением диких эпифитных орхидей и нелегальным вывозом экзотических животных. Описал пару-тройку новых видов эпифитов, но вскоре был задержан на таможне с двумя живыми анакондами в багаже.

Отсидев срок в перуанской тюрьме, неожиданно для знакомых натурализовался

и решил ставить дело на легальные рельсы. Взял ссуду в банке под бизнес-проект экологического парка и арендовал четыре гектара сельвы в восточных предгорьях Анд близ Сатипо. Построил на территории обезьянник, инсектарий, птичник и несколько вольеров для прочей живности, дав работу двум местным жителям; теперь подумывал о серпентарии. Сверх того для размещения экологических туристов и небольших научных экспедиций соорудил на дальней тропической заимке, в долине реки Эне на землях индейцев аш***а***нинка, несколько сараюшек-бунгало, где из удобств — только солнечные батареи и плитка с газовым баллоном. Правительство планировало строить на Эне плотину, вскоре тут все могло прийти в движение и поменяться, если только индейцам, красящим лица красным древесным соком и расписывающим их черным точечным узором, передающим состояние души и смену настроения, не удастся отстоять свой первозданный дом, но кто их спросит... Потом выписал из Харькова мать, кстати оказавшуюся ветеринаром, и усыновил мальчугана-сироту из тех же индейцев ашанинка: будет кого муштровать и нянчить старушке, ну и, что немаловажно, — родственное расположение индейцев. Во время пребывания Аплетаева в дебрях дождевого леса, оперативной связью с нужными людьми и оформлением бумаг в Лиме занимался Паоло — веселый общительный пройдоха-метис, с грехом пополам говорящий по-английски и уже выучивший несколько русских выражений.

Фокус затеи заключался в том, что перуанские законы запрещали вывозить из страны диких животных, выловленных без лицензии в естественной среде. Зато тех, что взяты из питомника, куда попали ранеными или осиротевшими и где были вылечены и вскормлены людьми, а потому сделались неспособными к самостоятельной жизни в сельве, вези сколько хочешь — милости просим, за здорово живешь и засучив рукава. А когда ты добропорядочный гражданин, платишь налоги, даешь работу коренным народам и у тебя есть законный питомник... Такова была подводная часть замысла Аплетаева, значительно превышавшая по объему выставленный на обозрение белоснежный кончик.

На сегодняшний день дело худо-бедно наладилось: Никита поставлял на рынки Северной Америки и Европы экзотических животных, экспресс-почтой отправлял заказчикам со всего света куколки насекомых и надежно упакованный и этикетированный *сухой материал*, а также предоставлял услуги по транспорту и размещению небольшим научным экспедициям и энтомологам-любителям — уже не столько для заработка, сколько для налаживания связей и укрепления авторитета. Кроме того, он водил личное знакомство с верхушкой Министерства окружающей среды и Генерального директората по биологическому разнообразию, что позволяло оперативно оформлять разрешение на вывоз всего, что он был намерен вывезти, — от ленивца до древесной лягушки. Пожалуй, не клеилось только в личном плане — жену он не нашел ни в былом отечестве, ни в новом — жил с матерью и усыновленным малышом-индейцем. Впрочем, относительно жены он все-таки имел кое-какие планы, но они были сродни наваждению и строились не то что на песке, а на грани вообразимого. Ну а пока — мальчишка ловил насекомых в пахучие, почвенные и световые ловушки, в меру сил помогая Аплетаеву в деле коммерческой энтомологии, а старушка-мать осуществляла помощь нуждающемуся зверью и тосковала по гречневой каше, о которой в этом краю не слыхивали слыхом.

Гуселапов был в курсе страданий старушки и предупредил об этом Иванюту. Тот на пару с Петром Алексеевичем вез четыре пачки гречневой крупы. В Манчестере с гречкой тоже были нелады.

Переступив бортик душевой кабины, мокрый Иванюта посмотрел на свое отражение в зеркале. В последние годы живот его обрел способность колыхаться, а на боках наметились отвратительные складки — покатые и вялые, как валики восточной оттоманки. Иванюта их ненавидел. Временами он предпринимал короткие, но

отчаянные попытки борьбы с мерзкими складками, однако стремительные атаки не помогали, а на долгую осаду его не хватало. Черт! — мало того, что он набирал лишние килограммы, ему еще приходилось их кормить.

Из ванной Иванюта вышел не в настроении.

Гуселапов заправлял постель.

— Кроманьонцы сожрали неандертальцев несмотря на то, что у тех объем мозга был больше, — сообщил он, утверждая на носу очки. — А сегодня нас тем же манером едят англосаксы. Только с перцем и солью. Несмотря на то, что размер души у них в сравнении с нашей — клоп против лошади.

— Подавятся, — угрюмо бросил Иванюта. — Но аналогия мне не нравится.

— Почему? Что-то не так с душой?

— По соображениям художественного толка.

— Мотивируй.

— Неандертальцы не расписывали обои в своих пещерах. — Иванюта поддернул одеяло и застелил кровать покрывалом. — А ты наши заборы видел? У нас вся жизнь — сплошь хохлома и палех.

Бурча под нос проклятия коварным англосаксам, Гуселапов отправился в ванную обдумывать аргумент.

Иванюта улегся поверх покрывала и попытался открыть «Соляной амбар», который начал читать еще в самолете, но погрузиться в текст не смог — каждое слово в этой книге пропиталось тоской полета, скукой бесконечного провисания между землей и небом. Похоже, роман был обречен на непрочтение.

Завтракали в буфете при гостинице, заходить в который почему-то пришлось с улицы. Булочка, масло, джем — никаких излишеств. Кофе здесь подавали странно: в кофейнике он был черным, точно деготь, и уже подстывшим — его следовало наливать в чашку как чайную заварку, а потом добавлять кипяток. Ни аромата, ни вкуса. Полина — кофейная душа — была оскорблена: ног***и*** ее в буфете этом не будет больше!

Когда вернулись в холл гостиницы, там их уже поджидал Паоло.

— Эждрадуиде! — энергично обратился к ним невысокий коренастый мужчина в расцвете лет, сияя зубастой улыбкой на смуглом лице. — Как деля?

Кажется, на этом знакомство с русским Паоло исчерпал. С английским у него было получше, если судить по обмену несколькими фразами с Гуселаповым, но когда Полина предъявила свой испанский, Паоло пришел в неописуемый восторг. Иванюта даже покосился на Петра Алексеевича, вспомнив его «сокрушу», однако тот был невозмутим. После эмоциональных переговоров на языке Сервантеса и Лорки Паоло повел всю компанию в расположившееся неподалеку итальянское заведение: под обаянием Полины он согласился выдать тайну — где в Лиме водится приличный кофе.

Потягивая густой благоухающий эспрессо, договорились так: Паоло, Пётр Алексеевич и Полина отправляются в контору по аренде автомобилей, а Гуселапов с Иванютой до их возвращения вольны располагать собой как им заблагорассудится. Деньги менять не надо — как заверил Паоло, контора принимает доллары. После этого Гуселапову была вручена «охранная грамота».

— How much? — Гуселапов потянулся за бумажником.

— Нет-нет, — перевела Полина речь Паоло. — Все расчеты с Никитой.

Вернувшись к гостинице, Пётр Алексеевич и готовая после кофе на любые испытания Полина сели в новенький «экоспорт» Паоло. Хозяин явно гордился сияющей хромовыми вставками машиной и в ожидании похвалы заглядывал русским в глаза.

— Ничего железяка, забавная, — скупо высказался Пётр Алексеевич — он ездил на полноценном внедорожнике и любил крепких рабочих лошадок.

Полина перевела, слегка приукрасив восторг.

— Карашо! — сиял Паоло. — Эспасиво! Карашо!

Оставшись вдвоем, Иванюта с Гуселаповым решили прогуляться, предварительно взяв на гостиничной стойке туристическую карту.

Небо застилала белесая пелена — надышал прохладный океан. В сквере росли невиданные деревья, мощные стволы которых покрывала шипастая чешуя, похожая на осетровую: о такой ствол зверь не почешется — шкура в лоскуты. По газонам и плиткам дорожек, требовательно поглядывая на прохожих, ходили голуби с голубыми глазами. Иванюта пригляделся: нет, глаза были серовато-бурые, с черным зрачком, но их окружала голубым кольцом блистающая поросль перышек.

Перейдя шумную авениду, забрели в тенистый малолюдный парк, где повстречали полицейского и два позеленевших памятника — королеве Изабелле и французскому адмиралу Пети-Туару, спасшему Лиму от грабежей чилийцев во времена Войны за гуано. Разительный контраст с шумными улицами, полными автомобилей и тук-туков.

Дальше — старый центр с резными, а то и вовсе кружевными деревянными балконами на фасадах убедительных в своей исторической подлинности зданий. Президентский дворец Каса-де-Писарро, у ограды которого толпа туристов щелкала смартфонами и камерами, — время смены караула. Церемониал был в разгаре — солдаты в черно-красных мундирах с аксельбантами, сияющих шлемах, украшенных бело-розовым султаном, и с взблескивающими обнаженными палашами в руках походили на актеров школьного театра, полагающих, что они достигли вершины представлений о прекрасном. Помесь усердия, смущения, отчаяния и неловкости.

Кафедральный собор с двумя колокольнями и могилой Франсиско Писарро — весь в изукрашенном резцом камне, со святыми в нишах.

Храм иезуитов Сан-Пабло с золоченой утробой и черной статуей Игнасио Лойолы, торжественно вознесшим над головой крест с распнутым Спасителем.

В белокаменном соборе святого Франциска, где туристов было больше, чем преклоняющих колена, Иванюту посетила мысль: «Мы находим вещь красивой лишь тогда, когда она перестает быть исключительно объектом веры, становясь предметом незаинтересованного созерцания». Соображение мелкой вязью юркнуло в блокнот.

На пешеходной авениде кипела пестрая толпа. Кругом магазины, лавочки, торговцы с лотками, снующие под ногами дети и художники, рисующие аэрозолью из баллона на картоне... Тут же лохотрон — метание монеты на расчерченную цветными квадратиками глянцевую простыню: падает монета точно в квадрат с вписанной в нем цифрой — получаешь ее назад с прибавкой, задевает черту — твою монету прибирает хозяин аттракциона. На двоих с близоруким Гуселаповым продули шестьдесят сентаво.

В ряду ларьков со всякой всячиной разместился уличный массажный кабинет. К креслам, похожим на велосипедные тренажеры без педалей, — живая очередь. Несколько специалистов массировали желающим снять груз усталости загривки, плечи, головы, втирая в черепа расслабленные мысли. Тут же в ларьке с вывеской «El Cerdito Crocante» — свежезапеченная свинина. Съели на месте по куску и взяли несколько горячих ломтей с собой — в гостинице у Иванюты осталась бутылка виски, купленная в аэропорту Вантаа, а Гуселапов без закуски не пил.

Подумали о Мирафлорес: не отправиться ли туда? Однако внезапно сообразили, что солнце, тускло сияющее сквозь пелену, уже перекатилось на западную половину неба, а от Петра Алексеевича с Полиной до сих пор нет никаких известий. И тут — о чудо материализации летучих мыслей! — у Гуселапова затренькал кнопочный аппарат с местной симкой. Пётр Алексеевич сообщил, что они только теперь заканчивают дела с машиной: страшная канитель — и он, и Полина вконец измотаны и голодны.

— Почему так долго? — Гуселапов включил в телефоне громкую связь.

— Паоло обещал найти машину подешевле, — пояснил похрипывающий динамик. — Завез в какие-то трущобы. Тут колоритно, но тревожно. Контора левая — по кредитке залог не бронируют, все расчеты только налом. Пока выбирали машину, пока торговались, пока договор составляли, пока деньги пересчитывали, пока

каждую купюру фотографировали, пока в навигатор карту с русской речью качали... Словом — бодяга.

— Ёшкин кот, — посочувствовал Гуселапов. — Когда вернетесь?

— Еще разок машине в зубы посмотрю и выезжаем.

Минут через сорок сошлись в гостинице. Пётр Алексеевич с Полиной выглядели изнуренными, зато на парковке красовался свеженький «фортунер»: на спидометре — всего пять тысяч километров.

Перекусили в проверенном вчера заведении, после чего Гуселапов и Иванюта как завзятые знатоки повели Полину с Петром Алексеевичем на вечернюю прогулку — смотреть достопримечательности Лимы.

Спустя два часа, изнемогшие от благолепия и толчеи, забрели не то в какой-то сквер, не то на широкий бульвар, где сели на скамью, чтобы отдохнули гудящие ноги. Оказалось — местный Гайд-парк.

Сначала с невысокого каменного уступа, должно быть, специально предусмотренного для народных трибунов, долго и размеренно говорил смуглый бородач, рассыпая знакомые слова: imperialismo, justicia, socialismo, reformas... Затем место бородача занял долговязый оратор в очках, под которыми темнели большие спокойные глаза. Он говорил, не повышая голоса, но в речи его чувствовался скрытый жар и сдерживаемый драматизм. Слушателей было немного — некоторые прохожие ненадолго останавливались, другие шли мимо, не обращая на витию никакого внимания. Несколько раз в мелодичном выступлении долговязого промелькнула Rusia.

— Что он говорит? — обратился к Полине Иванюта.

— Он говорит, что Россия показывает всем пример, а Штатам — кукиш. Что она одна открыто противостоит болезни и распаду мира — той чуме, которую разносят по свету Estados Unidos.

— Так и говорит? — оживился Гуселапов.

— Так и говорит, — подтвердила Полина. — И еще — что взоры униженных и оскорбленных вновь с надеждой обращены на Россию.

— Молодец какой! — Гуселапов от возбуждения хлопнул себя по ляжкам.

— Чем это униженным и оскорбленным наш веселый капитализм приглянулся? — пробурчал под нос Иванюта.

— Он говорит: вы думаете, Estados Unidos — это демократия? Mentira! Ложь. — Полина прислушалась. — Они заботятся только о себе. Их бог — Мамона. Все остальные страны и континенты для них — тарелка, из которой они хотят черпать своей большой ложкой жирный суп. Для этого у них есть авианосцы и ракеты, бомбы и танки, для этого у них есть печатный денежный станок, благодаря которому они закабаляют долгами народы... В общем, у них есть все. Но у них нет сердца. И душа их negra como carbyn... Черна как уголь.

— Накипело у мужика, — одобрил Гуселапов.

— Где-то я уже это слышал. — Иванюта вытянул гудящие ноги.

— А все равно приятно, — от уха до уха сиял Гуселапов. — И потом — сила правды не в оригинальности.

— А в чем? — поинтересовалась Полина.

Гуселапов снял очки, протер их полой рубашки и изрек:

— Сила правды в истине.

— Браво. — Иванюта оттопырил на кулаке большой палец. — Очень глубоко.

— А что такого? — удивился Гуселапов. — Не видишь разве, как нас разводят? Зайди в автосалон и посмотри на цены. Они же это специально. Они нас вынуждают красть и под статьей ходить, чтобы в этаких красавцах ездить. Роскосмос, Росатом, средства на сирот и инвалидов, пенсионные фонды — отовсюду чтоб тянули,

разворовывали в прах, дотла. Только и забот у них, что искушать да в грех вводить... Чистые бесы.

— Учись соотносить потребности с возможностями, — улыбнулся Иванюта. — Это несложно.

Обычно в вопросах политики Пётр Алексеевич держал себя высокомерно и в беседе участия не принимал, но тут не утерпел и подыграл лукаво патриотическому пылу Гуселапова.

— Белым американским конгрессменам нельзя говорить неграм, что те черны, — изрек он. — На адвокатах разоришься. И евреев тоже не подкузьмить — закон все жилы вытянет. Про женщин нечего и говорить: в их сторону только чихни — размажут за сексизм. Единственное, что у них осталось — это русские. Их хоть Магогами, хоть Гогами крести, за это не посадят. Вот и пылят. Мы — их заветная погремушка. Отними ее, и весь этот детсад поедет с петель. Невроз. Мозг разнесет заряд подавляемых страстей.

Полина посмотрела на Петра Алексеевича с гордостью.

Куда подевались яксы? Этот вопрос последние несколько месяцев не давал Аплетаеву покоя. Куда откочевали? На Укаяли? На Урубамбу? На Мадре-де-Дьос? Черт возьми — куда? Французы ждали от него вестей, чтобы определить сроки экспедиции и выстроить маршрут, а он все тянул и тянул с ответом. На привычном пути передвижения по сельве индейцы ашанинка яксов не видели, а Никита обещал французам, что снова выведет им дикое племя под камеру. Вопрос репутации. К тому же французы платили неплохие деньги. Да и не во французах было дело, если говорить начистоту. Самого Аплетаева яксы заботили ничуть не меньше — даже больше, поскольку именно они являлись ключом к осуществлению его плана. Того, что на грани вообразимого. Они должны были вывести его к дереву хьяло — матери лесных дев. Это дерево сделалось его навязчивой идеей, мечтой, ради которой он, подобно влюбленному, готов был отказаться от всего, что было дорого ему прежде. Включая орхидеи и чешуекрылых. Впрочем, пока вопрос еще не встал ребром.

Вечером Аплетаев отправился в инсектарий отлавливать забравшихся туда мерзавцев, способных покуситься на жизнь его чудесных *брассолид* с совиными глазами на изнанке крыльев. Обычно этим занимались работник — метис Володя из предместий Сатипо (русские имена вошли здесь в моду еще в пору восторженного преклонения перед страной победившего социализма) — или усыновленный Хуан, но Аплетаев знал, что дело идет как надо лишь до той поры, пока сам держишь палец на пульсе. Передоверишь другому, каким бы он ни представлялся исполнительным умельцем — пиши пропало.

Следом за Аплетаевым увязалась Хавроша — забавная пакарана, живущая в угодьях у Никиты не то в качестве вольного гостя наравне с заскочившими мимоходом обезьянами, туканами и попугаями, не то на правах домашнего животного вместе с рыжим котом и двумя сообразительными и отважными дворнягами, которые не пасовали ни перед опоссумом, ни перед броненосцем, ни перед дикобразом. Пятнистая спина Хавроши подрагивала возле ноги Никиты, словно потешный и вместе с тем полный достоинства грызун был к ней привязан.

По обе стороны тропинки темнел лес. В воздухе в лучах вечернего солнца взблескивали слюдяными крыльями муравьиные принцессы и принцы — брачный полет, пора роения у крупных рыжих муравьев. На ветке дерева с кустящейся бромелией сидела игуана и подвижным взглядом, полным холодного любопытства, следила за воздушным танцем царственных особ.

Собрав в инсектарии с порхающими между стволов бабочками проникших туда хищных кузнечиков, клопов и пауков, Аплетаев обнаружил у садка для куколок небольшую пеструю змею. Она была не опасна ни для бабочек, ни для человека —

питалась слизнями и улитками, — но Никита все равно забрал ее с собой и посадил за сеткой на банановое дерево.

Завтра ни свет ни заря надо было отправляться к ашанинка, в деревушку Пичигуйа. Володя уже заправил машину и загрузил в багажник дары (мачете, маис, соль), канистру с горючкой и несколько пустых клеток-переносок. Индейцы отловили в сельве для Аплетаева кое-каких зверюшек: стоило посмотреть, а заодно расспросить про яксов — может, появились вести.

Если сравнить с другими неконтактными аборигенами, водящимися в амазонской сельве, яксы в первом приближении напоминали тагаери, один из родов ваорани, отказавшийся переселяться из джунглей в деревни. Те тоже были низкорослы, не знали одежды, предпочитали самоизоляцию общению (убивали пришельца, рискнувшего зайти в их угодья, будь то индеец соседнего племени или священник-миссионер), охотились на обезьян и пекари с помощью копий и духовых трубок с ядовитыми иглами, и у них, как у яксов, были необычные ступни — деформированные так, что могли обхватывать ствол и цепляться за сучья. На этом сходство заканчивалось и начинались различия. Тагаери как полукочевой народ жили на определенной территории, редко выходя далеко за ее пределы и строили временные дома из колючей пальмы чонта, в то время как яксы не знали д*о*ма, вольно кочевали по лесу следом за стадами обезьян и жили на деревьях, сплетая себе гнезда для ночлега. Тагаери делали каменные орудия и готовили пищу на огне, который добывали трением, а язык у них был общим с языком ваорани, — яксы не знали ни каменных орудий, ни огня и говорили друг с другом на особом птичьем наречии, состоящем из свиста, щелчков и цоканий. И наконец, если тагаери по сведениям от оседлых ваорани были уверены, что их народ произошел от союза пернатой гарпии и ягуара, благодаря чему убийство той или другого приравнивалось к убийству близкого родственника, то что о своем происхождении думали яксы, оставалось полной загадкой — от сношений с чужаками они категорически отказывались.

Впрочем, рассказывали о яксах и более странные вещи, мол, в этом племени рождаются только мальчики, потому что жены у яксов — лесные девы, которые, как цветы, растут в заповедной чаще на дереве хьяло, чьи корни доходят до изнанки мира. Когда юноша якс мужает, он тайным путем, полным опасностей и тяжких испытаний, добирается до дерева хьяло, высматривает себе деву, срывает ее с ветки и делает женой. И та на всю жизнь остается ему верна, так что когда якс умирает, лесная дева умирает вместе с ним.

Аплетаев не был подвержен недугу позитивизма и за долгие годы знакомства с сельвой уяснил: здесь в ткань реальности жизнь постоянно вплетает нитку невероятного. А иной раз расщедрится и на узор невозможного.

Об этом диковинном народе Никите поведали ашанинка и даже дважды водили в чащу с ними на свидание — в сезон, когда кочевье яксов располагалось неподалеку, километрах в десяти от их деревни, в пойме Эне, где в эту пору было вдоволь ревунов, капуцинов и паукообразных обезьян, собравшихся на вызревшие фрукты и орехи. Яксы были осторожны и недоверчивы, ближе чем на тридцать шагов к себе не подпускали — если чужак переступал незримую черту, в ход шли смертельные духовые трубки с иглами. Никита издали рассматривал чудн*ы*х древесных человечков и, пользуясь зумом, даже сделал десяток снимков. Женщины, которых ему удалось разглядеть, действительно, все как одна, походили на сказочных дриад, поражая красотой, изящным сложением, пугливой грацией и невинностью своей наготы. Аплетаев был очарован и пленен. Тогда и зародилась у него навязчивая мысль отыскать дерево хьяло, на чьих ветвях распускаются эти бутоны, и взять лесную деву в жены — в своей разнообразной жизни он ничего прекраснее не видел.

Потом кому-то из приехавших на дальнюю заимку энтомологов Аплетаев рассказал о самобытном племени, охотники которого способны, подобно нетопырям,

висеть в кронах головой вниз, ухватившись за ветку ловкой стопой. Про лесных дев, жен яксов, он не сказал ни слова. Но и без того история производила впечатление — потянулась сарафанная молва.

Немногим больше полугода назад на Аплетаева вышли французы — смесь антропологов с киношниками. Они хотели снять яксов на камеру — оказывается, народ этот ни в одном научном источнике даже не упоминался, и если достоверно засвидетельствовать его существование, то это, пожалуй, будет сравнимо с открытием какой-нибудь невиданной доселе кистеперой рыбы. Аплетаев съездил к ашанинка в Пичигуйа и попросил дать знать, когда в их лесу появятся гнездовья яксов — он и сам хотел узнать об этом племени как можно больше, поскольку дерево хьяло его не на шутку манило, а как самостоятельно подступиться к яксам он не знал. Когда известие пришло, Никита написал французам, и те на всех парах примчались из Парижа в затерянный посреди горного леса Сатипо.

Аплетаев привез группу в деревню ашанинка, откуда проводник-индеец сначала на лодке, а потом пешком вдоль ручья — притока Эне — доставил их в глушь сельвы. Трое голых невеличек-яксов вышли к ручью и встали неподвижно на почтенном расстоянии. Ближе подходить нельзя — черт знает, сколько древесных дикарей скрывается со своими ядовитыми иглами в зелени. Вокруг то тут то там раздавались зловещий птичий клекот, посвисты, щелчки и трели. Французы в надежде на контакт разложили на берегу ручья подарки и отступили, не сводя с индейцев объектива камеры. Три смуглых человечка недоверчиво приблизились к гостинцам и стали изучать невиданные подношения: нюхали, лизали, ковыряли ногтем, пробовали на зуб. Не то... все было не то. Ненужные, дурные вещи. Соль — в воду, сахар — в воду, рис — в воду... А мыло... Мыло надкусили, возбужденно зачирикали и стали грызть. Душистое мыло понравилось необычайно.

Оператор все снял, но материала для полноценного сюжета оказалось мало. А яксы назавтра пропали. Полноценный контакт, на который Аплетаев рассчитывал ничуть не меньше французов, так и не состоялся.

Будь его воля, Иванюта сразу бы махнул в дебри. То есть он, конечно, осмотрел бы фундаменты Куско и залез на Мачу-Пикчу — эти места хранили память о зодчих, говоривших с богами на языке камня. Ну а потом — в сельву, где жизнь разбегается из-под ног, выглядывает из листвы и брызгами мерцает в воздухе. Однако Пётр Алексеевич, Полина и даже Гуселапов хотели плотнее прикоснуться к чудному преданию, хотели погрузиться в загадочное представление, которое сложилось в *старосветских* головах о доколумбовой обители Солнца. Словом, прежде чем забраться в дождевую чащу, предстояло потоптать столбовые туристические тропы.

Из Лимы выехали затемно. За рулем — Пётр Алексеевич. Рядом — сменщик Гуселапов. Иванюта и пахнущая ландышем Полина — сзади. Несмотря на старательную сосредоточенность, по лицу Петра Алексеевича плутала бессонная ночь.

Пригороды Лимы — сплошь промзона, грязь, трущобы...

Только поднялось светило, выскочили на Панамерикану.

Городок Писко — пуп винодельческого края. Повсюду кишат беспорядочно снующие тук-туки. Вдоль улицы — лотки, лотки, лотки с разнообразнейшими винами (даже из инжира) и национальным крепким пойлом. Остановились, чтобы подкрепиться — сок и бутерброд с тунцом.

Из Писко двинули в Паракас.

Иванюта бросал взоры в окно, переживал и заносил в блокнот дорожные заметки — пригодятся, когда перуанский стих найдет и позовет к перу бамбуковая флейта. Но перуанский стих не находил, молчала в сердце бамбуковая флейта. Зато в щель между путевыми впечатлениями влетели строки, явившиеся в миг, когда он

перевел взгляд с пустынного пейзажа на Гуселапова, сменившего за рулем Петра Алексеевича:

Был Гусев-Лапчатовский молодцом.
Он пиво пил и лопал антрекоты,
Но мог, отринув все свои заботы,
Однажды стать бойцом или купцом.

Иванюта снова посмотрел на Гуселапова, как смотрит портретист на натуру, подбирая с лица все крошки.

Но он не стал ни тем и ни другим.
Бойцы имеют слабость разбиваться,
Купцы имеют слабость разоряться,
А это было не любимо им.

Перечитав, Иванюта заменил «Гусев-Лапчатовский» на «Конев-Неваляйский» — эпиграмма обрела вид архетипического обобщения.

Паракас — ржаво-серая пустыня, обрывистыми берегами падающая к океану. Солнце жгло даже через облака. На кромке прибоя — труп выброшенного волной тюленя. Отколотая от берега скала, напоминающая контурами церковь с куполами, усыпана бакланами, пеликанами и чайками. Купола и стены выбелены выцветшим пометом.

Отыскав спуск к океану, вышли на песчаный пляж — Иванюта и Пётр Алексеевич не удержались и полезли в воду. Та была на удивление холодной, но это, разумеется, не повод, чтобы не...

Дорога на Ику — сплошь серые пески. На карте это мертвенное пространство, вытянутое вдоль Великого океана и омытое его зябкой струей, называлось словом «коста» — побережье. Иванюта записал в блокнот: «Земля вокруг пустынна и безжизненна настолько, что ясно представляешь, как выглядела твердь, прежде чем первая травинка и первая каракатица выползли из лона океана». Про каракатицу — что она выползла — Иванюта уверен не был, но оставил — звучит.

Гостиницу Полина забронировала по телефону прямо из машины, благодаря путеводителю с контактами отелей, предусмотрительно прихваченному в странствие Петром Алексеевичем.

Утром, запасаясь перед зеркалом враждебными чувствами к завтраку, Иванюта обнаружил, что лицо его и руки красны от рассеянного, но жгучего перуанского солнца.

Пока он стоял под душем, на Гуселапова напал коварный апельсин. Не надевая очки, Гуселапов решил его раздеть — едва поддел кожуру ногтем, как апельсин пустил ему в глаз едкую эфирную струю. Пришлось промывать око под краном.

После завтрака, минуя пересохшую мусорную речку, отправились из Ики в Наску. На бензоколонке Полина научила Петра Алексеевича и Гуселапова волшебным словам: подошедшему заправщику надо сказать «танке льена», после чего тот все делал сам.

На знаменитом плато забрались на холм и убедились, что черную (каменный загар) сковороду равнины действительно расчерчивают линии и испещряют знаки. Туристический сервис предлагал осмотреть геоглифы с самолетика, но решили, что холма достаточно.

Красивее дороги, чем Панамерикана между Наской и Каманой, видеть Иванюте еще не доводилось: слева — громады гор, справа — сияющий бирюзой и нефритом бескрайний океан, машина идет по краю высоченного отвесного обрыва, а сзади, с северо-запада, бьет ослепительное предвечернее солнце, пылая в лобовых стеклах

встречных авто. Такие виды, что нет желчи даже на медлительные фуры, хотя «фортунер» бежал резво и легко *делал* большегрузы, если позволяли обстоятельства.

Переночевав в Камане, двинули от океана вглубь — на Арекипу. Полина благоухала уже не ландышем, а смесью пачулей и жасмина. Иванюта вдохнул и записал в блокнот суровый приговор: «Все старики попадут в ад, потому что вожделеют молоденьких без любви».

Пустынный пейзаж вокруг понемногу оживал — по сторонам дороги появились пучки колючих трав, цветущих сиреневыми звездочками, а на горизонте проступили снежные вершины. На двух с половиной тысячах пустыня вдруг сделалась цветной — на желтом песке засверкали серебряные дюны. Пропустить не смогли — свернули на обочину и, устремившись к застывшим, слепящим глаз, как снег на солнце, волнам, вдоволь поплескались.

Забронированная Полиной гостиница в белокаменной Арекипе располагалась в бывшем доме епископа: арки, покатые своды, внутренний дворик с садом — колониальный стиль. Здесь решили задержаться на пару дней — к высоте надо привыкать постепенно, а то в Куско начнет плющить: там уже три четыреста.

Захватив пакеты с несвежей одеждой, отправились на прогулку до ближайшей lavanderia.

Расчерченная авенидами на квадраты, как шахматная доска, где все фигуры — белые, Арекипа с первого взгляда пришлась Иванюте по сердцу, хотя и Лима оставила вполне благоприятное воспоминание. Но здесь определенно дышалось легче.

Сдав вещи в стирку, пообедали в трактире с писко сауэр. Потом — осмотр монастыря Святой Каталины, из-за стен которого взметались ввысь столетние араукарии. Целый город в городе, раскрашенный в два цвета — терракотовый и синий. Цвета определенно что-то означали, делили монастырь на два несмешиваемых пространства, но в чем смысл этого деления не поняли ни Иванюта, ни вдумчивый Пётр Алексеевич. Остановились на гипотезе о двух степенях посвящения в здешнем женском ордене (Пётр Алексеевич сказал: «братстве») — высшие, синие, уже освободили свой дух от бремени страстей и были готовы прямиком вспорхнуть на небеса, в то время как терракотовым еще предстоял долгий духовный труд, дабы отделить божественное начало в себе от греховной глины тела.

Перед тем, как забрать белье из lavanderia и отправиться в гостиницу, прогулялись по окруженной соборами и дворцами Plaza de Armas.

Посмотрев на заезжую девицу в шортах и топике, качающую ногой на скамейке (точь-в-точь молодая Волочкова — того и гляди растянется в шпагате), Иванюта записал в блокнот: «Наши достоинства в гораздо меньшей степени могут служить причиной наших творческих порывов, чем наши недостатки».

Гуселапов в аркаде местного гостиного двора купил толстую газету, заглавную страницу которой украшал цветной портрет Путина.

Родина не отпускала их.

В ущелье Колка, где летают кондоры, отправились на рассвете — спешили, поскольку царственные падальщики парили по часам, и вскоре после полудня аттракцион заканчивался — что-то там происходило с восходящими потоками. Переставали, что ли, восходить.

Дурила «Кончита» (так Пётр Алексеевич окрестил навигатор), пыталась запутать и погубить, отмстить за гибель высочайшей из империй.

— А мы причем? — возмутился Гуселапов.

— Не надо липнуть к европейцам, — подзадорил Пётр Алексеевич. — Считаешь, ты такой же — бери на себя их грехи. У них как в банде — все за одного.

— Да кто к ним липнет? — опешил Гуселапов от наглой клеветы.

Вдали курился вулкан. По склонам гор бродили изысканные викуньи.

На перекрестке дорог в кафе с площадкой для туристических автобусов, возле которой индейцы кечуа устроили небольшой базар, торгуя народными промыслами, выпили по чашке мате-де-кока — тут, на высоте, уже дышалось тяжело и перетягивала ватный мозг кольцом *горняшка*, а листья коки бодрили, снимая болезненные признаки кислородного голода. В буфете продавали леденцы, ириски и козинаки с кокой — их Пётр Алексеевич предусмотрительно набрал с собой, чтобы не вырубило за рулем.

На высоте четыре тысячи четыреста — горная пампа, где среди пучков колючей травы пасутся белые кудрявые альпаки.

Набрав еще сто метров, остановились, чтобы размять ноги. У дороги — каменистое болотце, булыжники покрыты то ли влажным лишайником, то ли мхом. Иванюта решил поворочать камни — может, где-то притаился жук. Его примеру последовал и Гуселапов в надежде отыскать неведомого паука. Под обломком известняка сидели две небольшие *карабиды*, которых Иванюта тут же поместил в пластмассовую баночку. Он счел необходимым брать здесь всех жуков подряд, не только долгоносиков, чтобы составить хороший обменный фонд — в любительских сообществах на форумах порой проходили заманчивые сделки.

Когда Иванюта распрямился, перед глазами поплыли круги, а гулкие виски сдавила невидимая сила — так сдавила, что в ответ на радость Гуселапова, поймавшего в пробирку высокогорного тарантула, едва сложил губы в бледную улыбку. В машине Иванюта сунул в рот ириску с кокой — отпустило.

На перевале «Кончита» показала цифры: 4860. Справа от дороги крутился маленький торнадо — танцующий пылевой столб.

За перевалом начинался спуск в Чивай. На склонах долины — древние террасы, полторы тысячи лет индейцы выращивали здесь дарованный богами маис. Остановились, чтобы насладиться видом.

И тут им на голову свалились немцы. Такое экзотическое приключение: группу возрастных туристов автобусом завезли на гору, посадили на велосипеды и пустили по серпантину вниз. Катись себе по склону среди могучих Анд — даже педали крутить не надо. Автобус уехал, чтобы встретить группу в Чивае; замыкал растянувшуюся вереницу небольшой грузовичок, доставивший на гору велосипеды.

Бодрые немецкие пенсионеры чередой проследовали мимо припаркованного на обочине «фортунера», как вдруг последнюю, отставшую от остальных старушку повело в сторону, крутануло, и она неловко грохнулась с велосипеда на бок метрах в двадцати от любующихся видом долины русских. Хорошо, скорость была невелика.

Пётр Алексеевич подбежал первым, за ним — остальные. Полина заканчивала в студенческие годы курсы медсестер, поэтому тут же принялась деловито хлопотать над обмякшей, как пластилин, немкой: куртку под голову, ноги приподнять...

— Гипоксия, — определил Петр Алексеевич. — Надо срочно вниз. Спустимся метров на пятьсот, сама отпрыгнет.

Тут из-за поворота выехал грузовичок. Из кабины выскочила сидевшая рядом с водителем черноволосая перуанка — сотрудница турагенства — и быстро залопотала по-испански. Было видно, что перепугалась.

Следуя указаниям Пётра Алексеевича, опустили спинку переднего сиденья «фортунера» и перенесли на него немку. Велосипед, Иванюту и Гуселапова забросили в грузовичок, а безостановочно стрекочущую перуанку и Полину посадили на заднее сиденье «тойоты».

По дороге немке стало немного лучше — взгляд ожил, но все еще плохо фокусировался на предметах.

В Чивае старушку, уже ожившую до робкой улыбки, передали взволнованным немцам. Узнав, что спасли ее русские, они не нашли в ответ и слова благодарности. Только сопровождавшая группу перуанка твердила без конца «gracias, muchas gracias» — особенно после того, как в специальный бланк переписала паспортные

данные Полины и Гуселапова, засвидетельствовавших, что туристку на дороге никто не сбивал (ни велосипедисты, ни машина), что рухнула сама, сраженная высотным головокружением.

Благодаря этой истории в Cruz del condor опоздали, оказавшись на смотровой площадке в полном одиночестве. Но вид гигантского ущелья был прекрасен и без грифов, как царский дворец без царя.

Хотя с хозяином дворца, конечно, было б лучше.

Аплетаев сидел за рулем старенького «паджеро-пинин»; сзади дремал Хуан, допоздна ловивший на ртутную лампу обитающих в ночи крылатых тварей. Небо сияло синевой, одинокий самолет дымил в высях, поднявшееся над лесом солнце золотым ветром палило левый висок. Дорога вела в Пуэрто-Окопа, где предстояло пересесть в моторку и по Перэне чесать вниз, до полноводной Эне. Аплетаев справился бы и один, но маленький Хуан, родом из ашанинка, еще не забыл родной язык, что было важно при переговорах с местными индейцами — в особенности при расспросах о том, что сейчас интересовало Никиту ничуть не меньше, чем поджидающие в деревеньке Пичигуйа редкие зверюшки.

Благодаря доверительному отношению, через Хуана он многое узнал от ашанинка о повадках обезьян Гумбольта, капуцинов и тамаринов, об охоте на тапиров, свиней-пекари и капибар, о лакомых личинках и жалящих муравьях, о нравах гигантских выдр, ягуаров и кайманов, о кипящей реке, в воде которой можно заварить мате, о съедобных и ядовитых плодах, о деревьях, источающих приятный аромат или дающих краску, о ягодах, чей сок наяву уносит человека в незримый мир духов, и травах, отвар которых освобождает глаза, так что они становятся способны видеть одинаково ясно и то, что творится рядом за глухой стеной, и происходящее вдали за сотни километров. Вот только о дереве хьяло, чьи корни проходят сквозь землю на изнанку мира, ашанинка не могли сказать ничего определенного: да, есть такое, цветы его — прекрасные лесные девы, но где растет и как пройти, никто не знает.

Удивительны были и сведения о племенах, населяющих сельву: одни не чурались общения, другие жили скрытно, убивая зашедших в их владения чужаков, поскольку были избраны духами-покровителями и никого за пределами рода не считали себе ровней. Некоторые затворники леса внушали ашанинка страх — например, такие, как свирепый народ барпус, который недавно явился из чащи, как злой осиный рой, и теперь регулярно совершал набеги на общины их родственников, живущих на бразильской стороне в долине реки Энвира — по соседству с дружелюбными мадижа и хуни-куи. С другими племенами ашанинка сосуществовали в мире и согласии, как с мамоя, поедающими прах своих умерших и сожженных на костре родственников, чтобы душа покойника, увидев погребение в живых могилах, успокоилась и умиротворенной отправилась в загробный лес. С третьими уживались без видимых раздоров, как деревья в лесу, но лишь при условии строгого соблюдения границ владений и добрососедского завета: мы вам ничего, и вы нам ничего. К последним относился народ амаваки, в чьих селениях не было старых женщин. Каждый мужчина-амаваки строго следовал заветам предков: когда жена начинала увядать и терять привлекательность, он отводил ее в глухую чащу и возвращался уже один, чтобы вскоре жениться на молодой — мужчины здесь были крепки в корню до самой смерти. В былые времена амаваки тоже жили замкнуто, строго в кругу своей общины — охотились, рыбачили, выращивали перец, тыкву и батат, — однако в последние годы, пусть без особого радушия, но все же вышли на контакт с *иными*, принимая от гостей в качестве входного билета на посещение своей деревни мачете, еду и одежду. Вот только шума в своем лесу они не терпели — на шумных пришельцев их скупое гостеприимство не распространялось.

Был в деревне амаваки и Аплетаев — его ашанинка представили хозяевам как

друга, и старейшина общины разрешил Никите беспрепятственно приходить к ним и даже приводить с собой — в обмен на полезные подарки — любопытных белых. Ашанинка, опираясь на опыт давнего соседства, предупредили Аплетаева, что гости не должны шуметь ни в деревне, ни в лесу и что лучше не брать сюда молодых женщин — в первом случае амаваки по воле духов просто убьют возмутителей тишины, а во втором, не в силах побороть соблазн, могут впасть в неистовство, и тогда все прежние договоренности теряют силу.

Полтора года назад Никита повесил у себя на сетевой страничке краткий рассказ о деревне амаваки, снабженный несколькими фотографиями. К нему тут же постучались поляки из города Кракова, заинтригованные необычайной половой конституцией тамошних мужчин. Кажется, они намеревались выведать у амаваки секрет их мужской доблести с целью его дальнейшей монетизации. Прежде Никита с поляками дел не вел, поэтому согласился за разумное вознаграждение доставить трех человек в деревню могучих в чреслах мужчин и молодых женщин. Впоследствии он очень сожалел о своем участии в этом предприятии, но, увы, не имел власти переписать печальную страницу.

Парни оказались на редкость своенравными, такого видеть Аплетаеву еще не доводилось. Да — Коперник, да — Потоцкий, да — Домбровский, да — Шопен, да — Мицкевич, да — Войтыла, да — Лем и Стахура, но... Стена этой цитадели имела брешь. Никита уяснил: привычное отношение поляка к окружающему миру — бесконечная череда как остроумных, так и мелочных претензий — за несколько веков обрело статус народного характера и теперь представляет собой одну разбухшую, как флюс, заносчивую претензию. В стране, которую Аплетаев успел понять, принять и полюбить, краковским гостям не по нраву было абсолютно все — здешние огурцы, жара, чай, формы перуанских женщин, пиво, влажность, то, что местные не говорят по-английски, и даже сама мировая история, как выяснил Аплетаев в ознакомительной беседе, виделась им сплошным коварным заговором — против каждого поляка в отдельности и против Польши в целом. Разумеется, они не могли быть в восторге и оттого, что Аплетаев — русский. Об этом вслух не говорили, но недовольство проступало на челе. Они словно бы чувствовали себя опоздавшими на раздачу, когда все лучшее уже разобрали другие, а им достались крохи со стола, — эта роковая несправедливость выжигала им души и отравляла кровь. В своей харьковской юности Аплетаев встречал дерзких щенят, которые мнили себя взрослой шпаной, исполняя в дворовой банде роль петушков, задирающих прохожих, — те велись и шли с сопляком за угол, чтобы в воспитательных целях его отшлепать, но за углом уже ждали серьезные пацаны с кастетом и пером. Тот самый случай. Вот только этих, дойди дело до порки, за углом никто не прикроет — подставят. Беда — сто раз уже ученые, усвоить эту азбуку они словно бы не могли.

Выслушав требования к поведению в деревне амаваки и окружающем ее лесу, которые Аплетаев настоятельно просил их соблюдать, поляки обменялись между собой такими пылкими фонтанами шипящих звуков, будто речь шла о наложении на них ярма, колодок и цепей. После чего последовал ответ: пусть пан их ясновельможества туда доставит и обеспечит толмача, а остальное — не его забота. За то берет он деньги. Никита был в ярости. «Панове понимают, что могут не вернуться в Польшу, если не станут соблюдать необходимых правил?» — едва сдерживая раздражение, поинтересовался он. Гордый взгляд поляков возвещал: мы пуганые, мы Сибирь видали и пробовали задницей германский штык, теперь за это мир обязан вокруг нас волчком вертеться. Ничего не попишешь — такие из упрямства подосиновики будут искать под осиными гнездами.

Денег с поляков Аплетаев брать не стал, устранился — передал их с рук на руки ашанинка, чтобы тур к амаваки им обеспечили они. И слава богу. Выведали желанные секреты у индейцев краковские паны или нет, но на обратном пути в качестве

последней демонстрации своей несгибаемой свободной воли им пришла в голову блажь заночевать в сельве — поставили палатку, развели костер, врубили полонез Огинского в портативной колонке. Ашанинка их увещевали, как могли, но те — на гоноре, уперлись: все, что нельзя, то можно.

Ашанинка ушли, поляки остались. Больше их никто не видел.

Аплетаев, переживая свое участие к этой скверной истории, дважды использовал заветный отвар ашанинка для освобождения глаз, чтобы отыскать хоть какие-то следы — а вдруг живы? вдруг амаваки накинули на них хомут, и те теперь ишачат на грядках с тыквой и бататом? Но тщетно. Не было следов.

В Пуэрто-Окопа Аплетаева уже ждала лодка. Едва успели перегрузить скарб, как на пристани появился вооруженный патруль — солдаты были увешаны боеприпасами и амуницией, как сваи морского пирса мидиями. Тут же приступили к досмотру. «Сияющий путь», развязавший в восьмидесятых здесь настоящую гражданскую войну, понемногу угас — так, тлели еще угли в сьерре, — однако оживились кокаиновые бароны, да и область, куда держал путь Аплетаев, несмотря на правительственный замысел о плотине имела статус особо охраняемой природной территории — с браконьерами здесь не церемонились. Хотя, конечно, размах нелегального отлова и вывоза животных по-прежнему был ужасающим — Никите ли не знать.

После проверки поклажи и бумаг с печатями Министерства окружающей среды, Аплетаев получил «добро» и сел с Хуаном в лодку. Индеец-лодочник завел мотор, поддал газу и посудина, оставляя за кормой покато расходящиеся волны, резво побежала по речной глади — вперед, в дикий край, под сень тропического леса, нависающего с берегов над темной водой, где дремали сомы и сторожили удачу кайманы.

Солнце еще не поднялось над горизонтом, когда «фортунер» двинулся из Арекипы в Куско. Спросонок все были неразговорчивы. Пётр Алексеевич крутил баранку, Гуселапов клевал носом, на кончик которого сползли очки, Полина рассматривала в зеркальце обветренные губы. Только Иванюта молчал сосредоточенным молчанием: в щель между сумерками и рассветом к нему искрой метнулась минута вдохновения, и он, предвкушая ароматы небесной кадильни, раздувал ее в блокноте:

Попробуем сказать хоть что-нибудь.
О пламени июльского заката,
О доблести сорвавшихся когда-то
Под знаменем Писарро в путь.

Задумавшись, Иванюта закусил зубами колпачок ручки. Учитывая обстоятельства, все, вроде, было к месту, но из-за последней строки выглядывали *конквистадоры*, а это — паразитарная аллюзия на Николая Степановича... Однако было не до размышлений: время поджимало — слова, благоухая, одно за другим слетались к нему невесть откуда, пестро толклись в голове, как бабочки над лужей, и, чтобы не упустить их, Иванюта принялся плести из мерцающего трепета ковровую дорожку, оставив чистовую правку на потом.

Записанные в движении строчки плясали, гнулись, спотыкались, но ничего — свой глаз не подведет и разберет каракули...

Попробуем сказать о ерунде.
О том, что на столе вино томится
В зелёной замурованной темнице...
Не дело — оставлять его в беде.

Попробуем сказать о том о сём.
О давней радости шальной проделки,

О фонаре с расколотым стеклом
И профилем летающей тарелки,

О Гоголе, бегущем в первый Рим
Из третьего, о кладбище с роддомом рядом...

(Вот и пригодилась заготовка.)

Давайте обо всём поговорим,
Но только о поэзии — не надо.

Забудем рифм звенящий перебор
И — к прозе, как подсолнух — к свету...

Внезапно облако мерцающих бабочек поредело, словно их сдул порыв налетевшего ветра — Иванюта едва успел ухватить последних.

Тра-та-та-та-та тра-та-та забор,
Тра-та-та-та-та тра-та-та газету.

Дальше предстоял труд кабинетной обработки. В две последние строки следовало всыпать самую соленую соль и самый жгучий перец. Бог весть, когда их подвезут.

Иванюта пробежал глазами написанное и, возбужденный творческой горячкой, процитировал Петру Алексеевичу и Полине сложившиеся четверостишия. Те высказаться не успели — разбуженный рифмами, очнулся Гуселапов: с треском потянувшись, посетовал на черную неблагодарность немцев, чью подругу они спасли вчера от гипоксии.

— Лучше помянем их добрым словом, — миролюбиво предложил Пётр Алексеевич. — В конце концов они не совершили во всем объеме того зла, на которое были способны.

— Что? — Гуселапов проснулся не совсем.

— Помянем, говорю, добрым словом. — Пётр Алексеевич проглотил зевок. — Могло быть хуже.

— Ты о чем?

Все посмотрели на Гуселапова с недоумением.

— О двух мировых войнах, — сказал Пётр Алексеевич.

— О Тане Савичевой, — сказала Полина.

Иванюта тоже открыл было рот, чтобы предъявить свой счет, но замешкался, выбирая: газы Первой мировой, генерал Карбышев, Йозеф Менгеле? Пётр Алексеевич увидел в зеркале заднего вида следы трудной внутренней работы на лице Иванюты и упредил:

— Береги тот драгоценный инструмент, из которого извлекаешь столь дивные гармонии.

Иванюта сомлел. Много ли человеку надо? Доброе слово — и довольно.

— Все это в прошлом, — заверил Гуселапов. — Знаете, кто сидел в кресле министра обороны при Ангеле Меркель?

— Тоже какой-нибудь ангел? — обернувшись и выразительно посмотрев на Полину, предположил Пётр Алексеевич.

— Точно. — Гуселапов удовлетворенно поправил на носу очки. — Фройлян Урсула. По образованию — врач-гинеколог. Потом она пошла в председатели Европейской комиссии.

— Эмансипация женщин, — сказала Полина, — сопровождается феминизацией мужчин.

— Клыков-то нет, — Гуселапов улыбнулся, показав собственные крепкие зубы, — вот они и брешут. А по-волчьи уж не хватануть.

— Что-то у вас все никудышные. — Иванюта ощутил в себе чувство небольшого протеста. — Американцы — бессердечные невротики, немцы — исчадья ада, сточившие клыки...

— Я тебе сейчас про англичан расскажу, — обернулся к Иванюте Гуселапов.

— В другой раз, — охладил Пётр Алексеевич.

Дорога то ровно стелилась по плоской высокогорной пампе, залитой небесным ультрафиолетом, то заламывалась серпантином с предупредительными знаками «curva peligrosa» (Пётр Алексеевич перед каждым слепым поворотом давал уведомительный гудок, а Гуселапов острил: «Тут скурвиться недолго»), то обращалась в пологий тягун, понемногу набирая или сбрасывая высоту. Миновали мелководное озеро, усеянное долгоногими фламинго, обогнали индейскую свадьбу на трех машинах, туго набитых гостями в пестрых костюмах, проскочили череду деревень, где указатели San Pablo и San Pedro перемежались непроизносимыми надписями на языке кечуа...

Перед самым Куско небо потемнело, и «фортунер» угодил под грозовой дождь — настоящий тропический ливень. Хорошо, в черной туче воды хватило ненадолго.

В городе «Кончита» снова задурила — то и дело норовила завести машину в узкие непроезжие улочки, которые внезапно переходили в лестницы. Пришлось бросить «фортунер» и отправиться искать гостиницу, где Полина забронировала номера, пешком, благо вежливый сеньор с больным голосом вызвался проводить.

Гостиница спряталась в старом квартале, как мышь в хворосте, но на деле оказалась что надо: поднималась террасой в три ступени на горный склон (из уличной щели нельзя было и предположить), а с верхней площадки открывался широкий вид на весь Куско. Двое ребят из гостиничной обслуги помогли загнать машину на стоянку — в этом городе, сплетенном из каменных нор-улочек, где было трудно разъехаться даже на самокатах, без них бы ни Пётр Алексеевич, ни Гуселапов не управились.

Ужинали в уютном ресторанчике с помпейской печью, в которой для Полины запекли форель под ягодным соусом. Иванюта в свою очередь выбрал в меню блюдо с названием, подобным отголоску отечества, докатившемуся до местных ущелий: alpaca stroganoff. «Эхо Москвы», — подумал Иванюта.

Утром в гостинице сами заварили себе мате-де-кока — банка с листьями стояла на столе веранды, где подавали завтрак, кипяток по требованию изрыгал железный аппарат. После чего отправились на прогулку по великой столице погибшей цивилизации.

От инкских зданий остались только могучие фундаменты, на которых теперь возвышалось то, что осталось от колониального владычества Испании, — такой город-химера. Одно могущество взяло верх над другим, но вскоре тоже оказалось поверженным, и оба обратились в сросшуюся окаменелость.

Иванюта открыл блокнот и записал экспромт:

Однажды в лужу плюнул я.
Был удивлён, замечу, —
Оттуда копия моя
Плевала мне навстречу.

На центральной площади творилась круговерть. Вначале Иванюта решил, что тут манифестируют меньшинства, но Пётр Алексеевич объяснил: радужный штандарт — это церемониальный флаг Куско, наследие великих инков, индейцы называют его *випхала*. Действительно, при ближайшем рассмотрении выяснилось, что на площади проходило какое-то официальное праздничное действо — сначала маршем прошла колонна военных в песочной форме, потом колонна чиновников в серых костюмах. За ними — нарядные школьники и школьницы, сосредоточенные и слегка смущенные важностью события. На строевой шаг марширующих солдат и чиновников

нельзя было смотреть без умиления — потешная смена караула у президентского дворца в Лиме выглядела в сравнении с этим парадом классическим балетом.

К площади примыкала улочка, на которой чередой располагались туристические конторы. Обсудив предлагаемые маршруты, купили тур в Мачу-Пикчу и тур в сельву. В последнем случае Иванюта настоял на двойном сроке — шесть дней вместо трех.

Не успели пройти и несколько кварталов, как на город обрушился град. Настоящий ледяной град, скачущий по черепице крыш и плитам мостовой. Укрылись во дворике за ветхими воротами, где затаилось заведение с расписным изваянием Девы Марии — ни одного иностранца, только местные. Столик накрывал крылом клеенчатый зонт, небо рассып*а*ло по нему звонкую дробь. Пиво здесь подавали в бутылках, коричневое стекло которых украшал узор в виде причудливой каменной кладки инков, — тянули пенное пойло, пока не иссяк небесный лед.

Гуляя по Куско с его бесконечными подъемами и спусками, изрядно устали. Но это была приятная усталость, мерцающая впечатлениями от соборов с дивным убранством, улочек-лестниц и фундаментов из титанических гранитных блоков, сцепившихся друг с другом в крепком рукопожатии.

Будильник в смартфоне Иванюты запел в три пятнадцать. А в три двадцать пять в номер постучал портье и сообщил, что пришла заказанная накануне вечером машина. Каким-то чудом пролезла она в ущелье улочки и, забрав пассажиров, покатила вплотную к стенам, толкая перед собой воздух, точно поршень в цилиндре.

В Ольянтайтамбо добрались к рассвету. Оттуда — по железной дороге до Агуас-Кальентес, а там уже рукой подать до Мачу-Пикчу. Горы за окнами вагона преображались: зеленели, пестрели яркими тропическими цветами — на склоны наползала сельва. То тут то там открывался вид на рукотворные террасы с колосящимся маисом. Несколько раз за окном появлялась быстрая речка — свет, отброшенный играющей на перекатах водой, плясал на берегу, как пляшет дырявая листвяная тень под ветром, но ветра не было. Иванюта занес в блокнот эту причудливую пляску воды и света.

На перроне в Агуас-Кальентес их ждали — черноволосый гид с белым флагом и табличкой «Pedro group». Над его головой в столбе солнечного воздуха вилась стайка мотыльков.

Серпантин над ущельем, в бездну которого Полина не могла смотреть без писка, автобус одолел с одышкой. Проход в священный город — через турникеты, как в аэропорту на таможенном контроле. Сходство театрально обыграно: предложили ударить штампом в паспорт, мол, был у Сапы Инки в граде на холме.

Мачу-Пикчу сразил Иванюту торжеством человеческой воли: выровнять седловину горы и на пятачке, откуда рукой дотянуться до звезд, возвести из обтесанных камней по единому плану террасы, святилища, дворцы, дома — целые улицы зданий — это казалось ему непостижимым. А окружающие виды? Они были воистину божественны и достойны жертвенной крови. Горные пики, поросшие тропическим лесом, поражали первозданной красотой — не крутые, а просто отвесные, точно земля вытянула гигантские пальцы, чтобы почесать небу пузо. Внизу глубоко врезанные, укрытые прядями не то поднявшегося тумана, не то спустившегося облака лежали зеленые и узкие долины... С ветки неизвестного куста, росшего возле площадки, откуда открывался неописуемый вид, Иванюта прихватил трофей — плоскую *кассидиду*, желтую, с черным ободком по краю надкрылий.

Город-призрак, если осматривать в подробностях, было не обойти и за день, а тут как назло зарядил дождь. У домов не было крыш — только каменные стены: по проулкам бродили мокрые люди, по окружающим террасам — мокрые ламы. Мимо протопала подготовленная группа: все были в полиэтиленовых накидках, гид — под зонтом. Гуськом прошли в каменные ворота здания, под которыми укрылись Полина с Иванютой — Пётр Алексеевич и Гуселапов еще до того, как разверзлись хляби

небесные, отправились к храму Луны на пике Уайна-Пикчу. Гид под зонтом что-то сказал по-испански Полине. Та что-то по-испански ответила.

— Любезничает? — улыбнулся Иванюта. — Клин подбивал?

— Куда там! — Полина махнула рукой. — Сказал, что дождь скоро закончится.

— А выглядело, как неприличное предложение.

— Мне уже давно никто не делал неприличных предложений.

— В самом деле?

— Вот именно. — Полина вздохнула. — Никуда не годится.

Иванюта, пока не ускользнула мысль, достал блокнот и записал: «Человек готов сочувствовать чужому горю, если оно имеет *привлекательную* форму. Некрасивое страдание приводит в замешательство, отталкивает и пугает».

Промокшие Пётр Алексеевич и Гуселапов ждали Полину с Иванютой внизу, за турникетом. В храм Луны они не попали — на крутую тропу к вершине Уайна-Пикчу пускали только четыреста посетителей в день. Лимит был выбран еще до их появления.

Индейцы изловили для Аплетаева большого черного падальщика с желтой головой, ночного бродягу броненосца, нахохленного гоацина, пахнущего навозом, и двух чертенят-игрунок — усатых тамаринов. Были и попугаи — ары, амазоны, аратинги. Особенно обрадовался Никита бородатой пенелопе — редкой птице, которую за двадцать лет, проведенных в Перу, видел лишь третий раз. Однако никаких сведений о яксах индейцам ашанинка раздобыть не удалось — куда откочевали, где вьют теперь гнезда и бьют из духовых трубок обезьян? Аплетаев расстроился: во-первых, на неопределенный срок откладывались поиски дерева хьяло, где, еще не зная того, наливалась нектаром его будущая жена, во-вторых, придется, видимо, давать отбой французам, а не хочется — на кону и деньги, и репутация.

Раз уж оказался в деревушке ашанинка Никита решил навестить заимку, временно пустующую, поскольку последняя группа из новосибирского биологического института, возглавляемая пятидесятилетним академиком, увлеченным иммунными реакциями насекомых, улетела домой на прошлой неделе. Жаль, ребята были веселые, бойкие, интересные, особенно богатырского сложения академик, сочетавший в себе простоту нравов с вольностью кругозора античного философа. Аплетаев расщедрился и подарил ему на прощание для музейного собрания института десяток крупных коллекционных жуков (сухой материал): рогачи, *голофы*, усачи... Иной раз Никита вопреки здравому смыслу, как всякий русский, обретал способность к широкому жесту и бескорыстному порыву. Так он проявлял благодарность. За что? Аплетаев ценил талантливый дружеский круг: даровитая компания, в которой он иной раз оказывался, и самого его побуждала думать, воображать и работать, такое окружение вкладывало в него новую требовательность, вынуждало поднимать планку, и он уже хотел от себя того, чего не хотел прежде. Вот только, забравшись в глухой угол за тридевять земель, попадал он в подобные компании не часто. А без того — как? Выбирая недостойных друзей, невольно принижаешь себя, становясь подстать им ничтожным и мелким. Нет, настраиваться надо по высокой ноте — слышать ее и искать круг безупречных. Без него — уж лучше жить отшельником, анахоретом. Так Аплетаев, собственно, и жил.

С собой взяли генератор, канистру с бензином, легкие спальники, складной экран и продукты на несколько дней. Впереди — восемь километров пути по лесной тропе. Вдвоем с малолетним Хуаном груз не дотащить — пришлось нанять индейцев из тех, чей узор на лице свидетельствовал о добром самочувствии, благо услуги носильщиков стоили сущие гроши. Индейцы с поклажей убежали вперед, к заимке, а Никита с Хуаном налегке отправились следом. Набор высоты — всего четверть километра, но при этом предстояло пять раз переправляться вброд через довольно

бурный поток и столько же раз балансировать на бревнышке, одолевая ручьи и овраги. Если без груза — не беда, бодрая прогулка. С канистрой и генератором — упаришься.

Вокруг на все голоса буднично перекликались птицы. Вверху, на рваном фоне западного небосклона, сияло заточенное в кронах солнце. Черноголовый Хуан то неугомонно устремлялся вперед под тенистый покров леса, то возвращался, чтобы похвастать добычей — палочником, кузнечиком или жуком. Аплетаев не требовал — маленький индеец сам рвался в бой, побуждаемый зовом сельвы, как и подобает охотнику-ашанинка. Одобренную добычу Хуан клал в морилку, ненужную без сожаления отпускал на волю.

Заимка представляла собой поляну на берегу довольно быстрой прохладной реки. Здесь на небольших бетонных сваях стояли три деревянных домика, еще не сдавшиеся на милость сельвы под натиском древесной орды, термитов и летучих мышей, но уже несущие потери. Электричество давали солнечные батареи, воду можно было брать прямо из реки, а в кухне были предусмотрены газовая плита с баллоном и необходимые для стряпни принадлежности. В сравнении с иными экспедиционными условиями — сущий рай.

Индейцы-носильщики ждали Аплетаева на террасе под навесом из пальмового листа, служившей одновременно местом отдыха и столовой. Груз был аккуратно сложен рядом. Никита рассчитался, договорился, когда индейцам следует вернуться, чтобы отнести поклажу обратно, и ашанинка мигом исчезли в лесном сумраке.

От заимки по разным направлениям расходились тропы — какие-то Аплетаев торил сам, какие-то помогали набивать хорошо знающие местность индейцы. В былые времена, когда заимка только обустраивалась, Никита чувствовал себя здесь не совсем уверенно, а порой и тревожно, но за прошедшие годы неплохо изучил окрестности с населяющей их живностью и уже принимал окружающий лес как свою вотчину. Как принимала его сельва, Аплетаев не думал.

Одна тропа вела к ручью, который индейцы называли Мотыльковым. В отличие от реки, вода здесь была теплой и спокойной; русло ручья петляло между лесистых холмов, а по берегам виднелись песчаные и каменистые отмели, вроде небольших пляжей. На этих пляжах собирались стаи разнообразных дневных бабочек — целый атлас тропических чудес! — включая божественных *морфо*, в полете подобных голубым вспышкам. Ночью на этих же местах сидели, шевеля гигантскими щупами-антеннами, ужасные на вид, но совершенно безобидные для человека фрины и разнообразные пауки-охотники, чьи глаза в луче фонаря сверкали холодным бриллиантовым светом. А еще ночью к ручью сползались змеи — они цеплялись за ветки и повисали над водой, подобно взведенной пружине, готовой в любой момент распрямиться и атаковать проплывающую добычу. Гости заимки неизменно приходили в восторг от Мотылькового ручья как при свете дня, так и во мраке.

На других тропах тоже были свои диковины — оседлавшие стволы и ветви древесных титанов ярко цветущие эпифиты, невыносимо жалящие муравьи-пули, шурующие в прибрежных зарослях капибары, гнездо мохнатой *авикулярии* — паука-птицееда, метко стреляющего при опасности во врага испражнениями, черепахи *шабути* с панцирем из окантованных бурой полосой желтых шашечек, лягушки, предупреждающие красочной расцветкой о своем ядовитом поте, и гигантские сейбы, дождем сочащие зеленый сок, собирающийся у корней в густые изумрудные лужи.

Как-то раз Аплетаев ночью на свет поймал здесь необычную *мегасому*, которая, как выяснилось при внимательном изучении, не была описана в специальной литературе. Открыть новый вид такого крупного жука — это вам не фунт изюму! Никита ликовал и готовил необходимые для регистрации материалы. Даже подобрал имя: Megasoma ashaninca. Для полноты картины было бы неплохо изловить если не серию, то еще хотя бы несколько экземпляров, пусть даже только самку — пару к уже имеющемуся у него самцу.

Аплетаев принес из реки воды и принялся кашеварить на кухне. Хуан тем временем монтировал экран — хитрую четырехлопастную конструкцию из углепластиковых стержней и белого парашютного шелка, напоминающую в сборе огромный бутон. От традиционного плоского экрана Аплетаев давно отказался — для него приходилось искать место, где можно навязать растяжки, а этот стоял прямо на земле — белый тканевый поддон, где, как в днище палатки, распяливая всю конструкцию, крепились углепластиковые дуги, служил ему основанием. С подвешенной в середине ртутной лампой экран походил на светящийся в ночи волшебный цветок — на такой летели и ползли все обитатели ночи, включая суккубов и духов индейских предков.

Пока расправлялись с рисом, овощами и рыбными консервами, незаметно спустились быстрые тропические сумерки.

Хуана Аплетаев отправил спать, а сам под монотонную песню генератора просидел посреди бескрайнего девственного леса у сияющего мертвенным светом цветка до двух часов ночи. Лет был хороший — луна спряталась за облаками и не отваживала своим сиянием крылатые племена от лампы. Никита собрал с экрана уйму удивительных существ, один вид которых поражал воображение и вынуждал снять панаму перед фантазией Создателя. Поскольку рядом не было свидетелей, способных привести в смущение, он вполголоса разговаривал с существами, спрашивая их о дереве хьяло: где отыскать его, чтобы добыть себе цветок? Бабочки трепетали, *каллипогон* поскрипывал — тайну никто не выдавал. С тяжелым гудением прилетела Megasoma actaeon размером с добрый кулак — ничего не сказала про дерево хьяло. Megasoma ashaninca на встречу не явилась.

Уже в Пуэрто-Мальдонадо на берегу широкой, как Нева, Мадре-де-Дьос сельва предложила Иванюте щедрый аванс.

Из Куско в этот городишко, поднявшийся на волне местной золотой лихорадки и опустившийся с ее откатом, добирались целый день: серпантины, тягуны, перевалы, индейские деревни, стада альпак, снежные вершины, снова серпантины, объезд *сыпухи*, завалившей дорогу и охраняемой нарядом полиции, наконец — спуск, и на пологих склонах поднялись в рост шевелящие зелеными космами пальмы. Пуэрто-Мальдонадо, осажденный дождевым лесом и погруженный во влажную неподвижную духоту, вид имел запущенный, подстать рекомендованной в турагентстве гостинице «Дон Карлос» — пухлая девица индейских кровей за стойкой говорила на ужасном испанском (впечатление спасал ручной пучеглазый лори, сидящий на ее плече), бассейн был нечищен и полон плавающей чепухи, древний кондиционер в номере рокотал, как дизель большегруза, а из душевого шланга прыскала только холодная вода. Которая, впрочем, была теплой. Зато на втором этаже располагалась открытая терраса с видом на реку, две неоновые лампы ярко освещали беленую стену — из спустившейся тьмы на стену летела всевозможная тропическая невидаль. Иванюта обнаружил эту террасу, когда, после осмотра номеров, всей компанией выехали в город за фруктами, вином и писко — вернулись уже в сумерках, мерцающих огоньками светлячков, и тут такое...

Пока товарищи в его с Гуселаповым номере сибаритствовали, Иванюта полночи провел на террасе, в лихорадочном азарте собирая в морилку с оштукатуренной стены и кафельного пола дары ночной сельвы. Тут были длинноше*ии агры*, блестящие синим металлом *стафилины*, стремительные скакуны-*неотетрахи*, золотистые *циклоцефалы*, дупляки с рогом на голове и возлюбленные Иванютой долгоносики — пара*риностомусов* с раздутой в шар грудью, пятерка *мезокордилусов* и несколько малышей, требующих работы с определителем. На свет, конечно, летели и ночные бабочки, и пестрые лесные клопы, и нежно-зеленые кузнечики, и прочие эфемерные порождения мрака, но их Иванюта не трогал — чужого он не брал.

Утром, оставив машину на гостиничной парковке, отправились в отделение

турагентства, взявшегося забросить их на неделю в гущу сельвы. Гуселапов, успев воспользоваться в номере Wi-Fi, был в курсе мировых новостей и теперь делился с товарищами:

— Ученые из Свободного университета Брюсселя выяснили, что за последние четыре года пылевые клещи стали проявлять признаки социального поведения.

— Надо же, — вздохнул Пётр Алексеевич, — а я голову ломал, кто придет на смену человеку, когда уставший Бог вычешет его с лица земли, как репей с собаки.

— Бог, конечно, есть. — Гуселапов поправил на носу очки. — Но что-то его не видно.

— Наверно, он маленький, — предположила Полина.

При этих словах Иванюта ощутил, как в груди его с боку на бок повернулась тоска.

В конторе турагентства их передали под опеку парнишки-индейца лет двадцати двух, бегло говорящего по-английски. Тот, в шортах и шлепках, привел компанию на пристань полноводной желтовато-серой Мадре-де-Дьос. Там уже томились две молодые американки с легким подкожным жирком, седой невысокий испанец, стайка неунывающих итальянцев и какая-то молчаливая пара неопределенной национальности — все намеревались вкусить первозданных красот тропических дебрей. Парнишка в шортах и шлепках оказался гидом их группы, звали его Борис.

Разместились в длинной узкой лодке с навесом от дождя и двумя скамьями вдоль бортов. Нет, не пирога — как выглядит пирога Иванюта знал из детских книжек. Лодочник завел мотор и, оторвавшись от пристани, посудина заскользила вниз по реке, рассекая взблескивающую под солнцем мутноватую гладь. Американки кричали что-то друг другу в уши, перекрывая шум мотора. Пара неопределенной национальности, обнявшись, молча смотрела на реку. Седой испанец сутулился, устремив взгляд под ноги, будто пуды накопившейся усталости лежали на его плечах, как агнец на плечах Доброго Пастыря. Итальянцы жестикулировали и громко смеялись. «Это только кажется, — подумал Иванюта, — что в итальянцах нет ничего особенного, кроме жизнелюбия и проворства». Он извлек из кармана блокнот и записал: «Одна из утонченных форм защиты своей приватности — демонстративный гедонизм и ироничность вкуса. Они ограждают от печалей, страданий и вообще всего серьезного и глубокого. Веселые остряки пользуются иронией, как театральным гримом. Они хотят, чтобы в них ошибались и не тревожили попытками добраться до нежной сердцевины». Подумав еще немного, Иванюта записал: «Можно верить и в маленького Бога, как иные верят в неуловимые кварки и бозоны: мол, они, эти незримые крохи, и есть загадка и мотор Вселенной».

Через полчаса лодка пристала у глинистого берега к небольшому дощатому причалу. От причала лестница вела вверх, на крутой склон, местами переходящий в обрыв. Там, наверху, у леса была отвоевана приличная делянка, расчищенная, окультуренная и превращенная в ухоженную цветущую поляну, на которой выстроились в два ряда штук восемь-десять бунгало на бетонных сваях плюс кухня с обеденной зоной и пара технических построек — возле них крутился персонал в виде двух голых по пояс индейцев. Трава на поляне была подстрижена, возле домиков вызывающе алели кустистые цветы, а вдоль дорожек строем стояли банановые деревья.

Наверху у лестницы гостей встречала шустрая свинка-пекари с длинным рылом и пестрой щетиной. Она была добродушна и любопытна, совала пятачок в подставленные ладони и вообще куда только можно. Американки завизжали от восторга. Борис сообщил, что свинку зовут Хилари Клинтон.

Если на реке еще гулял ветерок и веяло свежестью, то лагерь накрывала банная духота — воздух был неподвижен, сыр и липок на ощупь. Гуселапов предупреждал — тридцать пять градусов невзирая на время суток в сочетании с предельной влажностью: «Запасайтесь футболками — менять придется трижды в день». На ветке дерева у

обрывистого берега сидели два сине-желтых ары и, склоняя на бок головы, рассматривали гостей.

Когда в столовой выдавали ключи, Полина по настоянию Иванюты попросила поселить их в соседних бунгало на самом краю леса. Генератор, как предупредил Борис, работает здесь пять часов в сутки: утром с семи до девяти (закачивает воду в систему водоснабжения) и вечером с семи до десяти (подсветка погружающейся во тьму базы). В остальное время розетки мертвы. Иванюта был готов — с собой он прихватил запас батареек и два фонаря: мощный ручной для ночных прогулок и подвесной для экрана.

На террасе перед столовой болталась пара гамаков, а у крыльца к столбу был прикноплен лист бумаги с расписанием текущих мероприятий. Полина огласила. Через полчаса предстояла поездка к оборудованной в кронах деревьев на другом берегу Мадре-де-Дьос канатной дороге — вид на джунгли с высоты сорока пяти метров. Потом — обед. После обеда — посещение острова обезьян. Затем вечерняя прогулка на лодках и осмотр ночного лежбища кайманов.

— А ужин? — насторожился Гуселапов.

Полина успокоила:

— После кайманов — ужин.

Жилище состояло из просторной комнаты с двумя кроватями под марлевыми балдахинами и санузла. Потолка у комнаты не было — над головой углом уходила ввысь изнанка двускатной крыши. Верхние части фронтонов затягивала москитная сетка. Окна были без рам и стекол — голый проем, закрытый той же москитной сеткой. Наметанный глаз Иванюты тут же узрел на оконной сети забравшегося в дом узкотелого *брентида*, а Гуселапов обнаружил в унитазе симпатичную жабу.

Когда товарищи в составе интернациональной группы отправились бродить в кронах сельвы, оставшийся в лагере Иванюта изготовил из двух пустых пластиковых бутылок пахучие ловушки, прорезав в боках оконца и вывалив на дно из контейнера забродившую смесь фруктов (собрал в Куско остатки застолья). Затем сложил в небольшой рюкзак совок, стопку одноразовых стаканчиков, жестяную банку пива, моток веревки, бутылки-ловушки, склянку этилацетата и прочие принадлежности походной *жучильни*, после чего, закинув рюкзак за спину, отправился изучать окрестности.

Лес издавал бульканье, чмоканье, стоны и посвисты — голоса птиц звучали непривычно громко, смачно и зычно. Хилари сперва увязалась за Иванютой, но вскоре отстала, потрусив по своим поросячьим делам. Обойдя границы поляны, где располагалась база, Иванюта обнаружил две тропы, уходящие вглубь сельвы, и еще один спуск к реке, ведущий на вязкую глинистую отмель. Одна тропа начиналась прямо за бунгало, куда он заселился с Гуселаповым, другая — поодаль, рядом с ней росло банановое дерево с тяжелыми гроздьями. Иванюта оторвал один банан с лопнувшей от спелости шкуркой и съел — он был теплый, припеченный солнцем и очень вкусный.

Пройдя по обеим тропам как можно дальше, чтобы запомнить ориентиры и изучить путь, по которому намеревался отправиться ночью с фонарем, Иванюта попутно подвесил к ветвям на веревке две ловушки с подпорченными фруктами. Какие-то невидимые птицы, рассредоточившись в высоких кронах, кричали в перекличку, отчего казалось, что по лесу гуляет отголоском то затихающее, то набирающее силу эхо. На той и другой тропе, сойдя на дюжину метров в гущу, Иванюта вкопал вровень с землей по десятку одноразовых стаканчиков, отметив места навязанными на ветви ленточками, — почвенные ловушки. На дно каждой Иванюта плеснул немного пива — все твари земные, позабыв об осторожности, так или иначе ведутся на дух спиртового брожения.

К обеду Иванюта вернулся из чащи с небольшой добычей: несколько пятнистых

долгоносиков, снятых со ствола дерева (Иванюта не разбирался в местных породах), десяток разнообразных листоедов, собранных в траве на опушке, и огромный шипастый кузнечик — здесь он просто не смог устоять, такой это был великолепный и жуткий красавец. Кроме того, видел стрекоз в солнечном луче, караван груженых добычей муравьев-листорезов и шерстистого паука-птицееда, наполовину вылезшего из норки. Успел даже искупаться, сойдя к Мадре-де-Дьос по найденному безлюдному спуску, чтобы потом не сожалеть об упущенном — в конце концов, это почти Амазонка, в Бразилии их воды сольются. Выходя на берег, изрядно измазался в глине и поспешил под душ, пока его не занял взмокший Гуселапов.

За столом Пётр Алексеевич молча ковырял вилкой рыбу под соусом из маракуйи. Полина и Гуселапов, напротив, пребывали в восторге — помимо прогулки по подвесной дороге в кронах, группу еще запустили в полет, прицепив каждого по очереди страховочным карабином к натянутому сквозь высокую зелень тросу. Полина показала наглядные свидетельства в смартфоне: шагающие деревья с воздушными корнями, шарообразные наросты термитников на сучьях, пальмы и могучие фикусы — вид сверху, мужественно летящий на тросе Пётр Алексеевич в велосипедном шлеме.

— Как впечатление? — поинтересовался Иванюта у отважного товарища. — Согласись, уж лес так лес.

— Чащоба знатная. — Пётр Алексеевич кивнул. — Но так, чтоб очень-очень... не скажу. Мне, знаешь ли, и наши буреломы по душе. Взять хоть бы Псковщину.

— Придумал тоже, — огорчился за джунгли Иванюта. — В сравнении с гилеей Псковщина — пустыня. Нет, — он тут же поправился, — не пустыня — лесопарк.

— Что ты такое говоришь? — Пётр Алексеевич приподнял брови. — Там куропатка, рябчик, тетерев, мошник, кулик... В кустарник ненароком сунешься — не продерешься. А утки, лебедя, гуся на перелете сколько? И в лесопарке этом — лось, кабан, косуля, заяц, бобр, медведь... А беломошные боры? А ельники дремучие? А березняк? — Пётр Алексеевич наморщил лоб. — Барсук с лисою, волк, куница, рысь... Болота там — все Анды засосут по маковку. Ты лося живьем видал?

— Нет, — растерялся Иванюта.

— А грибы?

— А что грибы?

— Да знаешь там грибы какие?

— Ну?

Пётр Алексеевич выждал ошеломительную паузу.

— Там за грибами с топорами ходят.

— Отечество не хули, — поддержал Петра Алексеевича Гуселапов. — Оно нам мать.

— Да кто хулит-то? — Иванюта оценил ироничность контекста и добавил: — Полевка, еж и уж.

— Что? — не понял Пётр Алексеевич.

— Ежа с ужом забыл упомянуть в реестре.

— Послушайте-ка, юные натуралисты, — включилась в разговор Полина. — Мне прошлой ночью вот какая ерунда приснилась. Будто брожу в саду, в обычном деревенском, с яблонями и крыжовником, и вижу, как в норе сидят кроты, штуки четыре-три наверное. Не знаю, сквозь землю, что ли, разглядела — сон же. Сидят и играют в карты. Я смотрю, а они знай себе режутся. А потом мне говорят: давай, лезь к нам, в «тыщенку» перекинемся. Я им: мне в нору не пролезть, я же большая. А они: ничего, пролезешь. И правда — пролезла. Бог весть, как получилось — глядь, я уже там. Ну, вроде как Дюймовочка.

— И что? — Гуселапов отхлебнул из стакана освежающую чичу. — Сорвала банк?

— Не помню. — Полина обезоруживающе улыбнулась. — Не в этом дело.

— А в чем? — удивился Гуселапов.

— А в том. Скажите на милость, что мне делать с таким вот подсознательным?

После обеда группа отправилась на остров обезьян, а Иванюта решил вздремнуть, чтоб не сморило ночью на охоте. Проспав часа полтора, проснулся вялым, с опустошенной головой и неприятным привкусом во рту (упрел во влажной духоте), но постояв под холодным душем, — ничего, отпрыгнул.

Вскоре вернулись товарищи, полные новых впечатлений от тростниковых зарослей, высоченного тенистого леса, показавшихся им смешными капуцинов и *каякинга* — аттракциона с плаванием по реке на маленьких пластиковых каяках, неустойчивых, вертлявых, будто игрушечных, готовых в любой момент перевернуться. Собственно, Пётр Алексеевич и перевернулся.

До сумерек Иванюта проверил пахучие ловушки, распугав мух и сняв с комковатой фруктовой кашицы пару бронзовок и несколько небольших усачей. Потом обнаружил череду невысоких фонариков в траве вдоль дорожки, идущей между двумя рядами бунгало, на которые не обратил внимания прежде, и отметил, что надо, когда стемнеет, проверить, кого приманит их свет. Нашел место и для экрана — решил растянуть его прямо на стене своего жилища, обращенной в сторону леса.

Под гаснущим небом Пётр Алексеевич, Полина и Гуселапов отправились на лодке смотреть кайманов, а Иванюта, чтобы не вызывать у персонала подозрений, предъявил Борису полученное от Паоло разрешение Министерства окружающей среды на отлов тропических козявок и пошел налаживать экран.

Возбуждающее предвкушение не позволяло сосредоточиться, сбивало к суете — постояв немного у экрана, Иванюта вдруг пугался, что упускает нечто редкостное и ценное, в этот самый момент ждущее его в круге света под торчащим из травы фонариком. Он срывался с места, исследовал шеренгу огоньков, обозначающих тропинку, утонувшую в смоле перуанской ночи, брал добычу (щелкунов-*семиотусов* и светляков, которых не мог определить сходу) и тут ясно представлял, что на его экран явился гость — немыслимое чудо из чудес, — и если сей миг не снять его и не поместить в морилку, он, загудев, слетит и растворится в темноте. Иванюта бросался к экрану, но находил там мелкий сброд, который тоже был, конечно же, загадочен и интересен, но... А лесные тропы? Возможно, ему следует быть сейчас именно там, в парно*й* зеленой чаще, чтобы сокровища ночной гилеи не проскользнули мимо носа...

Взошла луна. Решив, что хорошего*лёта* теперь уже не будет, Иванюта отправился в сельву. Лес издавал звуки — шорохи, всхлипы, трески, резкие вскрики в черных кронах — некоторые были едва слышны, другие пугающе громогласны. Ночные джунгли в луче фонаря представали как околдованное королевство — живое, но остолбеневшее под действием зловещих чар. Лесные твари, при свете дня таящиеся или спешащие дать деру, теперь зачарованно застывали, ослепленные ярким лучом, позволяли себя разглядывать и даже, если действовать точно и осторожно, давались в руки. Большой зелено-желтый паук с шипом на спине, сидящий на растянутой паутине, листовидный богомол — виртуоз камуфляжа, вылезшая на охоту ужасающая фрина, нежно-зеленый таракан с нервными усами, древесные осы, смотрящие сияющими мозаичными глазами из гнезда, спящая на стволе бабочка, сложившая узорчатые крылья, снующие по тропе в лесной подстилке муравьи... Но главное — жуки. Из лесного сбора больше всего обрадовали Иванюту пара бесстыдно копулирующих *энтимусов*, скакуны двух или трех видов, обычно стремительные и неуловимые, а тут рассевшиеся по листьям и впавшие в оцепенение, и цилиндрический, разлинованный белым по черному усач.

На выходе из леса открылось небо — черное, как маис, из которого индейцы готовили чичу, усыпанное какими-то другими, не видными с милого севера звездами.

— Дурак. — Лежа на кровати, Гуселапов похлопывал себя по животу. — Одному ночью в сельву нельзя. А если ягуар? Он черепа щелкает, как семечки — такая сила у зубастой морды.

Распираемый впечатлениями, будто патрон пороховыми газами, Иванюта не мог

заснуть. Мысль его металась по невероятной траектории: от долгоносиков к Игнасио Лойоле, затем к выхваченной лучом фонаря в зарослях стайке коренастых рыжих капибар, от них к заснеженным вершинам, потом снова к завороженному, манящему и пугающему царству ночных джунглей... Внутри, не там, где костяк и потроха, а в невещественном *чувствилище*, было радостно, пестро, тесно и жарко — напряжение росло, пощелкивали искры. Так зреет грозовая туча. Но выхода звенящему накалу не было. Вдруг мысль, вновь метнувшись в сторону, прошлась, точно по клавишам, по недавним рифмам и неожиданно ударилась в упругую преграду. Что это? Вновь ударилась, и оболочка загудела. Как сказочный Гвидон, Иванюта в азарте взбрыкнул ногой — преграда дрогнула, еще раз — и выбил у заточавшей его бочки дно. Выбил и вышел вон. И сразу же сверкнуло.

Откинув балдахин, Иванюта вскочил с кровати, зажег фонарь (генератор базы отдыхал), схватил блокнот и быстро дописал:

Забудем рифм звенящий перебор
И — к прозе, как подсолнух — к свету...
Так, рогом щекоча забор,
Коза жует вчерашнюю газету.

«Посмотрим утром, солона ли соль и жгуч ли перец», — решил Иванюта, удовлетворенно пробираясь под свисающую колоколом над кроватью марлю.

Каждое утро Иванюта, встречаемый пернатым гамом, проверял почвенные ловушки, дававшие обильный, хотя и несколько однообразный улов, потом шел на завтрак с приятелями, гулял, все дальше и дальше забираясь в лес, где молодые лианы, растопырив зеленые пальцы, ползли по гигантским стволам, как нежные ящерицы (теперь он уже осмеливался сворачивать с освоенных тропинок в стороны), а вечером под звон древесных лягушек в кустах вывешивал экран и разрывался между ним и ночной сказкой перуанской сельвы. Гуселапов и Пётр Алексеевич пару раз ночью составили ему компанию — втроем в лесу было еще занимательнее, поскольку, делясь восторгом, его преумножаешь.

Приятели и Полина тоже не скучали — Борис каждый день придумывал (конечно, заготовки турагенства) для группы всевозможные экскурсии и развлечения. Прогулка по реке с видом на жующих траву капибар и высокий обрыв, куда слетаются поклевать жирную глину тучи зеленых попугаев; поездка на озеро, где в прибрежных зарослях сидят разнообразные цапли и гоацины, а гладь воды рассекает семейка гигантских выдр; проба на зуб древесных термитов («По вкусу — чистая морковка», — уверял Гуселапов); вечерняя рыбалка на Мадре-де-Дьос — Полина выудила какую-то приличную рыбину, по возвращении приготовленную ей поваром на ужин, Пётр Алексеевич вытащил краба и видел электрического угря, а Гуселапова укусил за палец кровожадный лиловый сомик. Однажды над лесом прошел спасительный ливень с грозой, сбив температуру градусов на восемь, что все восприняли как долгожданную милость небес — подходило время сезона дождей.

В последний день их пребывания в лесном лагере Иванюта, вместо дневной вылазки в сельву, отправился с остальной группой в индейскую деревню, по уверениям Бориса заповедную и населенную «nature Indians» — первозданными индейцами.

Четверть часа плыли по реке на моторной лодке. В зеленых купах над водой сверкали цапли. В жидкой кроне высоченной деревины завис ленивец. Наконец высадились, поднялись на безлюдный берег. Несколько хижин, два навеса, крытых пальмовым листом, одинокая курица скребет когтями землю... Потом появился индеец в повязке с перьями и грязно-белой накидке из трепаного пальмового волокна. Он был смугл, невысок, редкозуб и бос. Лицо украшали глубокие выразительные морщины, крючковатый нос и тонкие брезгливые губы. «Черты лица, — глядя на

морщины, подумал Иванюта. — Вот именно — черты лица». Индеец бросился к гостям с громким возгласом на незнакомом языке — дамы испугались. Следом появился еще один — в накидке, но без перьев. Стало понятно: с перьями — главный.

Пернатый провел гостей под навес и усадил на длинную скамью. После чего заговорил по-испански (Полина вполголоса переводила на русский, Борис — на английский для американок):

— Мы — индейцы эхе-эта, — сказал пернатый. — Мы жили в горах в двух месяцах пути отсюда.

Он решительно ходил вдоль скамьи, бросая на гостей испытующие взоры. Глаза его были выцветшими, как старое белье.

— Я — el nieto... внук великого вождя, — переводила Полина. — При моем деде эхе-эта переселились сюда, на реку, чтобы жить цивилизованной жизнью, как все. Теперь вождь — я.

В испанскую речь вождь то и дело вставлял племенные словечки, что сбивало Полину, но она старалась.

— Нам дали одежду, в какой ходите вы. — Вождь ткнул пальцем в сторону гостей. — Но мы не хотим носить вашу одежду. Она дурна, вы болеете от своей одежды. Нам неприятно даже прикасаться к ней.

Остановившись возле Петра Алексеевича, вождь потрогал рукав его льняной рубашки и драматически поморщился.

— Мы не носим вашу обувь, — сказал он. — В ней мы не чувствуем земли, и у нас болят ноги.

Под навес зашла женщина, такая же смуглая, низкорослая и морщинистая. Села на скамью напротив гостей и принялась щипать волокно из коробочки хлопчатника. Индеец без перьев опустился на землю и стал укладывать нащипанный хлопок в деревянную ступку.

— Это моя жена. — Вождь указал на женщину. — У меня четырнадцать детей. Семь мальчиков и семь девочек. Потому что мы, эхе-эта, не едим вашу плохую пищу.

Он взял в горсть стоящие у стены навеса разнокалиберные бамбуковые палки с заостренными концами и потряс ими в воздухе.

— Этим мы бьем рыбу. — Вождь вынул из пучка острогу. — Этим — пекари. — Он показал небольшой дротик. — Этим — птицу. — В руке его появилась стрела. — А этим — тапира. — Вверх взвилось копье. — Мы едим только свежую пищу.

Вождь поставил пучок орудий на прежнее место и подошел к седому грустному испанцу.

— Сколько тебе лет? — спросил он.

— Пятьдесят семь, — насторожился испанец.

— А мне — семьдесят два, — сказал вождь. — И у меня нет седых волос. — Он снял повязку с перьями и показал черную шевелюру. — Потому что ты пьешь ром, виски и писку, а эхе-эта не пьют ром, виски и писку. Только чуть-чуть по праздникам.

«Цирк, — догадался Иванюта. — Разводка».

Сидящий на земле индеец тем временем набил ступку хлопком, взял палку и принялся вызывать дух огня верчением.

— Вы берете огонь из серы, — заявил вождь. — А вот как добываем огонь мы.

Добыча огня оказалась делом не скорым. Пока подручный индеец крутил в ладонях палку, вождь откинул с установленного под навесом стола пальмовую ветошку и показал гостям выловленную острогой рыбу, запеченную в банановом листе, череп пекари и крупный череп тапира. Для оживления картинки он взял последний в руки и пощелкал подвижной челюстью. Потом последовала демонстрация мутной пальмовой бражки, достоинства которой вождь оценивал значительно выше достоинств рома, виски и писко. Собственно, те состояли для него из одних недостатков.

Тут как раз над ступкой воскурился дымок, и индеец принялся раздувать огонь.

Через миг вспыхнуло пламя. Скамья с гостями откликнулась одобрительной разноголосицей.

— Это наш огонь. — Вождь гордо вознес крючковатый нос. — Мы не используем серу — наши руки не хотят до нее дотрагиваться.

— А где ваше племя? — спросил Пётр Алексеевич.

Полина перевела.

— Там. — Вождь выбросил руку в сторону сельвы. — Там наша деревня. А здесь мы только встречаем гостей. Эхе-эта не любят, когда чужие отвлекают их от дел.

На этом церемония встречи с «nature Indians» закончилась, и вождь пригласил всех под соседний навес приобрести что-нибудь из безделушек, сделанных руками эхе-эта. Тут были бусы из зерен лесных деревьев, клыки кабана-пекари, расписные калебасы, деревянные фигурки тапира и капибары, вырезанные топорно, без изящества...

Стоит ли говорить, что на следующий день Иванюта с товарищами, выбравшись из гостиницы за фруктами, случайно повстречал вождя с женой на улице в Пуэрто-Мальдонадо. Вождь был в шортах, стоптанных кроссовках и пестрой рубахе-безрукавке. Жена выглядела ему подстать. Крепкий дух писко плясал в выцветших глазах индейца и своеобразно управлял его сочленениями. Жена монотонно отчитывала вождя, подражая жужжанию мухи.

Однако прежде чем они покинули лесной лагерь и отправились в Пуэрто-Мальдонадо, случилось кое-что еще. Вернувшись от ряженых индейцев, обитатели бунгало обнаружили, что в их домах побывали гости. Москитная сетка на высоких фронтонах, обращенных к сельве, была порвана, а внутри царил кавардак: сумки выпотрошены, вещи разбросаны. Ничего ценного, впрочем, не пропало. Иванюта тут же кинулся проверять свои контейнеры с замороженными букашками, но, к счастью, все оказалось в целости и сохранности. Остальное его не очень интересовало. «Проделки обезьян», — предсказуемо заверил смущенный Борис. На его молодой памяти такого еще не случалось.

Путь из Пуэрто-Мальдонадо в Лиму занял три дня. Переночевав в Куско, отправились не в Арекипу, а прямиком через распластанную на четырех тысячах метров пустынную, изрезанную ущельями сьерру — на Абанкай, Чалхуанку и Пукуйо. Да, опасно. Да, в этих местах экспроприаторы «Сияющего пути» иной раз останавливают и потрошат экскурсионные и междугородные автобусы. Но где не пропадала наша... Единственное, что знал Иванюта о «Сияющем пути» — они коммунисты. На всякий случай он вызвал из глубин памяти названия нескольких ленинских работ.

Горная дорога с серпантинами, сыпухами, ремонтными работами и тягунами измотала необычайно. Однако обошлось без приключений. В Наске, наконец, разбрызгивая в стороны тук-туки, вывернули на Панамерикану и рванули в Лиму.

Номера загодя, еще перед выездом, забронировали в той же гостинице на авениде Ареналис. Здесь наконец-то выспались — ранний подъем, гарантирующий свободный путь по пустым улицам на трассу, больше не нависал секирой над утренними снами. Вечером, перед тем, как рухнуть в беспамятство, Полина с телефона Петра Алексеевича позвонила Паоло и договорилась на завтра о встрече — надо было сдавать арендованный «фортунер», в Лиме машина была не нужна.

Пока ждали Паоло, гостиничный портье/охранник помыл *японца* (ни одной царапины, значит, тысячедолларовый залог вернется им сполна), после чего Пётр Алексеевич заехал на располагавшуюся по соседству АЗС и сказал заправщику: «Танке льена».

Подкативший на своем новеньком «экоспорте» Паоло радостно сообщил, что Аплетаев уже в Лиме с оформленными для них разрешениями на вывоз улова. Гуселапов тут же набрал номер Никиты. Договорились, что днем Аплетаев зайдет за ними в гостиницу и покажет отличный недорогой ресторанчик с морской кухней.

В контору по аренде отправились всем скопом, следуя за автомобилем Паоло, — без него в окраинных трущобах Лимы они бы проплутали до ночи. При сдаче

«фортунера» выяснилось, что в договоре все же был подвох. Стоимость аренды, указанная в нем, предполагала лимит в четыре тысячи километров, а по спидометру вышло четыре тысячи семьсот. Последовал перерасчет, после которого сумма разбойничьим образом увеличилась на шестьсот долларов. Паоло развел руками.

Пётр Алексеевич сказал:

— Трах-тибидох!

Гуселапов сказал:

— Интер, квинтер, жаба!

Но деваться было некуда.

Впрочем, омрачение продлилось недолго. Доставивший их обратно в гостиницу Паоло сразу же с деловым видом исчез, а вскоре появившийся Аплетаев настроил всех на бодрый лад.

Первым делом Пётр Алексеевич и Иванюта вручили ему четыре пакета гречневой крупы для тоскующей матери, а он в ответ раздал свои подарки: Гуселапову — десяток ярких *кассидид* для университетского музея, Петру Алексеевичу — вязаную перуанскую шапочку с «ушами», Полине — шарф из шелковой альпаки, а Иванюте — стайку разнообразных *рхинастусов* и черных глянцевых *хамматостилусов* на ватном матрасике. Этикетки с местом и датой вылова прилагались. «Личность», — подумал Иванюта и тут же проникся к Аплетаеву зоологической симпатией. Однако после ритуального потлача Никита перешел к расчетам за охранные грамоты на отлов и вывоз насекомых, после которого кошельки Иванюты и Гуселапова в очередной раз похудели на кругленькую сумму. Но Иванюта не роптал — деньги на безвредные, пусть и превозмогающие разум, страсти жалеет только плут, деляга и посредственность.

Ресторанчик был набит битком — благодаря дешевизне он пользовался популярностью. К дарам океана взяли бутылку местного белого вина, рекомендованного Аплетаевым.

— Когда летите? — Никита разлил вино по бокалам.

— Послезавтра. — Гуселапов сквозь очки с интересом изучал осьминожку в своей тарелке. — А завтра хотим осмотреть Мирафлорес.

— Лима — город контрастов, — кивнул Аплетаев. — Мирафлорес — для белой кости. Берег океана, пальмы, теннисные корты, парк de amor...

Разговор сам собой сошел к перуанским впечатлениям: сияющий бескрайний океан, воздушные викуньи, милашки-альпаки, индейские женщины-кечуа с заплечными торбами, пестрыми юбками и забавными шляпами-котелками, высокогорная каменная пампа с пучками желтых трав, сахарная Арекипа, голенастые, с вывернутыми назад коленками фламинго, сцепившиеся камни инков, вспыхивающие холодными искрами светлячки, зависающие над цветами, точно бражники, колибри, гранатовые в свете фонаря глаза кайманов, белоснежные цапли, похожие на мультяшную птицу-говоруна гоацины, яркие попугаи, злые морды капуцинов, змеящиеся выдры, кованые панцири черепах, древесные лягушки-певуньи, купание в желтоватой Мадре-де-Дьос и блистающее на северном небосклоне солнце. Иванюта хотел поделиться чувствами, испытанными в зачарованном лучом фонаря царстве ночного леса, но сдержался — и без того воспоминания о сельве перевешивали остальные.

В свою очередь Аплетаев рассказал об ашанинка, потом об амаваки. Потом о первобытном народе из сельвы, чье название вылетело у него из головы, — в их племени считалось, что во сне человек может потерять одну из трех душ, которая называется *кава*, поэтому индейцы там не спят по ночам, натирая веки соком листьев югиво, а только урывочно дремлют в течение дня, валясь в том месте, где их настигнет усталость. У этих людей нет ни вчера, ни завтра, а только одно полосатое, как зебра, переходящее из ночи в день сегодня. Потом рассказал о другом племени, в языке которого только два щелчка, четыре посвиста, три гласных звука и семь согласных, и нет слов для обозначения чисел, запахов и цветов, что странно для обитателей столь пестрого и душистого мира. Затем — еще об одном племени, в котором принято каждые шесть-семь лет менять прежние имена на новые, соответствующие

наступившему возрасту, так что узнать, сколько прожил тот или иной индеец, довольно просто — достаточно спросить, как его зовут.

— Ты, как и раньше, без хозяйки? — на правах давнего знакомого поинтересовался Гуселапов.

Сам он недавно выдал дочь за шотландца.

— Как и раньше, — качнул Аплетаев головой.

— А что не женишься?

Иванюта подумал: «Гуселапов стремится каждую тему выжать до конца, как Бах выжимает из каждой мелодии все до последней вариации».

— Ты видел, какие тут красавицы? — ответил на вопрос вопросом Аплетаев и загадочно добавил: — Моя жена ждет меня на дереве хьяло.

Иванюта уже обратил внимание: наследницы древней культуры, что чистых индейских кровей, что метиски, и вправду были здесь своеобразные — низкорослые, плотные, без намека на талию. Извергнуть детородный перламутр на смуглый живот хотя б одной из них — и мысли не возникло. В представлении Иванюты латиноамериканки должны были выглядеть совсем иначе — вечный конфликт фантазии с реальностью.

— Ты с этим делом не тяни, — сказал Гуселапов. — Не юноша уже. Моргнуть не успеешь, войдешь в года, когда, как говорил один веселый старичок, согласие женщины пугает больше, чем отказ.

— Не тот случай, — улыбнулся голубыми глазами Аплетаев. — Когда старейшина амаваки узнал, что я не женат, он мне тыковку сухую подарил. Там — булькает. Сказал: выпьешь — сразу женишься. И жена довольна будет.

— Выпил? — Гуселапов ждал историю.

— Пока нужды нет.

Мозг Иванюты молнией пробила невесть как зародившаяся мысль, вполне достойная его блокнота: «Предполагать, что ты живешь для счастья, то же, что верить, будто вдыхаешь воздух для наслаждения благоуханием, а не для того, чтобы не задохнуться».

— А еще с нами вот что случилось, — припомнила Полина. — Нас обезьяны обокрали.

— Да толком и не обокрали, — поправил Пётр Алексеевич. — В бунгало влезли, пока нас индейский вождь дурачил, и учинили кавардак.

— Как это — не обокрали? — заупрямилась Полина. — А мыло?

— Точно. — Гуселапов отрезал осьминожке очередное щупальце. — У нас мыло тоже стянули.

Иванюта вспомнил: так и было, пропало мыло. Благо следующим утром они уже вернулись в Пуэрто-Мальдонадо, где в гостиничном номере полагалось казенное.

Аплетаев замер, его голубые глаза вспыхнули, будто в голове включилась лампочка.

— Где? — Он сунулся в свой рюкзачок и, сдвинув в сторону тарелку с недоеденными морскими гадами, выложил на стол планшет.

— Что «где»? — Гуселапов оторвался от несчастной осьминожки.

На планшете появилась карта Пуэрто-Мальдонадо с окружающими джунглями.

— Где именно ваш лагерь расположен?

— Тут, — ткнул пальцем в экран Гуселапов.

— Нет-нет, вот здесь, — уверенно уточнил ногтем мизинца Иванюта и посмотрел на Петра Алексеевича — как-никак они с ним имели прямое отношение к Русскому географическому обществу.

Черенком вилки Аплетаев поставил в указанном месте флажок.

Между столами, доставляя заказ, лавировала официантка-метиска в короткой юбке и чистом белом фартучке. Аплетаев, до того спокойный и сдержанный, был настолько возбужден, что, казалось, ничего не замечал, погруженный в свои всклокоченные мысли. Как в режиме замедленного просмотра Иванюта наблюдал:

Аплетаев беззвучно пошевелил губами, бросил последний горящий взгляд на экран и, когда наклонился к стоящему сбоку от стула рюкзаку, чтобы убрать планшет, прямиком угодил головой официантке в — —

Хвала небесам, она не выронила поднос с тарелками, испускающими жаркий пар.

— Пойдем со мной, — ничуть не смутившись столкновением, велел Иванюте Аплетаев. — Покажешь толком.

В ответ Никита получил четыре удивленных взгляда.

— Дай хоть ему доесть, — вступился Гуселапов.

— Некогда. — Аплетаев закинул не плечо рюкзак. — Время — такая штука, которая все умножает на ноль. — И добавил: — Ничего, я его потом в гостиницу доставлю.

Таксист отвез их в невзрачный район, унылый и болезненный в сравнении с колониальным центром. Тут Аплетаев снимал каморку, где останавливался, когда наведывался в Лиму. Крошечная прихожая, комната с кроватью и столом, небольшой балкон, кухонька, санузел — все просто, сдержанно, в спартанском стиле. Пожалуй, только собака Диоген смог бы найти в этом жилище что-то лишнее.

Усадив гостя за стол, Аплетаев порылся в бауле, валявшемся возле кровати, извлек из него нечто и вместе с находкой тоже сел за стол. Иванюта ожидал увидеть подробный атлас или топографическую карту-стометровку, однако хозяин жилища держал в руках средних размеров калебасу.

— Пей. — Аплетаев вынул из гулкой тыковки затычку и протянул сосуд. — Два глотка, не больше.

— Это — чтобы жениться? — уточнил Иванюта.

— Нет. Чтобы освободить глаза. Покажешь место, и хорошенько оглядим окрестности.

Иванюта колебался. Впрочем, он был человеком разносторонних интересов, и любопытство не раз одолевало в нем как разум, так и стыд.

— Не бойся, пей. — Аплетаев источал победную уверенность и обещание неслыханного счастья, на которые способны разве что восточные торговцы в дверях своих лавок. — Не пожалеешь. Если отыщем яксов, таких увидишь фей...

Иванюта ничего не знал про яксов, однако взял калебасу, поднес ее к губам и сделал два глотка. Вкус был такой, ну... словно бы зеленый — травяной и горький. Аплетаев забрал тыковку и тоже приложился к горлышку. Потом зажал в своей сухой ладони руку Иванюты:

— Припоминай подробней место. Сейчас швырнет.

Иванюта сосредоточился. В голове — в той черноте, что за глазами — горячо вспыхнуло, и словно бы лопнула басовая струна. Потом померкло. Потом снова вспыхнуло торжественно и жарко. Ракета сбросила разгонные ступени. Стул вздрогнул. Нет, это лопнула еще одна струна. Комната наполнилась мельканием, круговращением, роением — калейдоскоп в безостановочном движении. Все ярче, все быстрее... Что это? Нет! Мама дорогая, нет!.. Еще один. Гляди-ка, точно тонконогий гриб. А вот клубочком скрученная нитка. Ортодонт — звучит как имя вымершей рептилии... Что? Пугать? Вилы в бок — раз! — и раньше вас... Без пыли жизнь на земле невозможна. Кра-ке-люр. Кра-кра-кра-ке-люр... Большой какой — поди, не носом в угол рос. Особенно брусника... Зачем же громко так, мы клумбы не топтали — урежьте звук до середины. Опять? Как говорят на флоте: река — это кривое море... Хилари? А ты откуда? Привет, ручная поросятина...

— Здесь мыло увели? — услышал Иванюта голос Аплетаева.

Елена Лапшина

Время слуха

* * *

В тинн*и*тусе, шумящем, как волна,
где кромка — дна ли, дня — обнажена
и только шум дождя в сухом остатке,
там чуть притворена ли, заперта
спит розовая раковина рта
с муз*ы*кой звука, маскою зевка,
с недвижимым моллюском языка —
и сны его бесхитростны и сладки.
Пока шумит небесная вода,
насельник безо всякого стыда
не покидает известковой клетки —
хозяин, нерачительный вдвойне,
он истончает в мыслимой вине
округлую жемчужину таблетки.
И засыпает в этой глубине.
Но Слово жжёт, входящее извне...
Когда же наступает время слуха, —
исполнится, чего ни попроси, —
ты к створкам губ раскрытых поднеси
Всеслышащую раковину уха...

* * *

Бессмыслица лица, фарфоровая птичка.
Он на неё глядит — Профессор, у кого
прекрасный аппетит и вечная привычка
по длинному столу елозить рукавом.

Все капища его, родные пепелища,
все городища дней завёрстаны в одно.
И птичка для него — трепещущая пища —
пестрящее оно, пищащее пятно.

Лапшина Елена Евгениевна — поэт. Родилась во Фрязине Московской области. Окончила экономический факультет Московского лесотехнического института. Публикуется с 2002 года. Автор четырех книг стихов. Лауреат многочисленных литературных конкурсов и премий.

Живет в Москве.

Он столько съел собак, что тяготится речью,
он мается крестцом и мочится в кровать.
А птичка метит в лоб, чтоб старческую гречу
[с лица не воду пить] по зёрнышку клевать.

Они ещё не врозь — смотрение, касанье.
Что странно чиграшу, то страшно старику.
Унылая пора, ещё одно сказанье:
последнее «прости» — последнее «ку-ку».

* * *

Герману Власову

Доедешь сумерками ранними
и окочуришься к семи
в дому, засиженном геранями,
с гранёным запахом зимы.

Кого не вывели, не вымели
[налей, и выпей, и налей], —
насельники вещей не вымерли
и наблюдают из щелей.

И ты сидишь на даче явочной,
где быта летнего черты,
средь мертвечины этой яблочной,
угольных веток черноты.

В потёмках брезжится прогалина,
от подоконника сквозит.
И ходит дерево поганое,
и в окна палкою грозит.

* * *

Встанем всяк пред Тобой во своём невеликом чину, —
наше щастье обещано и — вопреки — ощутимо.
Только, если оно не навечно, то, Отче, — к чему?
Погляди, в межполосье ростков боевая щетина.

И цветущий миндаль, и кузнечик в подоле травы
улыбаются нам сквозь костры и могильные рвы —

претерпевшим потери, чуму-нищету-вшивоту, —
кто Тобой не забыт, но в пути заплутал и забылся.
И щепотка песка ли, щекотка скользнёт к животу —
это камень за пазухой дрогнул и снова забился.

Будто мы и не жили, нас паводок не настигал,
ничего повреждённого, невосполнимого, злого.
Будто птица на ветке воспряла и Бог Нахтигаль
повторил от начала времён сокровенное Слово.

Елена Долгопят

Урод

Рассказ

Саша дождался, когда отстучит поезд, когда уляжется за ним ветер. Закурил. Спустился по выщербленным ступеням и направился по тропинке через поле, через шоссе к частным домам. Уже показалось солнце.

Он помедлил у калитки, осторожно повернул щеколду. В саду опустился на скамейку под яблоней, прислонился к стволу.

Мать открыла глаза. В доме стоял полумрак. Он знала, что сын приехал и сидит в саду.

После чая Саша колол дрова, а мать складывала в поленницу у сарая. Передохнули на крыльце. Саша выкурил сигарету. Мать рассказала, что соседка Надя купила с рук цветной телевизор, два часа он показывал, а после перестал.

— Ты сходи к ней, посмотри.

— Посмотрю.

Телевизор он починил. Надя разогрела котлеты, достала водки, достала соленые огурцы. Посидели. За разговором Надя наклонялась к Саше, касалась его руки. Он отстраненно улыбался. Она сказала:

— Вечером будет детектив по первой программе. Приходи смотреть.

— Я уеду к тому времени.

— Спешишь?

— Утром на работу.

— Поедешь первой электричкой. Ты же легко встаешь.

— Легко.

— Придешь?

— Не знаю.

— У меня наливка смородиновая! Совсем забыла. Погоди, принесу.

— Матери еще помочь надо. Пойду.

Сашина мать не раз говорила Надежде, что на ее сына напирать нельзя.

— Ты знаешь, это его пугает.

— Да не могу я сдерживаться, Раиса Сергевна. Не умею.

Мать качала головой.

— Хитрости в тебе нет.

Надежда соглашалась и просила пять тысяч до получки.

Долгопят Елена Олеговна — прозаик, кинодраматург. Родилась в г. Муром Владимирской области в семье военнослужащего и учительницы. Окончила Московский институт инженеров транспорта (1986), сценарный факультет ВГИКа (1993). Автор книг прозы: «Тонкие стёкла» (Екатеринбург, 2001), «Гардеробщик» (М., 2005), «Родина» (М., 2016), «Русское» (М., 2018). Публиковалась в журналах «Знамя», «Новый мир». Постоянный автор «ДН».

— Опять белиберду нашла в магазине?

Мать вынимала из шкатулки купюру, а вечером или уже на другой день Надежда показывала какой-нибудь блестящий кулончик.

— Сорока, — говорила мать.

— Сорока, — соглашалась Надежда.

Вернувшись от нее, Саша натаскал воду в бочку, слазил в погреб, починил там проводку. Посидел на крыльце, покурил. Солнце уже клонилось к закату. Мать в доме стучала ножом о доску, готовила ужин. Она крошила укроп и все посматривала на часы. Ох и быстро они шли.

Мать проводила его до шоссе.

Уже она его не видела, но всё стояла. Зажглись фонари.

Вечером в электричке было тихо, народу мало, окна открыты. Пахло уходящим летом, стучали колеса.

Почему он выбрал это место в полупустом вагоне? Зачем сел в это отделение? Как будто уловил неведомое другим излучение и не смог ускользнуть.

Так примерно он думал потом, после.

Мужчина читал у окна. Саша устроился у прохода. Вытянул ноги. Мать наложила в рюкзак яблок. Саша вынул одно, протер ладонью. Всё было спокойно. Мужчина читал.

Толстая книга. Обернута в пожелтелую газету, видна программа на неделю. И начало какой-то статьи. «Социалистическое соревнование...»

Бог мой, какая давняя газета!

Углом торчала из книги открытка.

Мужчина перевернул страницу. Приподнял брови.

Чему-то он там, в своей книге, удивился.

Саша надкусил яблоко. Сок брызнул. Саша жевал с наслаждением. Мужчина вдруг поднял глаза от страницы и посмотрел на него укоризненно. Саша мгновенно понял, что раздражает чавканьем. И замер с набитым ртом. Мужчина задержал на Саше взгляд и вновь погрузился в чтение. Саша медленно, осторожно дожевал кусок, надкусанное яблоко вернул в рюкзак.

Поезд шел, в открытые окна врывался вечерний ветер. Саша разглядывал мужчину.

Выбрит. Брюки отглажены. Туфли начищены. Куртка великовата в плечах. Клетчатая рубашка застегнута на все пуговицы.

Отчего-то Саше хотелось, чтобы мужчина расстегнул верхнюю пуговицу, казалось, что ворот ему давит. Саша даже проверил собственный ворот, свободен ли. Свободен, расстегнут. Саша вдохнул поглубже и отвернуться к окну.

Вровень с поездом шла машина. Свет ее фар прыгал по дороге. Поезд прибавил ход и обогнал машину, и это было весело, правильно. Некоторое время Саша ждал, что она всё же появится, но нет; может быть, свернула. Вскоре Саша забыл о ней. Он услышал вдруг музыку.

По вагону шел парень, в руке его женским голосом пел смартфон. Парень сел в смежное отделение, совсем рядом.

Голос пел негромко, что-то протяжное, восточное. Саше пение нравилось, подходило его настроению.

Читатель поднял глаза, посмотрел на парня сердито и вежливо попросил:

— Простите. Вы не могли бы выключить? Мешает.

Парень доброжелательно улыбнулся, но песню не выключил.

Ссадина на щеке. Загорелый, небритый.

— Наденьте наушники.

— Не могу! Нету!

— Хотя бы потише. Я вас очень прошу.

— Тс-с, — сказал парень. — Щас. Допоет.

Да, — подумал Саша, — пусть, пусть допоет.

Голос у нее жалобный или даже скорбный, чем-то она потрясена, о чем-то просит, умоляет. Тебя. Того, кто слушает. Того, кто слышит.

Читатель положил ладонь на открытую книгу. Прикрыл глаза. Ждал тишины. Терпел. Голос же не прерывался.

— Когда же это кончится? — взмолился читатель.

И почти тут же голос пресекся.

Читатель открыл глаза. И в тот же миг тот же голос завел новую песню.

— Это что? — спросил читатель.

— Новая песня! — крикнул парень.

— Это надолго?

— До Москвы хватит!

Читатель смотрел на парня неподвижным взглядом. Парень затянул вместе с голосом припев. Что-то вроде: ей-йе-еее ...

Читатель вытянул за угол открытку, заложил страницу и закрыл книгу. Спрятал ее в сумку. Встал, сунул руку в карман куртки. Пояснил Саше:

— Слов он не понимает.

И вынул из кармана складной нож. Лезвие выскочило беззвучно.

Саша вскочил и преградил дорогу.

Женский голос начал новую песню и смолк.

— Отойдите, — попросил читатель.

— Не могу, — отвечал Саша. — Я должен вам признаться.

— Что?

— Я тоже люблю читать. У меня дома книги, книги, очень много, как у вас.

— Я дома книг не держу, они же не молчат, они воздействуют, я в библиотеку хожу.

— О, как я вас понимаю, — горячо согласился Саша. — Они воздействуют, это очень верно, я иногда слышу, и некоторые совершенно невозможно держать рядом, в соседстве, Толстого и Достоевского.

— Достоевского и вообще невозможно, я от него болею.

— Я детские книги люблю.

— Знаете, я тоже.

Саша почувствовал — читатель на миг позабыл о своем обидчике.

— Темно как, — произнес Саша. И указал на окно.

И читатель обернулся к окну, за которым и в самом деле тьма совершенно сгустилась. Электричка шла каким-то большим полем, и даже огоньков не было видно, хотя бы самых крохотных, дальних.

Саша быстро взглянул на притихшего парня и указал ему глазами на дверь. Парень как будто только этого указания и ждал. Подхватился и поспешил к выходу. Уже у самых дверей обернулся. Читатель смотрел на него.

— Пусть уходит, — сказал Саша, — без него лучше.

— Это правда.

— Давайте сядем поговорим.

И Саша сел первым, только не у прохода, а у окна, прямо напротив того места, куда, чуть помедлив, опустился читатель. Так что они оказались лицом к лицу.

— Что это за книга, которую вы читаете?

— Фантастика.

— Про будущее?

— Про него.

Молчали, смотрели друг на друга.

— Хорошо там у них?

— В будущем? Хорошо.

— Жалко, что не доживем.

— Мы дожили. Это старая книга.

— Значит, не угадал автор.

— Не угадал.

— Тогда неинтересно.

— Мне, — сказал читатель и чуть помедлил. И вновь повторил: — Мне. — И договорил наконец: — Интересно.

Поезд меж тем сбрасывал скорость, и читатель сообщил:

— Мне пора.

Он подхватил сумку.

— Рад был знакомству.

Протянул руку, и Саша ее пожал.

Показалась освещенная платформа, поезд остановился.

Тихо стало в вагоне. Саша вынул из рюкзака надкусанное яблоко, принялся жевать, смачно, сочно. Поезд плавно тронулся.

Саша увидел за окном читателя. Он шагал быстро, одно плечо выставив вперед, и на ходу носовым платком вытирал лезвие ножа. Саша вскочил, бросил огрызок на пол и кинулся к вагонным дверям. О рюкзаке он не вспомнил.

В соседнем вагоне стоял у стены парень и зажимал рукой рану в животе. Смартфон валялся на полу, женский голос пел из него свою восточную песню.

Парень улыбнулся Саше виновато и сполз на пол. Саша опустился перед ним на колени. Кто-то кричал в динамик машинисту насчет скорой. Машинист отвечал:

— Понял.

Глаза парня смотрели неподвижно. Он был мертв.

* * *

Саша подписал показания, следователь Гаврилов их перечитал, отложил.

— Да, — произнес. — Да. Вот так.

Посмотрел на Сашу, как будто ждал ответа на свою реплику. Но Саша отрешенно молчал.

— Как думаете, он в Москве живет или в области?

— Не знаю.

— Но впечатление у вас какое сложилось?

Саша не отвечал.

— Я ведь вас помню, — признался следователь, — вашу историю. Я к ней отношения не имел, но слышал. Я тогда только-только в милицию пришел, сразу после армии, потом уже институт закончил. Заочно.

Саша молчал. Смотрел он на следователя равнодушно.

— Вы извините, — попросил следователь.

Он отодвинулся от стола вместе со стулом, наклонился, распустил на ботинках шнурки.

— Новые. Жмут, мерзавцы.

— Покупайте на размер больше.

— На размер больше как лыжи. У меня подъем высокий, не подберешь.

Он поднялся, прошаркал к окну, встал спиной к подоконнику.

— Ничего, разношу. Будут как родные. Вы курите?

— Да.

— Закуривайте, не стесняйтесь. Вон пепельница.

— А вы?

— А я подышу. Курить нельзя, но дышать еще не запретили.

Саша усмехнулся, но закуривать не стал.

— А я вот что думаю, — размышлял вслух Гаврилов. — Не московский он житель, не столичный. Думаю, что он именно на своей станции и вышел. А ехал откуда-нибудь

из Александрова с работы, со смены. Охранником, скажем, трудится. Как вам такая версия?

— Не знаю.

— И я не знаю. Чистые домыслы, без оснований. Интуиция.

Гаврилов вернулся к столу, сел.

— Вот так, вот так. Убийца на свободе, а мы с вами здесь сидим и что делать, не знаем.

Взял листок с показаниями, посмотрел в него и отложил.

— Что ж, Александр Иванович, вы свободны. — Взглянул на часы. — Время, конечно, неудобное, самый что ни на есть мертвый час. Последняя электричка ушла, до первой ждать и ждать. Хотите здесь перекантоваться? Чаю выпьем?

— Я лучше на воздух.

Саша поднялся.

— Не спешите, я вам такси вызову. — Следователь взялся за телефонную трубку. — За казенный счет.

— Что ж, — сказал Саша.

Машина свободно катила по ночной Ярославке к Москве, Саша бездумно смотрел на дорогу.

* * *

Убийца остановился. Он был один на платформе, скудно освещенной. Направился к лестнице, медленно спустился с нее и вновь остановился. Один.

Звук мотора.

Проехала через переезд машина.

Мотор еще слышен. Стих.

Как хорошо. Людей нет. Тишина.

Звук собственных шагов. Тень, которая растет перед тобой.

Он шел по обочине дороги, хрустел под ногами гравий. Ночь была теплой. Ночь была долгой. И если бы она не кончалась, было бы еще лучше. И ему казалось, что он может ее длить одним только своим желанием.

Дорога повернула, показались одноэтажные дома. Собака залаяла. Он поморщился. Поправил на плече сумку и направился по тропинке к домам.

У калитки он замер. Ему почудился проблеск света в темном окне.

Он выждал и повернул щеколду. Прошел по тропинке, задевая разросшуюся траву. Поднялся на крыльцо. Вынимая из кармана ключи, заметил на брюках небольшое темное пятно. Вздрогнул. Оглянулся. Никто на него не смотрел. Никому он не был интересен. Какое счастье. Какой покой.

Он отворил дверь и вошел в дом.

Щелкнул выключателем, и темная комната осветилась. Он зажмурился.

Он снял с себя всю одежду, разделся догола. Грязное сбросил на пол.

Вынул из шкафа аккуратно сложенное белье, треники, рубашку, носки. Оделся. Сунул ноги в тапочки. Закатал рукава рубашки.

Зажег газ. Водрузил на огонь огромную кастрюлю с водой.

Поставил на табурет таз. Опустил в таз брюки. Черпаком набрал из кастрюли горячую воду. Тер и мылил брюки хозяйственным мылом. Тер и мылил куртку. Носки.

Спустился с крыльца с тазом, полным выстиранной одежды.

За оградой горел электрический фонарь, освещал сад, и сад казался ненастоящим, декорацией.

Веревка была натянута между двух яблонь. Убийца развесил на ней мокрую одежду: куртку, брюки, нижнее белье. Всё, в чем он был в электричке. И сумку, тоже мокрую, отмытую.

Стекала в траву вода.

Вернулся домой, разобрал постель, почистил зубы, умылся, лег, раскрыл книгу. На тумбочке возле кровати мирно светила настольная лампа.

Он принялся читать, и лицо его стало умиротворенным, тихим.

Перевернул страницу. И вдруг заметил на ней бурое пятно. Вскрикнул, отшвырнул книгу. Она шлепнулась на пол.

Он смотрел на книгу с ужасом.

В печи горел огонь. Убийца стоял на коленях у открытой дверцы. Он вынул из книги закладку-открытку. Придирчиво рассмотрел. Пятен не нашел. Отложил открытку подальше на чистый пол.

Сжег книгу, страницу за страницей.

В доме на соседнем участке распахнулась дверь, из нее вылетела собака.

Лениво, в накинутом на ночную рубашку халате, выступила на крыльцо соседка убийцы, дородная женщина по имени Галя.

Она смотрела на его дом. На дым из печной трубы. Смотрела изумленно. Произнесла:

— Замерз он, что ли?

* * *

Саша вошел в полутемную прихожую. Не сняв обуви, прошагал в квартиру.

Зажег в кухне свет, задержал взгляд на горе немытой посуды.

Побрел в комнату.

Диван. Телевизор в углу. Стол, заваленный книгами. Книги на полках, книги на полу, на подоконнике, на стуле.

Саша забрался на диван. Лежал на боку, подложив руку за щеку, смотрел в пустой экран телевизора.

Экран вдруг осветился.

Саша вообразил черно-белый фильм, из прежних, полудетских. Он и она. Идут по набережной. Солнце встает. Они идут, взявшись за руки. Солнце освещает их мир.

Саша приподнялся на локте. Экран был слеп. Всё еще шла ночь.

Саша вернулся на кухню. Поставил чайник. Чиркнул спичкой и поднес огонек к сигарете. Хорошо. Тихо. У чайника мокрые бока.

Утро едва брезжило, когда он покинул квартиру. Спустился в метро, в прохладное подземелье, сел в полупустой вагон.

* * *

Убийца сладко спит. На столе ярко освещен солнцем чисто вымытый нож.

Солнечный луч перемещается и светит в лицо спящему. Он морщится, отодвигается в тень, открывает глаза. Смотрит на солнечную зелень за окном. Улыбается. Отбрасывает одеяло.

Выбирается в сад. Щупает белье, не просохло ли. Зевает.

Подбирает в траве яблоко, яблоню гладит по стволу.

— Ты моя девочка.

Замечает соседку Галю. Она, согнувшись, пропалывает морковь на своем участке.

— Галина Николавна, доброе утро!

Соседка выпрямляется. Машет ему рукой.

— Доброе утро, Альберт Иваныч!

И тут же вновь склоняется к грядке.

Подняв еще несколько яблок, Альберт (теперь мы знаем, услышали его имя) возвращается к дому.

Он входит в комнату с прохладными яблоками в руках и видит Сашу.

Саша сидит у стола. Здоровается.

— Доброе утро.

Альберт приближается, аккуратно кладет на стол яблоки. Садится напротив Саши.

Саша берет чистый нож.

Альберт смотрит на Сашу.

— Я так и знал, что вы меня найдете.

Саша кивает.

— Это было несложно.

Он отрезает кусок от яблока. Кладет его в рот. Жует.

— Московская грушовка, — поясняет Альберт.

— Сладкая.

— И твердая.

— Я такие люблю. Ничего, что я чавкаю?

— На здоровье. Вы мой гость. Чаю со мной выпьете?

— Почему бы мне и не выпить с вами чаю.

Альберт поднимается. Зажигает под чайником огонь.

— У меня очень хороший чай, индийский. Чая сейчас много, но всё ведь плохой, а мне всегда хороший придерживают.

— С чего вдруг такая любезность?

— Не вдруг, не вдруг.

Альберт ставит на стол чашки из буфета, сахарницу, вазочку с печеньем.

— Меня здесь все уважают, все ценят, потому что кто, если не я?

— Загадками говорите.

— Я объясню, не торопитесь.

— Я и не тороплюсь, — говорит Саша и смотрит в окно. — В такое утро торопиться решительно нет охоты.

Альберт прихваткой снимает с электрической плитки закипевший чайник, осторожно наливает в заварник дымящуюся воду.

— Хозяйственный вы.

— Этого не отнять.

Альберт возвращает чайник на плиту и садится напротив Саши.

— Меня, видите ли, зовут Альберт.

— Редкое имя.

— Неслучайное. Папа мой, царство ему Небесное, назвал меня так в честь великого Альберта Эйнштейна. Вы знаете, кто такой Эйнштейн?

— Физик.

— Папа мой был пьющий и добрый. Мягкий человек. Мама им помыкала. Она просила его записать ребенка Михаилом, а он записал Альбертом. Имя — это судьба. Дети дразнили меня Адольфом.

— Били?

— Мать била больнее. Она работала на заводе и если злилась на меня, то привязывала к батарее собачьим поводком. Оставляла на полу кусок хлеба и миску с водой. Снимала с меня штаны и трусы. Чтобы не запачкал. Я гадил от страха.

Саша молчит. Яблоко забыто.

— Не будем о грустном! — восклицает Альберт.

И разливает по чашкам дымящийся чай.

— Все прошло, все быльем поросло, отец спьяну попал под машину, мать я пырнул ножом. Несильно. Зажило. В милицию она меня не сдала. И более меня не трогала.

— Сколько вам было?

— Пятнадцать. С тех пор я заставлял ее мыть полы два раза в день. Утром и вечером. Утром и вечером. И стало у нас дома тихо и чисто.

— Она жива?

— Не знаю. Она сбежала от меня к своей сестре, когда я окончил школу. В Калугу, кажется. Вы пейте чай, а то остынет. И конфетку берите. Свежие конфетки, дорогие. Такие сейчас мало производят.

— Конфеты тоже для вас придерживают?

— А как же. Ведь я имя свое оправдал.

— Физиком стали?

— Я во всякой технике разбираюсь. Отремонтирую все. Телевизор, компьютер.

— Телевизор и я могу починить.

— Не всякий.

— Всякий никто не починит.

— Я починю всякий, — мягко уверяет Альберт.

— Не зарекайтесь.

— Не верите в меня?

Саша не отвечает. Он разворачивает конфету. Кладет целиком в рот. Жует.

— Вкусная.

— Я рад, что вы оценили.

Альберт доволен собой, смотрит на Сашу удовлетворенно. И вдруг видит, что Саша улыбается.

— Вы улыбаетесь? Чему вы улыбаетесь? Я сказал что-то смешное? Я сделал что-то смешное?

Саша не отвечает, улыбается.

— Прекратите. Это обидно. Я вам душу открыл.

Саша смотрит серьезно.

— У тебя нет души.

Секунду Альберт смотрит на Сашу и внезапно вскакивает. Одновременно он опрокидывает в сторону стол (звенит разбившаяся посуда) и успевает подхватить с падающего стола нож.

Саша пятится, упирается спиной в стену.

Альберт вбивает нож в грудь Саше.

Саша пытается вдохнуть, валится на бок.

Альберт смотрит на неподвижное тело. На Сашиной рубашке набухает пятно крови.

Альберт отступает.

Потрясенный, оглушенный, Альберт выходит в сад.

Он опускается на лавочку под яблоней.

Светит солнце. Чирикает пичуга. Яблоко падает в траву. Трепещет паутина. Галина кричит:

— Альберт Иваныч!

Альберт оборачивается, смотрит на нее.

— Вы не зайдете к нам? Приемник барахлит.

Альберт встает и, не обращая на соседку внимания, возвращается к своему дому.

Соседка пожимает плечами.

— Чудак.

Альберт осторожно входит в комнату.

Там все тихо, все спокойно. Нет ни убитого, ни следа.

И стол на месте.

И две чашки на столе, полны простывшего чая.

Альберт медленно приближается, недоуменно смотрит на эти чашки.

Опускается на стул, загораживает ладонями лицо.

Становится темно.

* * *

Саша лежал и смотрел в пустой телевизионный экран. Экран осветился.

Саша вообразил черно-белый фильм, из прежних, полудетских. Он и она. Идут по набережной. Солнце встает. Они идут, взявшись за руки. Солнце освещает их мир.

Саша приподнялся на локте. Экран был слеп. Всё еще ночь.

Саша поднялся, побрел на кухню. Поставил чайник. Чиркнул спичкой и поднес огонек к сигарете. Хорошо. Тихо. У чайника мокрые бока.

Утро едва брезжило, когда он вышел из дому. Спустился в прохладное подземелье, сел в полупустой вагон.

На проходной Саша показал пропуск.

Он сел за свой компьютер.

— Как выходные? — спросил Толик.

— Нормально.

— Кофе хочешь?

И Толик достал термос.

* * *

Альберт отнял ладони от лица. Мирное утро. Солнечные блики на стене.

Альберт осторожно встал, как будто в доме кто-то спал и ни в коем случае нельзя было его разбудить. Неслышно ступая, Альберт выскользнул из утренней комнаты. Прошел коридором мимо приоткрытой в чулан двери. За ней было темно. Единственное слепое (так его называла когда-то мать) оконце с ладонь величиной выходило на север, в тень; и днем, и ночью в чулане приходилось жечь электричество, включать лампу, она свисала с потолка на витом шнуре. Голая лампочка в черном патроне. В чулане стояла газовая плита, она подсоединялась к красному баллону, хватало его на несколько месяцев, Альберт готовил редко, просто: кипятил чайник, варил яйцо или картошку. Зимой он и вовсе не пользовался газом, чайник ставил на шесток на печи.

Альберт выступил на крыльцо, плотнее закрыл за собой дверь. Выдохнул. Успокоился. Спустился с крыльца.

Яблоко упало. Альберт поднял его и бережно положил на скамью.

Он принялся выдирать разросшуюся возле тропинки траву и за работой успокоился совершенно. Услышал шорох, оглянулся. Женщина стояла за калиткой. Солнце уже пекло.

— Извините, — сказала она. — Здесь живет Альберт Иванович?

Роста она была небольшого, средних лет. Лицо узкое, смуглое, с высокими скулами, а глаза голубые.

Альберт приблизился к калитке.

— Я вас слушаю.

Она смущенно объяснила, что тревожит его по поводу забытой в книге открытки.

— Я читала книгу до вас. Умолила библиотекаршу дать ваш адрес. Открытка мне дорога. Уж простите.

— Всё нормально. — Он повернул щеколду. — Входите.

— Вы уж простите за беспокойство. Это кажется такой ерундой.

— Не кажется. Я понимаю. Вы подождите меня здесь, в саду. Я принесу.

Рукомойник висел в коридоре возле чулана. Альберт тщательно намылил руки, ополоснул. Промокнул полотенцем и прошел в комнату. Открытка лежала на буфете, но Альберт не стал брать ее сразу, подождал, когда руки высохнут. Приблизился к окну. Женщина сидела на скамейке. На что-то она смотрела. Ему любопытно стало, на что. Махнула ладонью, отогнала мошку.

Женщина повернула голову, и Альберт отшатнулся от окна.

Он взял открытку и рассмотрел внимательно, перед расставанием он хотел запомнить каждую мелочь.

Адреса. Даты на почтовых штемпелях. Залом угла.

Перечитал надпись:

«Дорогая мама! Поздравляю тебя с наступающим весенним праздником 8 Марта. У нас все хорошо, Тёма лопочет без продыху. Думаем делать ремонт, я в ужасе. Как ты? Вася передает привет. Целуем. Мы».

На обороте, на ровном синем фоне, желтели мимозы.

Открытку отправили в середине февраля из Новосибирска. К месту назначения, в Московскую область, она добралась через месяц; весенний праздник 8 Марта уже прошел. Долгая дорога.

Перед тем как покинуть комнату, Альберт посмотрел на себя в зеркало, поправил воротничок рубашки. Пригладил челку.

Он бесшумно, призраком, вышел в сад и приблизился к сидящей на скамейке женщине так тихо, что она не заметила. Он помедлил и произнес:

— Ну вот. В целости и сохранности.

Она вздрогнула, обернулась, встала. Он протянул ей открытку, признался виновато:

— Я не мог не прочесть.

— Конечно. Вы извините за беспокойство. Мне жалко стало, что она пропадет.

— Я очень понимаю.

Они стояли друг перед другом и молчали. Им казалось, что нельзя вот так просто распрощаться, нужно еще что-то объяснить друг другу.

— Яблок в этом году тьма, — сказал Альберт.

— Немеряно.

— Говорят, к войне.

— Не дай бог.

— Я хотел вам сказать. Чтобы вы не думали. Я прочитал вашу открытку, но я ни во что ваше не проник. Постороннему человеку никогда не проникнуть. Будь он сам Шерлок Холмс.

— Конечно.

— Правда? Вы тоже так думаете? — Он обрадовался. — Это удивительно.

— Что же тут удивительного? Вы прочли открытку, но вы не узнали ни Васю, ни Тёму, они для вас икс, игрек, никто, кто угодно.

— Так и есть.

Она улыбнулась. Ни за что не хотелось Альберту, чтобы она ушла, покинула его.

— У вас картошка в этом году хорошая?

— Да.

— А я замучился с жуком, собираю и собираю, а он не убывает.

Помолчали.

— Сейчас и не пишут люди письма, — сказал Альберт, — всё по телефону.

— Мне пишут.

— Простите, как вас зовут?

— Анна Васильевна.

— А меня — Альберт Иванович. Отец назвал. В честь великого физика Альберта Эйнштейна.

Он следил за ней внимательно, не усмехнется ли. Нет, не усмехнулась.

— Могу я предложить вам чаю? У меня прекрасный чай.

Она взглянула на крохотные наручные часики.

— Вы спешите? — огорчился Альберт.

— Нет, спешить некуда, перерыв в электричках.

— А где вы живете?

— Сорок третий километр.

— До двух не будет электричек.

— Я с удовольствием выпью с вами чаю.

— Прекрасно! Мы устроимся на террасе, там светлее. Я угощу вас идеальным клубничным вареньем.

— Не откажусь. — Она улыбнулась.

— Прошу.

И он повел ее по тропинке к дому, радуясь, что тропинка у него вымощена красным кирпичом.

Они дошли до крыльца и увидели незнакомца. Он стоял за калиткой и наблюдал за ними. Возможно, давно.

— Добрый день, — поздоровался незнакомец. — Я следователь Гаврилов. Могу я с вами поговорить?

* * *

— Понимаете, — объяснял Гаврилов Саше через несколько дней. — Он нисколько не удивился, не поинтересовался, о чем я хочу поговорить. Он и так знал. Сказал обреченно: «Да, конечно». Может быть, из-за того, что рядом была та женщина. И он не хотел перед ней потеряться. Ему было страшно, но виду он не подавал. Отвечал вежливо, тихо. На веревках возле забора сохла вся его вчерашняя одежда, включая носки. И не только одежда. Сумка. И башмаки он тоже вымыл. Эксперты говорят, что с мылом. Башмаки стояли на крыльце. Всё это практически высохло к моему приходу.

— Он признался? — спросил Саша.

— Он не говорит ни да, ни нет. Его опознали свидетели. Эксперты обнаружили следы крови. И на ноже. Он не подумал его выбросить. Он чистил им яблоко. Сказал, что не может есть яблоко в кожуре, должен снять. Снять. Именно это слово он употребил. Вот так, дорогой мой друг. Мы его нашли.

— Я рад.

— Это было несложно. Обзвонили библиотеки. Словесный портрет имелся. Я угадал, он подмосковный житель.

— Значит, вы довольны?

— Нет. Нет. Иначе я бы не стал вас тревожить. У меня к вам просьба, вот что. Вы не могли бы с ним встретиться?

— У вас и без меня есть свидетели.

— Дело не в этом. Он хочет вас видеть. Просит. Я лишь передаю.

— Нет, — сразу и твердо отвечал Саша.

— Мне почему-то казалось, что вы согласитесь.

— Вы ошиблись.

— Я думал, что вы должны ему сочувствовать, как ни странно.

— Я ему сочувствую. Но встречаться не буду. Нет и нет.

— Ну что ж. Не смею, так сказать.

Гаврилов поднялся. Они беседовали с Сашей в саду. На скамейке под яблоней. Мать глядела на них из окна.

Гаврилов ушел. Саша закурил. Мать смотрела на него.

Саша отбросил сигарету. Ушел.

Чайник кипел на электрической плитке, шипел, плевался, стучал крышкой. Но мать не слышала.

Саша громко, кулаком бухал в дверь. Надя открыла. Смотрела на него спокойно. Оба молчали. Вдруг Саша переступил через порог, обхватил ее, обнял.

Прошли несколько шагов в обнимку, пока Надя не уперлась спиной в стену. Саша задрал подол ее затрапезного домашнего халата, она расстегнула ремень на его брюках. Оба торопились, словно у них не было времени. Надя вдруг оттолкнула его, Саша смотрел растерянно. Надя легла на пол, согнула, раздвинула ноги.

Он торопливо расшнуровал ботинки, сбросил куртку, перешагнул через брюки. И всё молча, молча.

Саша медлил, смотрел на нее сверху вниз. Опустился на колени, раздернул ее халат, одна из пуговиц отлетела. Он лег на нее всей тяжестью своего худого, костлявого тела. Тронул языком светло-розовый твердый сосок, взял его в рот. Надя не шевельнулась. Дышала тяжело. Обхватила его ногами.

Пот стекал по его лицу, капал на нее.

Надя вскрикнула.

Он лежал на полу, повернув набок голову, смотрел на отлетевшую пуговицу, на торчащие из нее нитки. Он слышал, как Надя встает, как уходит в комнату и гремит там чем-то.

Когда она, одетая в лучшее свое платье, вернулась в коридор, Саши уже там не было. Она подобрала забытую им куртку, повесила на гвоздь.

Он шел к электричке.

Через два часа он уже был дома, в спасительном полумраке. Лег на диван, уставился в мертвый экран.

* * *

Комната небольшая, окон нет, дверь заперта.

Саша сидит через стол. Молчит. Альберт его разглядывает.

— Вы хотели со мной поговорить?

— Хотел. На ты. Можно, мы будем на ты? Как ты живешь? Вот что я хотел спросить.

— Нормально.

— После всего? — удивляется Альберт.

— Нормально живу.

— После всего, что они с тобой сделали?

— Чего только люди с людьми не делают. Мне еще повезло.

— О.

— В сравнении с тобой, к примеру.

— А я считаю, что это мне повезло в сравнении с тобой. — Альберт усмехается уголком рта.

— Ты отсюда не выйдешь.

— И слава богу. Я урод. А ты был нормальным.

— Я и сейчас нормальный.

— Нет. Нормальный человек не стал бы со мной разговаривать. Ни тогда в электричке, ни сейчас здесь.

— Ты знаешь, как должен себя вести нормальный человек?

— Да. Это я знаю.

— Удивительно.

— Так бывает. Еще спрошу. Извини, но спрошу. Как они могли ошибиться?

— Она пропала после дискотеки, с которой я ее провожал. Я довел ее до самого дома, но дома она не появилась. По дороге мы ссорились, я кричал на нее, толкал, люди видели.

— Ты? Не могу вообразить.

— Я был другим. Молодым. Я ревновал. Поначалу меня допрашивали как свидетеля. Я был не в себе, у меня дрожали губы. На третий день меня арестовали. Меня били, я признался.

— Эх.

— Да. Показал место, где задушил ее. За гаражами.

— А труп?

— Доволок до пруда, там недалеко, привязал камень, утопил.

— Чем привязал?

— У нее пояс был на платье. Труп не нашли.

— Еще бы.

— Меня освидетельствовали и признали ненормальным.

— Врачи!

— В психиатрической больнице я провел почти год.

— Ты что-нибудь помнишь?

Дребезжит вдруг звонок.

— Очень мало.

Звонок не прерывается

— Тебе звонят, — говорит Альберт.

— Я мало что помню.

— Ты оглох? Звонят. Эй.

* * *

Саша моргнул. И тут же увидел вместо лица Альберта темный экран.

Звонок не унимался. Саша поднялся с дивана. Добрел до прихожей.

Повернул замок, отворил дверь. Надя.

Смотрели друг на друга. Молчали.

— Ты куртку оставил.

— Да. Бог с ней. Спасибо.

Он протянул за курткой руку.

— Через порог нельзя.

— Извини.

— Хоть посмотрю, как ты живешь.

— Нормально живу.

Она прошла в квартиру. Он остался в утробной темноте прихожей. Слышал ее голос:

— О, книг сколько. Ты все их прочитал?

Не отвечал.

Шум воды, звяк.

Он потащился на кухню.

Она мыла посуду.

Он взял полотенце и начал вытирать мокрые чашки. Молча.

— Хорошее лето, — сказала Надя. — Солнечное.

Он вытирал чашки. Молчал. Смотрел ей в спину. И вдруг произнес:

— Я отупел в первое время, от лекарств.

Надя оглянулась. Он смотрел невидящими глазами.

— Слюни пускал.

— Саша. Не вспоминай.

Тренькала бежавшая из крана вода.

— Через несколько месяцев меня перестали глушить, я стал немного соображать.

— Не вспоминай.

— Тошно было, но иногда ничего. Мы что-то рисовали. Я рисовал. Дерево. Яблоню, кажется. Мать приходила пару раз.

— Почему она поверила? — тихо спросила Надя.

— Все поверили. Я сам поверил.

— Но ведь следов не нашли?

— Нашли. Кто-то что-то тащил от гаражей к пруду.

— Как ее звали?

— Оля.

— Оля.

— Через одиннадцать месяцев и двадцать дней она вернулась домой.

— Стерва.

— Она же не думала, чем обернется ее пропажа. Она тогда разозлилась на меня и на весь белый свет, рванула к бабке, никому не сказавшись.

— Дура. И бабка дура, могла бы и написать родным.

— Бабка писала, да только письма Оля до почты не доносила. Такое у нее было настроение тогда.

— Бедный ты бедный.

Надя заплакала.

Он подошел к ней, погладил по голове.

Герман Канабеев

Собиратель красоты

Рассказы

Облако

— Деда, почему наша станция называется Облако? — спрашивал я у деда и бежал за ним по шпалам.

Дед шел впереди в ярко-оранжевом жилете поверх телогрейки. Мне не хватало полного шага, чтобы идти точно по шпалам. Первый попадает, а следующий уже мимо. Это жутко раздражало. Я не мог понять, зачем шпалы так кладут, что каждый второй шаг мимо. Либо приходится семенить, либо прыгать.

Деду, наоборот, было удобно. Он шел размашисто и попадал точно через одну, не прилагая усилий. Он походил на медведя. Огромный и могучий.

— Зимой расскажу, — отвечал дед.

— Почему зимой?

— Так понятнее будет. — И не оборачиваясь на меня:

— Хватит болтать. Послушай, как поют провода.

Я останавливался и слушал.

Провода вдоль железнодорожного полотна действительно пели. Звук был странным. Похожим на стон рвущейся гитарной струны.

— Деда, о чем поют провода?

— О многом, — отвечал дед. — О расставании, о встрече, о любви, о ненависти — обо всем, что чувствуют люди, едущие в поездах.

Когда песня проводов становилась громче и казалась тревожной, дед брал меня за руку и стаскивал с полотна.

Мы отходили на несколько метров, и я ждал удара ветром от поезда. Мне казалось, что в этот момент я перемещаюсь в другой мир. В мир, где есть только ветер, оглушающий свист состава, грохот колесных пар и все, что чувствуют люди. Только без самих людей. Словно в поезде и нет людей. Только их чувства, которые уже им не принадлежат.

Дед всю жизнь проработал на железной дороге. На станции Облако. Дежурным стрелочного поста. Если кто-то называл его стрелочником — это могло стать причиной серьезной драки. Дед ненавидел это слово.

Герман Канабеев — прозаик. Родился в небольшом городе на границе с Монголией в 1980 году. Испробовал множество профессий, жил во многих городах нигде не оставаясь надолго. Автор романа «Я буду Будда» (М.: Изд-во «Флюид ФриФлай», 2018, серия «Книжная полка Вадима Левенталя» и сборника рассказов «Кодокуши» (М., Изд-во «Издательские решения», 2018).

В метрах двадцати от платформы находилась наша деревня на десять домов. Все, кто был в Облаке, работали на станции.

Мы с дедом жили вдвоем. Я не помнил матери и отца. Всегда был только дед. Он и я.

Два раза в день он брал меня с собой. Мы шли к стрелочному посту. Слушали песни проводов. После стрелочного перевода дед вел меня к заброшенному железнодорожному полотну, находившемуся чуть в стороне.

Мне не нравилась эта дорога. Рельсы здесь были ржавыми. Они не блестели так, как на той, по которой несутся поезда. Здесь нет проводов, а значит, нет их песен. Половины шпал нет, и полотно похоже на старческий беззубый рот. С одной стороны, той, что ближе к лесу, рельсы обрывались.

Здесь тоже был стрелочный пост. Через него можно было перевести поезд на рабочие пути или туда, где рельсы обрывались. Каждый раз дед проверял работоспособность механизма. Если что-то было не так, он велел мне оставаться на месте, а сам шел домой за солидолом.

Он тщательно смазывал каждый болтик. Проверял, работает ли, и довольный смотрел туда, где обрываются рельсы. Потом в другую сторону, словно ждал поезда.

— Дед, зачем ты следишь за этим постом? — спрашивал я. — Здесь же все равно не ходят поезда.

— Не ходят, — отвечал дед. — Но последний поезд пройдет именно здесь.

— Что за последний поезд? Расскажи!

— Мой отец, твой прадед, рассказывал, что по этой дороге пойдет последний поезд. Поэтому стрелочный пост нужно держать исправным. Вовремя сделать перевод, чтобы поезд ушел туда, где кончаются рельсы.

— Почему он последний, поезд этот?

— Потому что на нем можно доехать до счастья, — отвечал дед.

— Счастье — это станция такая?

— Да, наверное станция, — дед улыбался и гладил меня по голове. — От Облака до Счастья, думаю, пару дней пути.

Дед умер, когда мне исполнилось десять лет. Из города приехала немолодая дряблая женщина с уставшими глазами. Сказала, что она моя тетка, и забрала в город.

Через двадцать лет в январе, сразу после новогодних праздников, я вернулся на станцию Облако. Зима была крепкой, снежной и скрипучей. Как только вышел из поезда, понял, почему станция так называется. Сопки, между которыми спряталась деревня, засыпало снегом, и казалось, будто это кучевые облака.

С собой из города я захватил солидол. Домой к деду заходить не стал. Да и не был уверен, что дом еще стоит. Мне было нужно на стрелочный пост.

Я шел по путям. Теперь моего шага хватало, чтобы спокойно идти через одну шпалу. Наверное, я уродился в деда. Может, со стороны теперь тоже похож на медведя?

Я дошел до старого полотна и нашел стрелочный пост.

Рычаги не поддавались. Я долго мучился с ними, пока не услышал песню проводов над головой. Это было странно. Над старыми путями не было высоковольтной лини. Песня становилась звонче, и я почувствовал легкий ветерок вдоль путей. Такой бывает, когда состав подходит к станции. Я почувствовал, как задрожали рельсы.

Что было сил навалился на рычаг и перевел стрелку с рабочих путей на те, что обрываются ближе к лесу.

Поезд несся с невероятной скоростью. Я еле успел соскочить с его пути. Когда он пролетал мимо, время словно замедлилось, и в окне одного из вагонов я увидел деда. Он смотрел и улыбался. Я крикнул что было сил:

— Дед, ты счастлив?

— От Облака до Счастья два дня пути, — услышал я в ответ.

Поезд ухнул в лес, оглушив меня пронзительным свистом, и исчез.

Я любовь

В этот раз я почти дожил до сорока. Я сидел в ожидании пиццы. Почему-то решил, что если хоть раз дотяну до этих лет, куплю огромную «маргариту». Оставалось пятнадцать минут до пиццы и тридцать минут до дня рождения.

Она стояла на кассе. Заказывала суши. Я сразу узнал эту дамочку. Три года назад я нашел для нее любовь всей жизни.

— На сколько персон приборы? — спросил кассир.

— На одну, — ответила дамочка и разрыдалась.

Она плакала, как ребенок. Навзрыд. Захлебываясь.

— Ваша пицца готова, — сказали мне.

— Да иди ты, — заорал я и выскочил на улицу.

Как же так? Уж в этих двоих я был уверен. Почему они расстались? Тридцать минут, тридцать минут, всего тридцать минут.

Пришел домой. Лег на кровать и закрыл глаза. Знаю, что, когда открою, уже будет утро. Обязательно солнце. Сначала все окрасится в красный. Затем сильно кольнет в груди слева. Я начну задыхаться, и через несколько секунд меня на части разорвет боль. Это будет такая боль, которую ни с чем не сравнить. Хотя почему, сравнить можно: когда в глотку заливают расплавленный свинец. Помню в деталях, потому что буду проходить через это в черт его знает который раз.

Люблю читать про себя мифы. Особенно нравятся те, где я в образе пацана с крыльями, луком и стрелами. Было дело, лет триста назад я поддался на эту провокацию и выстрелил мужику в сердце. Насмерть. Тот даже ойкнуть не успел. Больше не экспериментирую.

Если дотяну до сорока, боли не будет. Не будет мучительного перерождения. Прожив столько лет, я понял, что счастье — это отсутствие боли. Если бы еще люди мне это позволили. Всего-то и нужно — любить друг друга до конца. Как долбаные дельфины. С ними у меня проблем не возникает. Если за сорок лет все полюбившие друг друга не разлюбят, моя боль закончится. Почему люди не дельфины?

Но пока я добился только того, что у людей появилась традиция не праздновать сорокалетие. Сказал одному мужику лет двести назад, что не буду праздновать, так и повелось.

Иногда отчаиваюсь и откровенно издеваюсь над людьми. Моя маленькая месть: специально нахожу для них тех, кто не ответит взаимностью, или подбираю совершенно неподходящего человека. И наблюдаю. Жестоко?

Когда приступ боли закончился, я подошел к зеркалу, словно ожидал увидеть что-то новое. А там всегда одно и тоже. Мне снова на вид лет двадцать. Впереди сорок лет. Меня зовут Виктор. Живу в Москве в Чертаново. У меня есть черный кот по имени Кот. Я — любовь. Не люблю готовить. Питаюсь фастфудом. В основном в «Теремке», потому что жутко люблю блины с красной рыбой и потому что там можно встретиться с Викой. Смерть любит блины со сгущенкой.

Вика не ходит в балахоне с косой на плече. Она носит узкие джинсы, кроссовки New Balance и красную толстовку с Губкой Бобом на спине. Очень красивая барышня. Главное, не думать про ее работу.

Я зашел в «Теремок». Взял блинчик, кофе и сел за столик в углу. Через пять минут пришла Вика. Села напротив и молчала, пока не умяла первый блин со сгущенкой. Перед ней было еще четыре таких.

— Радуешься, наверное, что не сможешь растолстеть? — спросил я.

— Да, иногда, когда смотрю на необъятных, — ответила она. — Я грудь себе сделала, показать?

Вика задрала толстовку, не дожидаясь моего ответа.

— Шикарно, а зачем?

— Не знаю. Вдруг влюблюсь, — сказала Вика и подмигнула.

— Это, наверное, когда я умру, — ответил я и подмигнул в ответ.

Она вдруг так горько вздохнула, что мне стало не по себе.

Последние пять лет я люблю проводить время на крыше сталинки возле Филёвского парка в Москве. Отсюда хороший вид, а на последнем этаже живет психологиня.

Пять лет назад от нее ушел мужик, но разлюбить она его не может. Уж я-то знаю точно. Теперь она пишет книги. Как выстроить отношения. Что такое любовь. Раскладывает грамотно, и стала популярна в сети. Ее даже подняли на пьедестал феминизма. А я любил вдыхать запах жареной картошки из ее форточки, заходить к ней на кухню и смотреть, как она накрывает стол на двоих, наливает два бокала вина и не ест. Смотрит в окно, прислушивается к каждому шороху в подъезде. Ждет. Иногда так проходит ночь. Утром она в ярости стучит по клавиатуре и к обеду выдает пост в соцсети, как не любить или любить себе на пользу, собирая тысячи лайков и сотни комментариев.

У меня есть для нее пара. Полная противоположность идеальному образу, что она описывает в статьях. Но пока еще рано.

Его зовут Гришей. У него с прошлого расставания не прошло трех месяцев. Он еще ходит по магазинам и не покупает продукты, которые любила она. Не пьет чай, потому что, заваривая, вспоминает, как делал чай для нее. Он переклеил обои в квартире, набил новый плейлист во ВКонтакте, но трех месяцев еще не прошло. Это все не помогает. Ходит на автобусную остановку, где встречал ее с работы. Сидит часами. Курит. Ждет.

Сам не знаю, как это работает. Мужчины после разрыва три месяца в коме, потом их не удержать. Женщины на второй день жгут жизнь с энтузиазмом пироманов, празднуют какую-то свободу, пока месяца через два среди веселья не начинают рыдать. Или как та барышня — «приборы на одну персону».

Через неделю схожу к Грише. Как раз три месяца у него пройдет. А завтра меня ждет нечто увлекательное. Костя пригласил Аню погулять в парке.

Это будет их первая любовь. Костя будет нервничать и нести всякую чушь. Аня — каждые десять секунд поправлять волосы. В их разговоре мелькнет Есенин или даже Пушкин, не исключено, что Достоевский. Возраст подходящий. Простительно. Я обычно ухожу, когда людям под тридцать, а они все еще обсуждают Достоевского. Когда сядет солнце, ни Пушкин, ни Есенин не помешают им трогать друг друга за мокрые письки. У нее в памяти отметятся его руки, у него — ее запах. На утро они проснутся счастливыми, но это ненадолго. И они мне не дадут дожить до сорока.

Я присел на скамейку и стал ждать.

— Привет, — сказала Вика и присела на другой край скамейки.

Вот уж кого я ожидал увидеть меньше всего.

— Привет, а ты чего тут? — спросил я, хоть и знал ответ.

— А то ты не знаешь.

— Кто?

— Костя.

— Скоро? — я похлопал по карманам в поисках сигарет.

— Когда по домам разойдутся.

— Грустно, — сказал я. — Есть сигаретка? — Вика протянула мне пачку. — Что с Костей будет?

— Машина собьет, — ответила Вика и спросила: — Что с Аней?

— Будет сообщения ждать, хватать телефон, проверять уведомления, потом обидится.

— Грустно, — сказала Вика.

— Да, — согласился я.
— Когда мы в первый раз встретились?
— Не помню, — я действительно пытался прикинуть хотя бы приблизительно.
— А я тебе нравлюсь? — спросила Вика.
— Да.
— Пригласи меня на свидание.
— Куда ты хочешь пойти?
— В «Теремок».
— Блины со сгущенкой?
— Да, — сказала Вика и добавила: — А ты бы мог любить меня вечно?
— Легко, уж поверь мне, — сказал я.
— Тогда люби.
— И умрем в один день? — спросил я.
— В одну секунду, уж поверь мне.
Взял ее за руку. Такая теплая. Мы дошли до «Теремка».
— Подожди, — остановил я Вику, — возьми блины без ничего, я сейчас.
Добежал до магазина и купил банку сгущенки. Рогачёвской.
Вика попросила пробить в банке две дырки и стала пить сгущенку, заедая блином.
— А как же люди? — спросил я.
— Да черт с ними, — она поцеловала меня в губы сладкими от сгущенки губами.
— Теперь суши хочу.
— Вам приборы на сколько персон? — спросили меня на кассе.
— На две, — ответил я. И повторил уже про себя: — На две.

Вода

Удивительно, когда то, что считаешь своим проклятьем, оказывается благословлением.

Лет до двадцати думал, что я самый несчастный человек на свете. Я был согласен на то, чтобы у меня был обычный человеческий недуг. Пускай сильный и болезненный, но не то, с чем мне приходится жить.

В первый раз это проявилось, когда мне было шесть лет. Мама на кухне жарила картошку с грибами. Отец читал за столом книгу, швыркал чаем и делал вид, что внимательно слушает, что рассказывает ему мама. Я улучал момент, когда она поворачивалась к отцу и, размахивая в воздухе ложкой, что-то пыталась объяснить. Тогда я хватал из сковородки нарезанную соломкой картошку и тут же съедал, обжигая небо. Картошка была недожаренной. Мне нравилось, что сверху она мягкая, а внутри еще сырая. Лучше такой картошки только та, что остается пригоревшей на дне сковородки.

— Почему ты меня не слушаешь? — спросила мать отца.
— Я слушаю, Свет, говори.
— Ну вот! Я потеряла мысль.
— Так вот же она, — сказал я и протянул к матери ладони.

Мысль выглядела как маленькая пирамидка. Прозрачная, но светилась изнутри. Свет казался теплым и мягким, как огонек свечи, только не обжигающий.

Мама улыбнулась. Посмотрела мне в ладони и погладила по голове.

— Ну тогда додумай ее, раз нашел, — сказала она.

Я понял, что мама не поверила мне. Положил мысль в карман и ушел к себе в комнату. Там я долго рассматривал пирамидку, пока она не потухла и не стала сначала мягкой, а затем оказалась водой в ладонях.

В школе было сложно. Там было столько потерянных мыслей. Пирамидки

оставались после людей в том месте, где был последний след, когда они потеряли мысль. В помещении следов не видно, поэтому казалось, что пирамидки валялись беспорядочно. Я собирал их. На переменах забивался в какой-нибудь угол и рассматривал. Они были разных цветов. Точнее, внутри них был разный свет. Такого, как в маминой мысли, я ни разу не нашел.

Чем старше становился, тем меньше собирал пирамидок. Я стал относится к ним так же, как относятся люди к осенним листьям по сентябрю. Красиво это, но бессмысленно. Однажды я додумал за человеком его потерянную мысль.

Оказалось, что не обязательно ждать, пока пирамидка сама превратится в воду. Достаточно плотно сжать в кулаке, и она тут же растает. Я выпил эту воду, и мысль стала моей. Странное ощущение. Могу думать как свою, но все равно понимаю, что она не порождение моего ума.

Только к тридцати я научился по свету в пирамидке определять, стоит ли думать эту мысль. Некоторые были такими, что сознание не справлялось. Я не верил, что человеческий разум может породить подобное. Настолько темной была мысль. Обычно это был фиолетовый цвет. Темно-фиолетовый. Таких я стал избегать и никогда не поднимал.

Самыми приятными были зеленые. Обычно это были мысли, потерянные сразу после того, как возникли. Человек не успевал наделить их своими переживаниями и желаниями. Они были практически чистыми.

Иногда я находил черные пирамидки. Непрозрачные, матовые, без света внутри. Это значило, что человек, потерявший мысль, умер. Такие я собирал и приносил домой. Эти пирамидки не становились водой. К сорока годам коллекция черных пирамидок не помещалась в шкафу.

Только одну черную пирамидку я всегда держал у кровати и перед сном грел ее в ладонях, грел дыханием в надежде, что она превратиться в воду. Мне так хотелось додумать эту мысль, но это оказалось невозможным. Последнюю потерянную мысль матери.

Надо ли говорить, что семьей я так и не обзавелся? Пробовал, но даже женщины, казавшиеся мне ангелами, рано или поздно теряли темно-фиолетовые пирамидки. Среди синих и зеленых — злость и радость, пурпурных и оранжевых — страсть и печаль — появлялись темно-фиолетовые. И не одной, чей свет был похож на пламя свечи. Теплый.

Я годами искал такие пирамидки. Даже начал спускаться в метро, чего раньше старался не делать. Здесь всегда столько людей. Бесконечное море людей и океан потерянных мыслей.

Сегодня я хочу пойти побродить по переходам с «Александровского сада» на «Боровицкую», на «Библиотеку им. Ленина» и «Арбатскую». Мне кажется, здесь само людное место в метро. Сентябрь подходит к концу, люди возвращаются из отпусков, и их количество в общественном транспорте начинает приближаться к критической массе.

Я спустился на станцию «Арбатская» в семь часов вечера. Час пик. Люди неслись, сшибая друг друга. Почти после каждого столкновения оставалась пирамидка. После каждого яростного взгляда, отдавленной ноги, закрывшихся перед носом дверей. Синие. Сотни синих пирамидок.

Когда устал и пошел к эскалатору на выход, я почувствовал, что за мной кто-то идет. Конечно, в метро всегда кто-то идет позади, но это было другое. Человек шел именно за мной, целенаправленно. Ровно с такой же скоростью. Не отставая ни на шаг. Даже если менял направление, я чувствовал, как он все равно идет за мной, словно вцепился в следы.

На улице я резко остановился и повернулся. Девушка налетела на меня со всего маху.

— Извините, — сказала она.

— Зачем ты идешь за мной? — спросил я прямо.

— Сложно объяснить.

— А ты попробуй.

— Как тебя зовут? — спросила она.

— Алексей. А тебя?

— Олеся. Хочешь со мной погулять? Завтра.

— Странная ты какая-то, но давай.

Мы договорились встретиться в Нескучном саду. Олеся повернулась, чтобы уйти, я подождал, когда она сделает несколько шагов, и громко назвал ее по имени. Я знаю, что в такой момент люди тут же теряют текущую мысль. Мне хотелось посмотреть на цвет пирамидки. Она была черной.

На следующий день я сидел на скамейке в Нескучном саду и вертел в руках черную пирамидку Олеси. Я не понимал, как это возможно. Она же не мертва. В зомби мне как-то не верится. В чем же дело?

— Привет, — поздоровалась Олеся.

Я не заметил, как она подошла.

— Привет.

Она села рядом.

— Ты чувствовал что-нибудь, когда я вчера шла за тобой?

— Только то, что за мной кто-то идет.

— Слабость? Головокружение? Усталость?

— Нет, ничего такого. Можно взять тебя за руку? — спросил я.

— Да.

— Теплая. Странно это все.

— Ты имеешь в виду свидание? — спросила Олеся и засмеялась. — Это и правда самые странные свидания на свете и разговор. Пошли гулять!

Мы долго бродили. Говорили о всякой ерунде. Я внимательно рассматривал ее. Не по-осеннему легкое платье и кроссовки. Светлые волосы в тугой хвост. Карие глаза и очень белая кожа.

Иногда она пристраивалась за какими-нибудь людьми и несколько секунд шла за ними след в след. Если Олеся теряла мысль в такой момент, пирамидка оставалась зеленая. Радость.

Одну я подхватил, разогрел в руке и выпил воду. «Господи, как же хорошо чувствовать себя живой и как хорошо, когда есть силы жить. Какие сильные следы. Только бы не промахнуться, Олеся, наступай четко в следы. Хорошо, что у меня такой маленький размер ноги. Сколько же сил в этом человеке, не пропустить бы момент, когда он начнет слабеть, чтобы отпустить», — думала она.

Мысль закончилась. Она забирала силу у людей, в чьи следы наступала. Своих сил, чтобы жить, видимо, у Олеси не было. Отсюда и черная пирамидка. Мои силы забрать не получилось, и ей стало интересно. Ну что ж. Она мне нравится. «Слава богу, ты не один сумасшедший в этом мире», — подумал я.

— Что ты сделал? — спросила меня Олеся.

Казалось, она разозлилась.

— Ничего не делал, — ответил я.

— Врешь, я чувствую.

— Вру, — ответил я и рассказал ей все про потерянные мысли.

Она рассказала мне все про следы. Больше мы не расставались.

Каждый вечер мы выходили гулять. Она набиралась сил в следах, а я собирал пирамидки. Только тогда мир обретает смысл, когда можешь его разделить с таким же ненормальным, как ты.

Через год, в день памяти, я взял черную пирамидку матери и попросил Олесю

пойти со мной на кладбище. Мы захватили бутылку водки, стаканчики, вареные яйца и конфетки. Помянули. Я положил пирамидку на могилку. Она тут же растаяла и впиталась в землю. Когда пошли домой, Олеся ушла чуть вперед, пока я закрывал калитку на оградке.

— Олесь, — позвал я ее.

— Да?

На земле лежала пирамидка. Я поднял ее. Внутри был свет, похожий на пламя свечи. Теплый. Растопил пирамидку в руке и выпил воду.

— Я тоже тебя люблю, — сказал я.

Собиратель красоты

Всегда мечтал быть фотографом. Продал машину, купил дорогущее оборудование и был счастлив до тех пор, пока не кончилась еда. Пришло время монетезировать свое желание. В этот момент моя мечта заскулила, уползла в угол и сдохла там. Пока она еще дышала, я носил ей горячий чай с медом, затем вино, потом коньяк и даже водку. Но каждый раз, когда я возвращался со свадебной съемки домой, мечта все реже подавала признаки жизни.

Я не выбрасывал труп. Надеялся, что оживет, как только соберу достаточно денег, чтобы хоть полгода ничего не делать и снимать только то, что хочу. Тогда я возьму ее на прогулку. Как раз будет осень.

Будет красиво. Будет много золота, меди, бронзы и серебра. Будет столько красоты и свободного времени, что мечта обязательно оживет. Снова будет держать за руку и заливисто смеяться. Осень пришла. И медь, и золото, и серебро, местами изумруд, а мечта начала покрываться трупными пятнами. Я решил, что выкину ее гниющее тело завтра, после очередной свадебной съемки.

— Мы хотим, чтобы было красиво. Общие планы. Портретная съемка. Воробьёвы горы там, Москва сити, ну, и Красная площадь, естественно. Васильевский спуск, если на площадь не пустят. Да? Вась?

Невеста красива. Мне казалось, что ее соски вырвутся на свободу из этой обтягивающей кофточки и выколют мне глаза.

— Конечно, Настя. Воробьёвы горы, да.

Вася тоже хорош. Крепкий, подпружиненный. Такое ощущение, что он сейчас достанет тарелку с овсянкой или шейкер с протеином, чтобы не пропустить углеводное окно.

— И Москва сити, естественно, — сказал Вася безапелляционно.

— И Зарядье, Зарядье! — Настя подпрыгнула в предвкушении. — Парящий мост!

— Ну, конечно! — обрадовался Василий.

— ВДНХ? — включился я в обсуждение.

— О! — Настины соски все-таки прокололи обтягивающую кофточку.

— Как думаете, Михаил, из такого сценария получится хорошая съемка? — спросил меня Василий.

«Какой кошмар», — подумал я и ответил:

— Конечно, но у меня есть встречное предложение. Давайте вы наймете еще одного фотографа, который сделает всю постановочную съемку, а я буду фотографировать только то, что хочу, а потом вы сами решите, за какие фотографии заплатить?

Не знаю, что меня заставило такое предложить. Наверное, Настины соски. Барышня была действительно красивая. Как горы. Или океан. Объективная красота. Настолько мощная, что ее нельзя объяснить. Вот и Настю объяснить сложно. А передать ее красоту можно только случайно, и никаким образом это невозможно в постановке на Воробьёвых горах.

Нельзя владеть красотой гор или океана, но в мире еще много красоты, которую хочется заполучить. Любые научные достижения только тогда становились частью цивилизации, когда они оказывались красивыми. Самое эффективное оружие — красивое оружие. Лучший самолет — самый красивый самолет. Лучший телефон — самый красивый, как это ни странно, телефон. Мы все спешим туда, где красота, и всеми силами стараемся заполучить красоту себе. Мужчинам в этом мире проще. Недостаток красоты они всегда могут компенсировать красивой женщиной. Ею обладать легче, чем горами или океанами. Странно, что мужчины отказывают женщинам в таком же желании. Женщины не могут компенсировать недостаток красоты самым доступным материалом — мужчинами. Потому что мужчин, похожих на Василия, очень мало, вот они и находят красоту в вещах и уюте. Поменяйте нас местами, и что мы, мужчины, будем делать без этой беззащитной и такой доступной красоты?

Настя и Василий согласились на мое предложение, но я был уверен, что это моя последняя съемка за деньги. Больше не хочу, да и труп мечты уже давно пора выбросить. Реанимация оказалась бессильна.

На Воробьёвых горах второй фотограф все сделал правильно. Он выстроил гостей и родственников, подобрал задний план и приготовился скомандовать — прыжок. Но Настя задержалась у парапета смотровой. И все сложилось. Осень. Золото и серебро. Высота. Ее белое платье, случайный порыв ветра. Грустная, но счастливая улыбка. И мне стало жалко делать кадр, за который могут заплатить деньги. Мне захотелось украсть момент, красоту, чтобы она принадлежала только мне. Я достал телефон, щелкнул и спрятал его в карман. Все, теперь это моя красота.

Со мной не рассчитались. То, что я наснимал, молодым не понравилось. Я знал, что у меня есть кадр, за который Василий заплатит, как за всю съемку, но показывать не стал. Там Настя настоящая. С тревогой и счастьем в улыбке, там ветер, там воздух и украденный у самой жизни момент, который мы, люди, не имеем права видеть слишком долго. Только запоминать и уже из памяти вытаскивать по кускам. В моменты самой лютой тоски. Нам нужен ветер, запах, золото и серебро следующей осени, чтобы ненароком поймать миг, когда мы были счастливы. Счастье — это не что-то растянутое во времени. У счастья вообще нет понятия времени, потому что у времени нет такой единицы измерения, в которую может втиснуться счастье. Все должно сложиться в одну картинку, и такая картинка теперь есть у меня!

Я запостил фотографию в Instagram. Это был успех. Фотография не только набрала тысячи лайков, но и попала на другие ресурсы как образец свадебной съемки. Фильтр X-ProII сделал свое дело.

Через пару дней мне позвонил Василий.

— Михаил, у вас остались какие-нибудь кадры с Настей?

— Да, — ответил я. — А что случилось?

— Настя умерла.

Я открыл Instagram и понял, что фотография Насти стала еще красивее и обрела смысл.

После этого случая красоты для меня стало больше, чем я мог себе вообразить. Она бросалась на меня отовсюду. Из осенней лужи, из-за алюминиевых туч над Москвой, из толпы в метро. Я видел ее повсюду, не мог с ней справиться и как умалишенный постил все в Instagram. Пока не начал замечать, что красота исчезает. Стоило мне только сфотографировать что-то по-настоящему красивое, на следующий день оно исчезало. Так, вырубили все деревья у меня во дворе под предлогом благоустройства, так любимый подъезд с шедевральным граффити на стене, что нарисовал мой друг, закрасили в синий. Так, разбился самолет, что я сфотографировал при посадке.

Мой Instagram становился все популярнее, но вокруг меня оставались руины.

Последней каплей был кот соседки. Он просто сидел возле лифта и был сам по себе красотой. Я сфотографировал его, и на следующий день кот околел.

Не сразу все связалось воедино. Не сразу понял, что происходит, пока не решил сфотографировать соседку из дома напротив. Она развешивала белье на балконе в трусах и мужской рубашке. Не знаю, как объяснить. Но в ней в тот момент сконцентрировалось все женское и человеческое одновременно. Это было так красиво, что я не доверился одному кадру и начал снимать видео. Вот она встает на стул, чтобы повесить красную мужскую толстовку на веревку, вот она улыбается и нюхает зачем-то толстовку и в тот же момент делает неловкое движение и валится с балкона. Хруст деревьев и звук, будто упал мешок с картошкой. Я выключил видео.

За окном завопили пожарные машины. В дверь моей квартиры постучали с ноги. «Эвакуация. Пожар», — сказал мужчина в экипировке МЧС и в противогазе. Я щелкнул его на телефон. В тот же момент дверь из соседней квартиры вылетела, словно пробка из бутылки вина, и, как солому, подожгла мужчину в экипировке. Кадр получился замечательный. Я выбежал на улицу. Странные люди все-таки жили со мной в одном доме. Этот пожар — самое красивое, что было в их жизни, но выглядят они такими несчастными.

— Нравится? — спросил меня дедок, стоящий рядом.

— Красиво, — ответил я, не в силах оторваться от огня.

— Аркадий Вениаминович, — представился мужчина и протянул мне руку.

Совсем уж какой-то архетипичный дед. Длинная, спутанная, совершенно седая борода, пожелтевшая на подбородке от никотина. Черный вязаный свитер с горлом, поверх серый жилет с многочисленными карманами, армейские штаны галифе образца середины прошлого века, хромовые, до блеска начищенные сапоги. Меня поразили его ручищи. Огромные маховики. Не руки, а какое-то недоразумение, которое можно применять как оружие массового поражения.

Я хотел его сфотографировать, но старик выбил у меня телефон из рук.

— Ты не вздумай, — сказал он.

— Что? — спросил я.

— Все! Но если хочешь сфотографировать что-то по-настоящему красивое, сфотографируй сиреневого ворона. И пусть он сдохнет, раз уж вся твоя красота умирает.

— Ты вообще кто? — спросил я.

— Аркадий Вениаминович, — ответил дед и снова уставился на пожар.

— И где искать твоего ворона?

— Нашего, — ответил дед. — В последний раз его видели на Курском вокзале, но есть мнение, что теперь он на Ленинградском.

— Сиреневый? Ворон?

— Сиреневый, с белыми без зрачков глазами, — ответил дед.

— Красиво.

— Еще бы!

Мой любимый ангел

Я не могу выделить какую-то одну причину, из-за которой довел себя до такого состояния. В таких случаях говорят — навалилось. Сначала уволили с работы. Усердно искал куда пристроиться, но после того, как ушла жена, уставшая терпеть безденежье и мою депрессию, запил. Пил, чтобы не чувствовать удавки реальности на шее, пока не допился до состояния, когда обратной дороги нет.

В то январское утро, когда Москву засыпало снегом, а столбик термометра пополз от минус десяти к нулевой отметке, я зашел в хозяйственный магазин, купил

несколько метров веревки и ножовку. Затем — в гастроном, где взял бутылку водки. Странно устроен человек. Я неделю думал о том, что не хочу больше жить, но ждал, когда потеплеет, чтобы повеситься.

Мне казалось, это будет непросто: станет страшно и перед глазами поплывут лица близких людей, что я испугаюсь боли, но ничего этого не произошло. Спустился в метро и пока ехал, думал — правда ли, что когда человек болтается судорожно в петле, он может испытать оргазм. Я немного злился на людей в вагоне, что они едут по своим делам и не догадываются о том, что я собираюсь сделать. Еще больше злился на тех, кто ехал в хорошем настроении и улыбался. Злился за то, что им хочется жить. Но больше всего меня раздражало, что добраться до места пришлось не без препятствий. Сначала меня остановил полицейский проверить документы. Благо, я взял с собой паспорт. Затем поезд остановился в тоннеле и простоял почти двадцать минут, из-за чего я чуть не отказался от задуманного. Но к счастью, в тот момент, когда я решил перенести самоубийство на следующий день, поезд зашипел, снимаясь с тормозов, и покатил дальше.

Вышел на станции «Багратионовская». Добрался до Филёвского парка, нашел в парке место поглуше, дерево с ветками, удобными по высоте. Соорудил петлю, привязал веревку и сел под деревом, откупорив прихваченную с собой бутылку водки.

Сидел, пока не выпил половину. Сложно объяснить, насколько удивительными становятся привычные вещи, когда понимаешь, что видишь и чувствуешь в последний раз. Я поймал на перчатку снежинку и впервые за всю жизнь удивился совершенству ее хрупкой природы. Смотрел, как она тает, и отчетливо понял, что многое открывается во всей красе только, когда умирает. Может, когда я умру, кто-нибудь подумает: а он был хороший человек.

Я искренне пытался найти хоть одну причину, почему стоит жить дальше, и не находил. Только еще больше убедился, что все делаю правильно. Остальная половина бутылки ушла, пока я пилил березу, чтобы получить подходящий для задуманного пенек. Никакой торжественности момента. Только пронзительное «вжик-вжик-вжик» от пилы. Никаких сомнений или страха. Вжик-вжик-вжик. Встал на пенек, накинул петлю на шею и в тот момент, когда уже был готов оттолкнуться, услышал:

— Стой, гад!

Она шла ко мне по снегу абсолютно голая. Я тряхнул головой, чтобы прогнать наваждение, и от этого потерял равновесие. Пенек под ногами пошатнулся, я повис в петле. Она взмахнула огромными черными крыльями за спиной и в одно мгновенье оказалась рядом. Вцепилась зубами в веревку и до того, как я отбросил копыта, перегрызла ее.

— Скотина тупая, — сказала она, подняла бутылку, в которой еще оставалось грамм сто водки, и приговорила их одним глотком.

— Ты кто, вообще?

— Пеняй на себя, если я себе задницу отморожу, — она села на снег, пристроив одно крыло под себя.

— Все? Конец? Допился? — Я крепко зажмурился в надежде, что когда открою глаза, наваждение исчезнет.

— Ты не допился, ты тупой!

— Да кто ты, драть тебя в душу?! — заорал я.

— Ангел, твой ангел-хранитель, скотина.

Она встала, хлопнула крыльями, отряхивая снег, и со всего размаху залепила мне прямой в челюсть. В голове взорвался ослепительный фейерверк, мир поплыл куда-то вправо, и я потерял сознание.

Открыл глаза. В голове гудело так, словно в ней установили трансформатор. В квартире, где я оказался, вкусно пахло яичницей с беконом и молотыми кофейными зернами. Думая, что мне все приснилось, я встал с кровати и на цыпочках пошел

на кухню. На плите шкворчала источающая желание жить яичница, а на подоконнике, аккуратно сложив крылья за спиной, сидела она: голая, с сигаретой в зубах — и смотрела в окно.

— Значит, не приснилось. Дай закурить.

Она протянула мне пачку. Я чиркнул зажигалкой. Дым ущипнул за глаза, вышибая слезу.

— Давай только без истерик, ладно?

— Где мы?

— В Бутово.

— Ты здесь живешь?

— Все ангелы живут в Бутово, по крайней мере, ангелы тех людей, кто живет в Москве.

— У тебя есть имя?

— Кристина.

Она спрыгнула с подоконника, сняла сковороду с плиты и с таким аппетитом принялась уплетать яичницу, словно это самое вкусное, что только может быть на свете.

— Единственное, что скрашивает материализацию, — это возможность ощущать вкус еды, — сказала она.

— Материализацию?

— Ну да. Если не получается никак спасти человека, все, что остается — показать себя. Когда подопечный умирает, ангел умирает вместе с ним, а подыхать мне не хотелось, поэтому пришлось материализоваться. Мужики! Только вид голой бабы может отвлечь вас от мрачных мыслей. И полицию я на тебя натравила, и поезд в тоннеле остановила, нет — все мало!

— И что теперь? — Я вытянул из пачки еще одну сигарету.

— Да ничего. Кофе мне налей, — она ткнула пальцем в кофемашину.

Я поставил чашку с кофе перед ней и стал рассматривать мою новую знакомую.

Крылья, показавшиеся мне черными, оказались таковыми только с внутренней стороны. С внешней — белоснежные. Черные прямые волосы до поясницы. Ростом она почти такого же, как я, а я метр девяносто. Немного угловатая из-за худобы, с крепкой аккуратной грудью и широкими бедрами.

— Чего голая? Одежду носить религия не позволяет?

— Не люблю.

— Так что, бог, получается, есть?

— Нет бога, по крайней мере такого, как вы, люди, представляете. Есть только люди и ангелы.

— И все?

— И любовь. Любовь ангела к человеку. Я вот люблю тебя, скотину, с самого рождения, потому и стала твоим ангелом-хранителем, а ты, идиотина, в петлю полез.

— Что теперь?

— Ничего, придется тебе наслаждаться моей компанией. Для тебя я стала реальной, но для всех остальных остаюсь невидимой и неосязаемой.

— Может, все-таки накинешь на себя что-нибудь?

— Возбуждаю? — Она игриво прищурилась.

— Именно сейчас, когда жуешь, не очень, а вообще да.

— Не переживай, я буду крылышками прикрываться. Вот так, смотри.

Она встала, резко расправила крылья, но не рассчитала квадратных метров кухни и одним крылом снесла со стола сковородку, чашки с кофе, а другим опрокинула чайник и кастрюлю на плите.

— Аккуратней!

— Ой, — она сложила крылья так, что одно прикрыло ее спереди, а второе сзади. — Мечтал когда-нибудь о крылатой бабе?

— Угу, спал и видел.

Оказывается, человек быстро привыкает не только к хорошему или плохому. Не менее быстро он привыкает к чудесам или тому, что не вписывается в рамки повседневной реальности.

Мне приходилось спать с разными женщинами. Некоторые раздражали тем, что храпели так, словно двадцать лет отпахали на медных рудниках. Некоторые всерьез думали, что они — морские звезды и раскидывали руки-ноги по всей кровати. Но попробовали бы вы спать с бабой, у которой за спиной крылья — четыре метра в размахе. Сначала я никак не мог приноровиться, пока не стал укрываться ее крыльями вместо одеяла.

Первую неделю мы не вылезали из постели. Оказывается, плюсом материализации для нее оказались не только еда, но и секс. Вы когда-нибудь спали с крылатой женщиной? Та еще забава. Во время оргазма она хлестала меня крыльями по роже, и если вовремя не получалось остановить, легко поднимала нас под потолок, откуда два раза я падал так, что чуть не переломал все кости.

Через неделю мы стали выбираться в город. Кроме меня ее действительно никто не видел, и мне стоило немалого труда общаться с ней так, чтобы окружающие не решили, что нужно вызывать санитаров. Я купил проводную гарнитуру, чтобы люди думали, дескать, я разговариваю по телефону.

Больше всего она любила банановые пончики в DunkinDonuts, кинотеатр в торговом центре «Метрополис» и завтраки в McDonald's. С утра я ехал в мак, покупал ей завтрак, привозил в бутовскую квартиру, затем мы отправлялись в кино. После сеанса брал пончики, мы возвращались в Бутово, ели пончики и затем, конечно, ночами напролет.

Иногда она улетала. Обычно среди ночи. Разбудит, поцелует в лоб, скажет — я люблю тебя — выйдет на балкон и упорхнет. В такие моменты я подолгу стоял на балконе, курил, смотрел на звезды и думал: «И я тебя, мой любимый ангел».

Бывало, Кристина пропадала на неделю, на месяц. Сначала я не находил себе места. Злился, даже пробовал снова уйти в запой, но спиртное в меня не лезло. Постепенно я справился с этим. Нашел хорошую работу, начал делать ремонт в квартире и научился ее ждать. А ждать было ради чего. У вас когда-нибудь баба с крыльями была?

В ту ночь она улетела, а я не смог уснуть. Вызвал такси, доехал до Нового Арбата и почти до самого утра бродил по нему, ощущая всем естеством невероятное счастье от чуда, произошедшего со мной. Я не просто скучал, я тосковал по ней, как, наверное, тосковал бы по Земле человек, оказавшийся один на другой планете. Я подолгу смотрел в небо, надеясь, что вот именно сейчас увижу ее стремительный полет и думал: «Где же ты, мой любимый ангел?»

Метро открылось. Доехал до Бутово, сел на скамейку возле подъезда и закурил. Снова посмотрел в небо и увидел Кристину. Она сделала крутой вираж и приземлилась на балконе соседнего дома. Руки затряслись от волнения, сигарета выпала из непослушных пальцев. Дом был точно таким же, как тот, где мы жили, поэтому мне не составило труда вычислить квартиру.

Я сорвал дверь подъезда с магнита и взбежал по лестнице на девятый этаж. Прильнул ухом к двери и услышал то, чего боялся услышать больше всего, — ее стоны, которые не спутаю ни с чьими больше. Голова закружилась, к горлу подступила тошнота. На ватных ногах спустился вниз, дошел до нашего дома и поднялся в квартиру.

Я ждал ее еще неделю. Что я только ни представлял, что только ни думал.

Метался по квартире и орал: «Отрежу тебе крылья, тварь пернатая! Как ты могла, курица?!»

Еще через неделю появилась она. Как ни в чем не бывало пожарила свою любимую яичницу с беконом, забралась на подоконник и закурила.

— Где ты была?

— Раньше ты не спрашивал.

— Раньше я не думал, что ты улетаешь к другому.

— Узнал все-таки, — она сказала это так буднично, словно не произошло ничего страшного. — Давай я тебе расскажу, как все есть на самом деле.

— Уж будь любезна.

— У ангелов не бывает одного подопечного. Нас меньше, чем людей, поэтому на одного ангела приходится порой до двадцати человек.

— Ты говорила, что есть любовь, люди и ангелы, ты что, всех их любишь? — Я почувствовал, как в груди заклокотала обжигающая лава ненависти. — А что на счет того, что если умирает подопечный, умирает ангел?

— Да, всех. Это правда, но не вся. Умру — если умрут все, кого храню. Ты на тот момент оставался последним, сейчас уже нет.

— Но как это возможно? — я перешел на крик. — Как можно любить нескольких? Что ты за шлюха такая?

— Прошу тебя, не кричи, попробуй понять. Сердце ангела устроено иначе. Мы любим безусловно, просто потому что наши любимые существуют, понимаешь? Такая любовь может распространяться не только на одного человека. Если у матери несколько детей, ей же не составляет труда любить их всех одинаково. Не сердись на меня, не думай обо мне, как о земной женщине. Разве ты несчастлив со мной? Моя любовь к тебе перестала делать тебя счастливым только потому, что я люблю кого-то еще?

— Да что это за любовь? Какого ты мне тут втереть пытаешься?

Она закрылась крыльями, пыталась спрятаться от меня. Я орал, колотил кулаками в стены, бил посуду, пинал мебель, но она все равно молча сидела на подоконнике и курила.

Я схватил нож и приставил к ее горлу.

— Так я не умру, — спокойно сказала она.

— Ты говорила, что ангел умирает, если умирает его подопечный. Так?

— Да.

— Ну и сдохни, если не можешь быть только со мной.

Я выскочил на балкон и, ни секунды не раздумывая, прыгнул вниз. Она успела схватить меня за руку.

— Не делай этого, я люблю тебя, — сказала она. — Ты уже не последний! Стой!

— И я тебя, — ответил и полоснул ее ножом по руке. Она вскрикнула и отпустила меня.

Говорят, за секунду до смерти перед глазами человека проносится вся жизнь. В моем случае жизнь перед глазами не пронеслась, но я успел подумать: «И умрем в один день, мой любимый ангел».

Сложно признавать женскую правоту. Даже если эта баба — ангел натуральный, с крыльями. Но после того, как я умер, тот факт, что бога нет, сложно отрицать. Это не философская жвачка — это чертов факт, как и то, что умирать больно.

Я прочувствовал все. Слышал, как переспелым арбузом треснул череп от удара об асфальт. Прочувствовал боль в каждой сломанной кости одновременно и по отдельности. Слышал, как переломанные ребра разрывали внутренние органы. За те доли секунды, что прошли от удара до смерти, я успел несколько раз подумать: «Да когда же я сдохну?» В тот момент я еще не знал, какое меня ждет разочарование.

Итак. Пока могу сказать, что умирать больно и что бога действительно нет. Прямо сейчас я смотрю вокруг, и его нигде нет. А что есть? Ничего! Только темнота! И это какой-то кошмар. Я полностью осознаю себя, помню, кто я или, по крайней мере, кем был. Но не могу потрогать свое тело, посмотреть на руки, на ноги, на член, в конце-то концов, и это — ужас. Первое, о чем подумал: «Как я теперь буду мастурбировать?» Получается, я сейчас — чистое сознание, висящее в пустоте, которое сохранило память о том, кем оно было или чем являлось раньше.

Может, это ад? Вот так висеть здесь до конца времен, все осознавая. Я посмотрел наверх. Решение, что там будет вверх (потому что разобраться в том, что где, было невозможно), показалось разумным. Стало страшно от мысли, что сойду с ума. В свете того, что я теперь — только ум и есть, без ручек, без ножек, перспектива выглядит нерадостно. Поэтому я посмотрел наверх и крикнул, срывая глотку: «Есть здесь кто-нибудь?!»

— Кто-нибудь, — услышал я в ответ.

— Ты кто?

— Кто-нибудь.

— Остроумно и смешно, обоссусь сейчас, угу.

— Да хоть обосрись, ничего не изменится. Я кто-нибудь, и я здесь есть.

— Ладно. Что делать? Долго я тут висеть буду?

— Зависит от тебя. Всегда есть выбор.

— Слышь, Морфеус, а можно без этих кинематографических приемов? — Мне показалось, что я услышал сдавленный смешок.

— Можно.

Что-то ухнуло, пыхнуло, темнота треснула от яркого света, раскалилась, обожгла, завертелась, закружилась, запахло жженой спичечной серой, и я оказался в нашей с ангелом бутовской квартире. На кухне. Захотелось курить и банановых пончиков. Я услышал, как щелкнула кофемашина.

— Курево, кофе, банановые пончики, виски, завтраки в McDonald's — это все, что ты можешь теперь употреблять, — худощавый, сутулый, словно у него на плечах мешок с картошкой, парень лет двадцати поставил передо мной чашку с кофе, — кинотеатр три раза в неделю и людская толпа тоже три раза в неделю. Рекомендую ходить в торговые центры, где есть кинотеатр. Так можно сэкономить время.

— Я в Бутово?

— В Бутово.

— Почему?

— Все ангелы живут в Бутово.

Перед глазами поплыли фиолетовые мухи. Я потерял сознание.

— Почему в McDonald's только завтраки? — спросил я, как только пришел в себя.

— Раньше приходилось заниматься медитацией, чтобы не погружаться в повседневность и не забыть, что ты — ангел, но когда в McDonald's сделали завтраки, стало проще. Что-то они такое добавляют, от чего у нас сохраняется осознанность без всякой медитации.

— А кино зачем? А толпа?

— Одиночество. Для нас одиночество — это не абстрактное понятие, но суровая необходимость. А где еще в материальном мире можно почувствовать одиночество так же остро, как в толпе?

— В кино?

Он сел напротив, улыбнулся и кивнул в ответ.

— А все остальное зачем?

— Это единственное, чего тебе будет нестерпимо хотеться, — парень достал из кармана банановый пончик, сунул его целиком в рот и зажмурился от удовольствия.

— А ты вообще кто? — спросил я.

— Контролер. Зовут Кириллом.

— Что контролируешь?

— Переход.

— А пончики есть еще?

— Есть! — Он достал из кармана еще один банановый пончик и протянул мне. — Понял, кто ты теперь?

— Жесткач.

— Согласен. И еще. Если захочется послушать Мэнсона, не сопротивляйся — он успокаивает.

— Мэнсона я люблю.

— Это хорошо, он тоже контролер.

— Ну не.

— Ну да, — сказал Кирилл и спросил: — виски будешь?

Кирилл достал из кухонного шкафчика початую бутылку JackDaniel's, щедро плеснул прямо в кофе:

— За жизнь!

— За жизнь, — согласился я и залпом опрокинул в себя кофе с виски.

В голове загудело. Закрыл глаза. Показалось, что сейчас снова потеряю сознание, но обошлось. Я еще о чем-то хотел спросить Кирилла, но когда очнулся, его уже не было. Я подошел к окну.

Внизу уже взорвались нежно-зеленым почки на деревьях. Умер я зимой. Значит, время не будет линейным и понятным, ведь по моим ощущениям все произошло несколько часов назад. Куда он делся? Еще столько вопросов!

Я взял со стола бутылку с виски и допил ее в три глотка. По спине пробежали мурашки, кольнуло под лопатками. Сначала не сильно, но через несколько секунд меня скрутило от нестерпимой боли. Спину разрывало, словно тысячи рыболовных крючков впились в кожу. Я заорал что было сил, саданул по стеклу и выпрыгнул в окно. В этот раз я не упал вниз. Что-то держало меня в воздухе. Я посмотрел за плечо и получил по глазам своим же крылом, и начал набирать высоту.

Москву расчертило прямоугольниками, и через секунду внизу уже остались облака. Я поднимался выше, выше, еще выше! Мысли стали медленными, тягучими и между ними отчетливо были заметны промежутки. В промежутках открывалось знание. Оно было осязаемым, словно его можно есть ложками. Еще выше! Ангелами становятся самоубийцы. Потому что если умер подопечный — умер его ангел и кто-то должен его заменить. Пончики и все, что перечислил Кирилл, — это единственное, вкус чего может чувствовать ангел. Остальное только в случае материализации. Подлинной материализации, которая возможна, только если не можешь остановить от самоубийства подопечного. Временная материализация случается каждый раз, когда складываешь крылья. В этом случае тебя может увидеть любой человек, кроме твоего подопечного. Еще выше!

Синь неба сожрала темнота стратосферы. Облака перестали мешать видеть землю — она превратилась в шар. Еще выше! А выше нельзя. Я махал крыльями изо всех сил, но это был предел. Что-то начало тянуть меня вниз.

Я сложил крылья и понесся к земле. Хотелось плакать и смеяться. Ветер свистел в ушах, я знал, что не разобьюсь, и знал, что тянет вниз. Любовь! Гребаная любовь! Мне хотелось обнять земной шар. Пройти сквозь него или впустить его в себя, вместе со всей жизнью, что есть на планете. Ниже! Еще ниже! Мне казалось, что от скорости падения мне оторвет крылья. Еще ниже! Я увидел свой дом. Бутово. Наш дом.

Я приземлился на балконе. Жутко хотелось курить. В пепельнице, похожей на дикобраза из-за огромного количества окурков, я нашел один, отличавшийся от остальных. Тонкий окурок дурацкой ментоловой сигареты, которые так любила

Кристина. «Где же ты сейчас, мой любимый ангел?» — я чиркнул зажигалкой. Ведь бога нет. Смерти нет. Ничего нет. Значит, она не могла умереть в прямом смысле. Получается, я смогу ее найти. Как же хочется банановых пончиков. Или...

Солнце брызнуло оранжевым на горизонте. Я прыгнул с балкона вниз, заложил шикарный вираж и подумал: «Где в этом Бутово McDonald's и что на этой неделе крутят в кинотеатрах?»

— МакМаффин с яйцом и беконом, Биг Брекфаст Ролл и кофе.

— Картофельный оладушек попробуете?

— Все!

В Бутово я не нашел McDonald's. Сам не заметил, как оказался на ВДНХ. Я сел за стойку возле окна. Кофе цапнул кипятком за язык. «Осторожно, горячо», — прочитал я на стакане.

Весна. Каждый раз после зимы весна берет человека за уши и насильно, через ноздри, вдыхает жизнь вместе с запахом посвежевшего от зелени города. В Москве давно поубивали всех бродячих собак, но если случится чудо и вы встретите где-нибудь мохнатую собачью морду с обкусанными февралем ушами, мокрым жизнерадостным носом, вы сразу поймете, что в город пришла весна. Вы не увидите ее в глазах людей. Люди в наше время устроены примерно так же, как свиная шея, что не позволяет хрюхе смотреть в небо. Но если вам повезет встретить бродячего пса, вы никогда не ошибетесь со временем года.

— Вкусно?

Я дернулся от неожиданности.

— Замечательно.

Кирилл присел рядом с точно таким же набором на подносе, что у меня.

— У меня для тебя пациент.

— Пациент?

— Ну да.

— И что мне нужно делать?

— Увидеть и полюбить.

— Вот так запросто?

— А зачем усложнять? Любовь в тебе по умолчанию, нужен только объект, на который ее можно направить. Всё как у людей.

— А ты — циничный гад, как оказалось.

— Короче, вот, — Кирилл протянул мне телефон, который тут же брякнул сообщением: «Эдик Шпачек, тридцать пять лет. Способ — вскрытие вен. Причина — одиночество».

— Одиночество?

— Одиночество.

— Мда.

— Согласен.

— Кирилл, — я швыркнул остатками кофе, — куда ангелы попадают, когда умирают?

— Не знаю, спроси у бога.

— Его, вроде, нет.

— Как бы нет, но есть Иннокентий.

— Кто это?

— Тот, кого как бы нет. Сложно объяснить, лети в Мытищи, найдешь его в Бургер Кинге.

— Почему не в маке? Почему не в Бутово?

— Потому что он — Иннокентий и живет в Мытищах. Только сначала разберись

с Эдиком, завтра вечером он вены себе вскроет. — Кирилл уткой заглотил остатки бургера и прочавкал с набитым ртом: — Вдоль, как понимаешь, не поперек.

Я купил две коробки банановых пончиков, бутылку виски, пакет кофейных зерен и отправился в Бутово.

Мне казалось, что в бутовской квартире до сих пор прячется ее запах. В подушках и полотенцах. На ободках кофейных чашек. Ее страх на искусанных фильтрах сигарет, которые я так и не смог вытряхнуть из пепельницы. Кристина говорила, что есть только люди, любовь и ангелы. Мне кажется, она ошибалась. Есть только я, есть она и мы — единственная причина существования мира. Всех миров. Этого долбаного мира, где я не разглядел самого главного. Ее мира, который я разрушил из-за того, что в своем не разглядел самого главного, и мириады других миров, причиной которых может быть Иннокентий из Мытищ. Но сколько бы ни было этих миров, какой бы Иннокентий ни был причиной, и какое бы следствие причин меня ни ждало после того, как я доем банановые пончики, я все равно найду ее. Ради запаха на подушках и полотенцах, ради обкусанных фильтров сигарет или ради того, из-за чего бога нет. А пока не наступил вечер следующего дня, мне нужно спасти Эдика, который решил вскрыть вены.

Я нашел в Facebook его профиль. Кирилл говорил, что любовь у меня теперь как у ангела — безусловная и по умолчанию. Ну что ж, Эдик Шпачек, за что же мне тебя любить? И почему мне не должно быть все равно, что ты вскроешь себе вены?

Я вышел на балкон, выкурил три сигареты подряд, пока думал, как мне узнать причину такого решения Эдика. Я ж ангел теперь. Должен же я уметь делать что-нибудь чудесное и необычное!

Всегда есть одно конкретное событие, после которого жизнь человека летит к чертовой матери. Или событие само по себе уничтожает или становится последней каплей. Мне бы увидеть это. Как только я об этом подумал, в голове что-то заискрило, словно от короткого замыкания. По телу пробежала судорога. Крылья за спиной расправились, и какая-то сила вытолкнула меня с балкона. Вместо полета я начал падать. Я успел подумать: «Это конец», — но вместо ожидаемого удара об асфальт я провалился в него, как в густой кисель. Я погружался все глубже, но не чувствовал беспокойства, будучи уверенным, что все идет как нужно. Стало темно, и погружение прекратилось. В голове снова щелкнуло электричеством. Пыхнуло ярким светом, и я понял, что это открыл глаза человек, в сознании которого я оказался.

Человек зашел в туалет, сел на унитаз. Стало ясно, что человека я не контролирую, но могу видеть и слышать все его мысли, словно смотрю кино. Хорошо, что я не связан с его органами чувств и не слышу никаких звуков из реального мира, и, самое главное, запахов. Человек закурил и погрузился в воспоминания... и все они стали открыты для меня.

Бургер Кинг битком, но Иннокентия в толпе я узнал сразу, хотя ни разу его и не видел. Мне всегда казалось, что если этот мир — результат мыслительной деятельности чьего-то разума, носитель разума должен быть редкостным засранцем, что не может не бросаться в глаза.

Среди посетителей больше всех на редкостного засранца походил парень за столиком в углу. Жидкие белобрысенькие волосенки, пугливые белесые глазки, тонкие, похожие на пиявок, губы.

— Как ты, Кеша? — Я хлопнул Иннокентия по плечу, от чего тот вздрогнул и чуть не опрокинул на себя кофе.

— Ты меня видишь?

— Не должен?

— Не должен. И я не виноват.

— В чем?

— Во всем, — Иннокентий посмотрел вокруг так, словно хотел охватить взглядом не только помещение Бургер Кинга, но и всю вселенную за его пределами.

— Мне как-то все равно, с чего ты взял, что мне интересна твоя вина?

— Она всем интересна. Как только у кого-то появляется возможность со мной поговорить, сразу начинается: да ты охренел, ничего лучше создать не мог, почему все так, а не иначе.

— Так ты бог?

— Не совсем. Я — причина.

— Причина чего?

— Бытия, — Иннокентий встал. — Пойдем покурим.

— Пойдем.

Мы вышли на улицу. Иннокентий достал пачку «Парламента», прикончил сигарету в три затяжки и прикурил новую.

— Два вопроса, Кеша. Какого хера и куда попадают ангелы, когда умирают?

— Я же сказал, это всем интересно. Я не виноват. Так получилось. Я даже себя не осознавал, понимаешь? — Иннокентий схватил меня за руки, и я почувствовал, что его трясет мелкой дрожью. — Я просто был в пустоте, и у меня в сознание была многовариантность. Мне было скучно!

— Да успокойся ты.

— Я не виноват! Понимаешь? — Кеша заплакал. — Я просто допустил, что все это может быть, и оно вышло из-под контроля.

— Да бог с тобой, Кеша, ты мне скажи, куда ангелы после смерти попадают, созданный тобой кошмар мне не интересен.

Кешу еще трясло, но рыдать он перестал.

— Куда захотят. После смерти у ангела появляется выбор. Он может выбрать любую реальность. Может снова родиться в теле человека и помнить все, что было до рождения или не помнить. Может создать свою реальность. Что угодно.

— Замечательно. Ну тогда остался один вопрос, какого?

— Все из-за любви. Я хотел, чтобы любовь была чем-то абсолютным и стала инструментом человеческой мотивации и самоконтроля, но ничего не получилось. Человек не принял абсолюта, безусловности, и все пошло не так. Все стали любить не всех, а друг друга или только себя. Тогда я выдумал ангелов, но и тут задница. Все, в чем есть сознание, не может любить абсолютно, не знаю почему. Некоторые ангелы ведутся и думают, что любят всех людей, но на самом деле они просто боятся смерти. Те из них, кто не поддается на уловку абсолютной любви, начинают видеть мир, как есть, ну и видеть меня. Тогда они задают все эти вопросы, а я отвечаю, что не виноват.

— Ну и засранец же ты, Кеша.

— Знаю.

— Эдика жалко, придется ему вскрыть вены.

— Твой подопечный?

— Угу.

— Видел причину, по которой он жить не хочет?

— Кредит. И что-то у меня не получилось его полюбить.

— Понимаю. Людей вообще любить не за что.

— Пойду я, Кеша. Слушай, а ты не думал повеситься?

— Нет.

— Подумай.

Я взмахнул крыльями и начал набирать высоту. Как же прекрасна земля, когда на ней не видно людей. Еще выше! Как же прекрасна Земля, когда воспринимаешь ее как планету. Выше! Выше! Как же прекрасна Земля. Я сложил крылья, закрыл глаза и начал падать вниз. Когда потерял высоту настолько, что стало видно, как Москва ощетинилась постройками, я расправил крылья и приземлился в Марьино, на балконе

Эдика Шпачека. Без каких-либо прелюдий я материализовался, вошел в квартиру и заорал, что было сил:

— Капздец тебе, Эдик! Сдохни, тварь, я — ангел тьмы, идрить твою мать!

Эдик сидел в кресле с лезвием в руках. От ужаса он оцепенел, вытаращил на меня глаза и только беззвучно шевелил губами, словно что-то пытался мне сказать.

— Кто... кто ты?

— Твоя смерть. — Я взял лезвие из его рук и одним резким движением перерезал ему горло. — Чтобы никаких сомнений, не приведи Иннокентий, передумаешь.

Эдик захрипел. Кровь хлестала и пузырилась от его попыток вдохнуть. У меня потемнело в глазах. Я почувствовал невыносимую боль в спине, словно кто-то выдирал мне крылья. Я снова оказался в такой же пустоте, как тогда, когда спрыгнул с балкона, но с одной разницей — вдалеке виднелась тусклая точка света. Мне захотелось к ней приблизиться. Света стало больше. Еще ближе. Свет обжег и стал осязаемым. Он был везде, текучий, теплый, и все, что я чувствовал, — покой.

Я плыл в его волнах, будто в открытом океане. Волны, бесконечные волны света. Я перевернулся на спину. Вместо неба здесь пустота. На что похожа пустота? На жизнь. В ней нет никакого смысла, но ты не можешь отвести от нее взгляд.

Я перевернулся на живот и поплыл вразмашку. Вдалеке я увидел что-то похожее на остров. Я начал загребать руками сильнее. Подплыв ближе, я понял, что это не остров, а бутовская многоэтажка, дрейфующая в океане света. Забраться в подъезд получилось только с третьего раза. Зато работает лифт. Я поднялся на мой этаж. Дверь в квартиру открыта. На этаже крепкий запах кофе, ментоловых сигарет и яичницы с беконом.

Вошел в квартиру, прошел на кухню. Кристина шуршала возле плиты в одних трусах. Я сел за стол, закурил сигарету. Она посмотрела на меня, улыбнулась, вильнула задницей и с укором бросила через плечо:

— Мне, что, тебя тут вечность нужно было ждать?

— А ты ждала?

— Все-таки ты — идиот, — она поставила сковородку с яичницей передо мной. — Ешь.

Кристина села напротив и молчала все время, пока я ел.

— Любишь меня, да? — спросила она.

— Люблю.

— Будешь со мной?

— Буду.

— Всю вечность? У нас теперь вечность на двоих.

— Ну, должна же быть хоть какая-то веская причина, чтобы перерезать Эдику горло.

— С чего начнем? — Кристина уселась на подоконник.

— А с чего прошлый раз все началось?

— Да будет свет, вроде как.

— Да будет свет! — крикнул я в форточку. Подумал и добавил: — Да будет макдачня, завтраки в ней, и Мэнсон пусть тоже будет, и свет от тьмы отделите, мать вашу!

— Мэнсон есть уже? — Кристина слезла с подоконника, обняла меня

— Есть.

— Пусть This Is the New Shit споет.

— У него же там в песне завтра не наступит никогда?

— Угу, а зачем нам завтра, если есть сейчас?

— Оставим Мэнсона хранителем?

— Оставим.

— Я люблю тебя.

— И я тебя, мой любимый ангел.

Анна Маркина

На языке, на воздухе, на грани

* * *

Когда весь день на паперти стола
Толпятся беспризорные дела,
Того гляди всё полыхнёт и рухнет,
Отравленная музыкой стрела
Летит над кухней.

Зачем? В каких неведомых врагов
Метание словесных жемчугов?
Таких ловцов созвучий, ротозеев,
Старьёвщиков, чугунных утюгов
Сдают в музеи.

Но чувствовать — ворочается гравий
На языке, на воздухе, на грани...
Поэт берёт иголку и пинцет...
И музыка врачебная играет
На сдержанном лице.

* * *

А мои дела, а мои дела,
Будто вобла в облаке проплыла,
А мои слова — васильковый срез.
Не смотри на них, унеси их в лес,
Чтобы их остатки земля спасла,
Чтобы ими тень моя заросла.

И меня, как маленький уголёк,
Всем морозам выживший поперёк,
Схорони в ячейке, на самом дне:
Первый ключ — себе, а второй — жене.
А замёрзнешь — будет огонь остёр —
Не жалей меня, подложи в костёр.

Маркина Анна Игоревна — поэт, прозаик. Родилась в 1989 году. Окончила Литературный институт им.А.М.Горького. Публикации в журналах «Дружба народов», «Prosodia», «Юность», «Зинзивер» и др. Автор книги стихов «Кисточка из пони» (М., 2016) и повести «Сиррекот, или Зефировая Гора» (М., 2019). Финалист Григорьевской премии, Волошинского конкурса, премии «Нонконформизм» и др. Член арт-группы #белкавкедах. Живет в Люберцах.

* * *

На станции, в тылу платформы сонной,
Палят, палят минуты окаянные.
Всё боль и свет без имени. Не я, не мы,
а призрак счастья, пение пионов.
Сияние, не мы, не мы, сияние,

Подкожное цветенье диких роз,
Их смерть, гудящая издалека мне.
Привычный путь терновником зарос:
Мой поезд сыт по горло тупиками
И потому скатился под откос.

Сотри, забудь... и выпусти из тела
Всех этих светлячков невыносимых,
моя война, Пёрл-Харбор, Хиросима...
Стоишь на грани, собранный и сильный,
Как будто тебя взрывом не задело.

* * *

Молоко моё кислое, будущий сыр,
будет день — и тебя примостят на весы,
скажут — ты привозной, скажут — ты пармезан,
в мышеловку давай полезай.

Но покуда минуло, скисай до поры,
игнорируй цепочек дверных кандалы,
пусть гремят тут и там, пусть гремят тут и там,
это просто здесь грезится вам Мандельштам.

Просто галочка ты, на которую — сто
обезличенных ластиков в серых пальто.
Просто бабочка... крыльев, где крыльев концы?
Вся страна на фундаменте чьей-то пыльцы.

Тихо-тихо! А завтра что? Тихо! А то...
Продолжаем глядеть в ледяное ничто.

* * *

Осовелых лесов золотая орда,
Рано выпала я из гнезда, из гнезда.
Если плохо росла и слаба — поделом,
Маршируй у земли с перебитым крылом.

Но учти, осмотрев всё вокруг, от и до,
Не поймёшь, как другие свивают гнездо.
Вместо веточек — строки (не свяжешь концов),
И весь лес, и все жители — вместо птенцов.

Не умеешь охотиться, бродишь вокруг,
Не умеешь брать крошки из сетчатых рук.
Только слышишь: сердечно вздыхают леса,
И растёт зверобой, и крадётся лиса.

Чужой

Октябрь падал, будто подожжённый.
И на его крыле у МФЦ
Я встретилась с подобием Чужого.
Речь об отце.

Он был заточен, словно ножик острый,
Под стычки: там поранить, тут пролезть.
Нас разделял бескислородный космос
уже лет шесть.

Отец был глух в прямом и переносном...
Как будто в криогенный сон залёг
И мчался, замороженный, сквозь космос,
Так был далёк.

Луна не понимает сути люстры.
Как за щитом, скрываются вдвоём
За тишиной.
— У нас проблемы, Хьюстон,
Приём, приём.

За два часа бумажного улова,
Пока решались мелкие дела,
Он не сказал мне, кажется, ни слова,
Хоть я ждала

По крайней мере робкой установки
Сигнала, совпадения полей.
Оставь надежду, всякий, на стыковку
Двух кораблей.

Один, среди железа и безмолвия,
Набрав с собой припасов боевых,
Отец всё отдаляется за молнии
лет световых.

Но слышу через ночь десятым чувством,
Что всё же, пыл утратив боевой,
Чужой передаёт:
— Вас понял, Хьюстон.
Лечу домой.

Сухбат Афлатуни

Мельхиты

Рассказ

В коридоре сильно пахло отцом, горьковатый запах. Дверь за Юрой оставалась какое-то время открытой, и он видел свою тень на темных отцовских вещах. Потом дверь закрылась, и тень растворилась в общем сумраке. Запах уже не чувствовался. Юра скинул кроссовки и вошел в комнату в носках, ловя пятками приятный холодок. Отцовский запах, наверное, не был сильным, Юра просто отвык от него. Да, приходить надо чаще. Несколько вдохов — и отец как бы вошел в него, в горло и грудь.

— Ты здесь? Бать, ты здесь?

Отец слышал плохо, нужно было погромче. Пройдя комнату, Юрик заметил включенный компьютер и вдруг чего-то испугался.

Невыносимо скрипел паркет, давно уже надо было заменить на ламинат, он же предлагал, предлагал...

Он почти влетел в спальню.

Отец лежал одетым на кровати, сухой и неподвижный. Половина отца была освещена мерцавшим сквозь тополиную крону солнцем. Юра застыл и стал вслушиваться. Спит? Дышит? Но слышал только себя, свое внутреннее биение.

Юра, Юрик, Юрка. Была середина лета.

Ему стукнуло тридцать пять, день рождения он не отмечал, все в отпусках, город был пустым и безразличным к некруглой его дате, да и к самому Юре, идущему в старой тельняшке по улицам. Даже Ирка, последняя его, промолчала. Уже не ждала, наверно, обратно. Хотелось пива.

На углу бесхозно росла и цвела мальва. Юра пригнул ее шершавые стебли и, не сбавляя шага, отпустил. Тридцать пять.

А пиво, нет, нельзя, третий день изжога, точно толченого стекла наелся. Или купить? Хорошего и дорогого. И холодненького. Взять пару бутылок и выпить с отцом, которому тоже нельзя. В итоге не стал. Вопросы?

Отец пошевелился. Открыл глаза, поглядел куда-то мимо Юры. Тот сидел напротив, на старом стуле, давно выбросить надо.

Юра думал о мальве и о невзятом пиве. Может, у отца в холодильнике найдется? Представил отцовский холодильник, напоминавший самого отца. Юрик открывал его

Сухбат Афлатуни — поэт, прозаик, критик. Родился в Ташкенте. Окончил философский факультет Ташкентского университета. Автор двух сборников стихов и нескольких книг прозы. Дважды лауреат «Русской Премии» (2005, 2011), лауреат молодежной премии «Триумф» (2006). Постоянный автор «ДН». Живет в Ташкенте.

только по конкретной надобности; скривившись, быстро захлопывал. «Покойника там держишь?» — громко, чтобы отец услышал. Отец слышал.

Юра сидит напротив на стуле, отец лежит, приоткрыв глаза и покусывая усы. Глаза открыты, но сон еще не ушел из отца, сон еще в нем, внутри.

Они молчат, и тополь шелестит за окном, и в трубах по-хозяйски поет вода.

«Мне показалось, ты умер», — хочет сказать Юра. И не говорит.

Отец приподнялся на локте и, кажется, очнулся полностью. Сейчас встанет и пойдет в ванную. А Юра всё стулом скрипит.

— Испугался, — говорит Юра. — Когда зашел, показалось, что ты...

Отец быстро подносит палец ко рту и трет им по губам.

— Говори тише. Они могут услышать!

Юра кивает.

Они — это мельхиты.

Из семьи отец уходил три раза. Один раз до рождения Юрика и два раза при нем. Молча складывал вещи; за насекомыми приезжал отдельно, на «скорой помощи», на которой работал кто-то из его друзей.

Мать относилась к этим уходам тоже молча, без шума и истерик. По крайней мере, к тем двум, которые были при Юре. Стояла в дверном проеме, красивая, умеренно-полная, наблюдая, как отец мечется между шкафами, роняя рубашки и носки.

А так — тишина, только отцовские шаги по уже тогда скрипевшему паркету и стук выдвигаемых полок. Или цикада начнет петь, в клетке.

Иногда мать, стряхивая пепел, подавала реплики. «Эту рубашку оставь, ее уже на тряпки пора пустить». Отец послушно оставлял. «А ключи можешь забрать... тебе еще пригодятся», — говорила, уже когда отец, то поднимая, то ставя на пол спортивные сумки, мялся в дверях.

«Покормишь пока... животных?» — глаза отца светились виноватым блеском.

«Накормлю, напою и спать уложу. Иди уже».

Отец поднимал сумки и уходил.

«Мам, а почему папа ушел?» — спрашивал просочившийся из кухни Юрик. Стоял в обвислой майке, уткнувшись подбородком в мать.

«Очередную восемнадцатилеточку нашел».

«А он вернется?»

«Ну не вечно же ей восемнадцать будет... Хватит меня подбородком дырявить, — отодвигалась от него. — Иди, уроки...»

Юрик шел, но не делать уроки, которые никуда не убегут, а смотреть, как отец остановится у его окна. Они жили на первом этаже.

Отец действительно курил внизу.

«Прислали?», — прижался к оконной решетке Юрик.

«Тише... — отец поднес палец к губам. — Вот, нашел утром под диваном».

Чуть подпрыгнув, передал конверт Юрику.

Юрик положил его на подоконник. Потом, подумав, переложил на стол и накрыл атласом военных кораблей.

Снова высунулся. Отец докурил, вышло желтое солнце.

«Смотри, береги мать... от них».

«От мельхитов?»

«Тихо. Запомни, они все слышат».

Подняв сумки, двинулся по параболе к остановке.

Юрик быстро распечатал конверт. Подложил лист бумаги, протер майкой лупу.

Из конверта на листок выпало крыло бабочки.

— Пива нет? — громко спросил Юрик.

Отец вернулся из ванной, мокрый и смешно причесанный.

— Пива, говорю, нет?

Отец не услышал. Нужно было громче. Но громче не хотелось.

— Ну да, откуда у тебя... — продолжал, глядя в окно. — Сын не принесет, так и будешь сидеть без пива.

Он вдруг напомнил себе мать. Она так же вот говорила отцу. «Если не принесу, так и будешь...» «Я не помою, так и зарастешь тут...» Отец на это молчал. Не потому что не слышал (тогда еще слышал), а непонятно почему, от каких-то внутренних своих мыслей. Даже взгляд у отца был молчаливый, неговорящий. Мать уставала от отцовской тишины, сама была общительной. Почему «была»? Есть, где-то. Там, у себя...

— А почему ты всегда молчал? — прибавив звук, спросил Юрик.

Отец, с полотенцем на плечах, глядел на него.

— Когда мама тебя за что-то... — пояснил Юрик еще громче.

Отец стянул полотенце, повесил на стул и пригладил ладонью.

— Я очень любил ее.

И слегка улыбнулся. Зубы показал.

Заразившись этой бессмысленной улыбкой, Юрик улыбнулся тоже.

— Пиво есть?

— Вина немного.

Вина не хотелось.

— Ладно, давай...

Вино оказалось кислым, Юрик выплюнул в раковину. Отец свое дисциплинированно допил.

— Это с твоего дня рожденья стоит, что ли?

— Что? — отец поставил стакан и огладил усы.

— С твоего дня рожденья?

Отец хлопал глазами. Ресниц на них почти не было, сжег на заводе.

— Откуда я знаю, — ответил, подумав. — На нем не написано. Стоит. Я не выбрасываю.

— Ты ничего не выбрасываешь.

— А ты не кричи, — нахмурился отец.

— Я не кричу, я говорю, чтобы ты мог услышать.

— Я и так всё слышу. А ты все время кричишь.

Помолчали.

От вина, даже выплюнутого, во рту у Юры было кисло и... в общем, всё было не так, как должно. В конце концов...

Вспомнился вдруг зачем-то куст мальвы и свой неотмеченный день рожденья. С которым отец его тоже не поздравил.

«В конце концов, — докончил Юрик начатую мысль, — ему семьдесят пять. Возраст». Вслух:

— Хорошо... Этот раз где письмо было?

Отец выпрямился и достал очки. Очки эти Юрик ему сделал год назад, отец жаловался, что они ему не подходят, и хранил в коробке от смартфона — тоже Юриного подарка. Сам смартфон у отца исчез — разумеется, мельхиты похитили.

Был такой период, когда Юрик подписал контракт... в общем, реализовал мечту. Нервничал, что по здоровью не пройдет. Прошел, уехал, «убыл». Начались деньги. Не золотые горы, а столько, сколько должен получать мужик, если он мужик. Чтобы и на себя, и родителям на полноценную старость. Отцу, конкретно. Мама не нуждалась у

себя там, да и не старой была, хотя и шутила по скайпу над своим возрастом. А отец... Отца было жалко. С глухотой, с пенсией этой. С мельхитами.

А отец к подаркам странно относился, будто боялся их. Холодильник, который с первых денег ему купил, так и простоял на кухне нетронутый, в пленке, целочка. И ведь сам на старый жаловался, что холода не дает. Новый, как зверь, холодил, и разные возможности, опции... Так нет. Спасибо-спасибо, а пользоваться не стал, пришлось в следующий Юркин приезд продать, тот еще головняк был.

Потом... что еще было? Микроволновка. Та же история. «Гляди, бать, как удобно! (Он его, став военным, начал «батей» называть.) Теперь закрываем, вводим время... Ура, и всё готово». Ура, да. Приезжает в следующий раз. Батя, где микроволновка? Молчит. Ми-кро-вол-новка, спрашиваю, где?! Мельхиты. Мельхиты забрали.

Прилетели, крылышками помахали и...

Видел ее потом, у соседей с третьего, когда заходил. Точно она, они бы не разродились себе такую, сами только что не бомжи. Стоит его, то есть, отцова, микроволновочка, уже загаженная чем-то, у них вся квартира такая, вся в чем-то. Юра акцентировать не стал, просто похлопал по ней: «А, старая знакомая!» Те, с третьего, сделали вид, что не поняли. Может, тоже думают, что мельхиты им принесли.

Мельхиты, мельхиты...

Несколько раз собирался сообщить матери... маме... в конце концов, она тоже несет какую-то ответственность. Мы в ответе за тех, кого мы приручаем. А она долго приручала отца, одомашнивала, даже стригла его сама. Но так ей и не сообщил. Это значило рассказать о мельхитах, нарушить клятву, которую давал, ну и что, что в детстве... «Как фатер поживает?» — спрашивала иногда. «Нормально». Ее такой ответ устраивал. Переходила на другие темы, начинала жаловаться на беженцев, на погоду, на настроение.

Отец был старше ее лет на двадцать. Когда они поженились (карточка на подоконнике), отцу было под сороковник.

Маме, естественно, восемнадцать.

Она училась на биофаке. Отец ходил туда вольнослушателем, хотя работал на электромеханическом, горячо интересовался насекомыми. У него уже тогда была небольшая коллекция. Два каких-то редких жука и паук-крестовик Иннокентий Иванович. «Девственник», — с гордостью добавлял отец. Как звали жуков, мама не помнила. Тоже как-то. Увеличенная фотография паука-девственника долго висела в детской.

Сама мама увлекалась инсектофагами, диплом по ним писала. Насекомоядными, то есть. Ежи, муравьеды, летучие мыши. Еще и греблей занималась.

Ухаживания отца принимала благосклонно, но спокойно. Они встречались летом, гуляли, говорили на разные темы. Она разрешала целовать себя в потную шею и кормить мороженым с ложечки.

А отец горел и дымился от любви.

К моменту их свадьбы в его жизненном списке, кроме насекомых, имелись два брака и одна судимость, правда, несерьезная.

Чем отец брал девушек, непонятно: внешности у него не было. Усы типа «Д'Артаньян на пенсии», как называла их мать, отросли уже при Юрке. Кроме того, у отца был запах. Одеколоны, которые изливал на себя, не спасали. Перебивала его лишь вонь от насекомых, которых он держал и выкармливал.

Мама все терпела. Как будто даже не замечала. Жила в мире своей общительности.

Отец уходил от нее, но ненадолго. Его «восемнадцатилеточки» быстро перегорали, не выдерживали друзей-насекомых, капризничали. Отец молча собирал вещи, увозил насекомых на «скорой помощи» и возвращался к маме. И у них наступал очередной медовый месяц.

Вернувшись в третий раз, мать на прежнем месте отец не обнаружил.

В квартире оказался только семнадцатилетний Юрик с какой-то полуодетой девицей. «Когда мама придет?» — осторожно спросил. «Никогда, — сообщил Юрик. — Она замуж вышла». Отец медленно сел на стул. К вечеру у него случился микроинсульт.

Мама примчалась, поухаживала, нажарила котлет, но оставаться не пожелала. «Мне тридцать семь, — говорила, обуваясь. — Пора, наконец, устраивать личную жизнь». «Ты мне нужна...» — возражал отец.

Поглядев на Юрика, залипшего с идиотской улыбкой в дверях, уточнил: «Нам». «Обстирывать-обслуживать? Говно за вами выгребать? Ты это называешь личной жизнью?..»

Через неделю мама уехала в Европу к своему новому европейскому мужу.

Юрик немного скучал, но в целом был не против такого расклада. Мама присылала вещи, деньги и не учила больше жить. Еще бы и отец куда-нибудь передислоцировался... То вот она, полная свобода — и пустая, готовая к разным юношеским фантазиям квартира.

Но отец не передислоцировался. Наоборот. Вышел на пенсию, постарел, стал реже выбираться в мир. Стал глохнуть и забывать. Забывал кормить своих насекомых; те тихо, без претензий, дохли; Юра, приходя, предавал их останки мусорному ведру.

Юрик жил отдельно: вначале у той девицы, пока не нарисовались ее предки; потом снимал хату на пару с другом-кришнаитом; потом обитал у женщины на десять лет старше, пытавшейся учить его уму-разуму, даже в постели; потом... Короче, с отцом он не жил. Приходил иногда, общался. Елозил по седым от пыли коврам пылесосом, оставлял деньги, присланные мамой, и уходил. Вопросы?

И тогда снова начались письма от мельхитов. Видя высветившийся номер отца, Юрик уже знал, о чем планируется разговор. «Юр, тут конвертик... Юр, слышишь?» Да, он слышал. Да, он приедет. Нет, не сегодня. Завтра. Или послезавтра. Они, надеюсь, не успеют тебя сожрать? Передай им, чтобы потерпели. Чтобы потерпели, говорю!.. Короткие гудки.

Нынешний конверт, по словам отца, был найден... да, в этом самом инвалидском холодильнике.

— Как они внутрь влезли, бать?

— М-м... Или прогрызли резиновую прокладку...

— Да она у него уже каменная! — Юра пощелкал по ней.

— ...или залетели, когда я доставал что-то.

— Ага. Вместе с конвертом, как почтовые голуби...

Вскрытый конверт, лупа и крыло бабочки валялись перед ним. Рядом, несмотря на дневной свет, горела настольная лампа.

Юрик только что закончил расшифровку. Захлопнул потрепанную толстую тетрадь, которую держал на коленях, и положил ее к лампе.

Послание состояло из какой-то бессмыслицы.

— Слушай, пап, — Юра погасил лампу. — Может, это означает всё, конец связи?

Началось это, когда Юрику было лет восемь, они сидели вечером и ждали маму, каждый по-своему. Отец курил на балконе, Юрик играл сам с собой в войнушки и прыгал с дивана.

Докурив, отец вернулся в комнату. «Кажется, я их видел», — сказал, присев на раскуроченный диван.

«Кого видел?» — Юрик застыл с автоматом.

Отец поднялся, вытянул с полки какую-то книгу, полистал.

«Вот! — подозвал Юрика. — Мельхиты!»

«А... бабочки...» — протянул Юрик, разглядывая черно-белый рисунок.

«Не просто бабочки! Ты знаешь, что они могут писать письма?»

«Какие еще письма?»

«Военные, — ответил отец, глянув на Юркин автомат. — Военные шифрованные письма».

Через пару дней Юрик обнаружил у себя в ящике с игрушками заклеенный конверт; засунув его в рубашку, бросился к отцу.

Из вскрытого конверта выпало крыло бабочки.

«А где письмо?» — насторожился Юрик.

«Вот...»

Отец поднес лупу, на крыле стали видны какие-то знаки. Два слова.

Целый час они ломали голову над этим шифром. Наконец, отец предположил, что первое, из шести знаков, следует читать как «привет».

«Они же должны с нами как-то поздороваться».

«А это, второе, пап? Второе?»

Второе слово состояло из четырех знаков.

«Смотри, пап, вот этот и вот этот тут одинаковые...»

«Да, мы ее расшифровали как «эр»».

«Р-р, — задумчиво порычал Юрик. — А, я понял: «др-р-руг». «Привет, друг!»»

Отец улыбнулся, похвалил, но версию не принял.

«Нет. Мы им не друзья. Запомни, они ведут с людьми войну...»

«Почему?»

Отец приблизил к Юрику лицо:

«Потому что, — понизил голос, — они хотят покорить нас».

«Как американцы?» — еще тише спросил Юрик.

Отец задумался.

«Ну, почти... Поэтому они ни за что не напишут «друг». Понял?»

Юрик кивнул. Да уж, какая тут дружба.

«Потом, — отец снова разглядывал крыло, — смотри, тут еще один знак совпадает с первым словом. Вот этот...»

««При-и-вет...» Буква «и», что ли? Тогда тут — р-р... и-и... ри... Привет, ри...»

Он поглядел на отца. ««Привет, Юрик», да?»

Они долго скакали по комнате, хлопали в ладоши, а Юрик пускал короткие очереди из своего автомата. А потом вернулась мама и накормила их вкуснейшими сосисками.

Это была их тайна, их с отцом. Маме они решили на военном совете ничего не сообщать.

Письма приходили где-то раз в месяц. Писали мельхиты разное. «Мы близки к мировому господству. Подтяни математику». Предсказали войну в Заливе, развал Союза и очередной папин уход из семьи. Требовали помириться с соседским Серёжкой — тем самым, который потом станет кришнаитом.

Иногда мельхиты сообщали что-то о себе. Как раз то, что интересовало Юрика. Например, как они, бабочки, могут своими лапками заклеивать конверты?

«Превращаемся в людей», — писали мельхиты.

«Понимаешь, — тихо говорил отец, — их крылья могут принимать любую окраску... смотря под каким углом отражают свет...»

Юрик не понимал, но слушал и доедал суп.

«...Они могут так соединиться друг с другом, так сбиться вместе, что тебе будет казаться, что это какая-то часть человека, например, рука...»

Отец глядел на свою длинную руку и двигал пальцами. И Юрка сразу все себе представлял.

«Или даже целый человек?» — спрашивал тихим от ужаса и восторга голосом.

Отец кивал, а Юрик уже полным ходом думал, как теперь отличать обычных людей от этих... которые из мельхитов? Ну, мама, она, конечно, обычная, человеческая. Но дальше уже уверенности не было. Например, с учителями в школе, особенно с новой математичкой. Вот-вот, казалось, и разлетится на сотни маленьких злобных бабочек.

Даже отец... Нет, он был настоящим, его можно было потрогать, пощипать его майку, и никакие мельхиты не вылетали. Но иногда что-то менялось в отце, какая-то рябь по лицу шла, и Юрик боялся его больше, чем когда тот ругал за что-то и воспитывал.

Иногда Юрик брал ту книгу, в которой отец показал ему тогда картинку с мельхитами, атлас бабочек. Разглядывал желтых сатурний, пестрых парусников, страшноватых бражников. Но про мельхитов, как ни листал, в ней ничего не было. А потом исчез и сам атлас. «Выкрали, — задумчиво предположил отец. — А что ты хотел о них узнать?»

Юрик хотел узнать, чем они питаются.

Где они обитают. И — Юрик потупил глаза — как они размножаются.

— А помнишь, я тебя спрашивал, в классе четвертом... — Юрик перенес посуду к раковине и открыл воду.

— А? — переспрашивал за спиной отец.

— Помнишь, говорю! спрашивал! чем питаются мельхиты!

— Да-да, не кричи... Помню всё. И как ты с Серёжкой этим тогда дрался...

— ...А ты мне еще ответил, что они питаются человеческой памятью! А я не понял!

— Не надо мыть, отойди, я сам... Отойди, — отец подергал Юрика за тельняшку.

Юрик подчинился, вздохнул и вернулся за стол.

— Чего ты помоешь, бать? — склонил голову набок.

— Посуду.

— Хочешь посудомоечную машину? Удобно.

— Не...

— У тебя там посуда уже в несколько слоев лежит. Археологов, блин, вызывать пора, раскопки делать. И в раковине, и в холодильнике твоем доисторическом...

Отец плохо слышал, что говорит Юрик, но, видно, чувствовал, что что-то такое... Выждав, когда губы сына перестанут шевелиться, сказал:

— Это для тебя все это грязь. Грязь и мусор. А для меня — память. Ты и сейчас не понимаешь. А они из меня всю память... съели. Не помню. Вчера ел чего, не помню. Даже ел или нет. А погляжу в раковину или на доску со шкурками, что-то вспоминаю... Как там... твоя Ирина? — спросил вдруг.

«А имена всех моих баб помнит», — подумал Юрик и хмуро улыбнулся:

— Расплевались с ней. Полгода.

— Как? — отец застыл, точно вспоминая что-то.

— Так. Собрал вещи и ушел... Повторяю твой славный боевой путь.

— У меня уже дети были.

— А я их не хочу!

Помолчал.

— Земля покрыта человечеством, как слизью. Я тебе тогда свои взгляды говорил... что насчет увеличения количества этой слизи думаю.

— Люди — это не...

— Слизь! — перебил Юрик. — Мерзкая слизь, убивающая всё... хуже твоих мельхитов. Сокращать нужно ее, а не увеличивать. Разумно, по плану. Белую расу — через контрацепцию, остальных через массовую стерилизацию, как у китайцев. Через управляемые локальные конфликты.

— В России и так рождаемость низкая.

— Нормальная, — Юрик глотнул воды. — Не в России низкая, а по периметру высокая. В Средней Азии, на Кавказе... В Китае. Там только войнами и стерилизацией. А в России — взять излишки населения из городов и обратно в деревни, сразу и рождаемость будет. Там и жизненное пространство, в деревнях, и экология. Здоровыми рождаться будут, не то что мы тут, под выхлопной трубой.

Отец молчал и глядел куда-то вверх. Юрик перехватил его взгляд, поднялся и снял с полки слегка выцветшую фотку. Протер большим пальцем.

На ней был он, Юрик, с полной выкладкой. В одной из южных республик, где контрактил недолго. За спиной его была глиняная стена и пыльный куст мальвы.

— Последняя твоя фотография, — тихо сказал отец.

— Почему «последняя»?

— Ты больше не присылал...

Юрик задумался и поковырял лоб ногтем.

— Присылал, — усмехнулся. — Наверное, мельхиты перехватывали.

С какого-то момента он перестал верить в них. Как, вырастая, перестают верить в монстров, инопланетян и сантаклаусов. Да, он не верил в инопланетян, не верил в светящихся ангелов. Вопросы? Не верил в Кришну, которым пытался заразить его Серёга, пока снимали вместе хату... Не-ве-рил.

А отец, наоборот, чем дальше, тем больше уходил в этих своих мельхитов.

С другой стороны, это была, кажется, единственная их тема, на которую они еще могли общаться. Как только съезжали на что-то не про мельхитов, сразу непонятки и обидки. Потом как-то забывалось, конечно.

Один раз он и сам был готов снова в них поверить.

Была одна ночь, в той самой южной республике. День был жарким, их блокпост еще и обстреляли... По-дурацки обстреляли, двух ребят попортили, хоть местные, а всё равно. Ночью тоже ждали «гостей», но было тихо, слишком даже тихо. Юрик лежал один в пустой комнате, раньше была школьным классом. Пахло пылью и еще каким-то местным запахом, к которому Юрик уже почти принюхался, как когда-то к запаху отца. Луна лезла в комнату, и Юрик не пытался уснуть, потому что знал, что не уснет.

Или он все-таки заснул? Лунный свет чуть ослабел, и он увидел человека, стоявшего в окне. Не из местных.

Потом увидел, что сам он, Юрик, поднимается и идет к окну. Свои медленно идущие ноги где-то внизу и руки, вскинувшие автомат. И человека в окне, прижавшегося к стеклу, побелевшие подушечки его пальцев. Но главным было лицо.

Это было лицо как бы всех, кого Юрик видел в своей жизни. Немного от матери, немного от отца, от самого Юрика, от шести или семи баб, с которыми жил; еще от каких-то лиц, школьных, армейских, просто знакомых «здрасте — здрасте»; и все это было в одном лице.

Он выскочил во двор.

Никого у окна не было, чисто. Несколько мелких бабочек брызнуло в лицо. И еще несколько продолжало кружить возле окна. Может, совпадение, просто так летали. Как там? «А бабочка крылышками...» Подпевайте, ну.

Нет, к траве не притрагивался. Да она и поганая в тех местах, судя по отзывам. Он вообще держался за свое здоровье, старался не провоцировать. Так что траву мысленно исключаем.

На следующий день... В общем, это уже неважно. Рассказывать никому не стал: дурка не входила в его планы. Даже отцу не стал. Держал этот случай в себе.

Снова ненадолго заинтересовался этими... бабочками. В Сети порылся, френдов поспрашивал. «Мельхиты», не слыхали? Ноль. Слово означало каких-то монахов у арабов, но монахами Юрик не интересовался, ни в виде людей, ни в виде этих.

Да, можно было сдать на анализ эти крылышки. Только нечего. Отец после расшифровки сжигал их, как секретные письма. Юрик помнил этот запах, от сожженных крылышек. Сладковатый такой.

— Постараюсь приходить чаще, — громко сказал Юрик.

Отец устал. Глядел в пол пустыми глазами, тер левый бок.

— Сердце? — поднялся со стула Юрик. — Сиди, сам сделаю...

— Корвалол... В моей комнате.

Юрик кивнул. Чуть приволакивая затекшую ногу, пошел в отцовские покои.

Комната была маленькой и темной, мама звала ее «паучьей норой». Вечно горел ночник, и на стенах висели фотопортреты жуков и прочей отцовской фауны; на полу стоял ящик с инструментами, из заводского прошлого, Юрик по привычке слегка пнул его.

Пузырек с корвалолом в сухих потеках был на столе. Но внимание Юрика привлек не он. Рядом с ним лежал пинцет и несколько маникюрных ножниц разной величины и формы. И несколько кисточек с засохшей краской.

Теперь все стало окончательно на свои места. Юрик взял ножнички и почикал ими. И тут же положил на место, заметив отца, который глядел на него из коридора.

— Сейчас накапаю, — Юрик принялся отвинчивать присохшую крышку.

— Не надо... Я просто посплю. Это не сердце. А ты иди.

И неожиданно быстрыми шагами двинулся в спальню.

Юрик завинтил корвалол, снова повертел в руках ножнички. Интересно, а из чего все-таки он их вырезал? Крылышки выглядели как настоящие, и на ощупь. Юрик вернулся на кухню, поискал последнее, с бестолковым посланием. Вспомнил, что отец тоже его сжег.

Юрик открыл кран, чтоб все-таки что-то вымыть, но не стал. Направился в спальню, прощаться. Снова прошел мимо включенного компа, мимо пустого аквариума, в котором когда-то обитали отцовские друзья, и еще одного.

Отец лежал на том же месте, где Юрик нашел его днем.

Только был укрыт с головой, чего раньше за ним не водилось.

— Я пошел!

Одеяло пошевелилось:

— Да.

Расстроился, наверно, что обнаружили его тайную мастерскую.

Юрик улыбнулся:

— Бать, я тебя люблю.

Под одеялом хмыкнули. Или всхлипнули, не разобрать.

Юрик тоже хмыкнул: его веселил вид отца, лежащего с натянутым на голову одеялом.

Заметил какое-то темное пятнышко на постели. Даже два.

Надо было включить свет, но не стал, отец уже спал, кажется. И так было понятно, что. Мелкие невзрачные бабочки.

Юрик тихонько засмеялся.

Лицо его дрогнуло, точно по нему прошла небольшая волна. Еще два, три мотылька слетели с его тельняшки и закружились по комнате. И еще несколько, с легким шорохом. Через пару секунд весь Юрик уже разлетелся по комнате, садился на потолок, на скомканные отцовские штаны, ползал по стеклу...

Облетев застывшего под одеялом мужчину, стая вылетела в окно.

Александр Бабин

Распад

Рассказ

1

В траве мелькнуло что-то бурое.

«Есть!» — подумал Саня и нагнулся.

Но это был березовый лист, а вовсе не красноголовик. Саня разочарованно хрустнул коленками и побрел дальше. В корзине болтались две сыроежки да полужидкий обабок, приправленные осенней трухой.

Паршиво. В начале сентября опята должны быть на каждом втором пне, верно? Целыми семьями! И моря лисичек под ногами. Ну и где все это?

В густом, как собачья шерсть, березняке тоже ничего не нашлось — как и в осиннике за Михайловским покосом, и мрачном бору ближе к железной дороге. Не было даже поганок. Проболтавшись в лесу еще с полчаса, Саня вытряхнул из корзины свою жалкую добычу («Все равно даже супа не сварить») и повернул к Телефонке в надежде найти хотя бы кусок чугунины или обрывок троса. Лишь бы не ложиться снова на голодный желудок.

«Телефонкой» назывался небольшой, но основательно загаженный холм по дороге в Малую Вильву. В начале девяностых там столкнулись «буханка» и «москвич». Водитель последнего погиб на месте, машины с грехом пополам эвакуировали, но битое стекло, обломки приборной панели, отлетевшее от «москвича» колесо и прочее тряхомудье остались на месте. Потом на Телефонке пообедала бригада лесорубов, оставив после себя яичную скорлупу и пустую бутылку, случайно порезавшийся грибник выбросил там окровавленный платок, и пошло-поехало — к двухтысячному году мусор на Телефонку везли целенаправленно.

Саня побродил немного среди обломков фаянса и полиэтиленовой шелухи, но так и не нашел ничего мало-мальски ценного — разве что мясорубку с отлитым на ней ценником в 4 рубля 76 копеек. Примерно за ту же цену ее примут и сегодня, так что пусть и дальше валяется под лопухом, подумал Саня и поспешил уйти. Еще не хватало, чтобы его — хорошего, в общем-то, электрика — увидели ползающим на помойке.

Оставалась последняя надежда: найти на останках молочной фермы какой-нибудь богом забытый швеллер, уголок или редуктор. А то и медный кабель. Вот это была бы удача.

Александр Бабин родился в 1986 году в городе Александровске Пермского края. Учился в Соликамском педагогическом колледже на преподавателя английского, работал охранником на Сылвенской птицефабрике, лесником, рубщиком в мясном цеху, разнорабочим на укладке газопровода «Уньва—Ольховка», журналистом. Сейчас — завлит в одном из местных театров. Живет в городе Березники. Этот рассказ — первая «толстожурнальная» публикация автора.

Впрочем, Александр был реалистом и потому прекрасно понимал, что найти на развалинах хоть что-нибудь едва ли удастся: ферму, некогда дававшую работу половине женского населения Ольховки, давным-давно разобрали на кирпичи, не говоря уже о металле — его-то подчистили в первую очередь.

Глаза у Сани затуманились. Поселок все ближе, мысли — чернее, и все вертелись вокруг кулька, в котором рожков осталось на самом донышке. А ведь когда-то мечталось совсем не о сардельках и уж тем более не о железе, да и о пунктах приема металла он толком ничего не знал.

Продавленная грунтовка вывела к поваленному забору. Ферму от поселка отделяла только полоса леса шириной в триста метров. Запахло дымком. Взгляд Александра приобрел остроту и осмысленность. Похоже, кто-то решил затопить баню среди недели. Потом, наверное, пивка жахнет. Да под селедочку... А картошечка будет? Будет.

Саня вздохнул: «Гаси печаль, решай задачи».

Он углубился в недра заваленных бутом коровников и долго бродил там, вглядываясь в бетонно-кирпичное крошево. Однако на ферме не нашлось ничего, кроме дохлого кота, и магнитик, с которым Саня не расставался последние пять месяцев, так и пролежал в кармане, прицепившись к складному ножу — бесполезны и тот, и другой.

И Саня пошел домой. В сознании гремел голос патриарха Кирилла, обещая библейские кары: «...Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие: от всего, что видите здесь, не останется камня на камне, все будет разрушено. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, нечестивы и недружелюбны... И покажу им знамения на небе и на земле: кровь и огонь, и столпы дыма, и солнце превратится во тьму, а луна — в кровь, и наступит день Господень, великий и страшный, когда не будет ни грибов, ни мотор-редукторов, ни дорогого медного кабеля».

Можно, конечно, попытать счастья в «Ромашке», взять что-нибудь в долг, но он и так уже задолжал три с чем-то тысячи — больше точно не дадут.

Вот и патриарх того же мнения: «И стесню я людей, и будут они ходить, как слепые, и будут просить взаймы до понедельника, но никто не даст, и в “Ромашке” в долг не отоварят, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их — как помет».

В этот момент с небес пророчески затрубило, и Саню продрало до печенок. Он знал, конечно, что это орет бывший ВЗОДИСМ — Волчанский завод обработки древесины и сборки мебели — и гудок всего-навсего зовет рабочих на обед, но эффект был велик.

Есть захотелось еще сильнее. Саня вспомнил, какие вкусные котлеты делают по средам и пятницам в тамошней столовке... Или делали, хрен их теперь разберет. Саня потерял работу, когда закрылись оба сборочных цеха — не помогли ни стаж, ни четвертый разряд. В отделе кадров, кстати, под сокращение не попавшем, сказали, что это не собственник схватил его за шкварник и выкинул на улицу, а невидимая рука рынка — мол, ничего личного, ты ж понимаешь. Саня еще подумал тогда, что если бы сократили этих канцелярских крыс, они пели бы не о руке, а совсем о другом органе — и вертелись бы на нем, как миленькие. И не смотри, что невидимый.

Как бы то ни было, завод с тех пор из всей своей по-маяковски звучной аббревиатуры выбросил несколько букв и стал убогим ВЗОДом, превратившись, по сути, в обыкновенную лесопилку, которую еще и китайцам продали.

Саня вернулся к своим мыслям. Можно сунуться в город на обанкротившийся хлебозавод — вроде бы его еще не растащили. Другое дело, что идти далековато, да и своих охотников там хватает. Церемониться не станут — огреют ломом по башке и прикроют тельце фанерой.

Голос патриарха не унимался: «В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них; кинутся в развалины искать пищевой алюминий, но и тому давно приделали ноги».

Саня перешагнул упавшую березу... и замер. Что-то падало с небес. Причем падало с таким, знаете, характерным свистом, от которого мутнеет сознание и хочется только одного — червем зарыться в землю.

Саня выпустил корзину из пальцев, обхватил голову руками и зажмурился. Нечто большое и тяжелое с треском рухнуло на землю, ободрав ближайшую ель и зацепив рябину.

Крики разлетающихся птиц. Тишина.

Саня подождал немного и открыл глаза.

Еловый ствол блестел как обнаженная кость — половину ветвей снесло вместе с корой. Влажная щепа тянулась к зарослям шиповника. Александр прошел по ней взглядом и увидел, что из кустов торчит зеленый угол.

Немного помедлив, подошел поближе и услышал негромкое жужжание какого-то механизма.

«Да что за дела, господи?» — ошарашено подумал Саня.

Он прищурился, сделал еще несколько робких шагов вперед...

И увидел.

Угол оказался частью хвостового оперения здоровенной бомбы. Она вошла в землю наискосок, но не полностью, и на ее боковине виднелся кружок с тремя желтыми лопастями. Знак радиации.

«Так», — подумал Саня.

Он снял с себя правый сапог, вытряхнул из него нападавший сор и снова надел. Затем сорвал со штанины комок репейника — старый, уже крошится — и посмотрел в небо. Облака обещали долгий, неторопливый дождь. Пахло свежей хвоей. Крохотный паучок спускался с рябины на атомную бомбу.

2

Он старался напустить на себя скучающий вид — пробовал даже искать грибы и насвистывать — но корзина осталась далеко позади, а ноги не гнулись. Бледный и неестественно прямой, Саня вышел к поселку, окинул взглядом низенькие крыши и направился к дому. В спину ему дышала атомная бомба.

Его двор давно уже зарос лопухом и одуванчиком, разительно контрастируя с огородом соседей, где и яблоня, и груша, и вишня с иргой... Хомутовы как раз выкапывали картошку. Саня, который мог выкопать разве что своего пса — могилка как раз на бывшей картофельной гряде — хлопнул калиткой и прошел в дом.

Там он выпил стакан кипяченой воды, сел на старый дедушкин диван и принялся ждать. Как оно будет — быстро или придется пожариться?

Саня поежился.

Сначала, само собой, будет вспышка. Потом ударная волна, перед которой ничто не устоит. Учитывая расстояние до эпицентра, на Ольховку обрушится все сразу — и свет, и жар, и взрывная волна. Мгновенная смерть.

Он просидел так полчаса, а взрыва все не было.

Хотелось курить.

Саня вернулся в кухню, вытащил из специальной банки несколько старых окурков и принялся вытряхивать из них табак на полоску газетной бумаги. Наконец он закурил, и мысли, парализованные постоянным ожиданием вспышки, понемногу оживились, забегали.

«Почему бомба еще не взорвалась? Она же работает. По крайней мере, что-то в ней деловито жужжит, причем ровно, без сбоев. И чья это бомба? наша? американская? чья?»

Саня прищурился.

«Странно. Атомные, вроде, взрывают в воздухе на порядочной высоте. Все-таки не сработала?»

Догадка не принесла ему никакого облегчения.

«Новую пришлют, если надо. А может, бомба вполне рабочая, просто замедленного действия, с таймером. Может, это он и жужжит. Но тогда чего ждут те, кто ее сбросил? К нам вроде президент не собирался».

Саня прикинул, какие причины могли бы заставить противника сбросить атомную бомбу именно на Ольховку, но не придумал ни одной. Не бомбить же людей за то, что запомоили половину леса и Телефонку. А может, бомбу хотели сбросить на Волчанск, но промахнулись? До него всего-то шесть километров. Но опять же, что там уничтожать? И так уже ничего не осталось — никаких бомб не понадобилось.

Вопросов было много, но с ответами не ладилось. И главное — что теперь делать?

А вот на этот вопрос был вполне очевидный ответ.

«Позвонить в полицию и рассказать про бомбу. И все, дальше уже не твои проблемы».

Саня представил, что начнется, когда обо всем узнают власти: район оцепят, всех эвакуируют куда-нибудь за тысячу километров, до кучи возьмут расписку о неразглашении, и это еще если бомба не взорвется. А она, сука, жужжит...

На телефоне у Сани было минус 12 копеек, поэтому он вышел из дома и твердо направился к забору. Шел по-прежнему с аршином внутри, словно спина сопротивлялась всей тяжести навалившейся на него ответственности. И жгла его одна мыслишка: «Надо было сразу всем рассказать, а не рассиживаться...»

Соседи все еще барахтались на грядках: пожилой Андрей Ильич и оба его сына-переростка с женами. Вдоль их гаража выстроилась целая батарея под горло набитых мешков. Картошка в этом году хорошая — ее много и почти вся крупная.

— Всем здрассте, — сказал Александр, и сразу обратился к главе семьи. — Андрей Ильич, одолжи телефон на минуту. Надо в полицию позвонить.

Хомутов-старший прислонил лопату к забору и посмотрел на Саню с неприязнью.

— Чего?

— Полицию надо вызвать. Срочно.

— А что за дела?

— Тут, в общем... Это... В лесу ядерная бомба валяется. На меня чуть не упала.

— Да ты что? — Андрей Ильич округлил глаза. — Большая, наверное?

Саня сжал зубы.

— Немаленькая.

Сыновья Хомутовы засмеялись, а жены как-то притихли, с опаской глядя на мужика: псих или нет? Что он задумал?

— Ну, если «немаленькая», то менты скоро сами приедут, — сказал Андрей Ильич. — И военные тоже, так что не беспокойся.

— Если не веришь, пошли со мной, покажу.

— Да не хочу я с тобой по лесам шастать. Денежки-то когда будешь возвращать?

— Обязательно верну, а сейчас мне нужен телефон! Это не шутки. Или сам позвони, если боишься, что я с ним убегу.

— Ага, чтобы меня потом таскали за твои бредни? Вали-ка ты обратно в свой барак.

— Из-за тебя все в округе сгорят к чертовой матери! И здесь, и в городе!

— Ты уже и мощность рассчитал? — улыбнулся Хомутов.

Саня махнул рукой и направился к живущей через дорогу Зое Васильевне Петрошкиной — одинокой пенсионерке и бывшей самогонщице. Постучал в дверь.

Тишина.

Саня постучал сильнее, нервно переминаясь с ноги на ногу. В его сознании настойчиво поднимался ядерный гриб, и с каждой упущенной секундой он расцветал все ярче.

За дверью послышались шаги. Глухой, заспанный голос:

— Кто?

— Сашка.

— Денег нет!

— Я не за деньгами. Мне позвонить нужно!

— Что?

— Позвонить, говорю, нужно. Зоя Васильевна, это срочно.

— Не получится, денег нет.

— Так у вас же стационар!

— Отключили, волки, за два месяца... А что случилось-то?

— Да ядерная бомба в лесу. Лежит. Если вам есть куда податься, лучше уезжайте подальше прямо сейчас.

Зоя Васильевна усмехнулась:

— Ты, Санька, решил мой дом обнести?

Александр уперся лбом в дверь и вздохнул:

— Да не нужно мне ваше барахло... В лесу бомба, понимаете? Атомная. Без шуток.

— Грабь кого-нибудь другого. А если будешь барабанить и дальше, я возьму Пашино ружье. Иди отсюда, неработь.

Времени на споры не было — Саня чувствовал это каждой клеткой своего существа — поэтому он молча развернулся и двинул дальше по улице.

С каждым его шагом сопротивление только возрастало. Со всех сторон звенели цепи — хозяева отпускали собак. Похоже, Хомутов все-таки позвонил, и явно не в полицию. Саня даже понял примерно, что он говорил: «Этот придурок совсем поехал кукушкой — ходит по домам и требует у всех телефон. Предлог идиотский. Лучше сидите дома от греха подальше».

Спору нет, про бомбу он ляпнул напрасно. Надо было соврать что-нибудь про кражу или пожар в бывшей котельной — да про что угодно.

Саня остановился. Надо решить, что делать дальше.

В метре от него злющий парамоновский Пират надсадно лаял, поставив на ограду передние лапы.

Перед глазами возник образ Промокашки: «Собака лаяла... На дядю-фраера...»

— Хочешь перегрызть мне горло? — спросил Саня и чуть наклонился вперед, к мокрой клацающей пасти. Ему вдруг стало весело. Какая-то удивительная метаморфоза происходила с ним в эти минуты: несмотря на ощущение абсолютной опасности, нависшей, без преувеличения, над целым краем, у него словно камень с души упал — он как будто стал собраннее, энергичнее, злее. Наконец-то жизнь приобрела отчетливый смысл. Появилась цель.

Саня понял, что есть только один способ убедить всех в существовании бомбы: ее нужно приволочь в поселок.

3

В дверь постучали. Серёга положил паяльник на подставку, вышел в сени и открыл. На пороге стоял Саня. Сразу было видно, что настроен он решительно. Особенно Серёгу удивили его глаза: они уже не бегали по углам, как раньше, а смотрели в душу, прямо и твердо.

Саня даже не поздоровался:

— Деньги на телефоне есть?

— У меня и телефона-то нет. С тобой же сдавали. Забыл уже?

— А, ладно, — махнул рукой Саня. — Давай тогда свою тачку. Только быстро.

— За каким хреном?

— Долго рассказывать. Если хочешь посмотреть сам, пошли со мной.

Серёга дернул щекой, молча прошел мимо Сани и спустился с расшатанного крыльца. Саня пошел следом.

— А что это канифолью прет? — спросил он.

— «Таурус» паяю, — ответил Серёга, направляясь к сараю. — Может, получится загнать кому-нибудь. Антиквариат все-таки. Ты, случаем, на Телефонке вчера-сегодня не был?

— Да нет, а что? — соврал Саня, но щеки под рыжеватой щетиной слегка покраснели.

— Может, кинескоп какой видел... Родной не фурычит.

— А ты в курсе, что сейчас везде уже цифра? Никому твой телек не понадобится.

— Дурак ты. Антикварными вещами и так никто не пользуется. Главное, чтобы в принципе работал.

Они вошли в сарай. На балке под потолком висела задубевшая коровья шкура, а в углу стояли баллоны с пропаном и кислородом. Газовый резак лежал на монструозной трехколесной тачке. Серёга соорудил ее из четырех тяжеленных решеток, сваренных, в свою очередь, из арматурин. А колеса раньше стояли на мотоблоке.

— Куда пойдем-то? — спросил он.

— В лес. Это минут десять ходу. И веревку найди, пригодится.

Пять минут спустя Ольховку накрыл лязгающий грохот: понимая, что тащить такого динозавра через поле совсем не вариант, напарники решили сделать крюк по объездной дороге. Иногда через гром и дрязги пробивалось бурчание Серёгиного живота. Держался он, впрочем, с достоинством — с вопросами не лез и вообще делал вид, что все это ему не очень интересно.

Когда они съехали с дороги и покатили в лес, тачка, и без того не подарок, окончательно превратилась в орудие пыток. Проклятая то и дело застревала своим широченным тазом между двух осин, вязла в подлеске, толкалась и буксовала, брыкалась на каждой кочке и в каждой впадине, била по ногам, обдирала кожу. Мужики возились с ней, как грешники в аду.

— Как ты еще баллоны свои не продал, антиквар? — спросил Саня, с трудом переводя дыхание. — Жрать-то, поди, тоже нечего?

— Держусь пока. Ладно еще, если б с газом были — там уже на донышке.

— Слушай, у тебя сигареты есть?

— Три штуки осталось.

— Угостишь?

— А мы долго еще корячиться будем?

— Да уже все. Вон она.

— Кто «она»?

Серёга посмотрел туда же, куда и Саня.

Из шиповника торчала бомба. По ней ползали сонные муравьи.

— Ого.

Безо всякого намека на страх Серёга подошел к бомбе, хозяйски осмотрел ее и постучал кулаком по корпусу.

— Атомная?

Саня кивнул и прошелся пальцем по хвостовому оперению. Несмотря на зябкие тринадцать градусов и налетающий ветер, бомба была теплой.

Серёга вытащил из кармана мятую пачку, сунул в рот сигарету и протянул одну Сане.

— И что ты собираешься с нею делать? — спросил он.

— Выкурю.

— Я про бомбу.

— Думаю в поселок отвезти, — ответил Саня, подставляя сигарету под огонек. — А то ведь не верят, собаки. Так хоть полицию вызовут.

— Тоже вариант, — кивнул Серёга.

— «Тоже»? А ты что предлагаешь?

— Да ничего пока. Смотри-ка, жужжит. Рабочая.

Он любовно погладил бомбу, а Саня нахмурился.

«Приехали, — подумал он. — Кажись, ревную ее к чужим рукам».

— Тебе, кстати, деньги-то не вернули? — спросил Серёга.

— Неа, — Саня стряхнул пепел.

Речь шла о весенней вахте на газопроводе, где Саня оттрубил три месяца стропальщиком и разнорабочим. Его там попросту кинули — ни обещанной униформы, ни зарплаты.

— А есть-то хочется, — сказал Серёга, взглянул на знак радиации и вздохнул.

— Ты все-таки на что-то намекаешь. Продать ее, что ли, вздумал?

Саня аж рассмеялся. Барыжить атомной бомбой там, где самая крупная сделка — урвать колесо от «КАМАЗа» по цене велосипедного? Это сильно.

— А за сколько бы ты ее продал? — поинтересовался он.

— Это смотря кому.

— Ну, допустим, военным ты ее просто так отдашь, за «спасибо». А потом еще посидишь немного. Но там хотя бы кормят. А вот Семёнову, например?

— Ему?

Серёга, у которого с фантазией было туговато, бухнул банальное:

— Миллион.

— Да он ее на выстрел к себе не подпустит. Это же срок.

— Тогда не знаю.

— Короче, давай грузить. А то рванет, пока мы тут п..дим.

Саня дважды пропустил веревку через лопасти оперения, дал один конец Серёге и взялся сам. Пятки уперлись в хвойный ковер и начали погружаться в почву — бомба шла с большой натугой. Саня прикусил губу. Веревка больно впилась в ладони.

— Бомба, — сказал он. — Я тебя очень люблю и уважаю. Но я увезу тебя в поселок прежде, чем настанет вечер.

— Чего ты там бормочешь? — не понял Серёга.

— Да так... «Старик и море».

— Тяжелая, зараза, — пропыхтел Серёга. — Сколько в ней, интересно?

— Килотонн двести.

Они едва не сорвали себе спины, но с помощью березы и самых крепких слов уложили-таки бомбу в тачку.

— Ну, еще перекур и двинем.

И они закурили на двоих последнюю сигарету.

4

День уже клонился к вечеру, когда мужики вернулись в поселок — грязные, измочаленные, смертельно уставшие. Животы к спине прилипли.

— Куда первым делом? — спросил Серёга.

— Хорошо бы к Хомутовым, но сил уже нет. Давай, вон, к Петрову.

— Давай.

Мужики вошли в небольшой аккуратный дворик с выложенной из плитняка дорожкой и постучали к Петрову. Тот открыл и вопросительно поднял брови.

— Сеня, дай нам телефон и что-нибудь поесть.

Семён Иванович несколько опешил от такой наглости.

— С какой это радости?

— А вон с какой, — Саня показал на тачку.

— И что это там?

— Глаза-то разуй. Бомба. Атомная. Надо полицию звать.

— Атомная?

— Вполне, — ответил Серёга.

— Чем докажете? Я такую же могу слепить, если неделю голодом посижу.

— Так иди и посмотри. Можешь даже облапать, если хочется. Настоящая.

Петров сделал было шаг на улицу, но сразу передумал: перед ним стояли два грязных мужика, готовых, судя по виду, на что угодно, а дома жена и неплохой холодильник.

— Лучше бы вам, парни, зайти к кому-нибудь другому.

— Да ты издеваешься, дед. Она же в любую секунду рва...

Дверь захлопнулась перед самым носом.

— Это уже не смешно, — сказал Саня. — Пошли к Самоедихе тогда, х..ли делать. Но что-то мне подсказывает, что зря мы горбатились.

— Погоди, — остановил его Серёга. — Нам же полиция нужна, так?

— Ну.

— Будет.

Серёга поднял с обочины камень и швырнул его Петровым в окно. Оно лопнуло с оглушительным звоном. Заголосили собаки.

— Вы чего творите, скоты? — заорал Семён Иванович из проема.

Серёга облокотился о бомбу.

— Вызывай полицию, старый баран. Просили же.

— Щас вызову, твари.

Саня обеспокоенно взглянул на товарища. Тот ухмылялся.

— Не боись. Если сдадим бомбу, нам все простят и даже нагр...

Серёга не договорил: он вдруг перестал улыбаться, и глаза его распахнулись.

— ЛОЖИСЬ!

Саня упал, и как раз вовремя — раздался выстрел. Что-то звонко чиркнуло совсем рядом.

Тут же прозвучал второй выстрел, и бомба дернулась. Серёга знал, что у Петрова двустволка и на перезарядку уйдет какое-то время, поэтому вскочил на ноги. Усталость как рукой сняло.

— Ты в своем уме, придурок?! По атомной бомбе стрелять?!

— По вам не попал, — донеслось из разбитого окна. — Но сейчас, гады, получите...

— Двигаем, — коротко приказал Серёга и первым нажал на телегу. — Быстрее, блин, пока этот дятел в спину не засадил.

Саня, едва не раскроивший лоб о щебенку, встал рядом и тоже поднажал. Сообща они сдвинули тачку с места и пошли вдоль дороги, прикрываясь бомбой, как вагонеткой — мало ли, дед снова начнет стрелять.

— У кого тут нет ружья? — спросил Саня. — Мне уже второй раз за день угрожают.

— Да черт его знает. Жрать охота... Может, к Боговой заглянем?

— Ружья у нее, может, и не будет, но вилы найдутся. Вилы, а не борщ.

— Ну, денег попросим. Нам поесть надо, на святое дело идем. Она женщина слабая и набожная, а у нас атомная бомба.

План Серёги был настолько прост, что свободно бы уложился в одну-единственную газетную строчку: «Угрожая атомной бомбой, злоумышленник похитил у потерпевшей сережки, обручальное кольцо и денежные средства на сумму 670 рублей».

— На грабеж не пойду, — заявил Саня.

— Смотри-ка, это не Володька чешет?

Саня прищурился. Впереди шла еще одна фигура с тачкой — только в ней, судя по всему, бугрилась картошка.

— Вроде он.

— Эй, Вова! Погоди! Шевели булками, Саня.

— Вам чего? — спросил Володя и с недоверием посмотрел на Александра, про которого в поселке уже несколько часов ходили странные слухи.

— Ты жить хочешь? — спросил Серёга.

— Нет.

Ответ сразил Серёгу наповал.

— Почему?

— Какая тебе разница?

— Он с женой разошелся, — пробормотал Саня.

Серёга кивнул.

— Дай-ка на минуту свой телефон, а не то я взорву бомбу, — неуверенно приказал он. — Ядерную. Вот она, полюбуйся.

— Взрывай, — спокойно ответил Владимир.

— И взорву.

— Взрывай.

— Не веришь, что ли?

— Верю. Давай.

Серёга поднял с земли булыжник («Кажется, сегодня мы перещупаем все камни в деревне», — с горечью подумал Саня) и ударил им по бомбе. Она звякнула. Серёга игранул желваками и снова ударил.

Володя ждал.

Серёга нанес очередной удар. В темнеющем воздухе сверкнула и погасла крохотная искра. Тогда Серёга зарычал и принялся дубасить бомбу безостановочно.

— Да хорош уже, пойдем, — Саня попытался оттащить друга, но тот отбил его руку в сторону — совсем остервенел.

Володя спокойно смотрел на это представление и жевал травинку.

— Что-то не взрывается, — отметил он. — Бракованная, наверное. Вы ее в костер бросьте, парни. Как шифер.

И добавил:

— Если нужен телефон, так бы и попросили. Безо всей этой клоунады.

С этими словами он протянул героям свой старый кнопочник, и Саня от неожиданности онемел.

— Ну чего встал, — сказал Серёга, дуя на распухшие пальцы. — Набирай давай.

Саня набрал 02 и нажал вызов.

— Неправильно набран номер, — сообщил женский голос.

— Черт. Как им с сотового звонить?

— Не знаю, — ответил Серёга. — Вов, ты не в курсе?

— Нет. Даже как-то не задумывался. А бомба настоящая, что ли?

— Да нет, конечно! Что ты? Кукла. Год собирали, потом шлифовали месяц — только чтобы тебя разыграть.

— Если настоящая, что ж ты лупил по ней со всей дури? А если взорвется?

— Ой, лучше заткнись, гений, — глаза Серёги сузились. — У нас и так был тяжелый день.

— Оно и видно. Это из-за вас была стрельба только что?

— Да, — ответил Саня. — Как набрать-то, елки зеленые?

— Попробуй, не знаю, 002, — посоветовал Серёга.

Тык-тык-тык-тык.

— Набранный вами номер не существует, — ответил женский голос.

— Пробуй другие варианты, — нетерпеливо сказал Серёга. — Вова, у тебя пожрать ничего нету? Ноги подкашиваются.

— Картошка вот. Могу дать ведерко. Просто так.

— Спасибо. Слушай, если есть, куда уехать, лучше езжай. Сам понимаешь — хрен его знает, чем тут все кончится.

— Неправильно набран номер, — донеслось со стороны Сани.

— Да мне особо некуда ехать. К Катьке я точно не вернусь.

— Ну, смотри сам. У тебя мотоцикл не на ходу?

— Да какой там... — Вова махнул рукой.

— Ладно.

Тут подошел Саня и молча протянул Володе телефон.

— Что такое? — спросил Серёга.

— Сдох, — ответил Саня, и вся усталость этого невыносимо долгого абсурдного дня навалилась на него с утроенной силой. Но хуже всего было ощущение бессилия — примерно как во сне, когда пытаешься догнать свое счастье и не можешь.

— Приплыли, — сказал Серёга. — Все, короче. Хватит. Пошли хоть картошку сварим.

5

Они дотолкали бомбу до Серёгиного дома, сварили картошку, наскоро поели, а потом Саня ушел к себе и проспал до трех часов дня.

Пробуждение было тяжелым — болело все тело. За окном накрапывал дождь. Все как обычно: соседи рассыпались по огородам, коровы мычали, Пират облаивал обнаглевшую ворону.

«Надо же, мир еще на месте», — подумал Саня, натянул сапоги и пошел к Серёге.

Полицейских не было. Саня усмехнулся — подумал, что Петров тоже не смог набрать номер правильно.

Через минуту он поднялся на Серёгино крыльцо и уже хотел постучать, как услышал за домом характерные звуки: это работала газовая горелка. Почуяв недоброе, Саня метнулся к сараю — дверь была открыта — ворвался внутрь и замер. Сердце обрушилось куда-то в кишки.

Она по-прежнему покоилась в телеге, внушительно-большая и тяжелая, вот только часть ее круглого зеленого корпуса теперь лежала возле колес, и над распахнутым медно-серебристым нутром склонился Серёга — в одной руке он держал резак, а свободной вытягивал из бомбы провода. Рукава его куртки были измазаны каким-то белым порошком.

— Отойди от нее, идиот, — прошептал Саня. У него закружилась голова.

Серёга повернулся к нему и приподнял сварочную маску. Лицо было покрыто загаром, которого не было еще вчера, а правый глаз кровоточил.

— Чего? — спросил он. Голос был, как у пьяного.

— Отойди от нее, — повторил Саня и вдруг осознал, что бомба уже не жужжит.

— Ментов еще нету? Если нагрянут, мы ее пытаемся разминировать. Ферштейн?

— Ты умираешь.

— Плутоний, или что там внутри, я особо не трогал, его нам все равно не сбагрить, но вот это... — Серёга кивнул на отрезок обшивки. — Это дюралька, 75 рублей кило. И проводов черт-те сколько. Так что сегодня пи... пируем...

Он чихнул, и в воздухе повисло облачко красного тумана.

— Лучше б ты и дальше паял свой «Таурус», — проворчал Саня, устало бухнулся на чурбак и прошелся пятерней по волосам. Они посыпались, как осенние листья.

Адель Хаиров

Такое весёлое кино

Рассказ

В Казань ташкентское лето заглядывает в июле недельки на две. Надевает на дома стеганый халат, не дает дышать. Даже Волга по утрам не обдувает улицы — стоит болотом. Лезешь в печку красного автобуса. Рубашка липнет, железная пряжка прожигает тавро на пузе. Рядом покачивается горячее бедро студентки. Отодвигаешься.

Наконец — речной порт. Волга горит, полыхает за вениками берез. Курится урна и душит дачников на остановке. Продавщица откатывает лоток. Надо бы взять пивка, все-таки у меня отпуск...

Обжигаясь о поручни трапа, пробегаю наверх — на открытую палубу «Московского». Косая тень вся занята пассажирами, они сидят — сиреневые, а на солнечной полосе, на самой сковородке, тает одинокая женщина в бултыхающейся на горячем ветру шляпе. Белая шляпа растворяется в пылающем воздухе, дребезжащем от мотора. Неизвестная картина Клода Моне!

Пассажирка сидит как будто без головы, только рука — туда-сюда — машет журнальчиком. Она достает из корзиночки стальную фляжку, и мои ноздри щекочет коньячный ветерок. Вбулькала прямо в шею! Потом метнулся сигаретный дымок и похлестал по моим щекам.

Бриз охотился за этими запахами и быстренько сдувал их с палубы. Хотя какой на Волге бриз? Ветрюга, бьющий наотмашь. Он косматит прически, брызгает пломбиром в лицо, ломает в пальцах газету. Хулиганит: то обдаст хвоей, прихваченной с дальнего прибрежного лесочка вместе с дымком костерка, то сунет прямо в нос запашок сайры из распахнувшегося гальюна.

Женщина пахла хорошо: коньяком и грустным парфюмом. Ее духи накрывали головы пассажиров и перелетали дальше — к матросу, провонявшему табаком. Он стоял в черной робе, облокотившись об ограждение причала, и не обращал на жару никакого внимания. У его бугристого шнобеля были совсем другие, не нюхательные задачи: обозначить курс движения тучной фигуры и вычихать душу. Матрос, не нагибаясь, носком башмака ловко поддел канат с чугунной тумбы и напоследок еще подпинул слегка — дал пас прямо в руки с наколкой «Слава». Просипел: «Эй, молодец — прими конец!»

Адель Хаиров родился в Казани в 1963 году. Закончил филфак КГУ. Работал в казанских газетах и журналах. Печатался в журналах «Казань», «День и Ночь», «Дружба народов», «Новая Юность», «Октябрь» и «Литературной газете». Лауреат премии «Русский Гулливер» (2015) и литературной премии журнала «Татарстан» (2017).

Предыдущая публикация в «ДН» — 2017, № 2.

Река сильно обмелела за это лето, и судно, обдирая бортами с почерневшего бетона мидии, сидело внизу. Вровень с пирсом покачивалась лишь капитанская рубка. Матросня чумазая, как черти. Даже карты у них заляпались так, что дама червей стала дамой пик. А капитан стоит себе отрешенно на своем белом мостике в кремовой рубашке с погончиками и смотрит в даль. Перетекает в нее. Мечтает о море. Местами Волга, особенно у Камского Устья, смахивает на море. Такая же слепящая гладь до горизонта, вот только цвет и запах — не те. Ультрамарина бы и соли!

«Московский» обогнул косу и вышел на фарватер. Мятый бакен заплясал, показывая зеленые лохмотья нижней юбки. Женщина оказалась не одна. Сделав глоток, она протянула фляжку сонному парню, прикорнувшему в тени. Когда не сумела прикурить на ветру, он встал и заслонил своим телом огонек зажигалки. Это был татарин с большими овечьими глазами и оттопыренной губой. Он пригнулся к ней, чтобы расслышать фразу, и тут она поймала его за шею и прилепилась. Глаза его из глупых стали дауническими. Я ему позавидовал.

Чтобы разглядеть ее лицо, я пошел на маленькую хитрость: спустился через корму на нижнюю палубу, затем, как бы прогуливаясь, поднялся, но уже со стороны капитанской рубки. Дама с картины Моне оказалась... старухой! Лисья мордочка с мелкими зубами. Злобные глазки. Постоянная готовность укусить. Нервическое тремоло коготками. Вся на взводе.

Поравнявшись с парочкой, услышал, как парень чертыхнулся вслед ускакавшей за борт зажигалке. Я протянул свою. Так и познакомились.

— Клара! — старуха сунула мне тонкие пальцы с потемневшим от табака золотым кольцом.

— Махмут, — ее спутник дал потную ладонь и только потом отер кисть о колено.

Разница в возрасте у них была на глазок лет тридцать. Но она создавала впечатление более живой, чем он. Парень ходил вареным раком, даже кожа у него была красная. Я достал пиво. Говорить было сложно, ветер обрывал слова, мотор сильно стучал. Пили, курили, украдкой изучали друг друга. И вдруг пассажиры ожили и прижались к борту. Посередине Волги шел парень и, как бурлак, тянул за собой ялик с девушкой. На голубом борту читалось: «Ars longe». Мель, по которой он ступал, была скрыта водой. На поверхности — ни травинки. Ощущение нереальности, может, даже святости. Идет себе человек с голым торсом рядом с фарватером — цепь на плече сверкает, рыбешка на дне лодки прыгает, беленькая девчушка ойкает, отдергивая ножки.

— Вот это кадр! — вскочила Клара. — Посмотри, какой отсюда ракурс, Махмут!

Махмут вытянул шею:

— И чего там, не вижу, на лодке написано? Арсен и Ольга?

Так я понял, что они киношники.

Через полчаса «Московский», заглушив мотор, плавно обогнул бакен и притерся к пристани. Тут-то его и ухватили за грязные косы два подкопченных матроса. Тельняшки драные, флаг на крыше похож на трусы, уклейка на проволоке провисла пулеметной лентой. Махновцы!

Один удерживал хлипкий трап, другой, менее пьяный, со связкой чехони на шее, галантно подавал руку пассажиркам, при этом ногой подвигая к ним пахучий тазик с лещами. Клара отогнула пальчиком жабры одной — из рыбы вылетела зеленая муха.

Дачники сбегали на старую пристань, которая доживала свой век, ободранная, фанерками заколоченная, а ведь когда-то, в сталинские времена, такие вот двухэтажные белые терема с квадратными колоннами, аккуратно обитые реечками, покачивались у подножия всех волжских городков. На втором этаже — буфет, а то и ресторан. Во время качки, устраиваемой катерами, стаканы на подносе дрожали и терлись гранями друг о друга. Килька на хлебных лодочках серебрилась в спасательных кругах лука, а

водка в графине изнывала, бултыхая градус. Все они ждали, когда же зазвенит дверь и появится клиент в парусиновых штиблетах с мятыми червонцами в широких штанах...

Шли, нагруженные поклажей, по порванным игральным картам, распинывая пивные крышки. Лица озабоченные, будто это и не дачники вовсе, а каторжники. Мы были налегке, только баночное пиво тянуло мне плечо. Старуха все же купила две прозрачные чехони. Несла их в руке, как остроносые чувяки.

Перед подъемом к дачам-скворечникам нашли глубокую тень в овражке и там допили теплое пиво. Мимо шныряли дети с окровавленными ртами — как раз поспела владимирская вишня. Из овражка несло болотом. Вялая волна била по днищу дюралевой лодки. Капитан терпеливо ждал бегущую, взбивая золотистую пыль, дачницу. В худых руках поскрипывали огромные ивовые корзины, которые местные таскали на коромыслах. На спуске лысая дорожка была усыпана мелкой галькой. Дачница хотела спуститься с краю, где были вырезаны земляные ступеньки, да корзины не дали — утянули по прямой. Она сначала засеменила, а потом обреченно поехала на пятках стоптанных сафьяновых тапочек. Вскрикнула, осела и махом вывалила себе на живот все ягоды. Опорожнившись, корзины запрыгали дальше, а дачница, растопырив ноги, катилась с горки, давя спелую вишню задницей.

Пассажиры молча переживали. И только одна баба в малиновой панаме громко посоветовала:

— По краешку, дура, надо было идти! По краешку...

— Нет, ты видел, а? — восторгалась Клара. — Такое не сыграешь!

— Да-а, — согласился Махмут. — Ну просто нереально хлопнулась...

Они потащили меня показывать свой недавно купленный домик. Это был пятистенок без внутренних перегородок с тремя топорными столбами, подпирающими потолочные балки. Бывший сельский клуб. Весь пол посечен подковками. Наверное, когда баянист, терзая липкую от портвейна гармонь, начинал скакать на табуретке, то Ленин спрыгивал с гвоздика. Сейчас потемневший вождь выглядывал из-за ведра с веником, а на чердаке прятались его соратники. Кумачовая скатерть пошла на занавески. В амбарной тетради «Культурно-массовая работа клуба с. Нижний Услон» была лишь одна запись: «12 апреля 1989 года выступал с докладом космонавт Жанибеков, который показывал камни с Луны и жидкое стекло. По случаю встречи были организованы самовар и танцы. Пела Добренькая Валя».

В сумке у меня отыскался залитый пивом журнал с моим рассказом. Клара уткнулась в него, но прочитав первое предложение, заявила:

— Вот именно ты нам и нужен. Махмут, подь сюда! Посмотри, человек гениальные рассказы пишет и в одной деревне с нами живет, а мы с тобой, как придурки, ищем по всему городу сценариста.

Она еще раз открыла журнальчик, но уже на чужом рассказе. Выудила строчку, пожевала губами и заключила:

— Татарский Шпаликов! Налей-ка ему из наших запасов!

Махмут сдвинул стол и фанеру. Выковырял гвоздиком из доски запавшее кольцо и дернул. Дыхнуло кладбищенскими сыроежками. Луч фонарика нырнул во тьму. Серебряный кругляшок поплясал на гнилых досках с изумрудной плесенью и отыскал коробки в углу.

— Мы тут к свадьбе готовимся. 21 августа планируем устроить большое безобразие, — пояснил Махмут.

Конечно, я был приглашен. В захмелевшем мозгу уже рисовалась эта странная свадьба. Старуха в фате, как будто с офорта Гойи, будет отплясывать, выбивая копытами искру, а ее молодой жених станет светить в лица гостей фонариком, пытаясь

поймать усмешку. Все перепьются. Фата будет заблевана, галстук прожжен окурком. В завершение обязательно устроят пожар! Деревенские забулдыги станут нырять в полымя, чтобы спасти водку. Кто-то вспомнит про невесту, сгребет мятый сугроб под ногами, но откинув фату, заорет: «Мамочки, ведьма!» — и швырнет ее в самый протуберанец! Она, проспиртованная, вспыхнет сразу — изо рта факелом выскочит вопль и...

— Слышь-ка, Шкаликов, — она больно сдавила мне коленку. — Я вот какой сюжет хочу...

Во время разговора, а это были ее путанные монологи, она постоянно теребила собеседника, не позволяя ему отвлечься: то за рукав дернет, то за ногу ухватит.

— Сюжет такой. Наивная девушка из татарской деревни, по фамилии Кабирова, приезжает в Казань.

— Почему Кабирова, а не Маймулова, например? — перебивает невидимый в глубине сумерек Махмут.

— Ка-би-ро-ва! — Клара возбуждена, ее сигарета рисует огоньком злые зигзаги. Она, чертыхнувшись, продолжает пересказывать фабулу. — И тут ее в Казани совращает один Казанова. После чего девушка идет в путаны. Через двадцать лет работы в саунах она встречает мужчину своей мечты.

— Ну, конечно!.. — Махмут хохочет. В него летит окурок, бьется о стену над головой и осыпает брызгами. На мгновенье парень становится различим.

— Короче, он влюблен в нее по уши, — продолжает старуха. — И зовет замуж. Она продает свою квартиру, прощается с подружками. Снимает деньги со сберкнижки. Полная сумка пятитысячных. Пачки перевязаны банковской лентой. На ней такая шляпка с вуалькой.

— Извините, а это какой век? — робко спрашивает Махмут, и в темноте слышно, как в него шелестит амбарная тетрадь.

— Они сидят в кафе на Набережной под Кремлем, — Клара не спускает с меня глаз, сверлит. — Ужинают. Выпили по бокалу, и он ее зовет полюбоваться на кровавый закат. И подойдя к обрыву реки, спихивает вниз. Слышь? Брезгливо так. Обрыв я тебе завтра покажу. Я буду в главной роли, а Махмут меня будет сталкивать вниз своей волосатой ногой...

— А ничего, что кафе в Казани, а обрыв здеся? Не смонтируется! — не унимается жених-убийца.

Резко схватив бутылку, она направляется к нему, и я слышу, как они целуются. На пол стекает струйка. Во дворе бегает белая курица. Потом появляется белая кофта и загоняет ее в черный сарай.

— Можно последний вопрос? И все-таки, почему Кабирова? — изображая из себя папарацци, потешается Махмут.

— Патаму шта фильм будет называться «Ночи Кабировой»! — кричит старуха.

В эту ночь я уходил от них три раза. Но у порога она хватала меня за руку, усаживала рядом и в который раз принималась пересказывать сюжет.

— Слышь, у меня есть платок. Оренбургский пуховый...

— Это я подарил!.. — звучит из угла пьяный голос.

— Не важно, придурок. Я хочу снять один план в этом платке. Слышь, стою у окна, а на улице падает снег. Пуховый снег. И мы сливаемся с ним в одно целое.

— С кем с ним?.. — Махмута уже покачивает.

— Отвали! — старуха кутается в воображаемый платок. — И в это время — на-на-на — звучит музыка Нино Рота.

— В рот вас всех! — сползает на матрас Махмут и отключается.

Утром я проснулся на плече Махмута. Слава богу, не на ее. Первое что увидел: в солнечной пыли Баба Яга курит *Camel*, стряхивая пепел себе в приоткрытый кулачок. Бородка ее светится, как паутинка на чердаке. Толстая мышь пирует остатками на столе. На журнале распотрошена селедка. Наискосок по моему фейсу тянутся кишки. Я отпросился по нужде и тихонько смылся. Хорошо, что я им не показал, где живу, иначе приперлись бы, а я уже истосковался по трезвости...

Я стал побаиваться случайной встречи с ними. Подходя к сельпо или пристани, осматривался. Они мне мерещились в проходящих парочках. Я как будто бы слышал их голоса за спиной. Вжимал голову в плечи и ускорял шаг. Потом подзабыл и успокоился.

И вдруг ночное небо над деревней растрескалось, как черное стекло. На крыши посыпались иголки фейерверков, и тычки салютов выбили застарелый воздух, как ковер. Свадьба! — вспомнил я. А утром начался пожар. Как по сценарию! Завизжала пожарная машина. Что-то хлопало и взрывалось. Шифер трещал, языки огня принялись лизать скворечник. Рядом с домом быстро краснела зеленая еще вишня. Гостей и новобрачных в доме не было. Они спали вповалку на холме, откуда в Волгу прыгали пустые бутылки.

Наконец появилась старуха в мятой фате и, кривой сигаретой в зубах. Клара, увидев меня, вцепилась в рукав и зарыдала. Дружки тащили под ручки жениха, он был в одном носке. Но пожар не остановил свадьбу. Догуливали с пожарными на пепелище. Накрыли фуршет на трех перевернутых бочках. На яблоньке сушились спасенные паспорта и опаленные денежки. Меня затянуло в воронку гулянки, похожей на пирушку бомжей. Пьяная невеста танцевала на золе и была похожа на Смерть.

Затем отяжелевшая свадьба переместилась в Казань — в монтажную телевидения. Клара была в спортивном костюме «Адидас», но постоянно вытаскивала из сумочки фату, как доказательство свадьбы. Подтянулись прежние мужья — их было трое, и все они работали на ТВ. Сидели скромненько в уголочке. Каждый принес подарок — бутылку водки и садовый букет. Заныл магнитофон. Клара подошла к распахнутому окну и, как будто стоя у реки, сняла с себя одежду, смахнула кружевное белье. Это был танец вакханки. Махмут пытался накрыть ее пиджаком, но она уворачивалась.

Через неделю раздался звонок на мобилку.

— Написал? — спросил мужик.

— Что? — не понял я.

— Сценарий... Ты же всех подводишь! — И тут я узнал голос Клары.

С этого дня началась наша совместная работа. Я получил пропуск на телевидение.

День рожденья у Клары был 2 января, поэтому начинали отмечать уже 31-го. Махмут попросил меня помочь разгрузить покупки. Жили они неподалеку от телестудии. Так я оказался у них дома. В коридоре растеклась мыльная вода. Клара, не выходя из спальни, крикнула, что забыла шланг от стиральной машины вставить в унитаз. Прибегал сосед. Пособачились, потом выпили, стоя на стопках журналов «Киносценарии».

Меня стали водить по комнатам. В спальне на роскошной кровати с бархатным пологом и золотыми кистями дымились какашки. Шторы впитывали мочу. Под ногами прошмыгнула радостная собачка. Дорогая мебель соседствовала с хламом. Все было загажено. Даже зимой по залу носилась муха.

Елку наряжать не стали — она начала осыпаться. Просто поставили коробку с игрушками рядом. Мою отбивную стащила собачка. Я поднял тост за Клару и за наш фильм. Она требовала еще и еще. И тут Махмут торжественно вкатил кофейный столик.

— Кларушка моя, это тебе... Конец девятнадцатого века. Неизвестный мастер по

фамилии Крюгер, — заверил он. И тут Махмут запнулся о загнувшийся край ковра и рухнул на хрупкий столик, смяв его, как вафельный торт. Изящные перильца хрустнули и отлетели. Одно колесико запрыгало в коридор.

— Блядь, — сказал Махмут, отряхиваясь. — Конец девятнадцатого века. Конец!

Обломки были свалены на балкон, и про столик быстро забыли. Потом был подгоревший гусь. Черный лебедь! И опять Клара танцевала голой под *«Maybe» Janis Joplin*. Я понял, что это обязательная программа. Новый год, конечно, проморгали, но потом догнали. Даже стрелки на старинных часах назад перевели. Дубль два!

После длинных праздников еще долго не могли приступить к начатым в прошлом году съемкам о несчастной судьбе деревенской татарки. Люди воскресали со скрипом. Последним появился бледный оператор, он украдкой припадал к пузырьку с корвалолом...

Как-то у Клары разболелась голова и она ушла пораньше, оставив Махмута в монтажной доделывать рекламный ролик. Войдя в лифт, сунула руку в сумочку и не нашла ключи. На подоконнике вытряхнула содержимое, похлопала по карманам шубейки — пусто! Махмут во время монтажа мобильник отключал, пришлось возвращаться. Толкнула дверь в редакцию — закрыта. Собралась идти в монтажку, как вдруг услышала возню. Постучала. Там притихли. Отошла в сторонку и стала ждать. Наконец дверь приоткрылась, и в коридор выскочила ассистентка Юлька. Напоролась на взгляд Клары и как будто бы даже перепрыгнула его, как препятствие. Клара вошла в редакцию. Махмут заправлял рубашку.

— Все смонтировал?

Махмут отвел глаза, но затем взглянул с вызовом, открыл рот и ничего не сказал. В дверь просунулась мокрая головка Юли и потребовала: «Махмут, ну скажи ей!»

Клара упала в кресло и пальцами начала шелушить бычки в крышке бобины из-под кинопленки.

— Мы любим друг друга... — промямлил Махмут. Юля ухватила его за руку, и тогда он повторил фразу более четко.

Задребезжал шкаф с кассетами, и портретик Клары с Махмутом, поджав ножку, упал навзничь. По редакции пробежала судорога. Махмут ушел ночевать к Юле. В спешке забыли затворить окно, и ночью круглый аквариум с золотыми рыбками превратился в ледяной шар. Клара взяла отпуск и улетела в запой.

Сначала пила одна, затем с соседом, которого заливала. Потом вынесла бомжам всю коллекцию дорогущего виски, которое собирали несколько лет, привозя из-за границы. Кто-то видел ее в белой шубейке около костра с нечесаными типами. Она сидела, подбоченясь, как атаманша, и сплевывала в пламя. Языки огня плясали на ее страшном лице. Ей прислуживали. Клара сосредоточенно рвала фотографии и кормила клочками костер. Потом побросала туда все семейные фотоальбомы. Те затрещали, распахиваясь. Лицо Махмута потемнело, вздулось и вспыхнуло.

Бомжи ночевали у нее несколько дней. Что не успели стянуть, она им сама подарила — ушли все вещи Махмута от курток до трусов. Раздарила все его головные уборы из разных стран: вышитое гарусом сомбреро, пробковый шлем колонизатора, ковбойскую шляпу из кожи буйвола, турецкую феску...

Бомжи нарядились и, оставив Кларе ворох вонючих тряпок, разбрелись по помойкам. Прохожие на них оборачивались, дети думали, что в город циркачи приехали. По району поползли слухи, что в Казань пришла благотворительная помощь из США. Якобы какая-то богатая американка раздавала пакеты с продуктами и шмотками. Матрас на кокосовой стружке Клара выбросила с девятого этажа, он улетел ковром-самолетом. Супружеское ложе изрубила топориком. На третьи сутки решила спрыгнуть с балкона, о чем предварительно сообщила секретарше Ольге. Та, сердобольная, сразу же примчалась. Уговоры, слезы не подействовали. Клара вырывалась

на заснеженный балкон и несколько раз заносила ногу на перила, как гимнастка на станок. Ольга, отдежурив до утра, позвонила оператору, и тот ее заменил, затем на вахту заступил звукорежиссер, потом появилась редактор...

У ее кровати посменно дежурила вся редакция: за водкой бегали, тазики подставляли, собачку выгуливали, от наглых бомжей отбивались. И вот в один из дней, когда за начальницей приглядывал ассистент режиссера Марсель, его вдруг вызвали на незапланированные съемки. Он обзвонил всех в редакции — как назло все оказались заняты. Что делать? Попросил своего брата Рафаэля, который работал в соседнем магазине грузчиком, выручить — посидеть с часок. Тот пришел в вылинявшем халате с бутылкой крепкого пива и копченой мойвой в пакетике. Это был его обед. Уселся рядом с кроватью Клары и стал жевать, прихлебывая, с любопытством поглядывая на ком одеяла. Скоро в складках показался дикий глаз. Затем высунулась костлявая рука и стащила пиво.

Когда Марсель вернулся, то застал такую картину: Клара в рабочем халате Рафаэля жарила яичницу с колбасой. Счастливый грузчик целился струйкой в узкие рюмки и рассказывал ей, как по пьянке съел таракана, приняв его за финик, а тот даже с откусанной башкой убежал. Клара хрипела (так она смеялась), халатик распахнулся, кетчуп брызнул на осунувшуюся грудь. Они, не замечая Марселя, курлыкали.

— Рафаэль, а че это я тебя раньше там не видела? Сколько уж хожу в этот магазин...

— Пойми, женщина, я ж с сигареткой на входе не прохлаждаюсь, я — на складе картошку фасую. И вот на этом загривке, — он треснул себя по шее, — наверх мешки подымаю.

— А я думала, ты там весь в ананасах!..

— Ага, держи карман... Луком уже провонял, как колхозник.

Теперь Рафаэль являлся к ней на дежурство каждый день. Клара энергично взялась за развод и дележ имущества. Квартиру и дачу отстояла. Махмуту достался только старенький «Форд». Все делала быстро, со злостью.

Грузчик преобразился! Она его помыла, постригла, приодела в модном бутике. В сентябре сыграли свадьбу. Сотрудникам телевидения были разосланы золотистые конвертики с приглашениями. Получил его даже Махмут. И началась для Клары «вторая серия». В общем-то все осталось по-старому, только заменили в сериале актера, играющего главного героя. Устал парень! Они все так же ездили на дачу, на том же «Московском», сидели на тех же самых местах. В саду Рафаэль качался в кресле, облачившись в халат прежнего мужа, расхаживал по саду и бренчал пивными пробками в кармане.

Это был единственный грузчик в Казани, который ходил посреди зимы с золотистым загаром. В свадебное путешествие «молодожены» отправились в круиз по Средиземному морю, а уже через месяц улетели на Тенерифе. На работе на него косились, завидовали. Ненадолго прощали, только когда угощал импортным бухлом. Просили: «Покажи да покажи богатую молодуху!» Рафаэль не показывал.

Грузчик быстро втянулся в новую роль, стал подыгрывать. Клара купила ему белый «Фольксваген». Лицо его округлилось, пленочка заволокла взгляд, перед тем как что-то сказать, он произносил «фе-фе». Кларе нравилось, что в профиль он напоминал Андрея Миронова из фильма «Блондинка за углом». Она даже подарила ему на день рождения телескоп, раз уж герой Миронова — грузчик Николай Гаврилович — был бывшим астрофизиком!

Как-то зимним вечером, одолев бутылку коньяка, Клара накрыла лицо распахнутой книгой (ей нравился сладковатый запах бумаги) и захрапела.

— Да че она?! Нахрюкалась и дрыхнет. Сдохла бы уж эта старая блядь... —

жаловался кому-то обнаглевший Рафаэль. Но вдруг осекся, трубка выскользнула из ладони и спряталась в тапку. Клара, подперев кулачком щеку, внимательно его слушала. Он съежился, по морде забегала кривая улыбочка шестерки, которую сейчас будут бить.

Она выпрямилась, хрустнув позвонками. И одной рукой сдирая с Рафаэля стеганый чапан, а другой выкручивая ему нос, начала активно подталкивать его коленкой к входной двери. Он визжал, как женщина, потом всю ночь мычал, полуголый, за дверью. Скребся. Клара бросила ему куртку, выдернув ее из-под собаки, и навсегда захлопнула перед ним двери.

Запой на этот раз закончился в больничке под капельницей. Стихшую и послушную, ее увезли две родные тетки в Чистополь — в однушку покойной бабушки. Там она и прожила, как мышь, целый месяц. Время от времени находила в сумрачных комнатах то помятого Ваньку-встаньку, то безглазую Машу, то ночник в виде лотоса из пластмассы с красным зрачком, то бухгалтерские счеты, на которых каталась ребенком — и вспоминая, грустно улыбалась.

Ее навещали, старались ободрить добрым словом, приносили еду. Разговаривали с ней ласково, как с больной. Но вскоре взгляд ее стал осмысленным, и однажды утром в зрачках блеснул холодок. На столе снова появилась бутылка — и пошло-поехало. Она перестала пускать теток. Квартира превратилась в распивочную, здесь всю ночь гундосили какие-то мужики-приблудыши. Вспыхивали драки. Соседи вызывали милицию.

Был январь, самый конец. Клара шла по ледяным буграм и материлась, вынимая ноги из колодок смороженного сугроба. Торопилась. Хозяин частного дома, встав на ящик, чесал лопатой белый язык на крыше. Из трубы попыхивало. Старуха глотнула дымок и сразу успокоилась. Ей русская печка из детства припомнилась. Сверху ноги торчали в шерстяных носках — все в заплатках. Это мать при смерти. Охала, ахала, черта и бога вспоминала, но вдруг спрыгнула, как девушка, и одним привычным движением свалявшиеся пряди в седой хвост убрала.

— Ты чего, мать? — вздрогнула Клара. — Лежи...

— Сама лежи, а я пошла... — и, ухнув плечом примерзшую дверь, выскочила во двор в одной ночной рубашке.

Пока Клара соображала, та уже растворилась в поземке. Через день ее белое лицо во льду увидели рыбаки. Она щекой прижалась к окну замерзшей проруби и смотрела с того света рыбьим глазом.

...И тут глыба обрушилась на куст, студентки отпрыгнули, но Клара стояла как вкопанная. Пакет выбило из рук, бутылка убилась, и сплющилась банка килек. Ледяная мука покрыла лицо.

Целый вечер Клара просидела у окна. Смотрела в одну точку — на потухший фонарь. Остальные нервно светили, подмигивая, он один лил мглу вокруг себя. В сумке заиграл телефон, но она не шелохнулась. Только утром взяла. Оказалось, подруга ее, Нинка, с которой они дружили еще со школы, померла от цирроза. А ведь совсем недавно выпивали — отмечали вдвоем 23 февраля!

Клара стояла у красного гроба, поглаживая бортик, поправляя оборки, и как будто бы себя хоронила. Говорила же всем по пьянке: «Хочу в красный гроб!» С поминального стола ушла трезвая. Пробиралась сквозь снегопад. Весь городок был в саване, оконные рамы чернели крестами... Ей тотчас захотелось уехать обратно в Казань. Запрыгнуть в рейсовый автобус, и поминай... Придя домой, села у окна и опять смотрела на погасший фонарь.

Наступила весна. Пьяные солнечные ножи кромсали прятавшийся по углам снег. На крыше телестудии, как на сковороде, прыгала рыхлая льдина — пускала пузыри,

брызгала салом. Весело умирала! В вестибюль вошла женщина в каракулевой шубе и отряхнула капли. Скинула шубу и оглядела себя в зеркале. Она была в красном платье с черным жуком на шее. Проходивший мимо оператор Бульин взвизгнул по-бабьи:

— Кла-ара? Ты ли?..

Она улыбнулась, как лошадь на параде, чтобы показать ему вставные зубы. Ладошкой попружинив кудряшками парика, направилась к лестнице. Бульин смотрел ей вслед, как крепостной. Барыня вернулась! И уже не мог припомнить, куда так спешил.

Весенние лучи расцеловали ей носки сапожек. Ее с трудом узнавали и пропускали, прижимаясь к стенке. У кого-то в мобилке заиграла увертюра к опере «Кармен». Ропот пробежал по телестудии. Сам генеральный, выйдя из кабинета, раскинул руки: «Клара Карповна, с возвращеньем!»

В редакцию Клара вошла тихо. Сотрудники превратились в рыб. Махмут спрятался в комнатушке у операторов. Первым опомнился режиссер Фарид — машинально потянулся к шкафчику, где стояла бутылка коньяка. Клара согнала со своего кресла беременную Юльку и пододвинула телефон. Раскрыла пухлую черную книжку и принялась названивать. Буднично, по-деловому, как будто бы она только сегодня вышла из отпуска.

Тайные недоброжелатели под разными предлогами заглядывали в редакцию, чтобы только посмотреть на воскресшую Клару. Хотели накрыть стол, но она холодно пресекла. Просто крутанулась в кресле и показала всем прямую спину. Потом в курилке кто-то обронил: «Какая-то она не кларистая!»

Коньяк поначалу светился янтарной лампочкой в редакционном шкафчике, предвкушая шумную встречу, но затем, всеми забытый, угас, как лампадка перед отекшим ликом Бахуса. Собираясь домой, Клара заметила под стеклом старую фотографию, где они вдвоем с Махмутом держат над головой кубок «Тэфи» и сияют. Вытащила и покрошила в урну. Потом приблизилась к зеркалу и, прищурившись, осмотрела незнакомое лицо.

— Я вернулась! — сказала сама себе.

Она шла по черной улице, похрустывая ледком, в пустую квартиру, и вдруг ей показалось, что рядом кто-то идет — след в след. Обернулась. Никого.

Дверь прикипела — с хрустом отодралась от косяка. Клара прошла в зал. Стянула с себя шарф. Свет не стала включать. В полутьме нащупала спинку гнутого стула. Присела, поставив сумочку на колени, и подняла глаза на белый квадрат, елозивший по стене. Со стороны могло показаться, что Клара сидела в кинотеатре, ожидая, когда же начнут крутить ее любимый фильм Феллини «Ночи Кабирии». Она была единственным зрителем, и киномеханик в будке все раздумывал, включать ли трескучий пыльный луч или стоит еще немного подождать...

Клара сунула руку в сумочку и вытащила половинку разорванной фотографии, с которой на нее смотрел счастливый Махмут. Пальцем поправила ему наэлектризованную челку и затылком ощутила исходящее из угла комнаты человеческое тепло. Если бы он сейчас положил ей тяжелые руки на плечи и стал душить, то она бы только улыбнулась.

Владимир Торчилин

Лестница

Рассказ

Жизнь по преимуществу печальна. А потом сразу умираешь.
Януш Вишневский

— Двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь...

И все медленнее.

— Двадцать девять, тридцать... Господи, ну какого хрена весь мир состоит из лестниц! Куда ни пойдешь — одни лестницы. В метро спуститься — лестница, из метро подняться — опять лестница. Да даже с одной стороны улицы на другую перейти — опять лестницы! В музей — лестница, из музея — лестница. Конечно, лифты тоже кое-где есть, но не они миром командуют, а лестницы! Лестницы... лестницы... лестницы...

Он попытался вспомнить, когда впервые обратил на это внимание. Вроде бы, это было в Лондоне. Да, наверное, в Лондоне, где он всегда клял старое метро, построенное еще без эскалаторов, с многочисленными переходами вверх-вниз, когда нельзя даже на минуту остановиться передохнуть — хотя какой там воздух в лондонской подземке, как ни лови его, дыхание все равно восстанавливается медленно, а остановиться нельзя, поскольку всегдашняя плотная лондонская толпа неумолимо заставляет шагать по ступеням в темпе, заданном куда более молодыми пользователями подземки, которые, небось, этих лестниц и не замечают — прут себе и прут. Особенно, помнится, это доставало его на станции «Рассел-сквер», где, чтобы добраться до поднимающего на уровень улицы лифта, надо было отшагать черт знает сколько ступенек по истоптанной тысячами — да что там тысячами, миллионами, наверное! — лестнице. И ведь каждый раз, когда ему приходилось бывать в Лондоне по делам, фирма, как специально, селила его всегда в одном и том же отеле, на этой самой клятой «Рассел-сквер», так что эта лестница ему даже в кошмарах порой снилась. Странное, кстати, дело — всего лишь какая-то лестница, а в ночном сне она являла собой кошмар и, главное, без всяких там особо страшных выкрутасов — просто удлинялась и удлинялась, да так, что ее выводящий к лифту верхний конец уходил куда-то в такую даль, что его и видеть перестаешь, и сам себе он представлялся тогда каким-то

Владимир Торчилин родился в 1946 году в Москве, окончил химический факультет МГУ. Доктор химических наук, профессор, лауреат Ленинской премии в области науки и техники, живет в Бостоне, работает директором Центра наномедицины в Северовосточном университете, США. Прозаик, автор книг: «Странные рассказы» (М., 1995), «Повезло» (США, 1997), «Время между» (М., 2000), «Кружок друзей Автандила» (М., 2006), «Лабух» (М., 2012), «Дом на Маросейке» (М., 2016), «Поговорим о странностях любви» (М. 2018) и многих журнальных публикаций. Предыдущая публикация в «ДН» — 20017, № 5.

сизифоподобным созданием, обреченным до бесконечности тащить свое погрузневшее к старости тело по грязным каменным ступеням. Просыпался он, задыхаясь и взмокши так, что аж сквозь одеяло проступало.

Или нет, может, в Париже, когда с дамой, что при нем тогда состояла (или он при ней), метались они с одной стороны Елисейских полей на другую через подземные переходы, и ведь каждый раз сначала ступенек двадцать вниз, а потом столько же вверх, и опять, и опять, а все потому, что роскошные магазины, которые ей непременно надо было посетить все до единого, располагались по разным сторонам улицы, а когда он в конце концов отстал от нее на добрых полперехода и ей пришлось ждать его, нетерпеливо постукивая ногой по разбитым плитам подземной мостовой — ну чисто лошадка перед выездкой, то, дождавшись, она, донельзя раздраженная задержкой, — еще бы, вдруг чего-то досмотреть не успеет! — в ответ на его жалобы по поводу этих замучивших его лестниц негромко, но отчетливо прошипела: «Чтоб ты сдох!» Впрочем, дело в любом случае шло тогда к расставанию. А вот лестницы запомнились.

В общем, заметил он это так давно, что уже и не вспомнить точно. Лет двадцать тому. Вот, значит, сколько времени он уже сражается с лестницами. И похоже, сражение свое проигрывает, хоть пока и сопротивляется. Да в общем-то, какая разница, где именно он разглядел в лестницах своего врага, главное, что эта вражда появилась и не только со временем никуда не ушла, но совершенно напротив — становилась все сильнее и ожесточеннее. Всегда ли так было? Наверное, нет, но того, что было до этого лестничного периода его жизни, он уже просто не помнил...

И потом, уже не с временной знакомой, а с вполне постоянной законной женой, которая нередко отправлялась с ним в его частые командировки, особенно если ехать ему надо было в места, по ее мнению, интересные или еще ею не посещавшиеся, именно лестницы портили ему все удовольствие. Он вспомнил, как она, большая любительница походить-полазать по всяким интересностям, затащила его на крепостную стену в Дубровнике, где ступенчатых подъемов и спусков оказалось несчитано, и он еще тащился за ней, с ненавистью глядя на ее стройные ноги, мелькавшие у него перед глазами, легко пересчитывая ступени. Она торопила его от одного роскошного вида к другому, а ему не хотелось признаваться, что ноги уже просто отказываются взбираться по очередной лестнице, и он, чтобы хоть чуток передохнуть, останавливался как бы полюбоваться открывающимся с высоты пейзажем, на который он и не смотрел, непрерывно думая единственную оставшуюся в голове мысль: сколько еще этих чертовых ступенек надо будет пересчитать, прежде чем вытянуться на прохладной простыне в гостинице?

Лишний вес, лишний вес, про который все время толковала ему жена, — да у него всегда был лишний вес, и ведь это никогда не мешало ему ни в чем, точнее, не мешало (если это и правда именно лишний вес виноват, а не какая иная, менее очевидная и более инфернальная причина), пока не началась эта его борьба с лестницами.

И он, не забывая считать пройденные ступени, продолжал мысленно множить свои претензии. Вспомнил Сицилию, где их гостиница с конференц-залом стояла на крутом средиземноморском берегу, а все самые лучшие рекомендованные им консьержем рестораны были внизу, у самой воды, и когда они все сидели за столиками, заставленными тарелками с самой потрясающей едой и бутылками с темным сицилийским вином, он, как и все другие, восхищался трапезой, но в голове была только одна пугающая мысль: как он будет, да еще после такого ужина, карабкаться, стараясь не отстать от компании, по всем этим ста тридцати четырем — вот, до сих пор точное число помнит! — ступеням обратно к номеру.

Или маленькие итальянские городки, где так часто устраивали деловые встречи его партнеры, а потом шли побродить, и всегда бродить надо было по лестницам, ведущим от вполне цивилизованного подножья холма, где стояли новые районы с удобными гостиницами и вполне достойными ресторанами, к вершине, где располагался

старый город, который почему-то всегда казался коллегам интересным и достойным специального посещения, хотя таких же городов, с такими же площадями, и церквями, и магистратами, было не счесть на многочисленных тосканских и умбрийских холмах. И он послушно шел со всеми и тоскливо взбирался, стараясь даже не участвовать в разговоре, чтобы окончательно не потерять дыхание, и мечтая, как часа через полтора-два будет спускаться вниз.

Вот и в этот раз — ну кто его тянул соглашаться на то, чтобы отметить завершение встречи в каком-то знаменитом ресторане на самой вершине возвышающейся над городом горы, хотя не менее знаменитых ресторанов в двух шагах от гостиницы и безо всяких подъемов он насчитал добрых полдюжины, и к его мнению как старейшины точно прислушались бы. Так нет, согласился с этими молодыми козлами, что ужин с видом на ночной город — это самое то, и именно там надо завершить их короткий, но весьма плодотворный визит в этот город. Прямо скажем, легкомысленно согласился — то ли чтобы вместе с ними чувствовать себя молодым, то ли чтобы не дать им почувствовать, что он больше не молодой, — и вот теперь с трудом пересчитывал ступени на этой бесконечной лестнице.

Ну зачем мне непременно надо было переться по этой лестнице?! Ведь можно же было по нескольким улицам, не торопясь, добрести. По карте же ясно было, что можно. Не торопясь, по полого поднимающимся вверх брусчатым мостовым, без этих лестничных сердцебиений и задыханий... Нет, захотелось время сэкономить! По лестнице напрямик подняться! Только кто же мог знать, что этой лестнице конца не будет?

Пятьдесят пять... пятьдесят шесть... пятьдесят семь...

Нет, тут точно передохнуть надо, а то сердце изо рта выскочит, да и дышать совсем тяжело. Такое впечатление, что все время врали, и в воздухе кислорода вовсе не двадцать процентов, а от силы процентов восемь, если не меньше.

Он привалился к перилам и постарался дышать поглубже и поспокойнее, но все равно воздух в легкие шел рывками и с трудом.

Город светил вечерними огнями снизу. Ну, и что такого особенного в этих вечерних огнях? Огни — они и есть огни. Даже непонятно, на чем. Почему это должно считаться каким-то исключительным видом? Ладно бы еще днем — тогда хоть город видно, и реку, и мост красивый, и махину собора, а ночью-то что?

Он стоял, облокотившись на металлические перила и глядя вниз, и чувствовал, как сзади его обходили другие люди, для которых, по-видимому, подъем по лестнице был делом привычным и нетрудным, если судить по их частым и равномерным шагам.

А он смотрел вниз, видел, или, точнее, не видел, а ощущал, как между ним и городскими огнями пролетают незаметные в темноте птицы — об их присутствии можно судить только по тому, что на мгновение пропадают из поля зрения некоторые огоньки внизу, — и почему-то вспомнил, как когда-то давно, он даже забыл, где именно и когда именно это было, он смотрел из окна своего номера в отеле около аэропорта на многочисленные аэродромные огни и вдруг заметил, что некоторые посадочные огоньки и освещенные окна отелей на противоположной стороне за оградой аэродрома ненадолго исчезают, чтобы появиться вновь, а теперь уже исчезают соседние, как будто какая-то темная волна неторопливо катится по полю. И ему понадобилось время, чтобы понять, что это всего лишь выруливает к взлетной полосе очередной самолет, неразличимая в темноте туша которого просто на несколько секунд оказывается между ним и огнями.

И это воспоминание потянуло его еще дальше, в когдатошнюю осень, когда он сидел дома у окна и смотрел, как из леса на поляну перед домом выходит туман. Туман двигался медленно, неотвратимо и очень старательно замазывал каждое дерево, так что сначала от дерева оставалось только несколько темных пятен, которые потом

бледнели и уменьшались, пока не исчезали в белом, и тогда туман принимался за следующее дерево...

В этот момент он одернул себя, осознав, что все эти воспоминания его хитроумная память вытаскивает одно за одним, просто чтобы подольше подержать его на этом месте и сколько можно отсрочить его тяжкое восхождение. Нет, он сильнее собственной слабости и будет продолжать свой поход вверх, тем более что время уже вовсю поджимает, да что там поджимает — он опаздывает минут на пятнадцать, так что его сотрапезники уже, небось, приступили к ужину — семеро одного не ждут.

И он двинулся в путь, приговаривая в такт шагам вполне уместное на этот момент: «Ты чего, едрена вошь, без меня какаву пьешь?» Помогло ступенек на тридцать. А дальше пошел все более мучительный и прерывистый счет:

— Восемьдесят две... восемьдесят три... уфф... восемьдесят четыре...

Попалась на глаза валяющаяся (брошенная? забытая?) на ступеньках книга. Наверное, осталась от студентов, которые при свете дня умудряются читать на лестнице учебники, специально для этого задерживаясь (как ему объяснил кто-то из местных) на пути из нижнего в верхний университетский кампус. Но память опять потащила его в сторону, и он вспомнил большие шершавые, блеклых тонов книги, с коричневатой толстой бумаги которых смотрели мелкие буквы однотомных полных собраний классиков минувших времен. Ему всегда казалось странным, как это: вот, к примеру, хоть Пушкин — стоит у отца на полке десяток плотных синих с золотом томиков, полное собрание, и понятно, в десяти-то томах все что хочешь собрать можно, а как же то же самое из десяти томов в один уместить — и опять полное? Потом как-то эти книги исчезли, понапрасну проошивавшись по самым затрапезным и не привлекавшим ничьего внимания полкам многочисленных тогда букинистических магазинов. Эти магазины он помнил. Они открыли ему глаза на то, что книга пригодна вовсе не только для чтения, но и для того, чтобы, всунув ее в окошко приемщицы со лживым поручением «от мамы», получить в награду за страх и потные подмышки сколько-то там мятых бумажек и мелочи.

Потом вспомнилось еще что-то, потом еще, и он уже даже не очень понимал, о чем, собственно, он сейчас думает, но продолжал медленно и упрямо карабкаться, ловя ртом какие-то жалкие куски шершавого воздуха и чувствуя, как в ушах отдается рваный стук сердца.

Сто восьмая... Сто девятая... Сто десятая...

Время как будто остановилось. Его теперь никто не обгонял, потому что уже не было никого на лестнице в тот поздний час, когда он копошился на сто десятых, давно опоздав к ужину и даже позабыв о нем. Все, что он помнил, — это то, что перед ним очередная лестница и он должен по ней куда-то взобраться.

Наверху его ждали. Ждали долго, но когда прошло уже больше получаса от назначенного для встречи времени, решили все-таки начинать без него. И кто-то даже убедительно произнес, как бы подводя ожиданию итог: «Похоже, он передумал. Мы его не дождемся».

И не дождались...

Нашли его утром, когда ранние уборщицы вышли вымести лестницу от остатков вчерашнего вечера — стаканчиков из-под кофе, банок из-под пива, окурков и прочего. Он стоял на коленях, привалившись виском к скале справа, не видный ни снизу, ни сверху, поскольку этот пролет как раз соединял нижнюю и верхнюю части лестницы и ниоткуда не просматривался. И если кто-нибудь не поленился бы посчитать, то оказалось бы, что эта ступенька сто тридцать третья, если считать снизу, а доверху ему оставалось еще семьдесят две...

Павел Кошелев

Стук и молния

Рассказ

Бабушка боялась грозы. Когда начинало сверкать, бабушка бросала лейку и бежала домой. Еще не добежав, она кричала, чтобы я выключил из розетки телевизор и все остальные приборы тоже, но в первую очередь телевизор. За телевизор бабушка боялась больше всего.

— В окно не смотри, гроза не любит этого, — тихо говорила она, а сама, отодвинув штору, посматривала.

Я не боялся грозы. Разве что в те моменты, когда молния падала совсем близко, и на секунду серая, будто набитая мокрым войлоком комната ярко вспыхивала, а затем растворялась в громе. Казалось, что в небесной ткани лопаются древние швы. Почва дрожала, и с корневым равномерным треском медленно падали сосны, цепляясь лапами за провода.

Бабушка покачивалась, сидя на стуле, и еле слышно молилась. Смысла священных слов я не понимал, но знал наизусть. Перед сном она всегда повторяла их, стоя напротив импровизированного иконостаса, выставленного на книжной полке. А я не спал, я слушал. Интересное скрывалось в конце, когда сама молитва заканчивалась, и она говорила: «...помоги мне завтра», а затем, почесывая одной ногой другую, судорожно составляла планы: «значит, полить огород, прополоть свеклу, вещи постирать... что же еще?» Я еле сдерживал смех. «Разве можно говорить с Богом о такой ерунде?» — думал я. Но во время грозы ни о каком огороде речи не шло. Бабушка просила, чтобы это поскорее закончилось и чтобы мы остались живы.

Я же втайне от бабушки беззвучно молился, наоборот, чтобы гроза продолжалась. Пока она длилась, все тихо сидели в своих избах и даже не смотрели в окна. Это были долгожданные часы спокойствия. Но, видимо, бабушкина молитва всегда оказывалась сильнее моей. Гром утихал, мы включали телевизор обратно в розетку, солнце робко светило, а собаки радостно гонялись за тракторами и рылись в мокром песке.

Некоторые грозы были сухими, без дождя. Таких гроз бабушка боялась больше всего. Она говорила, что молния может попасть в дерево, оно вспыхнет, и тогда весь лес сгорит. А лес был нужен. Лес был скрипучим и черным, но если бы не лес, то нам бы совсем не было покоя. В лесу скрывался наш с ней покой. Там росла черника. Местные собирали ее и сдавали, а потом на городских заводах из нее делались йогурты. Я с детства знаю, из какой черники делаются такие йогурты. Такие йогурты делаются из черники, собранной холодными, дрожащими с бодуна руками, на которых не хватает нескольких пальцев. Сдав чернику, эти руки сгребали мелочь и несли ее в единственный магазин. На прилавках лежали гнилые фрукты, мизинчиковые батарейки, липкие ловушки для мух — создавалось впечатление, будто много всего, хотя ничего

Павел Кошелев родился в 1997 году в Северодвинске (Архангельская обл.). Учился в Рязанском Радиотехническом Университете, во ВГИКе (сценарный факультет). Печатался в журнале «Новая юность». Живет в Москве. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

толком и не было. Разве что портвейн. И вырученной с черники мелочи хватало как раз на него. А иногда не хватало. И когда не хватало — покоя у нас не было.

Бабушка работала в школе. Преподавала химию, биологию и географию. Все местные когда-то были ее учениками (двоечниками, разумеется). Из-за этого им казалось, будто они не чужие, будто всегда могут зайти. А может, дело было в том, что наш дом стоял отдельно от всей деревни, на песчаном пустыре возле автомагистрали. Может быть, местные думали, что мы чувствуем себя слишком отчужденно. Что они — красные, зарубцованные, с выгоревшей на солнце щетиной и хриплыми голосами — скрашивают наше одиночество. Но приходили они, конечно, не за этим.

Иногда настойчиво предлагали купить окуня или протухшую говяжью печень, скользящую по дну эмалированного таза, но обычно просто просили в долг. Долгов они, понятное дело, не возвращали, делали вид, что не помнят, а может, и правда не помнили. Бабушка никак не могла привыкнуть к их настойчивости. Хотя в особо удачные разы ей удавалось договориться на чуть меньшую сумму. Так или иначе, с пустым карманом местные не уходили никогда.

Конечно, я боялся их. Я их ненавидел. Но еще сильнее я боялся именно стука в дверь. Сама его возможность держала меня в постоянном напряжении, заставляла вздрагивать от каждого шороха, вызванного моим же воображением.

Чтобы не сойти от бесконечной тревоги с ума, каждое утро я уходил в лес. В нем мне было гораздо спокойнее. Тропа называлась волчьей. Некоторое время я, зажимая нос, бежал мимо мусорных куч. После свалки начинался сосновый бор. Тропа постепенно сужалась, и я попадал в лесную чащу. Деревья скрипели и тянулись верхушками в серое небо, покачиваясь там, в вышине, как гигантские щупальца, покрытым прочным корневым наростом. Я исследовал норы и звериные следы. Отплевывался от паутины и искал ветки, похожие на автомат, чтобы стрелять в воображаемых врагов. При этом я совсем не беспокоился о том, что запросто можно встретить реальных — мохнатых, голодных, злых.

Возвращался, когда начинало темнеть. Ночью не стучали. Могли постучать ранним утром — это запросто. Но ночью — никогда. Поэтому в тот раз я испугался особенно сильно. Осторожно посмотрев в окно, я увидел на крыльце человека, непохожего на тех, что обычно приходили к нам. Он был совсем молодой — не старше двадцати пяти. Обхватив плечи бледными тонкими пальцами, он нервно оглядывался по сторонам. Лёша был одним из лучших бабушкиных учеников, а иначе не смог бы после школы поступить в институт и переехать в город.

Бабушка говорила с золотым медалистом через дверь, закрытую на крючок. На ночь она вынимала вставную челюсть, отчего ее речь была смешной и неразборчивой. Впрочем, сам Лёша говорил очень путано, его лихорадило, казалось, что парень с трудом вспоминает слова. Но даже из этих сумбурных отрывков я понял, что ему нужны деньги на дозу. Постепенно он перешел на сбивчивый крик.

— Я же верну вам! Я верну!

Бабушка пыталась объяснить, что у нее таких денег нет. Она не обманывала. Сумма действительно была слишком большой.

— Лё-ша, Лё-шень-ка, и-ди дом-ой, — говорила бабушка.

Она произносила это отчетливо, по слогам, будто пытаясь впечатать свою простую мысль в чужой воспаленный мозг, пробиться к сознанию. Но голос ее дрожал. Можно было прислушаться и различить хаотичные частые удары ее сердца. Но я слышал только свои.

Спустя несколько минут бесполезного разговора, Алексей перешел на «ты».

— Да я тебя все равно достану, тварь! Слышишь?!

Он всхлипывал и рыдал. Бабушка не отвечала. Она смотрела в пол и тяжело дышала, зажмурив глаза.

Бабушка зашла в комнату, села рядом со мной на кровать. Мы напряженно прислушивались.

— Кажется, ушел, — облегченно произнесла она.

Окно разлетелось с таким грохотом, что если бы не осколки, засыпавшие пол, я бы принял это за гром. В опустевшей оконной раме показались руки. Лёша пытался забраться внутрь, но ему не хватало сил, чтобы элементарно подтянуться. Остатки

стекла впивались в кожу, Лёша нечеловечески выл, не столько от боли, сколько от обиды и беспомощности.

Дрожащими пальцами, едва попадая в нужные отверстия телефонного диска, бабушка набирала номер милиции.

— А зачем мы к вам поедем? — скучающим голосом спрашивал дежурный.

— Как? А если он нас убьет?

— Не бойтесь, не убьет.

Алексей разбивал стекла одно за другим. Иногда он брал паузу, и мы снова наивно думали, что все кончилось, но тут же вдребезги разлеталось новое стекло.

— Лёша, уходи! Уходи, говорю! — повторяла бабушка.

В ответ Лёша рычал и топал ногами. За этим рычанием наверняка скрывались проклятия. Он снова и снова пытался пробраться внутрь, как будто новое окно могло дать новый результат. Сил у него оставалось все меньше, а руки были так исполосованы, что казалось, будто он просто окунул их по локоть в ведро с алой краской.

Лишь через несколько часов тишины, на рассвете, мы решились выйти из дома. Осторожно обошли участок, присматриваясь к свежим кровавым следам.

Его нигде не было. После этого случая никто его больше не видел. Пропал без вести. Мы решили, что он заблудился в черном скрипучем лесу и там его съели волки. Я успел заметить, что у него был маслянистый взгляд безумной собаки, а волки страх как любили заблудших деревенских собак. Вот синий дымчатый рассвет, вот лес, вот изможденная человеческая оболочка передвигается от одного зловещего дерева к другому, оставляя на каждом кровавый отпечаток. Запинается о корень, падает на влажный мох, продолжает свой путь на четвереньках и смиренно встречает любопытных голодных волков, может быть даже пытается почесать одного из них за ухом.

Я представлял это перед сном, укрывшись тремя одеялами, под которыми спасался от сквозняков. Последний летний месяц уже набрал критическую массу, и ночи становились холодными. Днем я все так же гулял в лесу, но скорее просто по привычке — было понятно, что никому не придет на ум просить что-либо в таком доме. Жилища местных, как правило, представляли собой гнилые бараки, но даже они выглядели лучше, чем марля вместо стекол и засохшая кровь.

Как-то утром снова раздался стук. Было интересно посмотреть, у кого хватило наглости. Я с любопытством открыл. Так много людей у нас на участке, кажется, не было никогда. Десятка полтора. Там были все, кто в последнее время приходил за деньгами. Возглавлял их Свисток — усатый худой дядька в камуфляжной куртке — самый частый наш «посетитель». История его прозвища была забыта в напластованиях многих однообразных лет. Бабушка вышла следом за мной.

— Мы тут это... С миру по нитке, как говорится. Не чужие люди ведь... Правильно? — стесняясь, сказал Свисток. Последнюю фразу он произнес, глядя на меня, будто нуждаясь в поддержке.

Только тогда я заметил, что каждый из них держит какой-нибудь инструмент, а позади, за забором, блестят новые стекла, хоть и со старыми, облупленными рамами.

Мужики долго ходили вокруг дома, осматривая его и обсуждая, с чего будет правильнее начать. Когда обсуждать стало совсем уже нечего — они лениво взялись за работу. Дело двигалось медленно. Что-то всегда шло не по плану, и приходилось переделывать. Мужики громко матерились. Каждые полчаса они прерывались на совместный перекур. Казалось, они и сами не верили, но тем не менее к вечеру стекла были на месте.

Забыв все долги и обиды, бабушка предложила местным остаться на ужин — за весь день они ничего не ели, только пару раз пили колодезную воду прямо из ведра. Мужики отмахнулись и, синхронно кашляя, неторопливо куда-то побрели. Их сутулые фигуры долго отбрасывали длинноногие тени на оранжевую землю, прежде чем скрыться из вида. Словно их и не было здесь. Словно с домом ничего не случалось.

Пока не стемнело, мы так и смотрели им вслед. Я и бабушка. А потом все пошло по-старому, по-привычному. Только стука в дверь я бояться перестал. А грозы сами прекратились.

Макс Неволошин

И три копейки на газировку

Рассказ

Каждый раз, отправляясь за город, я вспоминаю забавный стишок:

Стал на рыбалку мужик собираться.
Удочку взял, чтобы рыбу ловить,
Взял дождевик, чтобы им укрываться,
Взял самовар, чтобы чай кипятить.
Взял он кровать, чтобы спать на кровати...

Ну и так далее.

Это про нас. На двухчасовой пикник мы берем:
— еду и напитки;
— одноразовые столовые приборы, которые служат нам много лет;
— раскладные кресла, столик и шезлонг;
— лосьоны от загара и москитов, а также дезодорант на всякий случай;
— полотенца для лежания и вытирания;
— воду для умывания;
— наколенный бандаж — мне: вдруг захочется пройтись (главное — не перепутать ногу);
— очки и шапочки для плавания, затычки для ушей;
— бейсболки и солнцезащитные очки;
— дополнительный комплект нижнего белья;
— два мобильника, айпэд;
— подумав, добавляем таблетки от живота и головы...

Наша кошка Тиша с растущим беспокойством следит за этой возней. Тоска и уныние охватывают ее. Тише кажется, что мы уезжаем навсегда.

А ведь я не забыл, как срывался на Волгу пацаном. Шорты, майка, сандалии и три копейки на газировку. Иногда — с компанией, чаще — один. Одиночество редко

Макс Неволошин родился в Самаре. В прошлом — учитель средней школы. После защиты кандидатской диссертации по психологии занимался преподавательской и научно-исследовательской деятельностью в России, Новой Зеландии и Австралии. Автор двух сборников рассказов: «Шла шаша по соше» (2015) и «Срез» (2018). Печатался в «Новом журнале» и «Волге». Живет в Сиднее. В «Дружбе народов» публикуется впервые.

тяготило меня. Маньяков и киднеппинга в те годы еще не придумали. «Съездил бы на Волгу, — говорила мама, — осенью начитаешься». Шесть остановок зайцем до соседнего поселка. Белая пыль дамбы, щебень, утрамбованный тысячей ног. Перелесок. Прорехи яркой синевы заставляют ускорить шаг. Река, небрежно заштрихованная солнцем. Одежда слетает на ходу. Раскаленный мех песка. Последний бросок — и мы с водой едины. Хлесткие пощечины от волн. Борьба с течением, которое все равно уносит метров на пятьдесят...

Затем я выбираю людное место — какая-никакая страховка от шпаны. Майка и шорты — под голову. Устало валюсь на песок. Тело растворяется в зное, становится невесомым. Невнятно шумит пляж: треск моторок, смех, детские визги. Плотный стук мяча. Я переворачиваюсь на живот, задремываю. Время тянется расплавленным стеклом.

Головным убором я пренебрегал. Про средства от загара узнал лет через тридцать. Я был прокопченный и тощий, словно мексиканский беспризорник. Голода не чувствовал. Однако жажда неминуемо гнала меня домой. Я думал о киоске «Соки-воды» у остановки. Донести туда монетку удавалось не всегда. Местная гопота с полудня тусила на дамбе.

Загорелые ребята с выцветшими лицами. Лучший способ избежать контакта — пристроиться к большой семье. Удача — если они трясут кого-нибудь другого. Чаще, увы, начинался пошлый диалог.

— Эй! Ну-ка, иди сюда.

Оглядываюсь...

— Ты, ты. Бегом! Деньги, курить есть?

— Нет.

— Выворачивай карманы. В кулаке что?

— Ничего.

— Давай сюда, чмо! А говорил, нет. Ладно, вали отсюда.

Вряд ли им были нужны мои три копейки. Так, лишний раз показать, кто здесь хозяин. Валить приходилось быстро. Для ускорения могли вломить пинка.

Лет через пятнадцать многое изменилось. Исчезли в прошлом гопники и дамба. Мою экипировку пополнил рюкзачок, вмещающий одеяло, две бутылки и стакан. Купаться я ездил на остров Зелёненький. Он целиком контролировался нашими людьми. В левой его части находилась база отдыха. Справа — дикие, но взаимолояльные палаточные лагеря. Самый основательный — лагерь Глеба. С июня по август — мой второй дом.

Глеб Анисимов, лысеющий, упитанный, крепко, но достойно выпивающий москвич, служил полковником в генштабе. Когда-то давно самарская родня вывезла его на Зелёненький. Глеб настолько проникся, что стал робинзонить там каждое лето. Уединение его, впрочем, длилось недолго. Через племянника Глеб закорешился с компанией моих друзей — типичных пляжных раздолбаев. Разницу в годах легко не замечал.

Вскоре лагерь Глеба разросся до шести-семи палаток. Владельцы беззаботно оставляли их, уезжая по делам на материк. Постепенно утвердился жилищный коммунизм. Закруглив еженощный сейшн, участники расползались по вакантным местам. Иногда там уже кто-то валялся. Минута полусонной ругани, кряхтения, стонов, и лагерь затихал.

Глеб поднимался раньше всех. Деловито шагал за барханы — в туалет. Затем держал курс вдоль берега, против течения. Отходил километра на три и совершал утренний заплыв. Вернувшись, убирался, мыл посуду, реанимировал костер. Заваривал чай в котелке... Его душа не выносила беспорядка.

Позже, наведываясь в столицу, мы частенько зависали у Глеба. На своей территории полковник оказался болезненно методичен. Ни рюмки до того, как сварится (почищенная нами) картошка. Хозяин между тем лишал костей селедку. Резал ломтиками, живописно укладывал в хрустальное блюдо. Сбрызгивал маслом, посыпал колечками лука. Он был собран и точен, как нейрохирург. Затем раскладывал по мисочкам соленые волнушки, бочковые огурцы (лично ездил на рынок). Мелко шинковал укроп... А в холодильнике изнывала от нетерпения принесенная гостями водка.

Утро. Тягостное пробуждение на раскладном кухонном диване. Глеб ушел на лыжный кросс. Заявится веселый, свежий до противности. С порога кричит: «Рота, подъем! За пивом бегом марш! В ларек у продмага только что завезли».

Зимой полковник употреблял исключительно горячее пиво. «Летом надо охладиться, кто бы спорил, — рассуждал он, — но зимой-то это бред. Прямая дорога к ангине. А горячее — наоборот, профилактика. Я вот, например, с детсада не болею...»

(Иногда в наших широтах случаются зябкие дни. В такие дни, прихлебывая разогретый Tooheys, я вспоминаю Глеба. А если предварить рюмахой водки, м-м-м... Да хлебца черного в тостере запечь. Сдобрить его маслом, шлепнуть ломоть красной рыбы... Волнующая тема!)

Как-то раз я Глеба рассердил. Звоню ему в пятницу вечером. Отвечает незнакомый пьяный голос:

— Штаб-квартира полковника Анисимова.

— А где сам?

— Спит. Ты, вообще, кто?

— Ну, допустим, Макс. А ты?

— Ну, допустим, Лёха. Че хотел?

— Заехать, посидеть.

— Через магазин?

— Естественно.

— Годится. И провизии какой-нибудь возьми.

— А девчонок тебе не подогнать?

— Хэ-хэ! — усмехнулась трубка. — Девчонок отставить — своих навалом.

Дверь открыл Глеб, запустил меня в коридор. Взгляд тяжелый, будто не узнает.

— Ты чего? — спрашивает.

— Как чего?.. Пообщаться, — я тряхнул сумкой.

— Позвонить не мог?

— Звонил. Лёха какой-то ответил... Сказал, приезжай. Я думал...

— А разве это Лёхина квартира?

Из комнаты донесся звон посуды и женский смех. Я повернулся к двери.

— Ладно, заходи, раз приехал, — вздохнул Глеб. — Два часа посидишь и уйдешь. Сам. И не делай больше так, поссоримся.

Добраться на остров было несложно. Утром и вечером ходил паром. Недалеко от пристани — лодочная станция. Свезет — попадется знакомый на моторке. А нет, так бомбилы домчат за рубль. Нет рубля? Наливай стакан — и поехали. Спиртное имелось всегда. Без него в лагерь прибывали только комары.

Обитатели палаток со временем менялись. Измученные отдыхом старожилы ехали в цивилизацию. Их ждали чистые постели, горячий душ, еда без скрипа на зубах. Новые бойцы везли на остров запасы провианта, алкоголя, сигарет. Гостей нетерпеливо высматривали с берега. Наконец зоркий Юденич объявлял: «Ваня и Пальтишкин.

В дрейф легли, подонки». Лечь в дрейф означало заглушить мотор километра за три до цели. И, двигаясь по течению, начать банкет в спокойной обстановке. Наблюдая это, похмельные островитяне звереют. Наконец лодка вонзается в песок. Прибывшие выпадают из нее — счастливые до упора.

— Опять дрейфовали, гады?! — атакуют их на берегу.

— Много выжрали?

— Сейчас я их порву! — орет Юденич.

— Э, э... без горячки, пацаны, — Ваня хитрожопо улыбается. — Бутылку за доставку, это же святое...

— А сколько везете?

— Ящик.

Лица островитян светлеют.

— Ого! Красавцы.

— Герои!

— Стахановцы.

— Выгружаем — и к столу! — командует Глеб. — Стахановцам пока не наливать.

Несколько человек жили в лагере более-менее постоянно. Сам Глеб, Шуба, Захар и Юденич. Серёга Юдин всегда напоминал мне кого-то из героев Карла Мэя. Или Майн Рида — например, всадника без головы. Приземистый, крепкий, морщины — как стилист нарисовал. Познакомились мы в яслях. Затем ходили в одну группу детсада. Затем десять лет — в один класс. Первые шесть мы с боями отстаивали право сидеть вместе. Наконец классная сдалась: «Рассаживайтесь, как хотите». Тут же под ухмылки и смешки двое акселератов пересели к девочкам. Хулиганы с облегчением устремились на галерку. Я шуганул отличницу Ларису, и Юденич уселся со мной.

С этого дня его успеваемость резко повысилась. Особенно по литературе. Перед опросом мой друг шепотом выяснял:

— Слышь, Макс, о чем думал князь Андрей под небом Аустерлица?

— О пустой суете бытия.

— А в глаз?

— О том, что неохота умирать.

— Почему умирать?

— Ну, ты, блин, даешь! Его же ранили.

— Понятно.

Перед сочинением интересовался:

— Ты читал поэму «Владимир Ильич Ленин»?

— Более-менее.

— Про что там? Только быстро.

— Ленин умер, Маяковский расстроился. И вспоминает его жизнь. Детство, отрочество, юность...

— Кому ты гонишь? Это Горький.

— Погоди. Значит, так: детство, казнь брата... увлекся марксизмом... ссылка. Партия большевиков. Главное, не забудь: Ленин и партия — близнецы-братья. Понял?

— Не тупой. Дальше.

— Революция, гражданская война. Все. Заболел, умер.

— Ясно.

До конца урока Юденич сочинял, морщась и погрызывая ручку. И, к моему изумлению, получал четверку. Вот что значит хороший синопсис.

Дружба с Юденичем имела весомый бонус. Меня не доставали школьные быки. Серёга был надежным пацаном, хорошим спортсменом и умельцем начистить кому-нибудь репу. Особенно полюбил это дело в нетрезвом состоянии. Повод значения не

имел. Он мог, допустим, поздороваться с незнакомцем в каком-нибудь бандитском гетто. И пока тот соображает, что к чему, с криком «Где твоя вежливость, баран?!» провести серию ударов в голову и корпус. (С тех пор я всегда отвечаю на приветствия.)

Это хобби трижды приводило Юденича на больничную койку. Последняя лежка выдалась долгой. Серёга много размышлял. И решил навсегда бросить пить и драться. Говорят, воздерживается до сих пор. Работает начальником среднего звена. Увлекся разведением овощей, по субботам ходит в баню.

Если человеку досталась курьезная фамилия, он просто обязан стать здоровым пофигистом. Выбора нет. Мой приятель Юра Меховой развил в себе это качество до основной черты характера. Как только беднягу ни звали: Мех, Смех, Тулупчик, Шапкин, Варежкин, Пальтишкин... Но чаще всего — Шуба. Когда Юра женился на высокой, худой девице, остроумцы тотчас прозвали ее Селёдкой.

Шуба на это чихать хотел, как и почти на все остальное. Улыбался, демонстрируя ямочки на щеках и стейнвейновские зубы. Будто в компенсацию за нелепую фамилию судьба одарила его внешностью голливудского плейбоя. Высокий рост, мужественный торс. Улыбка, от которой у девушек подгибались ноги. Его женитьбы, разводы и другие интимные забавы существовали параллельно. Фактически Шубу увлекали четыре предмета: рестораны, сиськи-писькы и погреть летом задницу на Волге.

Последнее — в буквальном смысле. Как-то Юрой овладела идея нудизма. И он ее немедля воплотил. «Девчонки не любят белых пятен, — уверял Шуба, — повсеместный загар их возбуждает». Однажды в процессе солнечной ванны Юра надумал закусить. Явился к столу, тряся достоинствами, протесты общественности игнорировал. И уселся голым задом на осу. Она его, конечно, долбанула. Друзья заржали, словно конница Будённого, и громче остальных — виновник торжества.

Кабаки, однако, требовали денег, желательно веселых и законных. Для начала Юра бросил институт. Произошло это на моих глазах и опять-таки буквально. Мы шли по набережной. Шуба рассказывал о своих планах.

— Как бросить? — удивился я. — Зачем?

— Вот так! Смотри...

Он крутанулся на месте, будто спортсмен, толкающий ядро. И запустил портфель в сторону Волги. В полете открылся замок. Тетради закружились, как чайки.

— Теперь надо отметить это дело, — сказал довольный Шуба, — у тебя бабосы есть?

Он устроился по блату — грузчиком в продмаг. Трахнул своевременно завотделом «Мясо». На работе дамочка скучала. Ей захотелось иметь поближе эту секс-машину. Через полгода Юру выгнали за служебное несоответствие. Он нанялся чего-то сторожить. Выгнали. Подался в ТЮЗ рабочим сцены. Выгнали. Далее — невнятно. Сомнительный бизнес, мутные партнеры. Попал на деньги или под следствие, хотя одно другому не мешает. Родители продали трехкомнатный флэт, еле отмазали. Приобрели два чулана в коммуналках — себе и Юре. Надо ли говорить, что вскорости Шуба свою комнату профуячил и явился жить к старикам. Молодость быстро кончилась, волосы и зубы поредели. Бывший плейбой торгует сушеной рыбой на дамбе. Той самой, по которой я мальчишкой ходил на пляж.

Миша Захаров ростом был примерно с Шубу. Но мордасию имел сугубо отечественную, почти фольклорную. Глазастая картошина, украшенная сеном. Миша (более известный как Захар) окончил школу с пятью двойками, без аттестата. Не оттого, что родился глупым, скорее, в знак протеста. Закосить от армии поленился. Пока служил, ахнула перестройка, разрешили частный бизнес. Старший брат уговорил

Мишу ехать в какую-то глухомань, откармливать бычков на продажу. «Куда Захар телят не гонял», — шутили друзья. Вернулись коммерсанты через год, матеря бычков и сельский дебилизм. Но клещ предпринимательства засел у Миши в голове.

Какое-то время мы не виделись. Я учительствовал в деревенской школе. Домой являлся редко. Затем собрался в Москву повышать квалификацию. Созвал друзей на прощальный фуршет. И Захар увидел печатную машинку. «О! — говорит. — Это то, что нужно. Дай на месяц? В магазине бланки напечатать».

Небольшое отступление. Тогда я увлекался сочинительством — в рифму и без. Погрелся в лучах местечковой славы. Но скоро она мне приелась. Я грезил о российском пьедестале, еще лучше — мировом. Сначала — публикации в толстых журналах, а там... Я воображал, какая охота начнется за моими текстами. Какая грызня...

Для сбычи этих мечт не хватало пустяка. Печатной машинки. Известно, что даже полная ахинея, набранная шрифтом В52, выглядит убедительно. Кроме того, для веерной рассылки необходимы копии. Мой луцкий дядя пообещал машинку, если я увезу ее сам. Машинка оказалась античным чудовищем с двойной кареткой. Весила она, как бронепоезд, еле доволок. Тащить в Москву не решился... Да и с журналами, честно говоря, не задалось.

Короче, Миша машинку унес. Прошел год. Я поступил в аспирантуру. Машинка понадобилась до зарезу. Приходилось клянчить «Эрики» и «Оптимы» на время там и сям. Друзья отдавали их неохотно, будто расставались с любимыми. В итоге мне это надоело. Прилетел домой, звоню.

— Ба! Кого я слышу! — обрадовался Захаров. — Надо срочно увидеться. Жду тебя на площади у ларьков.

В атласных трениках и косухе Захар выглядел как символ девяностых. Мы обнялись. Он шутя двинул мне в ребра, я погрузил кулак в его живот. Все это слегка напоминало левый гангстерский фильм.

— Сейчас накатим за встречу, — объявил мой друг, — и поговорим.

Он вальяжно шагнул к ларьку. Взял, не заплатив, бутылку коньяка, стаканчики, шоколадку.

— У меня, — говорит, — здесь неограниченный кредит.

— Крышуешь?

— Это моя точка. И вон та.

Мы двинули в парк. Потом навещали знакомых. О машинке я как-то забыл.

Эта история с небольшими вариациями повторялась трижды. Рестораны, гости, дорогой коньяк... Я понял, что дело нечисто. Перед отъездом захожу к нему с утра.

— Захар, давай по чесноку. Что с машинкой?

Он поскреб голову. Щелкнул резинкой трусов «Адидас».

— Слушай, пошли на кухню. У меня там...

— Нет уж, хватит. Где она?

Миша вздохнул.

— Отобрали за долги. Давно. Не срослась одна тема... А когда поднялся, ну где ее, блин, искать? Взял компьютер... Ты сколько хочешь за нее?

— Двести баксов, — неожиданно сказал я.

Захар полез в косуху, распахнул лопатник.

— Держи. И не в обиду, если что. На кухню-то пойдем?

Несколько раз за сезон в лагере происходили драки. Дрались Юденич и Захар. Захар обычно сидел на разливе. Темно, емкости у всех разные, недолго ошибиться.

Отсюда устоявшийся сценарий. По мере окосения Юденич все сильнее подозревает Захара в мухлеже (что недалеко от истины). До поры Серёга терпит, цедит едкие замечания. Он с удовольствием дал бы Захару в глаз, но пока ему лень. На следующем этапе Юденич уверен, что Захар заныкал бутылку в песке. Это выше его сил.

— Ты думаешь, мне жалко?! — кричит он через стол. — Ты думаешь, мне этого говна жалко?? На, подавись!

Он выплескивает кружку в Захара.

— Это мои принципы, крыса! Ты же воруешь. У своих воруешь!

— Фильтруй базар, дебил! — Захар плещет в ответ, и тоже мимо.

Юденич встает. В суровом лице его блики костра. Кулаки сжаты.

— Все. Щас я тебя урою.

— Ты? Меня?? — Захар поднимается.

— Спорим, не подеретесь, — глумятся за столом.

— Отойдем в пампасы?

— Да легко!

Соперники, уверенно качаясь, исчезают во мраке дюн.

— Может, разнять? — предлагает кто-нибудь.

— Не ссы, помирятся. Скоро песняка давить начнут.

Из темноты доносятся сытные звуки оплеух, хэкание. Невнятный мат... Глухой удар оземь. Затем — минута тишины. И вдруг — песня. Появляются, обнявшись, Юденич и Захар. Нетрезвый дуэт выводит:

...Но вот пришла машина,
Раздолбанная шина.
Зелёная машина
Забрала мужика!

Змей уже схватил гитару. Удар по измученным струнам, и компания горланит вразнобой:

Представьте себе, представьте себе —
Зелёная машина!
Представьте себе, представьте себе —
Забрала мужика!
Не думал, не гадал он,
Никак не ожидал он...

Солнце убийственно лупит в брезент. Позднее утро. В палатке духота, звенят сытые комары. Жильцы выкарабкиваются на свет. Ползут к Волге — отмокать. Залечь на мелководье, чтоб один нос торчал из воды. И лежать, смывая ночь, глядя в идиллическую бездну — пять минут, десять. Полчаса...

Затем бедняги добираются к столу. Уныло осматривают кружки. Ничего. Ничего? А вот и чего! И Миша Захаров тянет из песка бутылку водки.

— А-а-а! Я знал!! — торжествующий Юденич отпускает ему подзатыльник.

Водка горячая.

— Охладить бы... — сомневается Глеб.

Но Миша уже разливает.

Я мучительно удерживаю дозу, она спазмами лезет наверх. Мне суют кружку холодного чая... Мир фокусируется не сразу, будто дилетант-фотограф наводит резкость. Оживает беседа за столом. Веют запахи дыма и каши. У берега лопочет мотор. «Кто в волейбол, ханыги?» — кричит Змей, подбрасывая мяч. Бесконечный сериал «Лето»...

Змей, он же Игорь Кузьмин, навещал лагерь только по выходным. В будни он перепрофилировал цеха авиазавода на выпуск газонокосилок. Змей был из тех энергичных мальчишей, которые в руинах совка углядели бесхозные деньги. Надо только поднять их раньше других. Ну, может, слегка запачкать руки.

Лагерь встречал его, как родного: Змей отменно бацал на гитаре. Знал вдвое больше аккордов, чем кто-либо еще, а именно шесть. В какой-то момент наши с Игорем отношения беспричинно усложнились. Змей смотрел волком, отпускал в мой адрес колкости. На волейбольной площадке старался заглушить мне в голову. В застолье норовил подменить стакан.

Скоро мне объяснили, в чем дело. Кто-то насвистел Змею, что в десятом классе у меня был роман с его первой женой. Роман действительно был, но, во-первых, при царе Горохе. А кроме того, в основном платонический. Как там у Войновича?.. Два раза ходили в кино и трижды стояли в подъезде. Так что поздняя ревность Игоря казалась мне странной и днем отчасти забавной. Вечерами приходилось осторожничать: кирнутый Змей бывал непредсказуем.

Отойду, бывало, пописать. Возвращаюсь — точно: мой стакан у него. А передо мной его облупленная кружка. А я не люблю пить водку из кружки. Кайф ломается, эстетика не та. Поэтому возил на остров тонкий стакан, аккуратно завернув его в газету. Когда стакан разбивался, я покупал новый. Друзья раз посмеялись и забыли. Все, кроме Змея.

— Отдай, — говорю, — стакан.

Он театрально усмехается.

— Братва, гляньте на этого пижона! Зажлобил для товарища паршивый стакан...

— Выпей и отдай, — говорю.

Змей меня не слышит.

— Западло ему из кружки, интеллигент, блин...

— Мне? Да я пил из банного ковша!

— А я из футляра для бритвы!

— Ну и что? — встревает кто-нибудь. — А я — из бутылки вверх ногами...

— Это как?

— Дно откололось.

— Ха-ха! А я раз заснул на бильярдном столе, просыпаюсь...

— На бильярдном мягко! Я однажды на рояле спал...

— А я на разделочном...

— В морге?

— При чем тут морг?

— А при чем тут рояль??

Под шумок я делаю рокировку, и стакан возвращается на место.

Иногда, устав от перекатов и ледяных вершин, на остров являлся Егор Канатский, знаменитый турист-экстремал. Хронически жизнерадостный, похожий одновременно на Якубовича и Вилли Токарева, Егор имел с собой палатку и девушку. Палатку он выкроил лично, руководствуясь чертежами журнала «Survival». Специальная ткань не боялась огня и воды. Складывалась палатка до размеров бумажника. В готовом состоянии напоминала полуцилиндр. Умещала впритирку хозяина и его девушку. Девушки были разные, но одинаково полненькие и веселые, точно комплект матрешек. «Во-первых, не уведут, — объяснял Егор, — а главное — мягко». Как-то отвел меня в сторону, подмигнул и говорит:

— У меня сегодня рекорд!

— В смысле?

— Сто десять килограмм!

Вообще-то, девушки в лагере не приживались. Редко кто из них соглашался терпеть виртуозный мат Юденича и голую задницу Шубы. Кроме того, существовал риск нечаянных половых контактов. Я своих девушек туда категорически не брал, предпочитая иные места встреч. Однако это уже новая история.

А нынешнюю пора заканчивать.

Я вряд ли увижу этот остров. Нет, соврал. Правильное слово — никогда. Дело тут не в паспорте, устаревшем много лет назад. И не в реке, куда нельзя войти дважды. Можно войти. Просто я отвык бояться. Сумею ли напялить овечье лицо? Едва ощутимо ускорить шаг при виде ментов — так, на всякий случай? А ведь захочется ускорить, и в этом главное паскудство. Мое отечество, увы, все чаще кажется синонимом внезапных неприятностей. Иноземный документ не гарантирует защиты, более того — способствует им. Дедушка, конечно, старый, ему все равно. Но у меня есть бабушка и внучка.

Остается воображение, ручное, как медведь. Танцует, веселит, но может увлечься и откусить голову. И все же риск не так велик. На случай провала есть кнопочка «esc». Кроме того, недавно я победил время. Оглядываю его извне, как бывший узник — сломанную клетку. В моем лице прощальный интерес. Меня ждет телепортация. К черту самолеты, пересадки и таможенный контроль. Я уже на пристани.

— Мужик, тебе на остров?

— Ага. (Интересно, сколько теперь берут... В кошельке австралийские доллары... Забыл! Забыл, идиот! Но стакан не знает девальвации.)

— Как насчет м-м?

— Годится! Залезай.

Вот и знакомые дюны, палатки... Низко поворчав, глохнет мотор. Лодка с мягким шелестом вонзается в песок. Я — худой, как мексиканец, на плече рюкзак, в зубах «Chesterfield» — спрыгиваю в реку, чего бы там ни ляпнул Гераклит. Друзья привстают, оставив карты лицом вверх. Меня узнали.

— Ни хрена себе, кто приехал...

— Это Макс, что ли?

Обнимаемся, нахлопываем спины.

— Ты откуда?

— Дайте мне его куснуть...

— Штрафничок ему!

— Стакан-то привез?

— Ну, брат, рассказывай.

И вдруг я понимаю, что рассказывать мне нечего. Тридцать лет исчезли в никуда, хоть заново живи. Дым царапает глаза, не хватало еще прослезиться... Где эта чертова кнопка?? «Esc»! «Esc»!! «ESC»!!! Ничего... Только Волга, хруст песка и лето без конца. И солнце, как блестящая трехкопеечная монета, кувыркается в небе. А после мягко шлепается в подставленную ладонь.

Андрей Грицман

Москва, далее везде

Москва — несгораемый ящик... Далее везде. Жизнь — это ритм. Перестук электропоездов, перекличка на станции Москва-Сортировочная. Ритм поезда, уходящего из Москвы, всегда возвращающегося в Москву. Три вокзала, Домниковка, поздно ночью 5 рублей бутылка водки у таксиста из-под сиденья. Рядом с «милягой» за углом на Плешке.

Я родился и вырос на 2-й Мещанской, на углу Садового кольца. 1-я, 2-я, 3-я, 4-я Мещанские. По легенде Пётр бежал от Софьи, наскоро сменив ночную рубашку на верхнюю одежду в ближайшей роще, проскакав со товарищи именно по дороге, которая потом стала 2-й Мещанской улицей, то есть мимо моего будущего дома. Места эти облученные, старинные. Круг моих детских и юношеских прогулок: все Мещанские, Сретенка, сретенские дворы, Божедомка, позже стадион «Локомотив» (блаженный футбол на запыленном пустыре!), заледенелый двор Института туберкулеза РСФСР.

Другая московская легенда, а может и не легенда: на Божедомке выставляли трупы найденные за ночь, опившихся, замерших, убиенных, в глухую, в кабаках. Чтобы родственники могли найти и опознать.

Многое в памяти идет от отца, который знал Москву и историю этих мест глубоко. Родился и вырос в районе бандитской Домниковки, Грохольский, Ботанической переулок. Там и я проводил много времени у бабушки и деда в бывшем доходном доме купца Бровкина, Бровкин дом. Дед делал переводы для научного отдела Ботанического сада, диктовал и бабушка печатала на трофейном ундервуде. За забором двора, за голубятней — старый Ботанический сад, все детство у Аптекарского огорода Петра, у дуба Петра, у обветшавшего, мелеющего пруда и трескучей зимой в незабываемой оранжерее Ботанического сада.

Растений чудных перечень течет
из рукавичной кутанности ранней.
Тропических цветов зияют раны.
«Антуриума» ярко-красный рот
всё тянется к «Аглаонеме нежной».

* * *

Вот перечень цветов. Фонарь и ночь.
Шагает дед, диктующий с листа.
Она — у ундервуда с папиросой.
Мороз, косые тени, полусон.

Снег тянется на свет и липнет.
В заснеженной, простуженной Москве
латинский перечень торжественных имён
и запах эвкалипта.

Родное заколдованное Садовое кольцо, выйти из которого нельзя. Моченый горох, отбитая вобла (молока отдельно), «Московская» под серо-мраморным высоким столиком в пельменной на Зубовской, пиво на плитке в старом эмалированном чайнике в мерзлом окошке у остановки троллейбуса у Склифа на Кольце: морозные клубы февральского воздуха юности, разделенного с отцом.

К чему я все это говорю? Есть душа места. Поэт, художник вырастает в городе. Город — это организм, утроба детства поэта. И эта пуповина навсегда остается, питает фантазии, ностальгию, реальную жизнь художника, которая, конечно же, течет и переливается внутри, в примордиальной памяти, в снах и в полусне.

Не буду повторять многих и сравнивать Питер и Москву, и как они влияют на развитие сознания художника. Есть такие города, облученные историей, где местность сама дышит. И насколько бы ни были разными художники, впитанное с детства просвечивает, прорастает и остается на всю творческую жизнь.

Москвичи узнают друг друга везде. Поверьте, по опыту эмиграции, сразу распознается выговор, несколько самоуверенная манера (а как же — центр вселенной, москвичи, а все остальные — гости столицы!) Помню как в первый мой приезд в Москву из Америки, когда только начали пускать после нескольких лет, в январе 1988 года я остановился на Верхней Первомайской у своей 419-й школы и не мог оторваться — слушал совершенно особый выговор, перекличку старшеклассниц, московских девочек: акающий, немного мяукающий, непередаваемый, родной говор.

Верно сказал поэт: в кредит, по талону предлагают любимых людей. Теперь даже этого не предлагают. Предлагают разбираться в одиночку, наедине с собой, в своем реквизите. Разбросан он Бог знает где, но, прежде всего, в Москве, где в белокаменной ледяной глубине ее прорастают пшеничные зерна памяти сквозь молоко и воск прошлого.

Есть и другие знаковые города, кроме Питера. Недавно побывал в Вологде, в Нижнем, в Казани, и там это поле места напряжено, гудит вечным зуммером.

Когда я начинал писать данный текст, близкий мне человек предупредил: только не впадай в привычное нытье писателей по поводу потерянной Москвы, потрескавшегося асфальта, пробивающихся лопухов, сменившихся на железо-бетонный, стеклянный имперский новодел. Я и не собирался. Прежде всего потому, что весь гламур и гирляндное и офисное безобразие не искажают внутреннюю структуру города, его душу.

Потому что Москва относится к числу мировых городов с уже созревшей душой.

Как ни странно, прежде всего на ум приходит именно Рим. В 1930 году после Латеранских Соглашений Ватикан стал автономным государством. По этому случаю Муссолини построил широкую и светлую Улицу Примирения, которая идет от берегов Тибра к Собору Святого Петра. Что бы ни творил Иль Дуче в Риме, все это смешалось в органичный исторический конгломерат, в слои истории: древний Рим, средневековый, барокко, фашистский имперский, в тот живой организм, которым являет себя Рим.

Теперь мы и подходим к тому, почему я сразу вжился, полюбил Нью-Йорк и он стал вторым домом. В первый же раз, когда я попал в Манхэттен зимой 1981 года, я почувствовал себя дома. Другие районы Большого Нью-Йорка: Brooklyn, Queens, The Bronx, Staten Island — другие миры со своей историей и душой. Все рецепторы сразу же ощутили разномастную толпу, провалы сабвея. Ты никому не нужен и в то же время — все вместе. Одиночество в большом городе. Город, который никому не

принадлежит и принадлежит лично тебе. «Sounds of silence» (Simon и Garfunkel), «All the lonely people», «Lonely Hearts Club Band» (Sgt.Pepper) — это и есть Нью-Йорк.

Разница с Москвой, конечно, есть. Нью-Йорк — огромный портовый город, широкая река с мощными ветрами в долине Гудзона. Москва — центр восточно-евразийской вселенной, Нью-Йорк — портовый центр мира, перевалочный пункт для многих, город перемещенных лиц, огромный вокзал, где мы поселились, отстояли очередь за кипятком, развернули жаренную курицу на газете и ждем следующего рейса, чтобы вернуться в Москву, а потом обратно домой в городские дебри Сохо, Гринич Вилледж, Верхнего Вест Сайда и Гарлема, холмистого, со сквозными ледяными ветрами от открытой мировой гавани.

Там привычно зажить по закону заморского кода,
По режиму химчистки и часу последнего трейна.
Так уйдут в энтропию любви все последние годы.
Лёгкий троп озвучит мой путь в суете бесполезной.

Возвращаясь домой до конца в долину Гудзона,
к ар-деко среди скал ледникового века,
знать, что жизнь, пролетев сквозь ничейную зону,
оставляет в душе лёгкий тающий слепок.

О будущем и о смысле истории

Два письма на одну тему

Геннадий Прашкевич

Строить или ждать?

Дорогой Алексей!

Мой друг палеонтолог Ёлкин (Евгений Александрович), к сожалению, уже ушедший из жизни, работал в свое время на Большом барьерном рифе в Австралии. Позже мы написали с ним книгу о другом Большом (даже Великом) рифе — ископаемом, палеозойском. О жизни на нашей планете Женя всегда говорил с восхищением. Он как бы видел далекое прошлое. Он ощущал многие его оттенки. Он чувствовал, как мириады живых существ создают свое (и наше) будущее. Он видел звезды Австралии и Тихий океан, снежный север, влажные тропики, горы; жизнь (даже в самом прямом биологическом смысле) его поражала, изумляла, он изучал разные этапы ее развития и страшно жалел, что никогда не сможет коснуться такой величественной тайны, как происхождение, возникновение жизни.

Прошлое (в планетарном, геологическом смысле) жило в его сознании.

При этом с неменьшей силой, как любой из нас, он хотел заглянуть в свое (в наше общее) будущее. Он страшно жалел, что не увидит его. Он верил в вечную праздничность будущего. К сожалению, еще раз повторю, фактическое наложение одних времен на другие невозможно: ни в далеком прошлом (доисторическом), ни в далеком Будущем (историческом) мы (индивидуально) не можем оказаться из-за нашей личной временности. Как ни называй силу, управляющую жизнью, — Природой или Богом, создав нас, эта сила сразу определила наше место во времени и в пространстве. Личное присутствие каждого из нас в той или иной эпохе, в том или ином веке от рождения определено, мы не можем выбрать другое время, при этом, правда, на пространство мы управу нашли. А вот коснуться давно вымершего трилобита, увидеть своими

Буров Алексей Владимирович — физик, философ. Родился в 1956 году в Новосибирске. Кандидат физико-математических наук, научный сотрудник Национальной ускорительной лаборатории им.Ферми, США.

Прашкевич Геннадий Мартович — прозаик. Родился в 1941 году в селе Пировское Красноярского края. Автор многочисленных повестей и романов. Живет в Новосибирске.

Публикации в соавторстве в «Дружбе народов»: эссе «О красоте» (2016, № 1), «О молчании» (2016, № 6), «О понимании» (2017, № 4), «О пошлости» (2017, № 7), «О правде и о вечных вопросах» (2017, № 12), «О цели и направлении» (2018, № 5), «О знании, непостижимом разумом» (2018, № 10), «О хорошеньких и не очень» (2019, № 2), «Об одиночестве» (2019, № 5), «О страхе и мужестве» (2019, № 10).

глазами живого гребнистого диметродона (что уж говорить о таких загадочных и трудно представимых существах, как дикинсония или чарния), мы никогда не сможем, как и обнять своих дальних, очень дальних (во времени) потомков, мы только знаем о них, предполагаем...

А будущее интересно всем.

Оно кажется нам даже более реальным, чем прошлое.

Потому, наверное, что прошлое мы сами же постоянно и бесцеремонно перестраиваем, перекраиваем, переименовываем, часто бездарно и противоречиво. Достаточно влиятельному политику или даже профессиональному историку внести в историю свои (только им осознаваемые) коррективы, как весь мир начинает корчиться, как под ударами. Само наше далекое, подернутое дымкой тысячелетий, загадочное всегда прошлое теряет нежные цвета, наливается угрюмыми тонами. Это мы опять, это мы опять *вмешались*, и кто-то (или что-то) противится этому.

А будущее? Оно как?

Мы ведь его не знаем, мы его только создаем.

Создаем, а потому, наверное, уже сейчас (по давней чисто человеческой привычке) уже перестраиваем (по аналогии с прошлым).

Так что же оно такое — наше будущее?

Как надо относиться к нему? Энергично строить? Или ждать?

Великий грек Платон много рассуждал о власти ученых и философов-гуманистов. Он был убежден, что следует изучать идеи, не вещи. Вещи гибнут, исчезают, а высказанная идея вечна. Политическим идеалом Платона являлась стабильность государства. Каждый человек в государстве обязан выполнять определенную ему работу — это справедливо. Неравенство сословий (по мнению Платона) — тоже справедливо. А любой добропорядочный гражданин должен иметь право содержать двух-трех рабов, почему нет? Это уже пять-семь рабов — безнравственно...

Писатель Андрей Платонов в социальной утопии «Чевенгур» представлял будущее несколько иначе. «Теперь жди любого блага, — так говорил один из его героев, потрясенный падением с неба непонятного предмета. — Тут тебе и звезды полетят к нам, и товарищи оттуда спустятся, и птицы могут заговорить, как отживевшие дети, — коммунизм дело нешуточное, он же светопреставление!» Главное, вовремя расчистить площадку для нового светлого мира (будущего). «Организуем фонтаны, землю в сухой год намочим, бабы гусей заведут, будут у всех перо и пух, — цветущее дело!» И чтобы сразу и окончательно организовать такой чудесный, такой простой коммунизм, строители сутками валяются на полу нищего деревянного барака, размышляют. Куда торопиться? Чего надрываться? Зачем гнуть спину, рвать мышцы? Всякая работа сама по себе — это уже уступка уничтоженному капитализму, она производит продукт, а продукт снова и снова приводит к эксплуатации. «Коммунизм же придет сам. Если в Чевенгуре нет никого, кроме пролетариев, — больше нечему там быть».

«Дванов (еще один герой платоновской утопии. — *Г.П.*) в душе любил неведение больше культуры: невежество — чистое поле, где еще может вырасти растение всякого знания, но культура — уже заросшее поле, где соли почвы взяты растениями и где ничего больше не вырастет. Поэтому Дванов был доволен, что в России революция выполола начисто те редкие места зарослей, где была культура, а народ как был, так и остался чистым полем, — не нивой, а порожним плодородным местом. И Дванов не спешил ничего сеять; он полагал, что хорошая почва не выдержит долго и разродится произвольно чем-нибудь небывшим и драгоценным, если только ветер войны не принесет из Западной Европы семена капиталистического бурьяна...»

Образы будущего неисчислимы, перечислять их нет смысла.

Цветущие нивы, сияющие города, счастливые люди, обласканные животные.

Вся эта бесконечная и трепещущая цепь живого — от загадочных первичных одноклеточных организмов, появившихся когда-то на планете Земля, до влажных

круглых девонских рыб, пермских сеймурий, триасовых иктидопсисов, юрских динозавров вплоть до современных обезьян, спортсменов, поэтов, политиков (до нас с вами), — вся эта цепь прорастает в будущее, строит, формирует его...

Я думал обо всем этом второго июня две тысячи девятнадцатого года в пути из кузбасского города Кемерово на станцию Тайга, где прошло мое детство. В сущности, как нам всем свойственно, я пытался вернуться в свое собственное прошлое, уже далекое, утерянное, не всегда бывшее веселым, но все равно счастливое, понятно, в тех объемах, что нам были отпущены. Был вечер. Дорога вела нас сквозь летний лес. Мы въезжали, въезжали, бесконечно въезжали под какую-то волшебную арку, выстроенную соснами, березами, нависшими облаками, ярко высвеченными заходящим солнцем. Все вокруг пылало, сияло, все обещало нечто невероятное (будущее), ведь не могут же такие праздничные закаты заканчиваться ничем! Наши северные умеренные леса глубоко человечны. Они нисколько не похожи на небритые шерстистые пальмы тропиков. Мир вокруг пылал, мы неслись на закат, в будущее. Ведь мы всегда стремимся (по крайней мере, должны стремиться) в будущее. Что бы мы ни делали, мы движемся в будущее. Даже ничего не делая...

Позже (в поезде) я снова вспоминал Женю Ёлкина.

Мы написали с ним книгу «Берега Ангариды» — о прошлом.

Мы, дети голоцена, работая над книгой, конечно, задумывались о будущем.

Каким оно будет, это наше приближающееся и приближающееся, вечно только приближающееся будущее (общее и личное)? Как мы к нему придем? Какие усилия придется нам приложить? Специалист самого высокого класса палеонтолог Ёлкин представлял путь в будущее достаточно реалистично. Он многого опасался. Он много думал (уже тогда, лет двадцать назад) об антропоцене, о новой (*нашей*) геологической эпохе с таким уровнем человеческой активности, что главной силой, постоянно и неуклонно меняющей Землю, становится именно человек; именно он, человек, в антропоцене (в нашем времени) кардинально меняет всю сложившуюся за миллиарды лет экосистему планеты, а проще говоря, безжалостно вытесняет все живое (кроме себя) с мировой сцены.

Отсюда странный, так тревожащий нас парадокс: эпоху процветания миллионов живых видов человек превращает в эпоху их (видов) вымирания. Именно человек, его активность достигла такого уровня, что стала причиной многих биогеофизических изменений планетарного масштаба, вывела планету Земля из того относительного равновесия, в котором она находилась в эпоху голоцена; именно человек стал главным фактором катастрофического изменения окружающей среды. Он меняет климат, преобразует гигантские регионы, катастрофически увеличивает уровень парниковых газов в атмосфере, и все такое прочее.

Как же так? Царь природы — и массовое вымирание?

К сожалению, это факт. Уже определены девять главных «планетарных границ», критических величин, превышение которых приведет жизнь на Земле к гибели. Приведет, так сказать, к *последнему* (Великому) вымиранию. Четыре границы из девяти мы уже пересекли: катастрофическое изменение климата, стремительное вымирание флоры из-за хищнической эксплуатации земель, утрата биоразнообразия в результате столь же катастрофического исчезновения животных видов, наконец, необратимые биогеохимические изменения (фосфорный и азотный циклы).

Я уже говорил: все, что мы делаем (или не делаем), ведет нас в будущее.

Наши идеи и поступки формируют его. Как можно жить без будущего? Да, конечно, его как бы и нет, оно только приближается, приближается, приближается (или это мы приближаемся к нему), но мы знаем — оно все равно будет...

Об этом говорили и Его ученики, кого бы мы под этим ни подразумевали.

Они, Его ученики, постоянно напоминали о том, как легко можно выронить из рук этот чудесный хрустальный шар — нашу планету; как легко можно обрушить истинное, единичное чудо жизни.

«Иную притчу предложил Он им, говоря: Царство Небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но, когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его».

(От Матфея, 13:31-32)

«И сказал: чему уподобим Царствие Божие? или какою притчею изобразим его? Оно — как зерно горчичное, которое, когда сеется в землю, есть меньше всех семян на земле; а когда посеяно, всходит и становится больше всех злаков, и пускает большие ветви, так что под тенью его могут укрываться птицы небесные».

(От Марка, 4: 30-32)

«Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его».

(От Луки, 13: 18-19)

И это вовсе не о каком-то абстрактном Царстве Божием.

Это о нас. Это о нашем (общем) не таком уж далеком будущем.

Вы, Алексей, однажды в письме написали мне: «Меня тревожит в глобальном масштабе лишь одно, Геннадий Мартович: что человечество деградирует настолько, что окажется творчески бесплодным».

Тоже вариант Будущего.

Об этом я и думал, глядя на пылающий закат.

К счастью, в том вашем письме приписка была: «Надеюсь, этого не случится».

Алексей Буров

Вечная жизнь — напряженный творческий труд

Дорогой Геннадий Мартович, очень рад, что вам запомнилось это высказывание о творчестве. Надежда на его нескончаемость у меня на самом деле больше, чем просто надежда, что и попытаюсь пояснить.

Будущее — одно из самых напряженных слов; оно крепко заряжено тревогой, заботой, ужасом, тоской, надеждой и утешением. В лекциях по истории религий Андрей Борисович Зубов рассказывает о населенном финикийцами древнем Ханаане и его колонии Карфагене, где главным богам приносили в жертву первенцев знатных фамилий. Безумие; но так ли далеко ушли от финикийцев наши современники, благословляющие сыновей на параноидальные войны? А если вспомнить ЧК и ее производные, то не окажутся ли древние жертвоприношения Баалу и Танит лишь бледной тенью гекатомб идолам светлого будущего, социалистического отечества и величия России? Ведь если светлое будущее — это какой-то вечный праздник, от которого истомившийся народ отделяют лишь группы каких-то дурных людей, то почему бы этих врагов не уничтожить? Так рассуждал Родион Раскольников, так судили миллионы его последователей несколько десятилетий спустя. Правда, Раскольникова замучила потом совесть, а много ли известно историй о мучимых

совестью советских палачах из органов? Увы, мне не известно ни единого такого случая; если таковые и были, их очень немного.

Ошибся, получается, Фёдор Михайлович, сквозь розовые очки смотрел.

Жизнь показала, что ради светлого будущего, оказывается, можно преступить все что угодно и никаких мучений потом не испытывать, даже гордиться, с медальками важно ходить, почетную пенсию аккуратно пересчитывать. Много страшнее оказался человек, чем думал Достоевский. Голос совести, выходит, не является решающим возражением; голос сей как-то легко устраняется — во всяком случае, когда террористы и палачи действуют не в одиночку, а сообща. В Страшный Суд они не верят, над *еврейскими народными сказками* смеются, а от счастливых обитателей будущего ожидают заслуженной благодарности, пусть и безымянной.

И как возразить? Сказать, что в их расчеты вкралась досадная ошибка?

На каком основании можно обличать во зле проповедников и исполнителей революционного террора, а также и прочих злодеев? На основании категорического императива? Так они его отвергли, и притом на деле. Один лишь имеется тут аргумент, и полагаю, он не нов: есть Бог, и Он спросит с каждого за все. Отрет всякую невинную слезу и воздаст за нее.

Но если так, то почему же всеблагой и всемогущий Бог позволил пролиться целому океану невинных слез? Ради райского будущего? И раз уж сам Создатель не нашел ничего лучшего, то он либо не слишком могуществен, либо не слишком благ, и тогда какой же он нам судья?

Это опровержение платоновской идеи о всесовершенном Боге было высказано еще Эпикуром (342—271 годы до Р.Х.).

Проблема совместимости божественного всесовершенства с присутствием в мире боли и страданий была обозначена Лейбницем как теодицея, оправдание Бога; нередко она называется еще проще — проблемой зла. В католицизме, православии, основных протестантских конфессиях общепринята теодицея св. Августина (354—430): мир был создан совершенным, зло же вошло в него из-за грехопадения первых людей, ставшего, в свою очередь, возможным в силу свободной воли Адама и Евы и, надо полагать, Змея. Таким образом, совершенство первозданного мира с логической необходимостью несло в себе семя своего повреждения.

Все же эта блестяще обернутая концепция спонтанного нарушения совершенства не свободна от серьезной критики.

Наиболее сильное, на мой взгляд, возражение состоит в том, что всемогущий Творец все же мог создать множество свободных существ, которые бы не были подвластны соблазну, да еще с такой легкостью, как Ева и Адам; многие добродетельные и мужественные люди, не говоря уж об Иисусе Христе, выдерживали тяжелейшие испытания, оставаясь верными долгу.

Другое возражение состоит в том, что миф о совершенной первой паре находится в разительном противоречии с обширными данными антропологии, указывающими на постепенное выделение человека из животного мира, постепенную эволюцию. Дело даже не в том, что никаких следов подобной пары (Адам и Ева) антропология не обнаруживает; это было бы еще полбеды. Противоречие гораздо серьезнее: такую пару даже гипотетически на антропологическом древе поместить некуда.

Многие возражения библейскому теизму несостоятельны, поскольку основаны либо на незнании предмета, либо на недомыслии. Проблема зла — это действительно серьезный, глубокий вызов; недаром ему посвящена одна из книг самой Библии — Книга Иова, о которой мы уже как-то говорили с вами, Геннадий Мартович, но тему, конечно, не исчерпали. Оказавшись на самом краю жизни, Иов испытал потрясение открывшейся ему красотой и премудростью космоса, и это потрясение восстановило в его душе доверие к Богу, хотя и не пролило света на смысл его страданий. Как утверждает мой друг, плотник и библеист Дэниел Грубер, этот смысл и состоял в прозрении Иова, в обогащении его связи с Богом через то, что Альберт Эйнштейн назвал космическим религиозным чувством. Страдание Иова оправдано как условие

духовного роста, отнюдь не ограниченного сроком одной земной жизни. Духовный рост есть высшее назначение человека, о чем говорят на разный лад и притчи Христовы о Царствии Божием внутри нас. В притчах о талантах, о закваске, о сеятеле, и, конечно же, о горчичном зерне, Господь дает эволюционный образ человека, где через личное усилие могут быть реализованы высшие потенции. Вот тут и лежит, по моему убеждению, решение проблемы теодицеи, проблемы зла.

Первое и самое главное, что мы узнаем о человеке из Вечной Книги: Бог создал мужчину и женщину по образу и подобию Своему.

Как это понимать? Разве может существо, ограниченное ничтожными рамками земной жизни, быть подобным Создателю Вселенной, со всеми ее величественными чудесами? Это подобие можно мыслить лишь динамически, эволюционно, как постепенную актуализацию гигантской духовной потенции, и вдобавок на масштабах, не только много б*о*льших одной жизни, а скорее всего, даже и рамок Вселенной. Если Отец наш творит миры, то и мы, Его дети, тоже, по мере взросления, должны участвовать в этом. Самое же важное наше участие, делающее нас богоподобными в самом глубоком смысле — это активная вовлеченность в становление самих себя.

Представим на минуту, что Бог создал людей сразу же настолько совершенными, что все те грехи и злодеяния, коими богата история, были бы невозможны. В таком случае человечество не участвовало бы в созидании себя на важнейшей начальной стадии, за отсутствием оной. Наше богоподобие было бы значительно обеднено в таком случае. Вот поэтому мы и не лишены этой нелегкой стадии. Поэтому, опираясь на данные антропологов и историков, мы и видим человека не павшим с высоты совершенства, но медленно и трудно выходящим из животного царства, тут и там спотыкающимся, разбивающимся в кровь, плачущим, проклинающим все на свете, думающим редко и плохо, но все же идущим вверх.

Вверх идти трудно. Страдания на этом пути — это важная часть того мотора, который действует в нас, побуждает к действию, к поиску нового. Вызов старых и новых трудностей — необходимое условие духовного роста. Мы ленивы и нелюбопытны, сокрушался Пушкин. Да, люди преимущественно спят, средства же Создателя выводить нас из этой первичной спячки ограничены условием свободы человеческой воли. Природные катастрофы, с их величественным ужасом — одно из таких средств; поэтому они и случаются. Примерно в таком ключе думали ранние отцы Церкви — Ориген и Иреней; из современных теологов наиболее основательно эта *иренейская теодицея* разработана у Джона Хика (John Hick, 1922–2012).

Ну, а что же такое тогда — известная библейская история о грехопадении? Не теряет ли она смысл? Нет, не теряет, но требует небуквального понимания, как и многие истории Святого Писания. Ведь что предложил Еве соблазнивший ее запретным плодом Змей? Предложил не доверять Богу и обрести самостоятельное могущество: нет, не умрете, но будете как боги. Змей, искусно переплетая ложь и правду, переводил людей из уютного детского сада в трудную школу; из состояния инфантильности — к подростковым вызовам, болезненным проблемам и бунту, но также и к постепенному взрослению.

И что же получается? Змей в итоге сыграл и продолжает играть свою весьма полезную роль? Так и не так; роль Змея амбивалентна. Духовная зрелость означает способность преодолений соблазна, но ее реализация невозможна без многократных столкновений с последним. Потому всевидящий Бог и не оградил людей от Соблазнителя. Ну а коли так, то человек создан отнюдь не для праздника светлого будущего. Сплошного праздника как не было, так и не будет никогда, ибо замысел о человеке иной. Самое главное в нем — дети должны расти; растут же они в напряженном труде, в ситуации вызова со стороны природы и других людей, в условии опасности и трагедии. Душа склонна к лени и ко сну, но она обязана трудиться, как напоминал Николай Алексеевич Заболоцкий. И для содействия росту, который всегда труден, она получит свою меру ударов судьбы, важных как для этой жизни, так и для последующей.

На этом месте некоторые наши читатели могут возмутиться.

Как он, автор, смеет оправдывать страдания, оправдывать зло? На каком основании все это возвещает? Кто он вообще такой? Физик? Вот пусть и занимается своей физикой и оставит в покое то, в чем специалистом не является.

Что я могу сказать на это?

Я стремлюсь понять мир, понять в целом, построить приемлемую картину, охватывающую бытие в самых важных аспектах. В готовом виде я такой картины не нахожу; очевидно, ее нет. Более того, я не нахожу людей, удовлетворительно владеющих основными составляющими такой картины. Философы, как правило, не понимают, что такое физика, даже и философы науки. Физики, как правило, понятия не имеют о проблемах картины мира в целом. И те, и другие зачастую плохо понимают искусство и религию. О бездне своих непониманий я скромно умолчу. Экспертов по единой картине мира нет, а выстраивать ее важно. Когда ученики спросили Христа, как отличать истину от заблуждений, ответ был: *по плодам их узнаете их.* Картины мира имеют первостепенное значение в индивидуальной и общественной жизни, отвечая не только на глобальные вопросы о сущем, но и о должном. Какую-то картину мира, наверное, имеет каждый человек, если только он не превратился в полного зомби, не раздробился на бессмысленный поток экспертиз, ощущений и импульсов. Глобальная картина не только отражает, но и задает бытие, имеет добрые или ядовитые плоды, и потому жизненно важно ее критическое осмысление, качественная публичная дискуссия вокруг картин мира. Вот я и выстраиваю картину на свой страх и риск, делясь построениями не только с другом — Геннадием Мартовичем, но и со всеми интересующимися. Делюсь и приветствую всех, кто со всей серьезностью делает то же, стремясь учесть физику, метафизику, этику, историю, теологию, искусство, свою собственную мысль, не соглашаясь при этом на бессмыслицу.

Когда спрашивают, верю ли я в Бога, мне требуется пауза для ответа.

Мне не нужно верить в то, что у Вселенной есть сверхразумный создатель: на это, прежде всего, указывают весьма особенные законы физики, соединяющие в себе математическую элегантность, универсальность и антропность. Мне не требуется верить в то, что создатель Вселенной создал также и жизнь; идея о случайном зарождении жизни и, далее, видов, мне представляется безумной в свете неразложимой фантастической сложности даже самой простой клетки, далеко превосходящей сложность всего завода «Боинг» и романа «Война и мир». Мне не требуется верить в то, что мышление, дошедшее в своем развитии до открытия фундаментальных законов Вселенной, имеет своим истоком божественное семя — никак иначе такое согласие бытия и мышления не объяснимо. Но вера мне все же требуется; я верю, что Создателю этой величественной Вселенной есть дело до каждого человека лично, что Он каждого из нас любит, как своего ребенка, принимая важнейшее участие в наших судьбах, хотя и скрытно, ради нашей свободы. Да, и это убеждение разумно: человек есть тот, кто может удивить Бога, а потому Богу он должен быть и особенно интересен. Странно было бы думать, что Вселенная была создана ради прозрачных в глазах Творца атомов, амеб или даже зайцев. Все эти создания остаются теми же сейчас, как и в момент творения, исчерпываясь изначально заданными качествами. Существенно меняются, наращивая в себе творческие слои, лишь мыслящие существа, из которых нам достоверно известен только человек. Так что особое внимание Творца к тем, кто растет в своем подобии Ему, достаточно подсказано разумом, вера и здесь не очень требуется. Но все же есть дистанция между заинтересованным вниманием и отеческой любовью; эта дистанция и покрывается у меня встречной любовью, восхищением, благодарностью и доверием.

В этом, прежде всего, и состоит моя вера в Бога.

Ведомый этой логикой, я заключаю о том, что жизнь после смерти не кончается для тех душ, что не погубили свой потенциал развития, свои горчичные семена; и уж тем более не заканчивается она для тех, кто таланты приумножил, в ком зерна взошли. Неразумно было бы, с точки зрения Небесного Отца, терять тех детей, кто рос бы и

далее, радуя и удивляя Его. Библия воздерживается от описаний Ада и Рая, вечной жизни. Но одно кажется несомненным: Рай может быть лишь следующей ступенью приближения к Богу, роста в образе и подобии Творцу. Иными словами, Рай есть пространство дальнейшего раскрытия творческих потенциалов достойных его душ. Вечная жизнь — это не праздный отдых, не сладкий сон, но напряженный творческий труд на пределе возможностей, несущий, стало быть, не только новые победы, но и новые поражения. Жизнь души если когда-то и может закончиться, то лишь в случае исчерпания ее возможностей, когда ей уже нечем будет удивить себя и своего Отца. Раю может предшествовать Чистилище — своего рода госпиталь для способных к излечению, для восстановления сил. Ну, а Ад мне видится как погружение в ничто тех, кто уже ни на что доброе не способен. Перед таким погружением я бы хотел видеть эту публику за индивидуальными просмотрами фильмов о собственных злодеяниях, со всеми деталями. Возможно, некоторых злодеев, а может быть и всех, такие фильмы привели бы к глубокому раскаянию и переходу в Чистилище.

Ваш замечательный друг палеонтолог Ёлкин верил, как и герои романа «Чевенгур», в вечную праздничность будущего. В отличие от чевенгурцев, однако, Ёлкин не думал, что этот праздник придет сам собой, он опасался многих проблем и, самое главное, был увлечен замечательным делом, которому отдавал жизнь. Мечта о будущем празднике не заслоняла для него значение и интерес настоящего дела, в котором и реализовалась его личность. Более того, думаю, что Ёлкин был неслабым палеонтологом и хорошим другом не только не благодаря, но и вопреки этой разделяемой им всенародной мечте.

Сахарный идеал будущего как сплошного праздника хуже, чем просто поверхностен: этот футуристический китч депрессивен, аморален и деструктивен. Он депрессивен, ибо тяжесть и трагедия жизни, которые всегда с нами, предстают роковыми случайностями, обессмысливающими всю жизнь. Он аморален: порождая образ человека, ущемленного непопаданием на праздник будущего, прозябающего на его задворках и лишь унавоживающего собой почву будущих садов, этот идеал дает ход потоку обид и претензий к людям и Богу. Этот поток, в свою очередь, враждебен этике ответственности, труда, благодарности и самопожертвования, питая озлобленность и цинизм. И наконец, такой образ будущего социально деструктивен, ибо ни семейные, ни деловые связи на аморальном базисе выстроены быть не могут. Общество, где доминирует идеал будущего как праздника, может представлять собой лишь комбинацию войны всех против всех, мафиозности и тирании.

А как же тогда жив Запад с его потребительским раем, внушаемым со всех рекламных картинок? — могут меня спросить.

Ну, Запад пока еще жив, несмотря на натиск этого китча.

Он жив, благодаря старым своим корням, старой религии благодарности и жертвы, которая отнюдь не сошла со сцены, хотя и теснима. Недаром плодотворнейшей страной современности является одна из тех, где христианство особенно сильно, где Библия по-прежнему особо читаема...

Возвращаясь к тому, с чего начал, могу суммировать: творческий дар составляет саму сущность человечества; в условиях его развития раскрывается смысл страданий и смысл истории. Упомянутая вами опасность полной утраты человечеством этого дара меня может лишь пугать, как бессмысленный кошмар, которого много чего допускающий Бог, верю, не допустит.

Таким открывается будущее в моей глобальной картине.

Картина эта, постепенно раскрывающаяся в нашей переписке, есть некий пазл, складываемый мною в течение всей жизни. Важнейшими принципами указанного складывания являются учет главных составляющих, недопущение бессмысленности картины и требование сильнейшей критики. Я благодарен всем, кто ищет лучшие ходы не только за моих белых, но и за моих черных; лишь при таком поиске партия и важна. Так что, огромное спасибо вам, дорогой Геннадий Мартович, за все ваши письма!

«Я читал тебя и думал, радуясь: вот сошлись, совпали...»

Из переписки Льва Аннинского и Игоря Дедкова (1973—1987)

Отмотаем время на полвека назад — в середину 70-х и последующий десяток доперестроечных лет. Для тех, кто тогда не жил: эпоха политического и экономического «застоя» — и ненасытно читающая страна, книги и литературные журналы передают из рук в руки, от них ожидают и требуют объяснения того, что происходит с человеком и обществом, в них истово ищут нравственные ориентиры, о них спорят на кухнях. Литература дает возможность приоткрыть правду о цене победы в войне и жертвах коллективизации, пытается срастить концы разрубленной революцией истории. Журнал, если в нем нет — условно — новой повести Астафьева или рассказа Шукшина, начинают читать со второй «тетрадки», с конца: с публицистики и литературной критики. В ситуации политической цензуры литературная полемика становится едва ли не важнейшей формой публичной саморефлексии общества. Плодотворнейший феномен — тогдашняя плеяда критиков разных идейных направлений и эстетических приоритетов: Владимир Турбин, Вадим Кожинов, Андрей Турков, Юрий Буртин, Игорь Золотусский, Пётр Палиевский, Владимир Лакшин, Владимир Бушин, Игорь Виноградов, Станислав Рассадин, Станислав Лесневский, Алла Марченко, Олег Михайлов, Валентин Курбатов... Профессионалы и личности. И, конечно, еще два обязательных имени в этом заведомо неполном списке — Лев Аннинский и Игорь Дедков.

Они ровесники, оба родились в апреле 1934-го, знакомы с университета (шапочное знакомство — обронит потом Аннинский, учились на разных факультетах).

В 56-м, после доклада Хрущёва о культе Сталина, Дедков стал лидером студенческого бунта на журфаке (они требовали решительных перемен на факультете и в стране) и вместо аспирантуры оказался в Костроме, в редакции газеты «Северная правда», под присмотром органов госбезопасности, на несколько десятилетий оторванный от бурления столичного «литпроцесса» (это с его-то гражданским темпераментом и идеей *служения)* и невыездной. Назначению в расквартированный в Праге журнал «Проблемы мира и социализма» помешало КГБ. К тому чтобы Дедков не стал по приглашению главреда «Нового мира» Сергея Залыгина его замом, приложили руку товарищи от литературы — после разгромной статьи о романе Юрия Бондарева «Выбор». («Хорошо еще заставы на московской дороге не выставлены...» — горько усмехнется Дедков в письме Аннинскому.) В Москву удалось вернуться лишь в 87-м, потребовалась санкция Горбачёва.

Аннинский, уже сдав вступительные экзамены, тоже в аспирантуру не попал — внезапно изменились правила зачисления: требовался обязательный производственный стаж. Пришлось искать работу. Взяли в журнал «Советский Союз» делать подписи к фотографиям — и через полгода уволили за «профнепригодность». Так начался, как он

сам говорил, путь в *литподёнщики*. Работал в «Литературной газете», журнале «Знамя». Из журнала пришлось уйти после того, как подписал письмо в защиту своего университетского преподавателя Андрея Синявского. («Когда была возможность хоть как-то его защитить, я сказал: это мой учитель, и я его защищаю.) Устроился редактором в Институт конкретных социологических исследований АН СССР. И только в 72-м тогдашний главный редактор «Дружбы народов» Сергей Баруздин пригласил его в отдел критики журнала.

С этого времени и началась переписка Дедкова и Аннинского и возобновились их личные отношения.

Не сказать, чтобы бросились друг другу в объятья. Аннинский: «При всей взаимной приязни, мы в начале 70-х годов стояли на достаточно разведенных позициях».

Как маркер: Дедков печатался в «Новом мире» еще со времен Твардовского. Аннинский же признавался, что хотел быть вместе с авторами «Нового мира», но они не пустили его «в свою компанию» — «им нужны были бойцы, готовые насмерть стоять за либеральные идеи. А я по характеру никакой не воин». Дедков был воин. Он не был ни либералом, ни консерватором, ни националистом, ни космополитом, он был, как ни удивительно звучат эти слова, поставленные рядом, демократом и патриотом и был готов биться за свои идеи. Аннинский признавался, что с самого начала оказался между либералами и ортодоксами, идти к «правым» не хотелось, в итоге навсегда остался *между*: не бойцом и не воином — *пограничником.* Ему со временем перестал быть важен цвет трибуны, важно было вбросить идею, нередко провокативную, высказаться. (Пожалуй, главная статья Аннинского тех лет — «Жажду беллетризма!». Главная статья Дедкова — «Когда рассеялся лирический туман». Обе комментируются в их переписке.)

Но дело, конечно, не только в характере и темпераменте. Снова сошлюсь на Аннинского, это сформулировано гораздо позже описываемого времени и через десять лет после смерти Дедкова: «Разномыслие наше касалось и фундаментальных ценностей. Мне в качестве героев уже не светили ни подлинные демократы-ленинцы, очистившиеся от «культа Сталина», ни первозванные марксисты, очистившиеся от «тоталитаризма», ни борцы с самодержавием, которые учат жить диссидентов, от них произошедших. У меня Плеханов уже был перепахан Бердяевым, а Луначарский подмочен Розановым. Игорь тоже не оставался в иллюзиях 50-х, но он, кажется, шел от Новгородцева, от Чичерина, от Сергия Булгакова, от идеалистов скорее социально-созидательного, чем духовно-беспочвенного окраса. Нашей встрече ничто не мешало, кроме этих исходных позиций, но черту все-таки следовало преступить, несхожесть стартовых позиций должна была обозначиться».

Читаешь — и ежишься от неловкости, и оглядываешься по сторонам — у кого из нынешних писателей и критиков *такой* бэкграунд разномыслия?..

Но, продолжает Аннинский, «что меня поразило — так это интонация, в которой Игорь фиксировал несогласие. Он не говорил: «ты неправ». Не говорил: «это не так». Тем более, не говорил: «это чушь, ретроградство, фанфаронство», мало ли еще как можно было наградить меня за мои эскапады, даже и в неподцензурной переписке дышавшие все тем же юродским хмыком. Почему это так у меня — другой вопрос. Не о том сейчас речь. Речь о Дедкове. На мои рассуждения он отвечал: «согласиться с тобой — не готов». Именно так — не готов. И точно, и щадяще. Мне этот стиль грел душу».

Это переписка дружеская — с новогодними поздравлениями, приветами женам и приглашениями в гости. С тревогой, удастся ли прожить, уйдя со службы. С униженностью бытом, когда масло в Костроме только фруктовое и продуктовый заказ — уже праздник. С «пробиванием» по инстанциям и соседям-кооперативщикам освободившейся в доме квартиры, жизненно необходимой для разросшейся семьи

(это письмо Аннинского отсылает к прогремевшей за пару лет до того «Кляузе» Шукшина, прозой которого он в это время занимается). С брезгливостью к окололитературным дрязгам и склокам. С горькой констатацией того, что после тупых сокращений, несогласованных вписываний и цензурных изъятий «только идиот» будет судить о них по книгам.

Но не будем забывать: Аннинский работает в «ДН», а Дедков — автор журнала, и оба нередко пишут об одних тех же писателях и откликаются на одни и те же книги.

Это переписка двух самостоятельно мыслящих, отдельно стоящих на литературной шахматной доске людей, не только способных слышать другого — заинтересованных в диалоге. Дедков: «Ты заставил меня думать над тем, над чем я не думал. В этом случае степень согласия имеет второстепенное значение».

Думать — не только о Толстом, Лескове, Трифонове, Быкове, Адамовиче, Бондареве, Маканине, Матевосяне, Вознесенском... журналах-издательствах, литературных полемиках и внутрилитературных сюжетах. Думать о российской матрице государственного устройства и общественной жизни, о своей роли — толкать вагон, к которому не прицеплен паровоз, думать об ускользающем времени, которое не остается ни в газетах, ни в литературе, а потомкам будет не до того, чтобы разбираться.

Масштаб личности. Уровень разговора. Круг чтения. Стремительно меняющаяся реальность. Что их заботит, что они для себя открывают, что и как обсуждают. С какой прямотой — и с какой оглядкой.

Дедков пишет в 76-м году: «”Дом на набережной” напоминает о некоторых ясных вещах, которые мы — единственно по слабости нашей, а не по уму, — стараемся обходить стороной и даже затуманивать. ...Трифонов вышел своим путем — через якобы невнятный пересказ быта — на самое важное, и я тоже вспоминал свое, и в своем поколении узнавал их поколение и не понимал, почему это надо носить в себе, сгребать в темный угол и почему патриотические декламации важнее, нужнее, популярнее этой элементарной правды и честности? Это и вправду был быт с таинственными недоговоренностями и невнятностями, с приливами озноба и страха. Счастье, что время наших поступков и решений началось после марта пятьдесят третьего. Наше мужество было испытано, но недостаточно».

Аннинский — это 83-й год: «Теперь слушай. Человек, который про песок писал, теперь новый роман кончает. Я читал. Там есть страшной силы фигура. Знаешь, кто? Тот, чей 12-й том навел тебя на мысль "литпортрет” его сделать. Там не “лит”, там — поглубже. Что твои “корпуса” и “шараги”, и “круги”, и все то, что мы считали пределом, там была одна слепая злоба, а тут — тут взгляд посерьезнее. Это я тебе ответственно говорю, чтобы ты, если будет случай прочесть (рукопись, естественно, — дальше не пойдет), чтобы ты не пропустил»... («Тэги», как сказали бы сегодня: Анатолий Рыбаков, его роман «Тяжёлый песок», Сталин, Солженицын, роман «Дети Арбата», спустя четыре года опубликованный в «Дружбе народов».)

В их переписке — *то время* в *тех* ощущениях и *на языке того времени*, — и вот это как раз важнее всего.

Важно сегодня, когда создается миф о позднесоветском отрезке истории и декларируются устои нового общества, когда страна перестала читать, когда, практически лишенная площадок для высказывания, исчезает контекстная, проблемная критика, когда вообще разучились писать письма.

Дедков — в том же письме 76-го года: «Самое трудное и мужественное занятие — ходить по земле. ...Как бы мы ни хотели, без полного нравственного расчета с прошлым далеко мы не уйдем. А если и уйдем, то все равно — вернемся, чтобы только потом уйти на самом деле».

Это важно понять и нам, вернуться, чтобы попробовать разобраться в их и нашем времени и идти дальше — вместе с ними.

Наталья ИГРУНОВА

Эпоха, мучительно или скоморошно выражавшая себя в печатной словесности, самое сокровенное договаривала в письмах, до коих не могла добраться ни неистребимая до кошмара цензура внешняя (иногда скрывавшаяся под маской редактора), ни кошмарная до неистребимости цензура внутренняя (иногда продолжавшая жить в подкорке того, кто решался высказаться).

И вот пришла пора доставать старые письма из глубины столов.

В 1972 году, перейдя на работу в журнал «Дружба народов», я по долгу службы послал Дедкову какую-то редакторскую правку к его статье, прося утверждения. Он утвердил, но, к моему удивлению, этой визой не ограничился, а прибавил несколько дружеских фраз, то ли поздравив меня с каким-то праздником, то ли отозвавшись на какую-то мою статью.

Растроганный, я ответил.

Так началась переписка.

Лев АННИНСКИЙ

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
19.1.73

Дорогой Игорь,

Лидия Абрамовна[1] дала мне прочесть твою работу о Гоголе и Кафке, и я хочу сказать тебе, что статья произвела на меня сильное впечатление. Читается это безотрывно, написано — с большим ощущением внутренней необходимости и чисто русским ощущением вины и боли. Это — одна из тех работ, коими теперь обеспечивается перестановление духа в новой интеллигенции, и мне хотелось бы поддержать и укрепить тебя — сколь это в моих силах и сколь это окажется тебе нужным. Не обижайся, но теперь я чувствую себя более близким тебе, нежели когда читал твои публиковавшиеся статьи, например, о деревенской прозе, — хотя боль чувствовалась и там. Скажу тебе, в чем полюс этой близости, а заодно — и в чем полюс моего несогласия с тобой *теперь.*

Близок я тебе там, где ты опасаешься самоуверенного полета передовых безупречных умов и видишь человека не *в исправленном* Башмачкине, а именно в таком, какого сделала жизнь. Легко встать на сторону униженного, когда тот защищен неуязвимой броней стоицистской атараксии, но трудно увидеть человека в существе, самый *дух* которого раздавлен. *Нищего духом* полюбить — труднее, чем присоединиться к бульдозеру духа.

Неблизок я тебе в твоем тираноборчестве. Я думаю, что власть мешает лишь тем, кто хотел бы делить эту власть с имущими. От власти страданья много, но от безвластия будет — еще больше, и не *давить* хотел Бенкендорф — тут ты впрямую ошибаешься, — а *умиротворять.* Опыт был, ты знаешь: давителей укоротили. Какою кровью восстанавливали укороченное и в какой жесточайшей, сравнительно с прежнею, форме — ты знаешь же. Не стоило ли бы подумать, над этим опытом? Да ведь и Василий Васильевич, и Николай Александрович[2], которым ты отдал должное, только над этим и думали. Что кидаешься на систему: на ту систему, на эту? Или делить хочешь, участвовать? Без системы Россия в крови тонет, и сказать честно: чепуха это, что в России система *дух* давит, — в России система от веку, от начала ее — соискателей власти сортирует и давит, но духу она, в общем, попустительствует. Вот у нас и Гоголь — *есть.* Вот у нас и ты — *есть* с этой статьей. Дай тебе «департамент» (это я опять В.В. цитирую) — ты Гоголем заниматься не станешь. А коли выбрал — так оставил бы структуры и системы в покое: их дело — хлеб и металл, а твое дело — душа.

А?

Ну, дай тебе Бог, Игорь. И в несогласии с тобой — фундаментально все равно чувствую солидарность: и как с пишущим, и как с мыслящим, и как с болеющим совестью собратом.

Твой Лев Аннинский.

---

[1] Лидия Абрамовна Дурново — сотрудник отдела критики «Дружбы народов». (*Здесь и далее — прим. ред.*)

[2] Философы Василий Васильевич Розанов и Николай Александрович Бердяев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
5.2.73.

Дорогой Лёва,

я был рад твоему письму — всему, и очень благодарен тебе за «поддержать и укрепить» — это мне и в самом деле далеко не безразлично в связи с особенностями провинциальной жизни и характера.

Многое я понимаю похоже или так же, кирпичная кладка во мне разрушена и давно; Николай Александрович и другие действуют на меня сильно, но вторая часть твоего письма вызывает у меня некоторое сопротивление. Ни делить, ни участвовать я не намереваюсь, но признать, что всякий порядок — от Бога, — не могу, благодарить за «попустительство» духу, Гоголю и т.д. — не готов. Впрочем, тема эта плохо поддается письменности, а при разговоре мы, наверное, поняли бы друг друга. Я всегда читаю написанное тобой — с давних времен, и никогда оно не было мне чуждо. (Кроме одной статьи — о Виноградове; она более других была поступком и как поступок — уязвима.) Вот о Трифонове статья мне показалась очень сильной — по ходу мысли, уводящей очень далеко от наезженных дорог...

Лёва, но ведь не касаться «структур», «хлеба», «металла» — невозможно. И ты о Чешкове[1] писал, и не без энергии. Душу из всего этого в чистом виде не вычленишь, даже церковь на это не способна, да и не захочет она этого полного «вычленения», этой абстракции, иначе она перестанет быть *земной.*

Конечно, мое сочинение в части «государственной» я бы сегодня переделал. Но вдохновляло бы меня на это не «реальное» российское государство, а идеи Б.Чичерина[2], например.

Лёва, прости меня за всю эту чертовщину. Смысл «вышеизложенного» — в моей благодарности; над тем, что ты написал, я еще подумаю; вообще хорошо, что ты так все понял, — это дорогое для меня письмо.

Всего доброго тебе и дому твоему. Твой Игорь Дедков.

---

[1] Герой пьесы И.Дворецкого «Человек со стороны» — в 1973 году вышла экранизация спектакля, поставленного А.Эфросом в Театре на Малой Бронной.

[2] Борис Чичерин — философ, публицист, один из основоположников конституционного права России.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
8.2.73.

Дорогой Игорь,

спасибо, что так откликнулся и так все воспринял, — письмо твое многое уравновесило в твоей статье; во всяком случае, с тобой я всегда договорился бы даже по тем вопросам, которые неразрешимы в принципе (порядок — от Бога, а беспорядок — от кого? А если б Николай I Гоголю не мешал бы, а помогал — было бы «лучше» или «хуже»?) — и я стою на Чичерине... А что дух нигилизма вызывает во мне реакцию, преувеличенную до *поступков,* — так это от судьбы моей; я считаю, что

много Россия страдала от неземных мечтателей, а от «земных» все ж не меньше; и потом — *мне*-то душу по *этим* чертежам выкроили, по Вилюйским, — так, что до сих пор не вспомню, кто я и откуда, может, от этого я и пристрастен, ты уж не сердись на меня. В других-то ситуациях, когда передо мной обратного края фанатики, — я, думаешь, стесняюсь? Не стесняюсь и там, и насчет Чешкова неслучайно все.

Я почему тебя приемлю — со *всеми* твоими идеями? Ты — ищешь, ты человек совести, и потому — для меня — *где* б ты ни искал — все равно это опыт для всех нас.

А не приемлю — потенциальных «вождей литературы», которые больше всех знают и за всех готовы ответить. Я от вождей состоявшихся не знаю, куда деваться, а тут еще будущие! Отсюда — использую твое парламентское выражение — и все мои *поступки,* в которых я не раскаиваюсь.

И по статье, и по письму, Игорь, с величайшим сочувствием ощущаю круг твоего теперешнего чтения, и круг раздумий твоих, и все его безвыходности. У меня-то ведь этих безвыходных вопросов, может, и еще больше, и, честно, я в них сам путаюсь. Мы — россияне, это крест наш. Но, прости, это опять не из области «металла».

Рад, что мы с тобой почувствовали друг друга, и поверь, мне хорошо оттого, как и что ты пишешь, а если выйдет так, что и друг против друга придется встать в литературном деле, — то дай Бог мне таких оппонентов, как ты.

Жму руку. Твой Лев Аннинский.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
19.11.74.

Дорогой Лёва,

не знаю, что уж ты придумаешь с моим сочинением о Шукшине, но надежду так и не теряю. <...>

У нас тут смена идеологической власти. Новый редактор, новый секретарь по идеологии. Мой «покровитель» и «патрон» отправлен консулом в Пловдив, хотя полон сил и голова живая. Желая «обеспечить» себе «тылы», я решился «подать в писатели»[1], и здешняя братия, сообразив вдруг, что «добра» я делал больше, чем «зла», благословила сей поступок, дружно проголосовав «за». Как посмотрит Москва на все это, — не знаю, и уповать ли на давних моих рекомендателей Золотусского[2] и Кузнецова (Ф.)[3] — не знаю. Что скажешь ты, мудрый человек?

А вот выписка из одного сочинения старого: не интересна ли? Это писала московская городская дума государю (1870 г.):

«Да, Государь, "Вашей воле", — скажем в заключение словами наших предков в ответе их первовенчанному предку Вашему в 1642 году, — "*Вашей воле* готовы мы служить и достоянием нашим, и кровью, а *наша мысль такова*"».

Не очень храбро, но разве не достойно? Впрочем, достояния нет, а крови... — не чересчур ли будет? А?

М.б., что напишешь про все? <...> Игорь Д.

---

[1] Подал заявление о вступлении в Союз писателей СССР.

[2] Игорь Петрович Золотусский — литературный критик.

[3] Феликс Феодосьевич Кузнецов — литературовед, в 1977—1987 годах — первый секретарь правления Московской писательской организации СП СССР.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
1 декабря 1974 г.

Дорогой Дед! <...> Быть тебе в Союзе, никуда не денешься, а ведь жить-то потом все одно придется, и с редакторами тягаться — тоже. Но при прочих равных, в Союзе-то быть — легче, конечно. Из газеты, чувствую, уйдешь. А — на что кормиться? Ведь

проклятое это дело — минимум каждодневный, на что обедать и т.д. Я — боюсь уходить. Три дня, было, попробовал, в 1967 году, — посчитал, что гонораров по прежним цифрам должно хватить, — ну, вот, три дня жил вне штата. *Ни строки* не написал. Пропсиховал все 72 часа. Что фраза ни выплывет, с нею вместе мысль: «это не пройдет». Пошел опять служить — успокоился. 140 рублей ежемесячных мне нужны для наглости. Чтобы уговорить себя, будто я независим, с голоду семья не помрет, и писать могу, «что хочу». Тогда, наверное, и пишу, что надо.

Так и живу с тех пор: сверху — 140 рублей и гарантии, а снизу — весь прочий риск, и жизнь, и мысли.

Как ты верно привел Отцов города Отцу народов: «Готовы *служить... а мысль...*» — а мысль-то, как я понимаю, и была *такова.* Кровь же, Игорь, все одно — от судьбы, и хоть причащаться кровью не следует, но и высчитывать ее наперед не надо. Будто знаешь, где прольется? То ж не вампиры с праведниками тягаются, то ж народы с народами, и у каждого — права, и у каждого — дети, и каждый зачем-то богом создан, однако, «германцы с Запада, монголы с Востока», а и германцы люди, и монголы, и мы, однако...

Настроение у меня — дрянь. Книжку в «Современнике» задержали на стадии редакторской готовности. Четыре месяца ни слуху, ни духу. Я в интеллигентскую порядочность играю, а они ждали, видно, а вдруг само рассосется, и я исчезну, что ли. Но не рассосалось, не исчез — набрался отчаяния, позвонил Прокушеву[1], убедился: задержали по существу. А что четыре месяца псу под хвост — это ничего, это так... Все кругом шепчут: «Борись, борись». Да как бороться-то? Кляузу в ЦК писать на них? Или, может, с дубиной на прием пойти? До чего я эдак «бороться» не люблю! Вся страна из «борцов» состоит. Все борются. А поесть прилично негде.

Ну, вот, и я тебе поплакался.

Гони, дед, визу на вставки про «Похмелье»[2]. Поправь там, как сочтешь. И не горюй — образуется!

Счастливо тебе! Твой Л.Аннинский.

---

[1] Юрий Львович Прокушев — литературовед, с 1971 года возглавлял издательство «Современник».

[2] Роман Гранта Матевосяна.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
15.9.75.

Дорогой Лев,

написал я покаянное (за статью в «Н. совр.») письмо Лидии Абрамовне, а в ответ — ничего. Я же жду дальнейших указаний о латышах: кого и что читать. На работе ли она, здорова ли?

Свою статейку о Палиевском я кое-как дописал (полстраницы) и отослал. После ваших дебатов в «Вопр. Лит-ры» мое сочинение (во всяком случае, судя по первому черновику) выглядит чахло.

В моей статье в «Н. совр.» вписали Кожевникова и Ананьева[1]. Меня в пот бросило, когда мне сказала жена; сам же я статью так и не перечел.

Как вы живете, на что надеетесь? <...> Игорь.

---

[1] Вадим Кожевников, Анатолий Ананьев — советские прозаики официозного толка. То, что называлось «генеральской прозой».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
20.09.75.
Дорогой Дед!

Что это ты, братец, загрустил? Дела наши идут хорошо, Феликс Кузнецов нам строит счастливое общество, мы в нем будем жить, а ты вдруг — с сомнениями? Письмо Лидии Абрамовне написал покаянное. Она мне — читать, а и говорю: и чего он кается? Чего объясняется? Ну, написал статью в «Наш современник» и написал, значит, *так*, и все тут. Вписали имена двух генералов — ну, вписали, жалко, но уж объясняться по этому случаю не след. Написал, не ваше дело! Либералы этот тон отлично воспринимают и даже, так сказать, уважают, а когда перед ними извиняются, вот тут они сразу рвутся учить морали.

И потом: мне показалось, что ты в том письме каешься, что недостаточно энергично с начальством борешься. Игорь, милый, я понимаю твои традиции, но думаю все ж, что равнина наша русская за неимением гор и прочных стен, а также за неимением крепости в душах, и склонности славян к мечтам — только на начальстве и держится. И ты начальство, и я немножко начальство, хотя оба мы начальствовать не хотим, ибо знаем, что не выдержим ответственности. Не надо бы ругать начальство, а? Лучшего не имеет Россия, не из чего ей сделать лучшее. Я иногда, грешным делом, читаю Кардина[1] или там Светова[2], а сам думаю: посадить бы тебя на *недельку* в кресло ПредСовМина, и посмотреть бы, как ты там станешь трубы да хлеб распределять. Потому что одно дело изящная словесность, а совсем другое дело — резать хлеб, ты не находишь? Особенно в стране, где никто не хочет резать хлеб, а все хотят придуриваться. Я в этих видах нашему начальству глубоко сочувствую и в меру *слабых* сил своих хочу ему помочь. Впрочем, может, Лидия Абрамовна не с тем выражением письмо твое прочла?

В «Дону» у меня — рад, что ты заметил — статья о Ланщикове[3] и его боях с либералами. Лезу между кулаками. И накостыляли бы мне в хорошие времена, да теперь всем наплевать. Если прочтешь, и *явится,* — поделись.

<...>Ну, старик, кончай комплексовать! Крепкий критик от одной хорошей и плохой статьи не зависит. Чхай на всех!

Жму руку! Лев.

---

[1] Эмиль Кардин — литературный критик, публицист (либеральный лагерь).
[2] Феликс Светов — писатель, диссидент.
[3] Анатолий Ланщиков — литературный критик, публицист (патриотический лагерь).

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
9.11.75.

<...>А я-то думал, что ты в отпуске, и не писал тебе, хотя очень хотел сказать несколько слов о начальниках. Но прежде — как твои квартирные дела? Вышло, выходит ли что? Квартира, хотя и не крепость, но все ж таки дом, и лучше, когда он просторнее. <...>

А начальников ты жалеешь чересчур. Начальник — это звучит гордо. Это тебе не ассенизаторы, выволакивающие нечистоты. У них белые руки. (В этом месте ты скажешь: как у нас с тобой.) Я тоже уважаю их труд, но когда его не преувеличивают. К тому же ты помнишь, что сказал один югослав[1] про эту артель; в этом-то вся и беда.

Впрочем, у нас могут быть разные впечатления. По крайней мере, в житейском смысле мы размещаемся с тобой на разных горизонталях многослойного российского пирога.

А вообще все идет своим чередом. Только очень быстро. <...>

Прости уж мне это отчетливо утреннее письмо. Хотелось бы с тобой увидеться и поговорить, а то тут бывает одиноко.

Впрочем, тут как-то и легче. Особенно, когда возвращаешься из Москвы, с какого-нибудь большого заседания (с пленума Союза журналистов, например).

Так что же говорят эстландцы? Как нам быть? <...>

Всего самого доброго тебе и твоим близким. Привет от моей жены. Будьте все здоровы и — в новой квартире. Игорь.

---

[1] Видимо, имеется в виду Милован Джилас — югославский политический деятель, автор книги «Новый класс», посвященной критике коммунизма.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
14 ноября 1975 г.

Ну, Дед, и плеснул же ты мне на горячее своим письмом. Когда ты это читать будешь — уж решится, а в настоящий момент сижу я в ожидании имеющего состояться (скорее — сорваться) сегодня вечером собрания пайщиков жилкооператива, на котором должны затвердить (при кворуме) решение Правления об улучшении моих жил — условий.

У меня, ей-богу, руки чешутся — не очерк написать, и не жалобу, — а просто хронику моих и жены моей усилий за эти два года. Просто — хронометраж: сколько часов она отсидела в приемной Райсовета, пока ее приняли, выслушали и с нею *согласились*; сколько я ловил Рекемчука[1], который *прекрасно* ко мне отнесся и организовал звонок С.С.Смирнова[2] на «Мосфильм»; как в *два* приема я пробился к заместителю директора «Мосфильма», у которого на столе уже лежало письмо Кулиджанова[3] (за которым я тоже таскал в Союз кинематографистов свои «лауреатские» бармы). Я хотел бы записать все те десятки телефонных разговоров, которые мы с женой провели вечерами, доказывая членам Правления свою нужду, описывая болезнь второй дочери из-за скученности, и как мы ночуем, и сколько ждем и т.д. Тут, в кабинетах, хоть можно было что-то рассказывать, объяснять, тут хоть читали бумажки. Но вот решение состоялось. Въезжать?! Шиш!! Извольте собирать общее собрание пайщиков. Их, правда, не собрать; им наплевать на все, кроме того, что лично их касается, но — ничего не поделаешь: Демократия.

Иду с обходным листом, зову на собрание. Приходит пятая часть. Теперь, по уставу, нужна еще одна попытка. *Второй раз* иду с обходным листом, зову: миленькие, придите. Дают подпись: осведомлены, а глазами смеются: да некогда нам, поди прочь! В одном месте незнакомая женщина мне крикнула: «Знаем, как вы квартиры получаете, небось, взятку дали!» (Мне ей хотелось сказать: мол, рад бы, да не берет никто, деньги подешевели! Хотел сказать: да, даю взятку, но не начальству, а вам, и не деньгами, а нервами!) Но — стоял и улыбался: ну, что вы, хорошая, вы приходите на собрание... В другой двери — пьяный пайщик; захлопнул передо мной дверь: «У меня именины!» В третьей стали стыдить: «Как вам не стыдно, ходите тут, уговариваете, это ж неприлично!» — Оказалось, в этой квартире живет человек, который два месяца назад развелся со своей третьей женой, и вот он *решил* претендовать на ту квартиру, что дают нам, и сегодня придет на собрание *кричать*.

Когда этот обход закончил, у меня было ощущение, что весь рот у меня дерьмом набит. Господи, я ж на 140 рублей зарплаты пошел — только бы *не просить* у них ничего, и вот дети мои гнут меня, и я иду, и из каждой второй двери прет равнодушие, зависть, злоба и уверенность, что я их всех хочу надуть.

Игорь, это что, начальники?! Начальники наши — дубы, долдоны, камни, но с ними хоть можно взаимодействовать; на почве *закона и прав* это неимоверно трудно, но можно (куда легче на почве связей и взаимных услуг, но чем я *им* услужу?) — так не потому ли они камни, что кругом — это болото, это жидкое дерьмо, в которое — хочешь не хочешь, а лезешь, потому что — демократия. Демократию придумали

народы логические, динамические, в которых человек толпы все равно действует, выбирает, решает... Но когда ходишь и умоляешь людей быть гражданами хоть вечерочек, а приходят несколько десятков (из двухсот) досужих, усталых, недоверчивых, замороченных, озлобленных пайщиков, которым *ничего не нужно,* только бы скорее: «Ну, чаво там, давай быстрей! А мы, чаво, хуже этого бородатого козла?! Ах, у него дети! А мы тут причем?!» — и стоит крик, и никто никого не слышит и не слушает, — так, ей-богу, Дед, хочу к начальнику. Пусть будет дуб. Пусть скажет «нет». Но это хоть какой-то ответ, решение, камень среди болота!

По народу и начальство, брат. Доброты своей боятся. Отсюда и начальство соответственное. Я потому это с легким сердцем говорю, что любить их, начальников, не любил никогда, сам понимаешь.

А в Таллине — зря ты не был! Славно проехались. Охота великокняжеская вышла отменная. Эстонцы принимали на госуровне. Даже неловко (про меня в отчете молодежная газета написала: он выступал не столько как галантный гость, сколько как острый критик; точнее сказать, немножечко понес хозяев за рационализм их прозы, но ничего, простили). Вершина диспута и поездки — финская баня. Это — фантастика. Рай. Другой раз не отменяй таких поездок.

Игоря Виноградова книжку не читал и не видел. Стало быть, издали? И Лакшин переиздал свой том о Толстом и Чехове. Привет мученикам от приспособленцев! А что, *надо* Игоря читать? Я сейчас два тома Константина Леонтьева проштудировал («Восток, Россия и славянство»), Ключевского «Историю сословий». Леонтьев спорен, изредка наивен, иногда прозорлив до потрясения и вызывает у меня огромное уважение. А Ключевский — еще и симпатию живейшую. А вообще я только — только из Шукшина вынырнул, опять *читать* начал (написал два опуса о Шушине по полтора листа, не знаю, что с ними будет) — ну, вот, читаю теперь взахлеб. Ухтомского по «Новому миру» помню, нравилось, а в «Природе» и в «Путях» — не попался. В «ВопЛях» интересные материалы, ты, наверное, видел: о Шестове Ерофеев, о Фете Кожинов, письма Рильке, Конецкий... Лакшина заметочка какая-то мелочная: кто первый сказал «э» про Островского... Да, у Лакшина, говорят, сын родился. Вот это дело!

Петрович[4] пьет воды в Карлсбадах или еще где-то. А я уж в отпуск не попаду в этот год, по причине квартирной проблемы и все той же матушки нашей — Демократии.

Эстландцы говорят нам: вы, дураки, делайте у себя сексуальную революцию. А я говорю: у нас холодно! Они говорят: ну, тогда пустите секс в прозу. А я говорю: секс не интересует меня в пересказе. Они говорят: охо — хо, а вы ведете себя так, словно не приехали из-за железного занавеса... впрочем, это югославы говорили два года назад. Их бы сюда, к нашим пайщикам.

Твой Бакланов прошел у нас на ура. Гони Залыгина.

Обнимаю тебя! Твой Лев.

---

[1] Александр Евсеевич Рекемчук — прозаик, в эти годы член Правления СП СССР.

[2] Сергей Сергеевич Смирнов — прозаик, в 1975—1976 годах секретарь Правления СП СССР

[3] Лев Александрович Кулиджанов — кинорежиссер, в 1965—1986 годах — первый секретарь Правления Соза кинематографистов СССР.

[4] Игорь Петрович Золотусский.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
3.2.76.

Дорогой Лев(а),

знаешь ли ты из-за чего пишу тебе, как-то вдруг, минутой назад совсем не собираясь этого делать?

Из-за Трифонова.

Его повести — горькое снадобье, и новая, вашего журнала[1], такая же — полон рот горечи.

К трифоновским повестям все были суровы, а он заслуживает признательности. «Дом на набережной» напоминает о некоторых ясных вещах, которые мы — единственно по слабости нашей, а не по уму, — стараемся обходить стороной и даже затуманивать. Последний абзац в повести лишний; может быть, кто-то и надеется на реставрацию, но в них ли — помеха жизни? Тут важнее, что написана гниль внутри ствола, здорового и могучего. Тут как бы указана цена этого могущества, его корни и корешки. Трифонов вышел своим путем — через якобы невнятный пересказ быта — на самое важное, и я тоже вспоминал свое, и в своем поколении узнавал их поколение и не понимал, почему это надо носить в себе, сгребать в темный угол и почему патриотические декламации важнее, нужнее, популярнее этой элементарной правды и честности?

Это и вправду был быт с таинственными недоговоренностями и невнятностями, с приливами озноба и страха. Счастье, что время наших поступков и решений началось после марта пятьдесят третьего. Наше мужество было испытано, но недостаточно.

Я понимаю, что ганчуки были сами хороши, это немудрено понять, и что всем постепенно воздается, тоже очевидно, но меня мутит иногда от той высоты, на которую поднимается ныне *авторитетная* мысль, слишком многое спокойно обозревая сверху, словно играя и прикидывая варианты на макете.

Самое трудное и мужественное занятие — ходить по земле; на днях мне доказывали, что декабристы нарушили (испортили) ход русской истории; такая смелая мысль — высокого полета — все-таки, на мой взгляд, дешева. Почувствовать правду можно, лишь забравшись в *ту* шкуру, в гвардейский мундир двадцать пятого года и студенческую тужурку восемьдесят первого. Трифонов предлагает нам припомнить, как дышалось и чувствовалось тогда-то и тогда-то, он заземляет наши рвущиеся в небеса мысли, и я ему благодарен. Как бы мы ни хотели, без полного нравственного расчета с прошлым, далеко мы не уйдем. А если и уйдем, то все равно — вернемся, чтобы только потом уйти на самом деле.

Прости меня за эти рассужденья. Сам не ожидал. И повод смутен, и цель смутна. Но Львы мудры?

<...>Да, у меня предстоит событие: разумно или нет, но службу я бросаю. Восемнадцать с половиной лет я тщился быть полезным этому месту и местному обществу. О пользе я не забуду и впредь, но попробую пожить иначе. По-старому больше не могу. Вот какие дела.

<...>Письмо ночное, смутное, извини. Всего самого доброго. Игорь Д.

---

[1] Повесть Юрия Трифонова «Дом на набережной» была опубликована в номере «Дружбы народов» за 1976 год.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
13 марта 1976 г.

Дорогой Дед!

Все-таки я боюсь писать тебе про Трифонова — пишу о нем сейчас нечто для печати; ежели выйдет и выйдет — прочтешь, ежели выйдет, но не выйдет — дам почитать. А боюсь — из эгоизма: выплеснется, не соберу. Хотя — поговорить о нем хочется.

Ты пишешь: «суровы — де были к Трифонову, а он заслуживает признательности». Моя признательность — в факте суровости. Есть классики, которых не читаю и о которых не пишу. Никакой суровости, никакого и интереса. А тут — чего стыдиться? Трифонов — замечательный писатель, земной, органичный, безжалостный и тяжкий

по сути своей; но боль его — о высоком, и потому он — в лицевом счете нашего духа к самим себе, и потому с него спрос. А что высокое у него на одну полку со столоверчением попадает — это как? За это тоже — признательность?

Впрочем, чего там — и «Другая жизнь», и особенно «Дом на набережной» — потрясли меня, взволновали, растравили все во мне. Спора у меня тут с ним не будет. Потому что фарисейство «Обмена» он преодолел. Исторг и подавил в себе. Нынешнее исповедание его — поразительно. С нами же и прозревает. Признательностью за это не расплатишься. Это ценнее.

Что до «Дома», то вот завидую Чуковскому XXI века, который напишет «Тайнопись Юрия Трифонова», как Корней написал «Тайнопись Василия Слепцова» — это ж один лейтмотив *высоты* чего стоит, тобой замеченный, *макет* с балкона сотого этажа (в 1938 году номенклатурные, ожидая звонка в дверь, бросались вниз с балконов — три факта было). Так и тянет социо–анализ произвести.

Пишешь: мутит, мол, от такой высоты. Хочешь в ту шкуру? В гвардейский мундир 1825 года? В студенческую тужурку 1881-го? Честное дело! А — в мундир Милорадовича, бородинского героя, — не хочешь? В шинель Александра II, воспитанного Жуковским, — не хочешь? Когда тот, держась за полы, зигзагами от Соловьева по площади бегал, а этот стрелял, целясь? Во мне нет одностороннего сочувствия, Дед! Один мой дядя белый, другой красный! Я не хочу стрельбы в России! Я между ними лягу, и пусть меня зовут христосиком. А если завяжут так, что окажусь по одну сторону, — то пусть и завяжут, и будет трагедия и боль, но никакого торжества и злорадства, понимаешь? Я не сужу декабристов, но чувство мое близко Эйдельмановскому: не отменишь попытки, не отменишь краха, — так иди! — только не пыжься спасителем отечества, а лучше зажмись. «Почто, мой друг, почто слеза катится?» — вот это!

Трифонова я — не судил. Скорей другое: я им из себя же выталкивал фарисейство. Никогда я не был лучше других, умнее, честнее. Просто всегда надеялся, что у меня чуть раньше и чуть острей болит. Так же и то же, что у всех. Но чуть раньше. А чтоб я больше знал, чем распоследний, который в тужурке или в мундире, — нет.

Ладно. Приезжай — погутарим. Читаешь ли книгу Черниченко?[1] Жму руку! И как это ты не боишься без службы!

Твой Лев.

---

[1] Юрий Черниченко — публицист, в 1976 году вышла его книга «Яровой клин».

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
14.4.76.

Дорогой Лев,

пишу тебе через месяц, прости, — не писались письма, кроме деловых, а на твое без настроения не ответишь. Ты хорошо мне отписал, с душой, пронзил меня, спасибо тебе, но мы-то все одно договоримся, какой из меня стрелок, но и ты — «христосик» ли (отчего тогда перо — *твердое*?), другая наша судьба, не крайняя, но срединная: «вернее труд и постоянство».

Прекрасная истина, бесконечным опытом обеспечена, но отчего среди ночи вдруг грезишь по-детски полным *расчетом,* без адских сковородок и угольев, совестным судом? И хочется приближать его, и дожить даже. Я знаю, что это — это конченный, наивный человек действия силится поднять голову, и я говорю ему: «угомонись наконец». «Займись-ка лучше организацией круговой обороны, — говорю я ему, — «наш дом — наша крепость»». «И окна мешками с песком заложив, расслышишь свободы наивный мотив». И он таскает, и громоздит, и укрепляет постоянство. И — горбься над столом.

Лишь жизнь спасает наши души — ручьи, небо, детишки, воздух апреля, вытаявшая трава, угол старого двора с поленницей и скамейкой и долгой, сырой нашей

бедностью, — ходишь, видишь, слышишь — вот и хорошо, и ходи, и слушай, и смотри, возвращайся.

А тебя Трифонов растревожил, потому что ты ходишь, и видишь, и говоришь, и возвращаешься, и все-все помнишь, и все-все рассуживая, оставляешь на донышке то, что не поддается никак, а он напоминает, что оно там и есть, на своем месте, не исчезло и болеть ему долго, на наш век хватит. И меня потому же растревожил, и многих других.

Ты вот говоришь: меж ними лягу. А там так тесно бывает, когда злоба на злобу, ненависть на ненависть, что и не протиснешься. Да и вряд ли на нашем веку возникнет такая надобность.

Похоже, что наше занятие — толкать вагон, к которому не прицеплен паровоз. И на ровном участке.

А Черниченко я не читал. Про «яровой клин», кажется, так? Надо, да?

Без службы я боюсь, потому что служил всегда, но как-нибудь проживем, потому что другого боюсь еще больше, да и, как писал Шукшин, бывает, что человеку «все остолбенело». Возможностей своих я не переоцениваю, но вот верю пока, что продержусь, а там видно будет.

Жаль, тебя не застал, когда заезжал, то есть заходил в вашу редакцию. Не знаю, как там судьба моего сочинения о латышских мужчинах во цвете лет. Не собираетесь ли вы писать о посмертной уже книжке К.Воробьева, вышедшей в Вильнюсе, чтоб вспомнить человека?

Хорошо, что весна. Слава Богу, оттаем. Немножечко.

Будь здоров. Всего тебе и семье твоей доброго.

Игорь Д.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
24.10.76.

Дорогой Лев, хотел написать тебе еще в конце августа, когда ты уверенной рукой разделил несчастных человеков на три подвида: особи, индивиды и личности. Это было проделано не без блеска, но довольно жестко, а в целом статья была завершена ясно, твердо и хорошо. Я с удовольствием читал из нее однажды публике, занятой воспитанием индивидов. Публика помаргивала.

А если серьезно, то я подумал, что вот напишу тебе — без дела и повода — во имя связи. Чем дальше, тем больше выучиваешься ее ценить, тем более, здесь. <...>

Время какое-то ускользающее, цепляешься, пытаешься притормозить, а оно тащит и волокет. А так дорог теперь каждый час, потому что это мой час, а он летит. Сижу за столом и оглядываюсь на часы. Знаешь, я тоже любил службу, хотя и ругал ее. Читая Гоголя, его похвалу службе на благо отечества, я получал поддержку, но всему, выходит, есть свой предел; может быть, и служба изменилась.

Удивительный сейчас быт, даже невероятный; я не про домашний, а скорее про городской, учрежденческий, магазинный, уличный, межучрежденческий; я говорю жене: записывай, записывай все, все пустяки, фразы, забудем же все. Не слушается, некогда. Записывает ли кто? Этого быта почти нет в литературе (чуть-чуть в баклановских «Друзьях», у Трифонова), нет в газетах, нигде, а в нем, может быть, лучшая характеристика наших семидесятых.

А как твои дела? Ты как-то тихо себя ведешь. Тебя, как всегда, охотно хвалят и охотно ругают. Не собираешься ли дать им еще один повод? Или ты занялся Помяловским или еще чем-нибудь серьезным и презрел лит[ературный] процесс?

<...>Как твоя новая должность? Состоялась ли, началась ли? Поддержал бы ты Володю Леоновича, поэта, переводчика с грузинского (Г.Табидзе, О.Челидзе, Ш.Нишнианидзе и др). Я пытался это сделать, написал о «Магнитном поле»[1] Челидзе в его переводе, да в «ЛО» статья застряла (год издания давний), ждет там теперь повода. А поэт он — Леонович — хороший, хотя Вознесенский его как бы не знает, хотя бы как «интересного»...

Читал ли ты у Распутина в «Матёре» про кладбище? Остальное — замедленно, описательно, и автор старушкам за суфлера. А может, мне показалось.

А Белов в «ДН» в худшей из своих ролей: обличителя «физиков», «интеллектуалов» и проч. Или это российская привычка: прежде всего — «размежеваться»?

Ладно, прости, что расписался.

<...>Привет тебе от Тамары[2]. Наш привет и самые добрые пожелания Шуре[3]. Будьте здоровы. Всего тебе доброго. Игорь.

---

[1] Поэма Отара Челидзе «Моё магнитное поле».

[2] Тамара Фёдоровна Дедкова — жена Игоря Дедкова, журналист.

[3] Александра Николаевна Аннинская — жена Льва Аннинского, филолог.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
20 ноября 1976.

Дорогой Дед, ты прости меня, что не сразу отвечаю на твое прекрасное письмо, и ты верно угадал: *занялся я, занялся,* только не Помяловским, а хуже. Но — погоди, я тебе сперва кое на что отвечу.

Что ты «Комсомолку» педагогам читал — тронуло меня, а вот если и им толковал так, будто я людей на три подвида делю, то это нехорошо. Ибо все три разряда: особь — индивид — личность суть в каждом из нас, только особь на уровне гениталий, индивид на уровне башки, а личность — это связь с Богом в каждом из нас. В *каждом* — иначе так все и проморгаешь, как те педагоги.

Смотрю, что-то ты беспокоишься без службы. Час летит, ты боишься. Вот я так же: как-то раз, переходя со службы на службу, притормозил (вернее, притормозили меня), и *три дня* без службы сидел. Ни слова написать не мог — било меня. И эдак не пройдет, и эдак не напечатают, и перо осело, и мандраж оттого, что осело, а время летит. Не писать — можно, а есть — нельзя. Вот я и служу — мне так спокойнее: обеды есть, а в остальном — все мое. Богово.

Мне теперь полегче стало на службе. Сам себе отдел[1], сам работаю, сам отвечаю, сам за собой слежу, самому себе докладываю. Леоновича, например, готовлю статью. Интересный человек, по-моему, ранимый очень, оттого и бодрится. А Вознесенский — неинтересный стал, мне, по крайней мере. Все эти жесты его в статье — чистая политика, причем мелкая. Кузнецова боится, на Губанова[2] надеется, на Леоновиче престиж восстанавливает. Прошло евонное время. Может, оно и наше.

Ничего не читаю теперь, ни «Матёры», ни Беловских комплексов. Дали мне наконец договор, и ушел я в Толстого[3], и ничего-никого мне не надо. Сижу в Музее, листаю собственноручные Софьи Андреевны записи, трепещу, счастлив. Литпроцесс совершенно презрел, это ты точно уловил. Да разве можно с этим стариком что-нибудь совместить! Это ж черт, а не человек! Воронка какая-то! Целую *библиотеку* прочел, а все боюсь, все еще, еще причитываю — ужасный старик, ревнивый, непостижимый, так и цепляет, и все что-то еще держит там, в бороде, то ли хитрость, то ли тайну, никак не отважусь сказать себе: ну, все, я его *знаю:* можно писать. Все он во мне собой вытеснил, и понимаю, отчего вокруг него было так, словно целые толпы, и все — ниц, все — пришибленные им, и боялись его, и куда ни шли — за него задевали.

Ну, а другая половина моей задачи — киношники. Это народ простецкий. С ними я на ты. «Толстовский экран» — книга называется. Мухи на солнце. И греются, и пятнышки не видны — рядом с его протуберанцами. И жалко мух — тоже твари живые, и не виноваты.

Был такой эпизод: к Толстому приехал артист Орленев, по-моему, фанфарон и пьяница. Он был Толстому нужен, потому что играл бесплатно в бараках — старику что-то тут почудилось, и он Черткову сказал: позовите его. А Чертков Орленева знал еще по Лондонским русским колониям всяких немощных. Пошел звать. Орленев —

ломаться (к Толстому никто не мог пойти просто: или ползли подобострастно, или — из гордости — кочевряжились, могли и обидеть — от обиды за себя). Вот Орленев такой был. Но, поломавшись, поехал. Остановился у Черткова. Подали на стол картоху на постном масле, и никаких градусов. Орленев так не привык — возмутился, но виду не подал. Покушали, Чертков ему говорит: «Отдохните пока», — и дает пару книжечек графа. Одна из них оказалась — о вреде пьянства. Орленев ее, конечно, отшвырнул с негодованием — он в пьянстве ничего вредного не находил. Попробовал спать — не получается: огромное количество мух в комнате, и все пристают. Взял тут Орленев книжицу графа Льва Николаевича и давай ею мух шлепать. Чертков снизу спешит — шлепки услышал:

— Что такое? Или что беспокоит?

Конечно, книжку Толстого из рук Орленева извлекает и мягко так внушает ему, что это нехорошо.

Отчего ж нехорошо?

— А мы, — говорит, — злу насилием не противимся и *мух не бьем.*

Ну, вот, я уже почти толстовец. Так проникся.

Еще раз спасибо тебе за доброе письмо. Привет Тамаре. Будете в Москве — свидимся.

В мой новый отдел написать — не хочешь? Рецензия на перевод, и чем злее, тем лучше.

Ну, бывай! Л.А.

---

[1] В 1976 году Лев Аннинский стал в «ДН» заведующим вновь созданного отдела перевода.
[2] Леонид Губанов — поэт, создатель неофициального литературного объединения СМОГ.
[3] Работа над книгой о Льве Толстом и кинематографе.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
1 мая 1977.

Дорогой Лев,

со всеми праздниками мая!

Про Ганчука[1] ты написал, — выразился! — прекрасно («плевать ему на концепции»... и т.д.), но схему этим двум повестям ты все-таки навязал. Впрочем, я понял: жизнь все перемалывает, изживает, и выжившие сходятся на признании простого факта: жить хорошо — т.е. ходить, есть, пить, смотреть телевизор. Тут есть правда, я не спорю. И все-таки к Глебову авторское отношение определенное, хотя и не однозначное. Тут ты немного надавливаешь коленом. А впрочем, это не имеет никакого отношения к поводу открытки!

Вот весна, можно ходить, смотреть, сидеть за столом, разговаривать с сыновьями или дочками, и т.д. — вот и славно.

Хорошо, что это есть и возможно, — с этим тебя и поздравляю. У живых всегда есть преимущество.

У нас праздник: каждому взрослому (дети не в счет) дают по две банки свиной тушенки и по полкило краковской колбасы.

Скоро Москва станет абсурдным городом. Или уже стала. Голова, оторвавшаяся от тела. А может быть, и не голова. И совсем не оторвалась. Впрочем, это тоже не относится к теме. И к москвичам.

Всего доброго и тебе, и Шуре, и вашим детям!

Будьте здоровы! Привет вам от Тамары.

Жаль, вот тебя вижу редко — с тобой хорошо разговаривать — на соседних волнах, что ли, «работаем». Или мне так кажется.

Игорь Д.

---

[1] Ганчук и Глебов — герои повести «Дом на набережной» Юрия Трифонова.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
5 мая 1977 г.

Дорогой Дед!

Спасибо за теплые слова, и что статью о Трифонове заметил. Конечно, нажимаю коленом. Конечно, навязываю схему. Между нами говоря, мне только эта схема моя и нужна там. А Трифонов — *свою* задачу выполняет, и пусть. У нас истории нет, всякий новый Иоанн прежнего корчует — я с этим не могу примириться. Пусть горькая, но будет. Сталин *был,* и это *мы* его такого сделали, отцы наши, нечего теперь пинать его и все на него валить. А что Трифонов про своего Глебова думает — отчего это меня должно заботить? Пусть думает, что угодно. Ты ж чувствуешь, в чем там дело — в том, как взаимоненавистно, взаимозавистливо живем. Страшно про это думать. Вчера в «Комсомолке» очерк о палаче Львовского Шталага 1941 — 44 годов — Андрей Якушев такой, беспримесный, свой человек. Что меня потрясло: с августа 41 года немцы, боясь заразы, в лагерь перестали заходить, и в течение нескольких месяцев ни одного немца в лагере не было. А мясорубка уничтожения продолжалась. *Кто* это все делал? В Бабьем Яре лежал, говорят, один немец — пулеметчик. *Кто* все остальное делал? Откуда, входя в город, немцы в первый день знали списки комиссаров и прочих? Им эти списки *приносили. Кто?*

Страшно думать, что мы и теперь так живем. Истории у нас нет. Злоба, зависть полуподавленная. Абсурдный город — ты прав. Вавилон ирреальный. Две банки тушенки к празднику — господи, треть века не воюем, прокормиться не можем. Я сейчас на майские праздники в поход сходил под Брянск — ощущение пустой земли и полного равнодушия всех ко всем. Войди кто — списки понесут. Как при всем этом с живыми людьми говорить? Живите, люди, ходите по земле, говорите с сыновьями и дочерьми, смотрите телевизор — это все эфемерно, а реальна — кровавая бездна в ваших душах и ненависть ваша от слабости душевной к любому мимоидущему. Господи, как вернуть людей к труду и строю духа от такого перманентного праздника, от такого гулянья бесконечного, от скользящей лукавой лени, оттого, что на собственном прошлом вымещаем собственные же слабости.

Прости, что-то ты задел во мне письмом.

С праздниками всех вас в семействе!

Честно сказать, бегаю я от этих праздников из Москвы. Мне праздник — это когда дают работать. Увы, иногда заставляют праздновать. Вчера молока не мог купить: «что вы, не завезли, на заводах люди праздновали, вы же тоже должны понимать, люди не машины!»

И ведь тоже верно!

Ну, вот еще день Радио, День Печати, день Поминовения (единственный реальный для меня *день*, но — не праздник, а точка боли непроходящей) — и вернемся к делам, и славно.

Говорил ли я тебе, что ты хорошо про Распутина написал — с достоинством, и вытащил суть?

Ну, жму руку! Твой Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
23.5.77.

Дорогой Лев,

это даже неплохо, что я растревожил тебя своим письмом. Зато ты написал несколько энергичных слов, и я их с удовольствием прочел. Все-таки я чаще соглашаюсь с тобой, чем думаю поперек. Вероятно, у нас сейчас есть что-то схожее в отношении к жизни, к тому, что называют ее «ценностями»; может быть, к Дому. Хотя терпимости в тебе больше, чем во мне.

«Мы живы — значит мы виноваты». Есть такие слова у О.Челидзе в «Магнитном поле», — во всяком случае, они есть в переводе В.Леоновича. (Кстати, статья В.Леоновича, по-моему, ясно говорит о значительности его таланта и человеческом достоинстве.) Так вот: живы — значит виноваты. Это верно. Но менее верно то, что ты пишешь. Когда говорят, что виноваты в том-то и в том-то *все,* то это очень выгодно тем, кто виноват больше других. Причем, много больше. Поэтому не мешает отдать им должное. Проскурин описывает в новом романе («Москва», №2), как Сталин слушает «Пиковую даму». Я хотел написать, что мне это неинтересно. Неправда. Но это раздражает, угнетает, втягивает в пучину мнимого и безнравственного. Хорошо еще, что текст выдает свою несостоятельность. Помнишь Сураза[1], которому вдруг понадобилась учительница? И которого мы должны пожалеть? Большой разницы я не вижу. Сураз хоть своим главным делом занят; у него и фальши нет ни в чем; фальшь в отношении к нему.

<...>Как твой Толстой? Хорошо ли идет?

Видишь, какие вы молодцы — поход, Брянск, походили, поглядели, послушали.

А я вот только по воскресеньям в футбол хожу играть с приятелем и сыном. И более ничего. Никуда. Ни к кому. Как лежачий камень. Даже на двадцатилетие курса не ездил. Но от такой жизни я пока не страдаю. Хотя вред, должно быть, есть.

<...>А вообще-то все лето я буду писать о Быкове[2] — подрядился написать десять листов, вот и буду этим заниматься.

Ты бы, вы бы с Шурой лучше поход в Кострому совершили — ничем Брянска не хуже, и, наверное, ближе. На Волге бы посидели... <...>

---

[1] Герой одноименного рассказа Василия Шукшина.

[2] Василь Быков — белорусский прозаик.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
9 января 1978

Дорогой Дед, спасибо тебе за теплое письмо и новогодние чувства; прими и мои; я что-то последние годы бросил рассылать открытки; устал; но о тебе думаю все время; желаю дому твоему крепости, тебе трудов, книге твоей — выйти.

<...>Вообще, только идиот будет судить о нас по книгам. Книги суть произведения не авторов, а издателей. Я что-то уже в стадии полного равнодушия к моим книгам. В Минске вон вышла — стыд. Десять лет нигде выйти не могла; писалась для «Искусства» в 1968, кончалась «Андреем Рублевым» и «Асиным счастьем» — вот в ту пору бы ей и выйти. Теперь — попала рукопись в Минск; пять лет мои сторонники там ее, как мяч футбольный в ворота закатывали, через сто защитников; Госкомиздат эту книгу заворачивал — и его обвели. За каждую букву дрались: на уровне редакции. Потом пошло на стол к директору — и тот повыкинул через абзац; мне даже не сообщали: директор есть директор, это стихия, и в его кабинете не спорят. Ну, что, забирать ее было, книгу-то? После того, как редактор ее, Гриша Трестман, пять лет на штрафной площадке виртуозничал? Я Гришу спрашиваю: «Зачем вы так за нее дрались?» — «Текст понравился». — «Вы меня раньше читали?» — «Нет». — «Вы "Ядро ореха", может, читали?» — «Нет, а *что это такое?*»

Согласись, Дед, после такого можно возблагодарить судьбу. Чтобы малый следующего поколения, сорок седьмого года рождения, найдя текст в столе редактора, снятого до того, — в числе прочих грехов и за то, что пытался толкать этот мой текст в производство, — *прочтя,* начал многоходовую операцию, чтобы пять лет спустя забить-таки этот гол в ворота минского профтехиздата, — ну, как я после этого буду обижаться, что директор через абзац повыбросил, и мои десятилетней давности эмоции читаются теперь странно?

Единственно — дарить ее избегаю. Петровичу вон не выдержал — подарил, расслабившись, а он, дурной, читать начал; потом прочел мне мораль, совершенно справедливо.

Поневоле руки опустятся: а, черт с ним, вышла и вышла, все равно не перешибешь.

Я вообще думаю вот о чем. Никуда все это за пределы нашей импотенции не выйдет — даже если и издать во всей красе. Тут ведь не наши мышиные движения решают, а — куда валится по крупной. Есть эпохи — каждый чих на учете. А есть — о которых в будущем вряд ли вспомнит кто. Много мы знаем о ранних Романовых — а ведь и там, наверное, интеллектуалы перед дураками исхитрялись! А про эллинизм — знаем ли? Мы про Перикла знаем: как там кто почесался. А ведь были вокруг стр*а*ны и века — и все кануло. А тоже, наверное, думали там люди: наши потомки *разберутся!* А потомкам — не до них стало. Потомки эти — к своим потомкам взывали. Вот так и с нами будет. Со всеми нашими сочинениями. Чуть лучше, чуть хуже — все ляжет пластом удобрений. Ни то, ни се времечко. Ни веры, ни неверия настоящего. Расползлись и дышат — что с них возьмешь, чему у них научишься? Никто разбираться не станет. Одно и остается — *для себя* продолжать.

Ну, я и продолжаю. «Толстовский экран» сдал в конце декабря, 1977 годом — думал отдохну; нет, еще куча заказов мелких, и все надо, и все срочно. Как водка.

О водке. «Современник» поставил по Ветемаа «Монумент». Сухо, холодно, жестко, с «политикой». Странное ощущение. Словно сидим мы, лет уже десять, тепленькие, винцо попиваем, друг друга понимать и любить учимся, расслабившись, расправившись. Вдруг открывается этот эстонский холодильник, и оттуда — в запотевших фужерах — дают тебе ледяного рассола. Хлопнул, захолонуло, протрезвел; сидишь — голова прояснела; кругом сволочи, и ты это вдруг вспомнил; думаешь: и какого черта очухался — как было славно!

Еще из новостей эпохальных — дискуссия «Классика и мы». Большой зал ЦДЛ, доклад Палиевского, призвавшего в крестовый поход на авангардистов. Речь Куняева о том, как Багрицкий презирал русского мужика. Истерика Эфроса, дух погрома, орущий на разные голоса тысячеротый зал, бессилие левых, Феликс Кузнецов в пароксизме. Назавтра — слухи, что у славянофилов неприятности. Им это только и надо: попали, наконец, в мученики. Палиевский, говорят, доволен: смотр сил удался на славу, левые напуганы до смерти, им драться нечем: ни одной живой идеи.

Не горюй, Дед, все там будем!

Ну, счастливо тебе! Рад, что пообщался с тобой. Привет от моих твоим! Жму руку. Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому

15.4.78.

Дорогой Лев,

Когда-то я ничего не ответил на твое письмо. Наверное, ты там не ошибся; пощады от будущего ждать нечего. Но будущее будет без нас, а мы живем сегодня, и ты вот жаждешь беллетризма и бросил им кость, и все теперь грызут, и кто-то возжаждал «социальной правды», и жаждать ее дозволяется, — вот где свобода. А нам все ее мало, хотя жаждать можно чего угодно.

Не писал же я ничего никому, потому что дописывал о Быкове, и ничего больше душа не вмещала. Теперь вот отправил, и думаю, что надо бы все написать иначе, по другому счету... Бывают такие минуты, когда жаждешь черт знает чего.

Как-то зашел здешний театральный режиссер и говорит, что в ГИТИСе попал на лекцию Аннинского. Дескать, он всех ругал графоманами, особенно поэтов. Как же, как же, — подхватил я — это Лёва (со значеньем!), он может! Он просто договаривает до конца то, о чем другие только догадываются...

Так вот он сказал, этот режиссер, что ты поставил «Старика» выше «Дома на набережной».

А я «Старика» прочел только сегодня. В нашу деревню «Дружба народов» в розницу не поступает вовсе. А я, дурак, не выписал. (Нет ли в недрах вашей редакции лишнего журнала? Я в ваш отдел критики не обращаюсь — они на меня сердиты!)

Пока читал — душа болела, да и сейчас еще не прошло. М.б., лучшее в повести то, что на стыке времен, да и вообще для всего нынешнего там фон хорош. Даже не фон это, а почва, из которой росло и выросло это время «прохлады». Не хочется все это разымать, но как ни страшна там гражданская, не в ней новость и открытие, а в смешении. Из смешения — вся боль. Так оно и есть: чуть-чуть разрой то, по чему ходим, — газоны, цветники, асфальт, — а там зола и пепел, и все еще теплые.

Намеренность там тоже есть, и очерчен круг, за который мысль не выходит, — при помощи Ленина очерчен. Но намеренность эта оправдана через старика, хотя и не всегда, — оправдана.

Вот и разберись, что важнее для жизни и литературы: носовские шлемоносцы (говоря о них, ты чуть-чуть слукавил: интонация тебя выдала), распутинские старухи или трифоновские герои? Разумный ответ: все нужно и важно. Но Трифонов время от времени напоминает о том, какая у нас распространилась искусственная литература, какая слабодушная и благонамеренная. Какая она литературная эта литература! Он напоминает, над какими безднами ходим.

Лев, дорогой, что такое «духовность»? Ты заметил, как годится теперь всем это слово. Как оно пошло по рукам. Вот и этот Ульяшов[1] говорит, что «духовность» у Овечкина[2] не «выстроилась», а понимает под духовностью литературную изощренность. Пустое какое-то слово. Тебя-то я понимаю; слово не виновато. А наши-то, временные, теперь прямо-таки поощряют занятия «вечным», потому что им, временным, так спокойнее: жили, живут, и нас переживут. Важно, чтоб их не трогали, за версту объезжали. На этот счет (о соотношении временного и вечного) хорошо сказал тридцать лет назад Сартр (новый сб. «Писатели Франции о литературе»).

Слушай, кто у Трифонова прототип Мигулина — Миронов, Думенко? — не успел еще свериться. Впрочем, не в этом дело.

Трифоновский старик напрасно так худо думает о «среднем поколении», да и о молодом — тоже. Да и сам Трифонов, судя по прежним вещам, думает похоже. Здоровые силы никуда все-таки не исчезают, они есть. Просто вокруг старика *такой* вырос сад. Прочем, этот сад, и правда, велик. Да и в здоровье — сколько нездоровья...

В надежде, что твои дела идут хорошо и дома у тебя все в порядке, в надежде, что ты в отместку не будешь молчать подобно мне, в надежде повидать тебя в этом году,

Игорь Д.

Наши самые добрые пожелания Шуре и всем твоим близким. Будь здоров. И.Д.

---

[1] Павел Ульяшов — литературный критик.

[2] Валентин Овечкин — автор «новомирского» цикла очерков «Районные будни».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
21.04.78.

Дорогой Дед, ты пишешь мне прекрасные письма, и не ставь себе, пожалуйста, сроков — мы ж не девицы, а в письме твоем последнем почти на каждую фразу мне хочется отвечать.

Не знаю, выше «Старик» «Дома на набережной» или ниже — в этой геометрии Феликс Кузнецов лучше меня разбирается, а внутреннее ощущение от «Старика» у меня очень родственно твоему. Конечно, над безднами веселимся, и там, под ногами — зола и пепел. Вот — Миронова вспомнили (это Миронов, ты верно угадал). Вот теперь

в «незабываемый 1919-й» обернулись. И тут главное — не умилиться. Потому что под незабываемым — еще столько *забытого,* а ведь и там — пепел, и там люди корчились. Умершие в 1812-м не виноваты, что их заслонили трупы 1941 года, а ведь и в 1612-м — тоже кровавыми слезами умывались — это уж и вовсе «история». Вот как с этим примириться — что ужас на ужас, и все истории под хвост — пергаментными «сведениями», а копнешь — и в бездну... Прямо хоть за Фёдорова[1] хватайся, ну, да он у меня давно в голове занозой сидит — как перед отцами — дедами оправдаться, и как *за них* оправдаться? Человек-то все-таки зверь — *его* ж полюбить надо, не ангела.

И еще в «Старике» меня за живое взяли — казачье — еврейские антагонизмы. Ты еврейскую половину почувствовал? Ее подчистить пришлось, а я читал первозданный текст. Мой случай — эти самые антагонизмы. У меня под коркой.

Номер — ну, никак уже не достанешь: шесть штук раздал, теперь уже поздно. Если что выпрыгнет — ты на первой очереди.

Насчет «Шлемоносцев»[2] — интонация *выдала* меня, говоришь? Наверное. Но я ничего и не хотел скрывать, и интонация — главный мой инструмент. Пусть выдает, я рад, что так. А вот «беллетристику» — не спасла и интонация. Действительно, как на кость кинулись. Письма идут: правда ли, что Вам нужна беллетристика?! Ну, черт с ними — повесил красную тряпку, пусть треплют. Теперь так, Дед, что Феликс берет в подруги духовность, а мы с тобой давай беллетристику подхватим. Ее ежели отмыть, так ведь с ней еще жить можно (по анекдоту про бабу, которая спасла утопленника). Еще увидишь, как они эту нашу, отмытую, чистенькую, — хватать будут. Когда «духовность» опоганят окончательно и бросят. Это ничего. Разделение труда. Одни будут слова захватывать, другие — отчищать (захватанные — от следов). Я не в обиде — у меня этого скипидару в душе много.

Так твое молчание (в письмах и в прессе) — оно быковское? Для «Современника»? Благодетели мои — издали мне книжку о десяти опечатках. Смотри, гляди в оба — заласкают насмерть. <...>

Интересная реакция у твоего режиссера на мою лекцию: ругал графоманами! Да я так любя, так благодушно все! И на наших временных — без всякого раздражения. Пусть сидят, голубчики, они мне не мешают, у них работа тяжелая, я во временные не хочу. Только, Игорь, где твои здоровые-то силы, которые «не исчезают»? Не прозевать бы. Что-то я их плохо вижу. Хотя верю, что они где-то есть. Это ты прав.

Лучшие семейные приветы! <...> В Щелыково с лекциями в июле — поедем, а? На неделю? (Если позовут.) Л.А.

---

[1] Философ Николай Фёдоров.

[2] Имеется в виду повесть «Усвятские шлемоносцы» Евгения Носова.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
9.7.80

Дорогой Дед, какую пронзительно точную статью ты написал об Адамовиче[1]! Философская боль, умное сердце, — боль *родственной* связи. Удивительно. Мне это так не удалось — о Козько[2] в «Немане» — а ты сказал как раз про то, *что* увлекаемо для нас из этой безнадежно горькой повести. Рад за тебя.

Твой Лев Аннинский

---

[1] Алесь Адамович — белорусский прозаик, литературный критик.

[2] Виктор Козько — белорусский прозаик.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
18.7.80

Дорогой Лев,

спасибо тебе от Деда, растроганного твоей открыткой.

Я опять подумал о тебе, что тебе в мире, в литературе — не тесно. Многим тесно, а тебе — нет, поэтому ты добр и сохраняешь интерес к другим, к другой мысли. Это черта крупного человека. Это моя тебе лесть! Вот так.

Надо же, сидим в разных углах, а думаем об одном. Можно даже сказать: мучаемся одним. В одних и тех же сумрачных закоулках блуждаем. Ты писал о Козько, я — о детях на войне (Быков, Богомолов) для «Дет<ской> Лит<ерату>ры» (№ 5), а потом о «Карателях» <Алеся Адамовича>. Одна и та же всюду неразрешимость. И оба упираемся в нее, и оба — про ту слезинку.

Лёва, вот беда, вот несчастье: на нашем веку конца нет и не будет «карусели»: «всех несет»... И Сотников[1] встает. Он отказывается жить на предложенных условиях. А карусель продолжается. Она вертится. Как уберечь наших детей? Ты откажешься, я откажусь. Она и не вздрогнет, та карусель. А все равно — надо отказываться.

Ты верно написал: пусть *оттуда* придет прощение. Помнишь, у Трифонова старик Летунов говорит о себе с женой: «Мы были счастливы». Я тогда подумал: а что сказали бы Мигулины. Какие бы слова донеслись оттуда? Я об этом написал, да не сумел напечатать. Я читал тебя и думал, радуясь: вот сошлись, совпали. А почти не видимся, не разговариваем почти, на разных берегах Волги, как ты написал однажды...

Насчет «входного билета». Кто-то, не помню, рассказал мне, что существуют билеты (пропуска) в какое-то особо надежное и, надо думать, особо комфортабельное бомбоубежище для избранных. И что эти билеты полагаются выдающимся писателям и писательским начальникам. Например, Ф.Кузнецову и т.д. И берут, сказали мне, не отказываются; приличные, вроде бы достойные люди берут...

Допустим, что это правда. Вот простое и ясное испытание: взять или отказаться?

Тут не слезинку, тут море детских слез переступят. Взять тот билет — уже переступить. И толкать все ту же карусель.

Они хорошо знают, что *оттуда* мало что доходит: ни проклятье, ни прощенье. Всегда можно сделать, что ничего не дойдет.

Когда-то С.Куняев написал: «и нет на земле виноватых». Не может моя душа с этим смириться. Не могу это принять.

Жалею, что не читал «Судного дня»[2]. А как мальчик катается на горке, — тоже помню. Это не забудешь.

Твою статью о Козько прочел не сразу. Сначала, когда просматривал, споткнулся о последние абзацы, где о гуляющем «по рукам» «билете в рай» и т.д. А я как раз недавно тоже писал о «слезинке», и принял это место так, словно оно про меня, хотя тогда эти мои рассуждения еще не были напечатаны... потом преодолел, прочел, подивился, что мысль наша движется не как чужая, а как близкая...

Дорогой Лев, читал ли ты Катаева про расстрелы? Конечно, читал, напрасно спрашиваю. Какая тенденциозная вещь! Разглядел «аквамариновые слезы» на глазах расстреливаемого! Или обреченного — не помню. Сразу видно: не коснулось его, не коснулось, все пронеслось, не задело... И как ловко — к моменту, к выгоде, — вину распределил! Уважаю, отдаю должное, но веет обманом и упрощеньем истории, упрощеньем человека...

Читал ли Небольсина в «Контексте—79»? Отчего им так тесно, для чего и для кого они расчищают место? Какая-то мстительность, озлобленность... В «Нашем современнике» борются с Корбюзье, с этим масоном и, надо полагать, сионистом, и защищают «Трёх мушкетеров» от развратителей советского юношества...

Несколько лет назад я еще сочинял стихи:

Каков шабаш! Пирует вороньё.
Опять в полнеба чёрные крыла.
Упрямо имя мы твердим Твоё
И на Твои надеемся дела...

Подозреваю, что и ты «твердишь» и надеешься... А ты бы — случись такое, — отказался бы. От того «билета».

Уж прости длинное вечернее, т.е. смутное, письмо.

Из жизни провинции: из контор, из магазинов, из фабрик и заводов — всех на поля!

Кот в сапогах, указывая своему спутнику из окна кареты на чернеющий в полях люд: «А это все рабы моего господина!»

Юра Куранов в нашей молодежной газете рассказал об Алексее Козлове, прекрасном художнике (сейчас у нас его выставка, самая большая, посмертная): «Козлов не любил славянофильства. Однажды в его избе заезжий приятель увидел лапоть и восхитился: «Вы посмотрите, как великолепно сделан, я представляю, как в нем наши деды...» Алексей посмотрел на него и оборвал, круто нажимая на «о»: «Полно тебе ерунду молоть. Обыкновенный лапоть. Вот сейчас возьму и выброшу его»...»

Неплохо? Так бы и надо с ними разговаривать.

Ну, ладно. Останавливаюсь. Пора и честь знать. Скажи Е.А.Мовчан[3], что пишу о Личутине[4], спешу, только о нем и думаю, пусть сильно не беспокоится.

Привет тебе от моей Тамары. Наш привет и самые добрые пожелания Шуре. Всего доброго твоей большой семье. Будьте здоровы. Игорь Д.

---

[1] Герой одноименной повести Василя Быкова.
[2] Повесть Виктора Козько.
[3] Елена Александровна Мовчан — зав. отделом приложений «Дружбы народов».
[4] Виктор Личутин — прозаик.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
26 июля 1980 г.

Спасибо тебе, дорогой Дед, за вечернее письмо. Вот уж я-то никогда не удивлялся нашей перекличке! Хотя мы часто волею литситуации оказывались «на разных берегах». Но это все относилось к ситуации, а не к нам — даже в период твоего новомирства, когда я гулял в ретроградах, — я так или иначе чувствовал, что ты-то болеешь совсем не тем, чем и теперь болеет твой оппонент А.А.Лебедев, — а это одно для меня и существенно. И эту твою тему, твою боль о крушении Божьего имени и о том, кто в произошедшем виноват, — я во всех твоих работах всегда вычитывал, хотя и с неравной ясностью она у тебя развита. А про «Карателей» ты написал с такой пронзительностью, что я просто был поражен, и обрадовался за тебя — если, конечно, можно говорить о «радости» в связи с такой болью, что там.

Насчет «входного билета» в «супербомбоубежище». Я должен сказать, что позорно невнимателен к этой стороне дела. Даже не слышал о таковом. А, может, и слышал, да забыл. Милый Игорь, так ведь *уже* мы с ног до головы обклеены этими билетиками. Не знаю, где ты берешь мясо для детей, но я беру в специальном писательском столе заказов, раз в неделю, и у меня и мысли не возникло отказаться, потому что в этом случае Шуре пришлось бы искать это мясо по магазинам, а ей и без того хватает. Мы уж сплошь и рядом берем «входные билеты», потому что других нет. Но ты поставил передо мной вопрос, над которым я задумался. Насчет убежища для Ф.Кузнецова. Черт его знает, у меня чаще всего бывает так: я от билета отказаться стесняюсь и беру, чтобы не было неловкости, а вот воспользоваться оным билетом потом как-то не хватает времени. Или духу. Мне и так родственники пеняют, что я не

пользуюсь всевозможными билетами, которые мне причитаются, а «передавать» нельзя — именные. Но вот одно так: оказаться там, в убежище, рядом с Феликсом — не хотел бы. Хотя он тоже детей бы там спасал — не себя, наверное. Тут так надо, по-русски: не ищи и не ловчи, а придет — стой. Оно тебя найдет.

Вот дети — ты прав — больное место. Куда их, как спасти? Апостолы 30-х годов (теневые) пишут: что угодно, только детей иметь нельзя: у Ахматовой сына *заложником* взяли и т.д. Вот как: нельзя. Да когда они уже есть, дети-то! Да и потом: как это нельзя, что за черт! Если бы я здраво рассуждал, у меня никаких детей и не было бы, а их рождают спупу и в бездумье, и только так, — я объяснить не могу, а вот взял да народил, теперь поди ж ты, что с ними делать? Я решил так: если не вышло воздержаться, то надо рвать когти вперед, — и я выдал старшую дочь замуж две недели назад за одного хорошего парня. Давайте, говорю, дуйте! Освободите мой дух для всемирной печали, а то с этими детьми руки не доходят. Разве ж людей исправишь? Что будет, то и будет, а наше дело — мы с тобой его и делаем. И это ничего, что не видимся и не беседуем, это совершенно ничего не меняет; этих беседующих литераторов в Москве — несколько секций в Союзе: так все беседуют, что ничего в голове не остается — все усвистывает в «общение». А просто я знаю, что ты сидишь в Костроме, читаешь Чичерина, Ключевского и Новгородцева, и от мысли о тебе мне на душе прочно, — вне зависимости оттого, хорошо ли тебя напечатали или оскопили. Напечатанное нами — все равно козе под хвост пойдет. А вот что останется?

Обнимаю тебя! Твой Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
26.12.80.

Дорогой Лев, с Новым годом! Здоровья тебе и твоей семье, а также благополучия и успехов в твоих делах!

Я понимаю тебя, когда ты сказал: «Нам бы ваши заботы, господин учитель!» Ну, пусть повторил — как в том анекдоте, — но к месту, вовремя и поставив то сочинение на место. Охотно цитирую тот твой период, что предшествует этим словам.

Твою книжку о Толстом (и кино) прочел давно и все собирался тебе писать, и вот дооткладывался до Нового года. Книжка, особенно в первой половине (пока жив Толстой), читается как роман, почти детективный.

Вообще впечатление такое, что ты эту тему — Толстой в кино — исчерпал; другим там делать нечего. Собственно, ты ясно сказал, что кинематографу незачем браться за Толстого, все одно — не справиться! Хорошая книга, можешь быть спокойным; возможные расхождения — не в счет.

Заметил ли ты у Палиевского (толстовский «Прометей») цитату о «трагизме» — ту, что есть у тебя тоже. Отзвук я заметил потом у Селезнёва: опять о трагизме. Я чувствую за этим некий взгляд; к Толстому он не имеет отношения; в том взгляде — жестокое, но здесь мне это не выразить...

Ну, как тебе «Выбор»[1] — наверное, ночи не спал, переживал? Он как бы обязывает нас ночи не спать, страдать, руки ломать, по комнате взад — вперед бегать, — а не хочется: ни страдать, ни маяться, ни вечные вопросы обсуждать. Хочется встать и журнал за печь забросить.

Уж лучше Кондратьева читать, про отпуск по ранению. Кондратьев еще не понял, что надо изо всех сил «художественно» писать. Осточертело это «художество»!

<...>Читаю Киреева[2], один его роман одолел, твое послесловие прочту потом, но зачем ты писал? Помню, была в «Новом мире» рецензия И.Соловьёвой на Маканина («Портрет и вокруг»), прочел я недавно и Маканина; толку от этого чтения мало, и тоже подумал: зачем? И.Соловьёва — зачем?

Попалась мне речь А.Афанасьева на московском отчетном сборище (собрании),

подивился: вот бойкий народ пошел — «московская школа», говорят. Острые локти. Литература — как очередь.

Поневоле станешь «федералистом».

Прости, что пишу на каком-то клочке. Думал, умещусь на открытке, да разошелся... Ночь, и год еще старый...

Что делать?

Будем жить и, значит, работать.

Жаль, все коротко. Читал ли ты «Наш городок» Т.Уайльдера?

Это совсем не то, что бондаревские банальности о смерти и жизни.

Плохо, что коротко, потому что нетерпение все-таки существует.

Хорошо, что есть дети.

В новогоднюю ночь вспомним не Суворова («Коли! Ура, ребята! Коли!»), но Костюшко. Не хочешь?

Ладно, все отступает перед нашими робкими новогодними надеждами и молитвами — на лучшее, о лучшем!

Пусть все у вас будет хорошо. Будьте здоровы и счастливы. Наш поклон Шуре.

Игорь Д.

---

[1] Роман Юрия Бондарева.

[2] Руслан Киреев, Владимир Маканин, Анатолий Афанасьев — прозаики так называемой «московской школы», герои будущей остро полемической статьи Дедкова «Когда рассеялся лирический туман».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
17 января 1981 г.

Рад был получить от тебя новогоднее поздравление и письмо, дорогой Дед, — в Новом году желаю и тебе не петушиных, но человеческих успехов, а письмо твое, как всегда, вызвало у меня глубокий душевный отклик.

Тронут, что тебе понравилась моя «Охота на Льва» (Толстой и кино), но ведь я ее тебе не надписывал? Прошу тебя, захвати в Москву твой экземпляр, я надпишу, а заодно опечатки исправлю, там одна убийственная, на 133 с. в цитате из Шкловского: «консерватория» вместо «консистория», — я еще над стариком смею хихикать, когда в цитате — такой ляп. Хорошо, парню 90 лет, а то он бы мне показал «консерваторию» за мои хаханьки.

Маканин и Киреев — сегодняшняя *работающая* русская проза. Работающая — то есть некрасивая и потная. Я понимаю смысл твоего удивления, но надо ж и немножко в материал врезаться, а не только платонически переживать «Выбор» в секретарском томлении духа. Там уж и вовсе ничего нет, одно «художество», которое мне, как и тебе, давно и прочно осточертело, и я, конечно, эту секретарскую прозу в руки не брал. Бондарев среди них тем жалок, что осекретарился прекрасный по природе парень и хорошо начинавший писатель. Сожрали. Нет уж, раз так, то мне проще с каким-нибудь барином вроде Кожевникова, чем с этим ностальгирующим по трудностям счастливцем. Нет, пусть вернется в простые смертные да полокоткается в литературной очереди локтями, тогда я его, может быть, попробую читать. Ибо локти — это хоть и противная, но все ж реальность. А тут — облака.

Ты прочел Уайльдера? — я за ним давно охочусь, но пока без успеха. Но зато в эти каникулы (школьные) повез дочь в Малеевку и — меж лыж — прочел Фолкнера «Непобежденные» — издалека, исчужа, а — хорошо.

Писал там о «Карателях» Адамовича и вспоминал тебя — удивительно точно и смело ты отреагировал на эту вещь — ну просто как *человек,* это ж у нас уже почти запретно — реакция *просто человека,* ведь непременно следом идет кто-нибудь с

палкой, вроде А.А.Лебедева, и стучит: «Ты забыл про фашизм! Скажи про фашизм!» Был соблазн влезть между вами и палку его попридержать, но, поколебавшись, отказался от соблазна: Лебедев считается мой враг, я счеты сводить не люблю, а выглядеть будет как сведение счетов, ну его к черту.

Давай лучше выпьем за Суворова и Костюшко. Пусть каждый выполняет свою задачу, но лучше бы им не встречаться. Вот тебе новейший польский анекдот (перевожу с польского): «Прийдет Ваня — уйдет Каня — будет конец валензання». По-польски «валензачь» — бездельничать, в а л а н д а т ь с я. Каково? Если учесть, что поляки в XIX веке обгоняли нас в событиях истории на полста лет (конституция и проч.), то прелестная у нас перспектива. Я думаю, что все идет к тому, что просто все бросят работу и начнут писать стихи. Сбудется, наконец, то, о чем мечтал лучший и талантливейший: «много стихов и песен». И ноль жратвы. То-то будет весело, то-то хорошо.

«Быкова», как выйдет, пришли мне, ладно? А то боюсь, пропущу. Прими, Дед, мою *с о л и д а р н о с т ь*. Твой Лев.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
31.03.81.

Дорогой Дед, ты молодчина — при всей тактической неровности книги. От первой фразы, где Кутузов оставляет раненых человеколюбию Наполеона, я взвыл. И продолжал от восторга выть еще страниц двадцать, — настолько широко, мощно и резко ты начал, настолько горько и трезво видишь нашу эпоху, настолько виртуозно это сделано. Потом несколько ослабло, и не могу понять, почему: неужто сам Быков так затормозил тебя? Еще один пик — в третьей главе: Борн, Генри и прочее — новый выход на философию войны. И потом уж идет хорошо, ровно, и Быков, кажется, подтягивается. Много безошибочных и точных нравственных комментариев — конкретно, по сюжетным поворотам его. Многовато, впрочем, долгов отдаешь предшественникам, и хотя в ряде случаев хорошо фехтуешь, — чрезмерное внимание к критикам, говорившим по поводу Быкова всякие банальности, несколько тебя вяжет. Еще из слабостей: мелкий и точный штрих, хорошо работающий в тулове книги, слабоват на кончиках. Ждешь какой-то резкости, грубого штриха, удара, а его нет. Особенно к самому концу. Бек стар, параллель хороша для фактуры, но не для финала. Тут «третий пик» нужен, чтоб я взвыл, как в начале, понимаешь? Я же почуял, *что* ты знаешь, *что* можешь, *как* умеешь душу вынуть — зачем мне в финале и апофеозе «добротный анализ»? В целом же я рад за тебя — книга *твоя*. Спасибо. Из того, что написано у нас о Быкове, — лучшее (впрочем, что это я: разве это похвала? Наш «фон» — для дистрофиков. Годунов вон *не пил* — и царем стал.) Жму руку! Твой Лев.

Пишу тебе, а знаешь, Трифонов так и стоит в душе колом.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
[9.05. 81]

Дорогой Лев, с праздником Победы! Сколько живем, столько помним. Сколько жить будем, столько будем помнить этот день!

Спасибо тебе за то, что прочел книжку. За твой разбор. Ты заставил меня задуматься над тем, над чем, пока я писал, я не думал: над строением строения. Думал о всяком другом; например, о том, что вряд ли возьмут в таком виде и т.д. А надо было думать! Если б думал, все было бы лучше. Да что теперь; на будущее пригодится.

Словом, я тебе благодарен.

Как ваша московская жизнь? Много ли писателей теперь осталось — без Шукшина, Сёмина, Трифонова?

Я читал тут (а потом писал про них) так называемую «московскую школу»: Афанасьева, твоего Киреева, Курчаткина и др.

Я угнетен этой литературой. <...>

Что происходит? (А, старый вопрос!)

Читаю Гумилёва «Этногенез и биосфера Земли» в 3 т. Читал ли это сочинение? Очень полезное. Для ответа на старые вопросы, в том числе. Я выписал их наложенным платежом из Люберец (ВИНИТИ).

Как твоя большая семья?

Какими путями ведет тебя жизнь? Что пишешь? <...>

Будьте здоровы и благополучны. Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
7.5.81.

Спасибо за поздравление, дорогой Дед! Горький праздник. Желаю тебе не утерять тон, что ты сейчас нашел, — ты на коне.

Рад, что ты оценил Гумилёва. Я его изучил года три назад, еще в рукописи (до депонирования текстов) — мне дал сам Л.Н. Работа огромная и необозримого воздействия. Взять хоть мысль о необязательности монолитного этносубстрата в образовании нации. Это ж он вынимает стул из-под наших русофильских бонз. Недаром они Гумилёва не любят! <...>

Что пишу? О Лескове книгу закончил[1]. <...>

Привет твоим! Жму руку — Лев.

[1] «Лесковское ожерелье».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
15 июля 1981 г.

Дорогой Дед!

Заходит ко мне сегодня Оскоцкий[1] и говорит, что на съезде видел, как Алесь Адамович дал тебе «Неман» с моей статьей о «Гипербореях» («Карателях») и что ты ее читал. Почто ж не скажешь? Не понравилось? Не задело? Я твою статью отлично помню, считаю замечательной (публично даже пропагандировал ее), и потому *твое* мнение о моей — для меня особенно важно. Сам писать я постеснялся, но уж если Алесь тебе дал, и ты вправду прочел — и ни слова мне — значит никак не тронуло? Или было какое-нибудь встречное мнение? Мне-то она пока еще нравится (моя статья), а там черт ее знает.

<...>Не мог же ты *ничего* не почувствовать, читая, — ведь мы об одном писали и думали — об *обыкновенном* человеке, который лежит в основании всякого Вавилона.

Жму руку. Твой Лев Ан.

[1] Валентин Оскоцкий — литературный критик.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
20.7.81.

Дорогой Лев,

да если б я *прочел,* неужто бы промолчал? Это Оскоцкий тогда прочел, а я, через его плечо заглядывая, взглядом скользил... какое там чтение! Кто-то на весь зал бубнит, а мы с Адамовичем разговоры разговариваем... думал, приеду домой, прочту, предвкушал даже, — не без ревности. Ну, а приехал, и попал «Неман» в груду новых

журналов и книг, и лишь твое письмо вырвало его оттуда, —вот когда и спохватился и наконец прочел: вчера..

Ты взял шире меня — во все концы, свободнее. Ты сделал больше моего шагов *о т я м ы.* Чем дальше, тем меньше чувства, тем быстрее восстанавливается мысль. Ты напрасно пишешь, что уходить *от ямы, т*.е. рассуждать, — значит «предавать» того мальчика. Ты даже возгласил, что «отдать бы все это» (и творение Адамовича, и все рассуждения вокруг него) за одну-единственную воскрешенную живую душу... Ты словно слышишь ползущий упрек: они мучились и погибли, а вы из этого делаете *литературу,* умные речи ведете, честолюбие тешите, на жизнь зарабатываете... И, словно себя растравливая, добавляешь нечто о «литературном мастерстве» Адамовича, прекрасно зная и чувствуя, как неуместны, чужеродны *здесь* эти слова... Или я ошибаюсь, или верно догадываюсь о твоих сомнениях, но я убежден, что никакого «предательства» «того мальчика» в наших сочинениях (тем более — у Адамовича) не совершается. Если б можно было спросить тех — *в яме*, мы бы в ответ услышали: «Расскажите о нас. О наших мучениях. О нашей гибели. Расскажите о нас». Если б они знали об этом пусть позднем о них рассказе, о «рассуждениях», они были бы благодарны (если это слово годится). Окажись я на их месте, я был бы благодарен. Предательство — это молчание, забвение и — рассуждения, но *другие*: наших «сверхчеловеков»...

Я не совсем согласен со словом «запредельный». Все это дано уже в «пределах» и давно уже «разрешено нервной системе нормального человека». Я понимаю читателей, которым просто страшно: им не хочется мучиться снова и заранее. Другие жалобы читателей — это жалобы людей, которые не хотят видеть и слышать. Тут есть что-то жеманное. Они будут жеманничать, пока «запредельное» не переступит порог их дома. Впрочем, оно давно уже подселено к нам, но пока оно не схватит каждого из нас — его «нет», оно — «за пределами».

Лёва, еще несогласие, третьестепенное. Ты пишешь: в XX веке «не те скорости»; «от одного мгновения зависит, в то или в это русло покатится судьба». Думаю, так было всегда, во все времена, когда человек принимал какие-то серьезные решения. Разумеется, это не касается Обломова. Скорости — те же, а «правила» «взрослых игрищ и забав» — другие. Представь себе, что Муравьёв попал в плен к французам в двенадцатом году...

«Монологи» Гитлера я воспринимаю, как и ты. С «внутренним усилием». Мне мешает их литературная гладкость и некая фразеологическая респектабельность. Это «внутренние монологи» — ни таиться не нужно, ни прикидываться, ни производить впечатление, — уж какой, должно быть, там был лексикон, какая логика!.. Что у него, что у его соперника на Востоке...

Ты сильно ополчился против «заурядного», «обыкновенного», «среднестатистического индивида»; по-твоему, он «решает», а «сверхчеловек» — всего лишь его «выдвиженец». Это хорошо обдумал В.Сёмин. Он твердо знал вину «невинного обывателя» и не простил ее и через тридцать лет. Но вряд ли бы он согласился с переносом акцента на этого обывателя, на «кровь, которая давит и ищет сосуды». Хорошо организованная «мафия», и — никакого фатализма! Это она изготовила «энтузиазм немецкого народа» и «разлила его по бутылкам», это она нашла народу его «выдвиженца». Фатализм получается тогда, когда объяснение вещей застопоривается и дальше не идет, хотя оно существует. Я не верю в «кровь, которая давит». Там не «кровь» давит, а нечто менее таинственное и стихийное: осуществляется чей-то сценарий, ставят спектакль, и роли всех — распределены. И постановщик — тот «заурядный человек»?

Совсем не хочу сказать, что — «сверхчеловек». В.Сёмин чувствовал, что «блатные» и фашисты — от одного генеалогического ствола; ты прав: «сверхчеловек» — «сменный синоним» некой силы: вот как ее определить?

И последнее сомнение: «вековая природная сила и вековая крестьянская выдержка», а еще «закон земли» — все это чрезвычайно отвлеченно. «Закон земли» — это вроде того, то «все там будем»...

Впрочем, все мои оговорки — у тебя по моей статье набралось бы не меньше — не мешают главному: признательности тебе за эту статью. Что-то, возможно, сказал я, но ты сказал больше. Кажется, мы не сталкиваемся друг с другом; во всяком случае, я этого не заметил. Я рад за тебя, что ты смог написать про жизнь, которая «опирается на будущее, как на костыль». Это ты сказал неотразимо. И еще я пометил для себя — про «биологический автомат». За этим тоже много стоит смысла. И про фашизм («Личности нет — есть тесто...» и т.д.). И еще потрясающее место: про «евангельское прощение разбойника» и далее. Может, центральное место статьи — с долгим смыслом. Мне ведь это отпущение грехов, прощение тоже мучило. У японцев такой разбойник, надрываясь годами, пробивает туннель в горе и тем самым искупает свои преступления. Тут же — покайся, поболтай языком, и уже очистился, и прощен! Туннель меня тоже не убеждает, но все ж таки — какое-то бремя...

«Личностного разбора» не будет, и тем не менее Адамович предлагает «личностный разбор»: и Тупига дрогнул раз, другой, и он человек, но эта человеческая остаточность не зачтется, а обойти ее — оставить лазейку для оправдания. Это ведь с какого конца считать: можно и с того, как пощадил ту бабу «с выводком», и ее притащить в свидетели... Некоторым «выдвиженцам» именно так сейчас и считают заслуги, и добродетельное поведение...

Дорогой Лев(а), прекрасное сочинение ты написал. Я понимаю, что все эти слова («сочинение» и т.д.) плохо вяжутся с предметом. Но что делать; нужно же как-то называть. Твоя масштабность мне пока недоступна. Или это от неуверенности, или боязни отвлеченностей. Или еще от чего... Не хочется сейчас в это вникать. Я тогда даже имени Гитлера не назвал; что-то мешало; и литературные параллели тоже казались недопустимыми. Это я, наверное, отойти не мог... Сейчас, может быть, и сумел бы.

<...>Прости длинное письмо. Все равно что-то не досказал. Но это относится к согласию, а не к спору. Всего тебе доброго.

Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
24 июля 1981 г.

Дорогой Дед, ты попал в точку: сижу на рюкзаках. Завтра ночую уже на Селигере в палатке (нас трое: жена, я и средняя дочь), а поезд — сегодня вечером. Твое письмо среди этих сборов так меня подняло душой — хоть оставайся! — а то я на две недели уже было отключился от «литературы», — но такое общение, как в письме твоем, — праздник, и я, оттащив рюкзак в угол, откликнусь кое на что немедленно, не откладывая до встречи.

Если бы Муравьёв попал в плен к французам в 1812-м году, он бы продолжил военную карьеру — *там*. А если бы он попал в плен к татарам в 1223-м или к гуннам еще пораньше, из его черепа могли бы водку пить или кожу бы содрать. Конечно, про «скорости» — это у меня скорее «знак», чем определение. Но может быть, 1812 год — исключение, а норма — гунны, и мы с ними?

Что Алесь <Адамович> — человек «земли» — я пишу весьма отвлеченно, ты прав, но пойти дальше не могу и боюсь. Я христианин, а он все ж язычник, и хоть думает о личностном разборе, но все ж склоняется к огненной яме княгини Ольги. Попрекать его этим не могу, но какое-то дальнее расхождение с ним у меня тут брезжит. Я не хочу примириться с концом «иудео-христианской традиции», хотя, может быть, она и кончилась.

Главное, конечно, — это вопрос о том, в ком дело, в главном «фюрере» или в нас. Меня когда-то Надежда Яковлевна Мандельштам пронзила одной репликой... В одну из встреч (я с ней говорил дважды) я в либеральном духе пустил ей какую-то ядовитую мыслишку о Сталине. Она ответила кратко: «Дело не в нем, дело в нас». И пронзила меня на всю жизнь. Если кто-то ставит спектакль, пишет сценарий, распределяет роли, организует мафию, — даже если это и так, — мне с этим нечего делать. Это вне моих сил, вне моей реальности и вне моих интересов. Я это игнорирую. Единственное, что я могу, — это кричать, что дело *в нас и что мы все виноваты.* Отсюда — и «упрек ползущий». Ты прав: те, в яме, хотели бы, чтобы мы, далеко от ямы, о них хотя бы просто помнили. Ты прав, прав, конечно.

«И все же, все же, все же...»

Сам-то ты (сравнить с Лебедевым, сплошь из отвлеченностей состоящим) — сам-то на одну доску себя поставил с любым и каждым в той яме! Твоя позиция — христианская, и потому так до боли близка мне, и откликнулся я на твою статью как на братскую, и про Кудеяра ты так же думаешь — тоже знак. Другое уж дело, насколько реальна такая позиция «при нынешних скоростях», она, может, и нереальна. Но... как сказано, — лучше быть со Христом, чем с истиной? Что будет, то и будет. А про малую якобы твою «масштабность» — смешно и читать. Масштабность твоя — внутри дыхания, она в каждой фразе, потому что ты прирожденный к писанию о книгах человек, а не деятель, который «масштабностью» должен свою немощь компенсировать.

Словом, спасибо тебе братское за отклик! <...>Жму руку! Твой Лев.

P.S. Читал в «ЛО» твою закруглостольную речь. С Беловым ты обошелся достойно. Я уж не говорю об «Однодуме» моем любимом. Так что тут у нас с тобой полный контакт. Ты стоишь на *своих* ногах, и все это видят. Л.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
18 декабря 1981 г.

Дорогой Дед! Прими на Новый год лучшие пожелания. Ну, хотя бы: чтоб 1982-й был для тебя таким же, как 1981-й, а поскольку 1981-й в критике был «годом Дедкова» — я серьезно! — то и держи так!

Ты сейчас действительно — первый критик на Руси. После статьи о туманах особенно. Не радуйся: этот преходящий приз бегает от человека к человеку весьма быстро. Но тебя этот год действительно читали, как никого.

Не помню, писал ли и говорил ли тебе про твою книгу статей[1]. Собственно, не про книгу, а про первую статью, которая была для меня внове. С болью и радостью читал ее — видишь, какое дело, тут еще личное: в 1948 году я через Кострому ехал в Лунёво, в мои 14 лет — отец убит, мать от отчаяния в вечной ярости — это первый город, увиденный мною сознательно — залитая солнцем «сковородка», пустынность улиц, потом восход на Волге — почувствовал: как прекрасен божий мир! — а отец все стоит пробоиной в памяти. Ну, словом, ты понимаешь, *как* я читал эту твою статью.

Статья твоя в ДН про прибалтов[2] неуловимо уязвима: ты несколько боишься, что обнаружится твоя неуверенность в материале (оно, может, ты и уверен, но — боишься), и оттого — очень щитно строишь, ни звенышка не перепрыгнешь. Ощущение, что идет человек в полном вооружении, кирасы там и прочее, — медленно так идет, каждый уголок высматривает — нет ли опасности. Хотя, ничего не скажешь: вооружен, не пыхтит от натуги.

Зато «Туманы»[3] — событие исключительное. Вот где свобода и полет! Никого не боишься! Куда хочешь, туда и гуляешь. Я одно время думал «Бумеранг» писать, продумывал свою контрпозицию; позиция и спор с тобой *возможны;* но это не меняет того главного ощущения, что статья твоя есть и останется лучшей статьей года, и моя воля — я б ей, не задумываясь, — критического Оскара! И сказал это публично, в

присутствии особы В.И.Гусева, на давешней секции[4], где ты был героем дня и героем года, и заслуженно.

Набежало на то заседание прозаиков — куча; все, как один — «сорокалетние», все, как один, — ждут твоей казни. Но и левый фланг критики отнюдь не дрогнул — пришли, встали стенкой: не отдадим! Прозаики молчат, критики соловьями поют, Гусев, белый весь, вмешивается в речи, но ничего переменить не может. И все *наперед* удерживают друг друга от «запрещенных приемов»! В общем, повис топор, запахло дележкой портфелей, окаянными шеями, нехваткой бумаги и тем, кого когда в эти шеи откуда гнать. Роднянская, как пифия, распахнув плачущие огромные черные глаза, встала перед этими ощетиненными мужиками и сказала: Дедков замечательно талантлив, но не чувствует конца света, и вы все тут деретесь, а конец света *завтра;* мне страшно... Мужики выслушали ее, пожали плечищами и... пустились дальше волтузить друг друга. Даже два дня спустя Гусев, ведя секцию по совершенно другому вопросу, мелко стуча пальцами по столу, путаясь в согласных, кричал, что Дедкова он ценит, но что его выступавшие оскорбили в гражданских чувствах, и он будет жаловаться лично Феликсу Феодосьевичу.

Вот, Дед, наделал ты делов.

Ну, я рад случаю высказать тебе мои мнения, а то целый год некогда слово сказать.

Лучшие новогодние пожелания твоей семье! Твой Лев.

---

[1] И.Дедков. «Во все концы дорога далека»: литературно-критические очерки и статьи». — Ярославль: Верхне-Волжское книжное издательство, 1981.

[2] «Простор рассказа, воспарение души, или Как называется ваша команда?» («ДН», 1981, № 9).

[3] И.Дедков. «Когда рассеялся лирический туман» («Литературное обозрение», 1981, №8).

[4] Владимир Иванович Гусев — литературовед, критик, руководил секцией критики СП СССР.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
28.12.81

Дорогой Лев,

Как же это — в сорок восьмом *ты в Лунёве,* я в Щелыкове — в одном, странно чужом и странно родном, пространстве бродим? Два мальчика — один, уже знающий холод беды, другой, не знающий ничего... И оба запоминаем ту пору...

Удивительно и хорошо, что так бывает.

Ты увидел Россию через Кострому, я — через Кинешму...

И послушай — вот еще продолженье чудес. Одним августовским утром мы с сыном приходим на пристань, собираемся плыть в Ярославль — просто так, побродить, посмотреть. Но *снизу* — ничего; говорят, туман, «ракеты» пережидают, и мы тоже принимаемся ждать, час, полтора, и вдруг — «ракета» *сверху.* А что, говорю я Никите, поплывем в Кинешму, какая нам разница, и мы плывем... Ну, а в Кинешме чуть поднялся от Волги — базарная площадь, а там у часовенки, знаю, всегда торгуют книгами, — а я мимо этого никогда не хожу, — и мы с Никитой — к тому лотку... Смотрю, что-то желтое из всего остального, серо-коричневого, выбивается, и моя фамилия — поперек... Знал я, конечно, что скоро книжка моя ярославская должна появиться, но чтобы так — здесь, не в Костроме, под боком у Ярославля, а именно здесь впервые ее увидеть, — мог ли думать, предполагать?

Вот и соединились концы и начала: Кинешмой сорок восьмого началась книжка, и в Кинешме восемьдесят первого я впервые взял эту книжку в руки... Мы шли с Никитой к книжному магазину, — еще надо купить, еще! — и смеялись: вот так чудеса! Хотел взять несколько, а мне дают одну, последнюю, и я им говорю: «так вы же только

что ее получили», а мне отвечают: «ну и что, мы уже распродали». Я-то понимаю, что тираж ерундовый; и дали-то им несколько штучек, и «распродавать» — нечего, но все равно хорошо, все одно к одному, — и будь их здесь желтые горы — было бы плохо, и все бы в душе, может быть, потускнело б от количеств, и стало бы стыдно, а нет — и легко, и мы бродим по старой, бедной, тихой Кинешме такие веселые. Вспомним свое удивление и смеемся...

В Костроме книжка появилась только через дней пять... Такая история.

Вовсе не новогодняя, но это твое письмо заставило ее рассказать. Не заставило; просто так соединилось...

С Новым Годом, дорогой Лев! Будь здоров сам и пусть будут здоровы и благополучны все твои близкие. Наши самые добрые пожелания Шуре. И твоим дочерям. Вашим дочерям.

Хотя бы под Новый Год можно чуть помедлить, *притормозить*, отодвинуть работы — заботы, и подумать, как помолиться о тех, за тех, кем дорожишь...

Ты слишком щедр — не было никакого «года Дедкова». Ни года, ни месяца, разве что — несколько дней, когда московская лит. братия склоняла мое имя. И что их так задело, чем Гусев потрясен — не понимаю. Услышали нормальную человеческую речь? Отвыкли? Володя Леонович переводил О.Челидзе: «Кто-то должен родиться для речи прямой...» Не льщу себе — это не обо мне. И вообще, наверное, не о нас, но мы по крайней мере об этом помним: о «речи прямой». (У А.Кушнера даже книжка так называется). Вот чем, Лев, в твоем письме польщен: из твоих-то рук, да «критического Оскара» — допустим, игра такая, — получить не прочь... А вообще спасибо, что встрял в те дебаты, «заступился»... А ведь хотя бы из приличия пригласили бы... Впрочем, вряд ли бы поехал, хотя твердо этого не знаю.

Дорогой Лев, потеплело на душе от твоего письма. И насчет «прибалтийской» статьи ты почувствовал верно: писал, и было совестно, что многое от меня скрыто, недоступно, не знаю. И не хочется обижать никого, потому что во мне к ним — симпатия, и несогласие мое — преодолимое...

Знаешь, мне тоже придется писать о Бакланове. Эта твоя статья в «ЛО» — не из предисловия ли какого — такая в ней основательность? Я пока не готов рассуждать о Бакланове на твоем уровне, но кое-что оценил в полной мере: «все стареет, распадается, расползается», «жизнь утратила общий замысел» и т.д. Это действительная драма баклановского героя. Но из Мотовилова вполне мог получиться Илья Константинович, и это — еще не худший исход. Кажется, пока ты писал, ты переменялся к Бакланову, от сдержанности и рассудка — к живому сочувствию и пониманию, к сознанию его самостоятельного и немалого значения.

То труднее было мне принять, так это твою беседу с Трифоновым. Правда, В.Курбатов из Пскова твоей позицией, твоими речами восхищен. «Так их, писателей, — пишет он мне, — сочинили свои романы, изда*л*и, и пошли прочь, теперь — наше дело, теперь мы поразговариваем...»

Твою идею критического «самовыражения» я знал и раньше, и к ней был готов. Но в той беседе ты нажимал на нее, на мой взгляд, чрезмерно, и в этом было что-то искусственное, только полемическое, словно это-то важнее прочего. Это мне не очень близко. Или, когда я читал, я просто не мог не быть на стороне Трифонова, потому что *его — нет*?

Ничего, под Новый год наша почта тебе это серьезное письмо не принесет, хотя пишу в ночь на двадцать восьмое, а до Москвы нет и четырехсот километров. Этим я себя как-то оправдываю, но все равно прошу прощения за пространность моего изложения...

Пора, однако, и честь знать. Еще бы надо о многом тебе написать, да сразу — невозможно.

Счастливого тебе года — во всех твоих писаниях, статьях и книгах, во всей твоей жизни.

Нет, брат, тебя не спутаешь, не спутаю ни с кем из пишущих. У тебя помимо прочего, может быть, и более важного, — тон другой, голос другой, человечнее, понятливее других, что ли... Ты читающего помнишь и понимаешь. Потому и меня понимаешь. И тебе не все равно, какой я... Такие дела, Лев.

Будьте все здоровы и счастливы. Твой Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
22 января 1982 г.

Дорогой Дед,

спасибо тебе за горячее письмо, которое ждало меня дома, пока вернусь из Малеевки. Даже немного позавидовал тебе, как ты книгу свою в Кинешме купил. У меня был случай похожий, года полтора назад, когда сказали, что «Охота на Льва» есть на Арбате, и я «побег», и от дверей магазина увидел, как человек какой-то увязал в пачку и понес от прилавка штук шесть этих моих «Охот». Одет скромно, интеллигентно, может быть, учитель, может быть, приезжий. Смотрел я ему вслед, машинально подсчитал, сколько он за эти семь экземпляров денег отдал, и плакать мне хотелось, и за хлястик его дернуть. Что-то во мне поплыло, и я тихо ушел, ничего себе не купив тогда, и думал: зачем нет со мной никого из моих дочерей сейчас? Ты понимаешь, чему я у тебя позавидовал? Что там, в Кинешме, ты был с сыном.

За Бакланова — особенное спасибо тебе. Знаешь, это не предисловие. Это я ради рецензии его всего перечитал. Чайник? Наверное. Сейчас о Фете пишу — ради того, чтобы выверить одну фразу, заказываю в Ленинке и просматриваю целый том побочных сведений. Я, наверное, Иссахар: обожаю рассказывать людям то, чего они еще не знают. А *суть* ты уловил безошибочно: Мотовилов стал Ильёй Константиновичем, и это *еще не худший исход!* Господи! Да они мне плешь переели, Оскоцкий, а через него — сам Бакланов: как-де я посмел этих людей сблизить, когда Мотовилов — «одно», а этот — «другое», тот для автора — герой, а этот — дерьмо, а Бакланов-де писатель фронта, а это... и т.д. Послушаешь их, рот раскроешь и ничего не скажешь. Дед! Ну как же ты замечательно уловил! Ты это *им* скажи, что это еще *н е х у д ш и й* вариант! Что будет — *хуже*! Они ж — блаженненькие! Ошибся ты только в «порядке» моих действий. Я с н а ч а л а увлекся повестью Бакланова, чисто читательски, а решив перечитывать, всю эту руду проходя, постепенно разозлился и стал его осаживать.

Мнение Курбатова о нашем с Трифоновым диалоге мне *очень* лестно, потому что я читаю Курбатова и ставлю высоко его перо. Но атака на меня за этот диалог идет сейчас лютая, и знаешь — из кругов читательских (г-да литераторы, как правило, в восторге от меня). И не потому, что его *нет* (меня это тоже останавливало, но решило то, что сам Ю.В. при жизни сильно желал видеть наш разговор напечатанным). Нет, тут еще что-то. Выросли совершенно новые люди, им мой «скепсис» (твоя аттестация) дик и жалок, у них отрасли руки и чешутся кулаки, они опять хотят собраться в кодлы и «чего-нибудь добиться», а тут старый хрен, лысый сатир ходит и ерничает со своим самовыражением, чего-то подначивает, подкалывает, злорадничает, хитрит и прячет... Хорошая мишень! С таких, как я, и начнут.

Кинешма... Я в 1972 году, сверху Волги идя, до нее дошел, больше отпуска не хватило. Знаешь ли, откуда слово это, Кинешма? *Она* на *него* посмотрела и сказала пророчески: *кинешь мя*.

И кинул.

Прими мою читательскую и прочую любовь. Дому твоему привет. Твой Лев.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
[27.12.82]

Дорогой Лев, с Новым годом!

Прошедший — если смотреть издалека — был для тебя удачным, и я поздравляю тебя с книгами. И благодарю за «Контакты»[1] — прости, что молчал, не откликался: надо было почитать. <...>

Ты постарался и книжку свою сделал ловко, и не пожалел труда: ко всему вернулся и все связал.

Недавно я немного писал о Друцэ; ты взял глубже, чем я. О Матевосяне ты написал с какой-то особой любовью; другим ее досталось меньше. Нет, это не простое «сложение» статей; захочешь свое «сложить», как ты, — поломаешь голову. Но «жажду беллетризма» в конце звучит не очень серьезно — вроде игры. В заметке об Айтматове про это сказано серьезнее; «сильное — просто». Ты, кажется, не «беллетризма» жаждешь — впрочем; без «кажется», — простого и сильного: как та айтматовская учительница заплакала... «Мифологизм» и прочее в этом роде мне тоже не по душе; ты это знаешь; но слово «духовность» я тоже не люблю из-за его невнятности; оно ходит по рукам и всех устраивает. Оно требует уточнений и разъяснений. Поэтому «жажда духовной реальности», «духовность бытия» на меня впечатления не производит. Кстати, было ли что в лексиконе Толстого? Это недостаточно «простые» и недостаточно «сильные» слова. В них есть то ли звук, то ли звон, словно внутри пусто, и каждый волен вкладывать свой смысл... Заметь, сколько пишут о «духовности» Селезнёв и др.

Как дойдет речь до современности, кто только не «духовен» и не «духоносен»: и Стаднюк, и М.Алексеев, и проч.

Впрочем, это их хлопоты. Направление их известно. Но ведь не устают — про «духовность»!

Да, мне бы так книжечку «сложить»... Мудрый ты человек, Лев Аннинский.

Правда, я задумался еще вот над чем: как нам писать, чтобы читать нас могли многие, а не только литераторы? Ты о читателе думаешь не всегда. Или — никогда? Наше вечное метание: между конкретностью анализа и отвлеченностью (волей) обобщений. Ты пропускаешь какие-то звенья размышлений; старая критика этого не делала. «Тем хуже для нее», — скажешь ты! М.б., и так. М.б., и нет.

Прости мои каракули — на той стороне открытки — не пишут. И вообще прости — поздно, вечер, голова в тумане. Сегодня — 27 декабря. Когда-то дойдет до тебя...

<...> Всего тебе и твоим близким самого хорошего. Всем — здоровья! Игорь Д.

---

[1] Сборник литературно-критических статей о многонациональной советской литературее 70-х годов. — М.: Советский писатель, 1982.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
10 января 1983 г.

Дорогой Дед,

последнее время думалось о тебе много; хотел писать про твои «Концы» в ДН, совсем настроился — да и Лидия Абрамовна торопила, — да вдруг в последний момент выяснилось, что более высокое начальство уже успело заказать другому автору, и почтенному. Ну, стал я тормозить; много искр вышло; знаешь, иногда тормозить и не написать труднее, чем написать: хотелось связать у тебя те исповеди в «Концах» (начала!) с конкретными оценками; тут было с чем спорить (Маканин и та знаменитая статья про туман, которая сделала тебя первым критиком года); хотел понять *необходимость* того, как ты видишь конкретные книги, — твою, внутреннюю; твой избранный сознательно взгляд «от имени российской глубинки»; ну, словом, многое

уже понял, остальное надеялся допонять; и потом, когда уже отменилось, еще думал по инерции, — и тут твое чудесное письмо, как всегда под Новый год, — я уж невольно и жду такового в начале января.

Спасибо, что прочел «Контакты». Ты прав, финал игровой, с дразнением, «беллетризмом» и пр. (Ты, кстати, этот «беллетризм» и объяснил же у меня великолепно в «ЛО», я помню.) Ну ничего лучшего не было для финала — поставил. Сейчас бы иначе кончил: у меня в «Литучебе» (№ 6) только что вышла философема про национальный жребий, — вот ее бы в финал. Тем более, что в журнале срезали кое-что: полемику с Солоухиным, и еще — как король датский в 1941-м звезду Давида надел и в синагогу пошел, а за ним вся Дания. В книге бы и восстановить все — не успел!

Что от «духовности» тошнит тебя, — понимаю. Но это наиболее близкий псевдоним, а точнее сказать — и не дадут — раз! — и сам не решаюсь — два. А что это слово жуют другие, так это не запретишь. Язык — он общий. Пусть. Как Ницше сказал: пусть сдохнут те, кто взяли мое до меня... Да нет, я, конечно, так не думаю, но они мне не мешают. Слова-то те же, да стоят немного не в том порядке. Разберутся люди, у кого из нас какая «духовность». Толстой тоже употреблял те же слова, что и всякий — каждый... ой, что это я... *тоже*... прости, в грех ввел меня!

Насчет читателя нелитературного — не знаю, право. Я действительно о читателе не думаю, то есть никакого *конкретного* (по типу) читателя не ловлю — хотя в принципе, абстрактно, символически — влюблен в моего читателя (в *любого!*) до полной потери разума. И не знаю, отчего «Контакты» — книга для литераторов (наверное, так!), а «Лесковское ожерелье», тою же рукой сделанное, насколько знаю, идет в такие слои, что мне и в страшном сне не снилось... ну, чисто религиозные.

<...>Читал ли ты, как Лобанов на «Драчунах»[1] подорвался? — «Волгу»-10? Что думаешь? Лобанов — искренний и думающий человек, хотя и косноязычный в речи и мысли*. Я его уважаю и жалею, что подорвался. А говорю вот к чему. Ты к Алексееву, конечно, непримирим. Но, видишь ли, Дед, ведь и у него своя боль есть, и Лобанов ее увидел. Хотя ни Лобанов, ни тем более Алексеев — не герои моего романа. И все ж жить надо с теми людьми, с которыми Бог дал, и их тоже жалеть и стараться понять. Ты скажешь, что нечего жалеть людей дурных (это я не персонально, а фигурально). А я отвечу, что дурных-то людей и надо жалеть в первую очередь и стараться понять, что их мучает.

Ну, вот ты берешь людей безукоризненных по репутации: Залыгина, Бакланова. И все одно чувствуешь несвободу. Потому что в своем роде и они слабы.

Впрочем, что это тебе проповедаю; с Лукониным-то я не справился.

Ладно, прими мои лучшие пожелания на 1983 год. Желаю тебе одного: писать. И публиковать — чтобы дальше писалось. Ты сейчас абсолютно нашел себя, и спрос с тебя в России огромный.

А новости у меня в семье некоторые есть: старшая дочь в августе родила. Так что теперь не только ты Дед, но и я. Не говоря о том, что у меня еще и бабка, и еще две дочери — тетки. Жена моя — «бабушка в джинсах», типичная.

Слушай, после всех революций, войн и погромов — я никак в толк не возьму — неужто это *возможно?*

Привет твоим! Жму руку. Твой Лев.

---

[1] Резонансная статья Михаила Лобанова «Освобождение» о романе «Драчуны» М.Алексеева и жертвах коллективизации.

* А может, и *нарочно* косноязычит. Тайнопись! Врет ради правды. Но *другим* — не прощает, когда *те* тоже врут, ради *своей* правды. И потом — эти презрительные плевки в адрес Запада... бр-р.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
1.3.83.

Дорогой Лев,

то ли я сильно «*О*кал», но в старом моем «Колибри» отлетела буква «о»... Еще в самом начале февраля начал писать тебе про твоего Лескова и твоего Рыбакова. Про «огнь Фрейлиграта», который «погружаясь», «угасал»... Но письмо не справилось с задачей и было отложено. <...>

«Тяжёлый песок»[1] прочел только в декабре; было у меня чтение о фашизме, одно потянуло другое, сплелось. *Оказалось*, это я, того не понимая, 30 января тридцать третьего готовился вспоминать. Я и твою статью потому хорошо прочувствовал, и «дух противоречия» во мне едва-едва пробился и быстро сник, и будь то не статья, а письмо какое-нибудь, подписал бы вместе с тобой. Иными словами, согласен с тобой, как никогда, кажется, прежде. М.б., всякие «согласия» тебе совсем не по душе — у меня так бывает, но все равно «несогласий» хватит, а тут-то как раз, возможно, — такой пункт, — «согласие»-то и важно! В этой статье, как в никакой другой, я заметил твое мужество — не «полемиста», «лит. критика», а обычное, человеческое. Оно есть и в книжке о Лескове, но там оно не столь отчетливо.

Про товарища Свиридова, который исчез, про расплывчатость зла, про замечательную «почву», про надпись на плите, — сколько же это всего вместило! Но «воздух», может быть, не «вмещает» — не выражает — того, что ты хочешь.

«Некуда» читал года три-четыре назад, а вот «Ангела» перечитал. Лучшее, наверное, про «Некуда», и дальше во всех главах страницы — вровень; информация об изданиях и иллюстрациях, как бы ни была интересна и наполнена смыслом, разбавляет текст. Но исполнено все вместе — в прекрасном стиле; одна фраза про «огнь Фрейлиграта» чего стоит! Сколько, однако, во всей этой истории печали! Должно быть, на обсуждении в ЦДЛ тебя хвалили, но неужто славянофильствующие господа не почувствовали, какой свободный взгляд им предъявлен на Лескова? — тобой! Или их там не было?

Ты заставил меня думать над тем, над чем я не думал. В этом случае степень согласия имеет второстепенное значение.

На меня, правда, не действуют фразы, вроде этой: «роман великого писателя попадает в руки великого критика». И «великими» они тогда не были — жили страстями своей поры и были в том правы, о вечности не хлопоча, да и роман был написан дурно, — или все-таки цензура повинна? Охотно бы поверил — настолько дурно, даже беспомощно местами.

Ну а поскольку «Ангела» недавно прочел, оспорю еще вот что: «Все всех дурачат и все всех морочат». Один Пимен ту барыню и дурачит, и морочит, а все остальные мост строят. Это у тебя тут стиль свою власть показал. Он может.

А вообще я тебя поздравляю. Это серьезная и веская книга. Я еще сильнее сгорбился над залыгинской рукописью — под твоим влиянием. Должен быть уровень и максимально возможная свобода — по отношению к материалу и всему окрестному. Не знаю, чем уж пленяют твои тексты — согласен, не согласен ли — не максимально ли возможной свободой и достоинством самого слога? У одного нашего общего знакомого в слоге — перебор значительности — а в ней мало обаяния — и достоинства сверх меры.

Неужели так и есть: те идеи и «огни» не для этой толщи? Ну что же тогда — для нее? И для нас вместе с ней?! Не отделиться же никак!

У вас, в Москве, слышно, весело: занялись Маяковским. То «державность» непременно подавай, то «державен» чересчур... То от Бриков Владимира Владимировича нужно очистить...

Иногда думаю: как хорошо, что до меня мало всего этого доносится. Писал ли я тебе, что прочел «Драчунов», и после этого статья Лобанова еще более уменьшилась для меня в своем значении.

И еще, кажется, не писал тебе, что в конце прошлого года я вынужден был рецензировать рукопись С.Баруздина[2] (проза) и душой не покривил, хотя проделал все с пиететом—уважением. Так что, думаю, рецензии на мою желтую книжку в вашем журнале не будет.

<...> У вас, в Москве, говорят, грипп. Остерегайтесь, не болейте. Всего самого доброго тебе и твоим близким.

Про твоего Лескова, может, когда и поговорить удастся. Письмо-то мало...

Читал для залыгинской рукописи 12-й том Сталина. Со студенчества не брал в руки. «Лит[ературный] портрет» бы написать.

Шуре твоей — поклон от нас. Твой Игорь Д. <...>

---

[1] Роман Анатолия Рыбакова.

[2] Сергей Алексеевич Баруздин — поэт, прозаик, главный редактор журнала «Дружба народов».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
22 марта 1983 г.

Дорогой Дед!

Спасибо за письмо, и прими поздравления, что стал ты свекром. Смотри, Дед, еще и дедом станешь. А что, я стал, и ничего!

Хочу тебе вперед на деловое ответить, а потом и на душевное. Про Шукшина — ничегошеньки нет в столе, а новое про него писать — не могу, и потому, что не умею пахать по паханому, и еще, не скрою от тебя, потому, что уж очень много его вокруг пашут, — у меня уже почти идиосинкразия.

Ты обладаешь удивительной способностью извлекать из текста именно то, ради чего он написан. Это я про «огнь», который мы из немецко-французских высот обрушиваем в наш родной навоз. Идеи те — не для нашей толщи, нет. А вот *что* для нас — не знаю. Ощупью идем. Может, для нас — именно это *соединение* идеи с душой. Душа крутится, корежится, лжет, но — святая! Как это у нас на Руси — честных нет, а все — святые. Уважать нельзя, но не любить — невозможно. И конечно же, «не отделиться никак». Никак! Это я про себя изначально знаю. Даже весело. Главное, притвориться, что ты дурень. А потом и резать всю правду. Все всерьез — только время от времени напоминать: это я вру! Да где ж это еще другая такая земля есть, что эдак-то, и чтобы так слушали! Мне недавно передали отзыв одного (незнакомого) читателя: «Я знаю, что он меня обманывает, но я его люблю».

Это я — его — любя — обманываю! А?

Ты спрашиваешь, как славянофильствующие господа снесли моего «Лескова». Не снесли. Один из них, милый моему сердцу еще с университета, веселый ерник, хулиган и забияка. Ходит, говорят, и всем своим удостоверяет про меня: он, мол, *не наш.* Чтоб не ошиблись кто.

На обсуждении моем в ЦДЛ оный забияка стоял при дверях за пять минут до начала, но не вошел, а отчалил, сказав мне на прощанье: «А ты, если хочешь знать мое мнение, приходи ко мне домой, и я тебе все скажу». То есть будешь *наш,* будет и разговор.

Другой мастодонт, ранга уже не славянофильского, а государственного, тоже при дверях стоял, беседуя с массой, а потом пожал мне руку и удалился, ничего не объясняя, что, впрочем, было ясно и без объяснений: не хотел стеснять своей особой свободного изъявления мнений. Посмотрел на меня сквозь очки рассеянным взглядом и унес бородку в ресторан.

Ну, пожалуй, еще и третий был заметен своим уходом, что называется, с порога: тот, у которого, как ты сказал, «в слоге перебор значительности, мало обаяния и сверх

меры достоинства», — я его случайно в раздевалке застукал. Он тоже пожал мне руку, сказал, что устал, и отбыл, вполне достойно.

Так что из «соратников» на этом ристалище почти что никого и не было. Ни из правых, ни, понятно, из левых же. Даже Гусев смылся — тот аж в Воронеж дернул. Передал бразды Серёже Чупринину[1].

Но, Дед, при всем том — обсуждение прошло так интересно, что вот уж почти два месяца минуло, а все еще греет меня. Не потому, что «про меня» и «хвалили». Что «хвалили», это еще не факт, ибо хвалили с ядом: вот, дескать, сократово отродье, делает вид, что слушает собеседника, а сам издевается, и т.д. Верить нельзя! В оценках врет! Лукав! А что «про меня», так это было действительно тяжело, но, знаешь, я как-то так прикинулся это слушать, исчужа, словно оно по кого-то другого. Иначе бы — развалился там же от встречных чувств. А исчужа — было что послушать и над чем подумать!

Ну вот хоть статистика: выговорилось человек под 20. С полседьмого до полдесятого, без перерыва и без *перерывов* между говорившими, — вот так, сплошь. Кончили только потому, что *тела* от духоты сдались, а *души* еще не хотели. Марченко, Инна Соловьёва, Болдырев — просидели, не выступя, потому что *времени не хватило,* — потом мне устно договаривали в раздевалке.

Так *про что* шла речь?

А вот тебе фрагмент.

Женя Сидоров:

— ... Но честно сказать, такой критик, как А., может расцвести не во всякое время. Такие цветут в периоды консолидации. Но если завтра мы возьмемся за руки и пойдем... (*Голос*: На дело! Ш у м. *Другой голос:* На мокрое дело! *Смех)*... Да, на дело! — так ведь он с нами не пойдет. Он — сам по себе. Он человек непартийный. И поэтому он не такой веселый оптимист, как тут о нем говорили. Его веселье невеселое. В нем чувствуется катастрофа. Я не знаю, отчего в нем катастрофизм, от 1941 ли года или от 1956-го, но это критик глубоко пессимистический...

(Я ему потом: «Женя! Неужели это *так заметно?*»)

(И еще я ему потом: «Женя! Слушая тебя, я понял, почему все говорили про меня так горячо: они *про себя* говорили! Про то, что, оказывается, *можно* прожить, не завися ни от «Октября», ни от «Нового мира»! Вне мафий! Женя! Ведь *можно!*» Знаешь, что он мне ответил: «Нет, Лёвочка, *нельзя!»)*

Словом, Дед, был бы ты в Москве, я уверен, во-первых, что ты был бы и на том разговоре, и, во-вторых, влез бы в драку, и, в-третьих, не пожалел бы. Ты, кстати, фигурально говоря, и был. Опять меня припирали, почему я статью твою про рассеянный туман считаю с *статьей года* и нет ли тут меж нами сговора, а я говорил, что нет сговора, честно все, про Маканина, мол, я с Дедковым никак не соглашаюсь, а про туман — сожрите, господа, и будьте счастливы.

Жаль, что тебя не случилось в Москве тогда.

А что? Никиту в Москву отпустите, а там и сами... Или не тянет в Вавилон? Я иной раз думаю: вот только до пенсии, а там подорву куда-нибудь, где потише, — сил нет на эту дикую толпу, на эту злобу вечных нехваток, на это сшибание того, что «выкинули», — все «на шарап», всех много...

Дед! *Зачем* ты взялся рецензировать Баруздина! Эти вещи вообще не надо бы делать, ни за, ни против. Теперь я, кажется, понимаю этот кульбит с моей несостоявшейся на тебя рецензией. Я-то, положим, еще найду случай, но почто — тебе! — внутренние — писать?! Ты же не для этого сделан! Еще «душой не кривить» — задача. Не надо бы этого касаться.

Теперь слушай. Человек, который про песок писал, теперь новый роман кончает[3]. Я читал. Там есть страшной силы фигура. Знаешь, кто? Тот, чей 12-й том навел тебя на мысль «литпортрет» его сделать. Там не «*лит*», там — поглубже. Что твои «корпуса»

и «шараги», и «круги», и все то, что мы считали пределом, там была одна слепая злоба, а тут — тут взгляд посерьезнее. Это я тебе ответственно говорю, чтобы ты, если будет случай прочесть (рукопись, естественно, — дальше не пойдет), — чтобы ты не пропустил.

Жене твоей теплый привет, и поздравления же! Твой Лев.

---

[1] Сергей Чупринин, Алла Марченко, Инна Соловьёва, Юрий Болдырев, Евгений Сидоров — литературные критики.

[2] Анатолий Рыбаков, автор романа «Тяжёлый песок», новый роман — «Дети Арбата».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
29 марта 1984 г.

Дед! <...>Посмотрел я тут «Берег» Алова — Наумова[1]. Боже, какая ложь круговая! Какое ленивое победительское свинство! Какое гуманное снисхождение к лярве-Европе! Ох, правильно я роман не читал, так и чуял, что пустое. И знаешь, что самое жуткое? Что все это — субъективно — честно. Понимаешь? Что это честный человек честно все про себя рассказал. Как жизнью рисковал, как немку драл и как это все немке — простил. Я вот только одно хочу. Если мне велят умиляться, что он немку эдак простил и даже в постель с нею лег вместо сержанта зверского, — так нельзя ли попросить для пробы нашего гуманизма — сюжетец зеркальный? Про любовь, скажем, курской девочки и немецкого «официра» в 1942 году? И чтоб так же «благородно», а? Боюсь, не выйдет. Боюсь, дальше «немецкой овчарки» мы эту девочку не погладим.

Ну а если так, то на кой черт мне эти философские экзерсисы в западногерманских борделях за казенные деньги?

А вот Вадима Абдрашитова — посмотри! «Остановился поезд» — видел? Парад планет» — видел? Дед! Не пропусти! Это ясность страшная! Шукшинское — сегодня.

Подожди, я ж тебе совсем не то собрался писать. Я тебя поздравить хочу. Ты — счастливый человек, талантливый, тяжелый по главной думе, упрямый. Я тебя считаю душой уникальной и мастером замечательным. Ты себе судьбу выбрал — там, за 376[2], — по таланту и по характеру. По случаю твоего 50-летия я тебе это говорю. Держи линию, не злись на начальство, начальство — по народу, на народ — можешь злиться, он сдюжит, ему на пользу, злость твоя — святая. На московских литераторов — не злись, они не счастливые. Тебе вообще с ними нечего делить, и пусть они на тебя злятся, а тебе их и пожалеть не грех. Главное же — будь уверен, что твое перо нужно этой земле. Я это знаю, ты человек с жизненной идеей и с болью, ты нужен. Это невеселое дело — юбилей, но деваться некуда, и надо этот крест волочь дальше.

Ой, что-то я в пафос впал, не к добру это.

Насчет поездки к тебе... ну, как же я с моим выводком? Ты-то с Тамарой посвободнее — детей оженил и вырастил. А я ж привязан, да и с внучкой надо сидеть. Мне не вырваться. Может, осенью? Как? Лето-то уж расписано: Крым там, дача, не бросишь выводок. <...>

Жму руку! Твой Лев. <...>

---

[1] Фильм по роману Юрия Бондарева.

[2] 376 км — расстояние от Костромы до Москвы.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
[Дек. 85.]

Дорогой Лев, с Новым годом! Здоровья, благополучия, много сил тебе, Шуре, всем вашим девочкам! Хорошего, счастливого года!

Будем жить дальше, а? Вдыхать свежий ветер перемен? И вовремя переводить дух? И снова вдыхать?

Дорогой Лев, у тебя очки классика. Ты должен больше видеть. «Наскрозь» — так назвал свою новую поэму Владимир Некляев (БССР). Ты будешь больше видеть, и потомки лучше разглядят тебя. Таковы перспективы. <...>

А так, что ж, жизнь идет. Надеяться *не* на что, *не* на кого — на себя. Но краешком сознания, каким-то все еще молодым — надеешься и на ход вещей, на вывод войск и прочие вещи, более необходимые, чем плач по рекам... Плач по людям...

А видел ли фильм Климова—Адамовича[1]? Пережил? Я потом шел по городу так, будто что-то со мной случилось — такая была тяжесть. М.б., я напишу, что думаю, для здешней газеты. А фильма Германа еще не видел.

Читал ли ты Дудинцева, Приставкина[2]? Издать бы! Сейчас в литературе — остановка, а тогда бы, глядишь — сдвинулось бы хоть что-нибудь. <...>

Будьте здоровы и счастливы. <...> Игорь Д.

---

[1] Фильмы «Я из огненной деревни» и «Мой друг Иван Лапшин».
[2] Романы «Белые одежды» и «Ночевала тучка золотая».

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
6 января 1986 г.

Дорогой Дед!

Ну вот, теперь я наконец-то знаю, *кто* согнал с трибуны съезда славных сынов писательского Секретариата! Не продать ли мне твое письмо Михалкову за золото? Сам-то я на съезд не попал: мне дали билет, в котором я обозван Львом Николаевичем; я к этому придрался и не пошел, да и не хотелось, я это все не люблю; но пожалел, когда мне рассказали, как отцы Союза, то есть сыны, шли освистанные, — посмотреть бы на них. Так-то они себя чувствуют в АБСОЛЮТНОЙ безопасности, а тут такое. О, рабская порода, да мы любой «свежий ветер» так сходу оприветствуем, так задницы беззазорно зализем, что *любые* перемены схаваем туда же!

Фильм климовский что-то сложно лег в меня. Все, что там от Алеся, — правда, страшная. Лицо героя. Много правды. Но Климов из этой правды делает кинотовар. Я не могу это слопать, колом встает. Когда это немцы устраивали из экзекуций игрища? Пусть Климов «Знак беды»[1] перечитает — вот там немцы правильно написаны. А то он *наш* разгул на немцев вешает. Или пусть в параллель какое-нибудь афганское факелище представит, с оборотом. Тогда я *стану* над этим его игрищем думать. А так — пусть идет в Канн со своим кином.

Дед, я рад был получить от тебя новогодний привет. Даже и знал, ждал. Мы с тобой всегда на этом рубеже обмениваемся. Будь счастлив и работен в наступившем году. Дела твои прекрасны, книга о Залыгине крепкая (крепче его рыхлой честной прозы). Давеча я читал лекцию в Ярославле: ты очень популярен в читателях; спрашивали о тебе.

<...> Обнимаю. Лев Ан.

---

[1] Повесть Василя Быкова.

Игорь Дедков — Льву Аннинскому
[Дек. 86.]

Дорогой Лев, с Новым годом!

Здоровья и благополучия тебе, твоей Шуре и всей вашей семье!

Пустым мы тогда делом занимались, когда ходили к той болгарке, но хоть повидались, и то благо.

От Федя и Ланщикова, а также от Куницына и других у тебя обо мне исчерпывающая информация. Славные люди с чистыми мыслями...

Хорошо еще заставы на московской дороге не выставлены... Этой мафии разве что боевой дружины не хватает, хотя по некоторым сведениям, есть и она...

И все-таки я думаю, что жизнь повеселела. Не моя — общая, а это самое важное. И в Костроме по-прежнему хорошо мне жить — не зря же отдано столько лет жизни!

Суждено или не суждено оказаться мне в Москве, на журнальном поприще и «воссоединиться» со всей своей родней, — не знаю.

Это все-таки не главное.

Я — человек 56-го года, и мне сейчас легче жить. Старых иллюзий нет, а новые — гоню, и все равно — легче. А ты — не согласен? Жаль, 30-летние исторические витки не для коротких наших жизней — непозволительное расточительство... Жаль жизни. Жаль неистраченных сил. Это книгу можно отложить на 20 лет, а потом издать. А наши силы и возможности — для жизни, не только для литературы, — если отложены, законсервированы, отброшены, — не восстановить...

И все равно — хорошо. Серенькое небо, медленный снежок, тихо — хорошо. А брань — брань что: на вороту не виснет... И надеюсь, что грязь эта ко мне не пристанет...

Ты-то позакаленнее меня, слыхивал кое-что; да и я закаленный, чуть иначе, но — не сломать и не запугать...

Счастливого Года, Лев. Будем жить дальше.

Игорь Д.

Лев Аннинский — Игорю Дедкову
11 января 1987 г.

С Новым годом, Дед, дорогой мой, я уже ждал найти дома твое традиционное послание и нашел его, воротясь из Малеевки, — с удовольствием же по традиции и салютую тебе.

Ты немножко нервничаешь от этой брани? Но это же все запрограммировано! Вообще-то я понимаю, что оно не по тебе: ты как-то в *другом* всегда, а тут такое. Я <...> хотел сказать про твою бондаревскую операцию (дискуссия о романе «Выбор». — *Прим.ред.*). На фоне твоего теперешнего участия в критике эта операция, я думаю, несколько проигрывает. Ты знаешь, что пишешь про пустое, однако скрываешь это от себя и немного зависишь от своей смелости <...> Твое в ней участие имеет *только* один смысл: восстание против «начальства». Слава тебе, но и резонанс соответствующий. Вот в «Мосновостях» — там другое, там глубь и музыка, и в «Тумане» ты беспримесный. А тут — очередная «гласность», прости господи. Мне не то чтобы горько от этого возвратного ренессанса 1956 года образца — мне страшно. Это ж чтобы *новых* слов ни от кого не услышать — зовут нас, стариков, чтоб мы дошамкали наши когдатошние молодые слова. Что с нами делают, что мы делаем, что мы такое в этой ситуации, ты понимаешь? Что это за «свобода» такая, которую *объявили!*

Ах, Дед, давай жить дальше. Обнимаю тебя! Твой Л.А.

Семье твоей — теплый привет. У нас мороз 30°.

Публикация Льва АННИНСКОГО

Слом иерархий: блогеры обживают реал

Литературные итоги 2019 года

В этом номере — размышления Евгения АБДУЛЛАЕВА, Ирины БОГАТЫРЁВОЙ, Ольги БРЕЙНИНГЕР, Сергея ЛЕБЕДЕНКО, Ильи ОДЕГОВА, Алексея ПОЛЯРИНОВА, Валерии ПУСТОВОЙ, Алексея САЛОМАТИНА

По традиции мы предложили участникам заочного «круглого стола» три вопроса:

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные, на Ваш взгляд, литературные полемики и дискуссии этого года.

Впервые в обсуждении участвуют не только писатели и литературные критики, но и книжные блогеры.

Евгений Абдуллаев, поэт, прозаик, литературный критик (г.Ташкент)

«Разделение проходит по линии "кто кого в соцсетях лайкает"»

1. Как всегда — потери и приобретения, приобретения и снова потери. Среди потерь — три закрывшихся журнала, «Арион» (главная), «Homo legens», «Стороны света». Новые зубы (журналы) на месте выпавших не вырастают. Возникают, правда, сетевые. «Формаслов» (условные «традиционалисты»), «Грёза» (не менее условные «модернисты»); хотя, если судить по названиям, должно было бы быть наоборот. Впрочем, все уже давно смешалось, и разделение в литературе проходит только по линии «кто к кому на вечера ходит». Или «кто кого в соцсетях лайкает».

Заменят ли сетевые журналы — уходящие «бумажные»? Не уверен. Любопытно, впрочем, что «бумажные» были проектами старших литературных поколений, а новосоздаваемые «сетевики» — младших: тех, кому под или немного за тридцать.

Эту же тенденцию — приход тридцатилетних — демонстрируют и премиальные списки года. Григорий Служитель (1983), победивший со своим «Савелием» во всех мыслимых и немыслимых номинациях. Евгения Некрасова (1985) с «Калечиной-Малечиной» в «шортах» «Нацбеста» и «Большой книги». Вячеслав Ставецкий (1986) с «Жизнью А.Г.» в шортах «Ясной поляны» и, опять же, «Большой книги». Да, и победитель «Ясной поляны» Сергей Самсонов (1980) — тоже пока еще тридцатилетний.

И еще два имени, из этой же генерации, менее в 2019-м прозвучавшие, но не менее интересные. Евгений Никитин, чей «антироман»-сага «Про папу» вошел в «лонг» «Новой словесности»; тут недавно Анастасия Завозова в «Эсквайре» писала, что у нас с докуроманами напряженка, так вот, пожалуйста, отличный докуроман, с такой документальностью в повествовании о родных и знакомых, что иногда даже слегка неловко делается. (В этом же жанре — и свежевышедшая «Ода к радости», долгожданный — мною — прозаический дебют Валерии Пустовой; но ее только начал читать). И второе имя — Александра Зайцева, финалист премии имени Крапивина, роман «Девочке на шаре всё нипочём»; висит в Сети, а на следующий год должен выйти в «Самокате»; тоже рекомендую.

2. «Ближнее зарубежье» читаю — хотя бы потому, что читаю «Дружбу народов». Здесь, конечно, открытие номер раз — Ольгерд Бахаревич, отрывок из «Собак Европы», в третьем номере. А потом и весь роман, изданный «Временем» и вошедший — скорее, влетевший, — в «шорт» «Большой книги». Была бы жива «Русская премия» — однозначно первое место. Но и без этого обратил на себя внимание — добротная европейская проза, такой у нас не много. (Белоруссия, похоже, и в литературе осваивает нишу реэкспорта).

Другая важная книга — «Три церкви» Ованеса Азнауряна, также выходившая отрывком три года назад в «Дружбе», а в прошлом году — целиком в «Эксмо». Неторопливая, эпическая по тону. Движение героя — такого вот «облака в штанах» — по Армении: сосчитать все ее церкви и монастыри. Параллельно — история его рода, семейная сага.

И, конечно, ближайшие мои соседи, казахские авторы. Год у них выдался просто сказочный. Юрий Серебрянский дописал и доработал роман-сказку Бахытжана Мамышулы (1941—2012) «Чёрная Звезда» и издал в Алма-Ате («Книжный клуб»). У другой пары соавторов, Ксении Земсковой и Елены Клепиковой, в московском «Издательском Доме Мещерякова» вышла детская повесть «Кроль Королевы, или Времена перемен». Тоже отчасти сказочная, с ожившей игрушкой по имени Ольфинок, бассейном, подростковыми дружбами...

Анонсом еще отмечу два поэтических сборника алматинских поэтов — билингву «Бумажная кожа / Paper-thin skin» Айгерим Тажи (Zephyr Press, издававшее также переводы Гандлевского, Степановой, Айги...) и «Трюк драматюрка» Ербола Жумагула. Подробнее о них надеюсь рассказать в ежегодном «дружбинском» обзоре.

3. А вот с этим — туго. И с полемиками, и с дискуссиями. Да еще — с продуктивными. С одной стороны — чинное, с близоруким прищуром, желание раскланяться сразу со всеми — в «толстых» журналах. С другой — хамоватые «посты» в соцсетях, с последующим топотом набежавших «френдов» и не-«френдов» и забрасыванием друг друга виртуальными экскрементами. Основной упрек здесь, конечно, «толстякам»: с соцсетей спрос невелик, там каждый самовыражается, как может. Впрочем, литературное пространство сегодня настолько фрагментировано, что полемика в нем мгновенно уходит в «вату»; на другом полюсе тебя, скорее всего, даже не услышат. А услышав, не поспешат ответить. Зачем? Ради чего биться лбами,

писать длинные и не очень ответы? Ни славы, ни денег, ни мороженого. Гораздо уютнее внутри своей тусовочной пещерки.

Пожалуй, единственное поле, где еще происходит полемика (и с другими и друг с другом) — проект Игоря Дуардовича «Лёгкая кавалерия», переехавший из «Новой Юности» в «Вопросы литературы». И отдельные дискуссионные материалы, появляющиеся стараниями Бориса Кутенкова на «Текстуре». «Редактирование поэтического текста: насилие или помощь?»; «Ранняя смерть поэта: границы понятия»... Но все это — если не капля в море, то какое-то одинокое течение, едва волнующее окрестные вязко-болотистые воды. Увы.

Ирина Богатырёва, прозаик (г.Москва)

Блогеры и графический роман: новые языки литературы

1. Я не литературный критик, поэтому мое чтение (а следовательно — и итоги этого чтения) очень личные и, как у любого «нормального» читателя, выстраиваются по внутренним темам и интересам, и могут не соответствовать общелитературным тенденциям. Так, в каком-то смысле «темой года» для меня стала актуализация темы ГУЛАГа. Её открыл роман А.Етоева «Я буду всегда с тобой» («Азбука-Аттикус») — роман виртуозный, поражающий мистически мерцающим языком, образностью, почерпнутой из ненецкого фольклора, удивительной атмосферой, в которой не страшно находиться, несмотря на все ужасы, которые происходят по ходу повествования. Правда, именно это «не страшно» в описании жизни лагеря стало для меня читательской проблемой, с которой не удалось справиться до конца и которая осталась фактором сложного отношения к тексту. У Етоева лагерь по-сказочному лубочен. Он как бы не совсем лагерь, а так — место временного пребывания людей, где играют в футбол и занимаются художественной самодеятельностью. Впрочем, это в логике книги, которая скорее мистический, чем исторический реализм. (Я уже писала об этом романе в «Новом мире» — № 5, 2019 г.)

Исторического же реализма со всеми ужасами лагерного бытия предостаточно в другой книге, о которой я узнала только в этом году, — Георгия Демидова «Чудная планета» (М.: «Возвращение», 2011 г.). Сборник рассказов автора, прошедшего ГУЛАГ, и в то же время не потерявшего веру в человеческое достоинство — то, против чего в первую очередь была направлена эта сталинская машина. Персонажи Демидова — личности, несмотря ни на что. Талантливые каждый по-своему, они брошены в мясорубку, потому что слишком неудобны государству. Но даже те персонажи, которые должны бы быть противны и автору, и читателю: начлаги, вохра, уголовники, — получаются у Демидова объемными, интересными и вызывают

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

сострадание. Что говорит не только о писательском таланте, но и об авторе как настоящем Человеке, знакомство с которым всегда важно для тебя самого.

В переводной литературе для меня автором года стал Давид Гроссман, которого я полюбила несколько лет назад за роман «С кем бы побегать». В этом году переведены две его новые книги — «Бывают дети-зигзаги» («Текст») и «Как-то лошадь входит в бар» («Эксмо»). Но если первая книга, позиционируемая как книга для подростков, — это яркое повествование, которое читаешь на одном дыхании, полное юмора и глубокого понимания психологии, то вторая мне показалась не такой интересной. Впрочем, возможно, все дело в менее гибком переводе: роман построен на игре слов и приправлен большим количеством армейского израильского сленга, который переводчик увел в сноски, не потрудившись подобрать аналоги из русского языка. Хотя предсказуемо более пристальный интерес литературной общественности вызвала именно эта, «взрослая» книга — и это меня расстраивает.

Что же касается собственно детской литературы, то для меня самая яркая книга года — комикс Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека «Соня из 7 буээ» («Белая ворона»). Можно как угодно относиться к комиксам и графическим романам (кстати, тоже тренду этого года, судя по ярмарке Нонфикшн, где жанру была отведена отдельная секция), но лучшего выражения внутреннего мира современной девочки-подростка, нежели красно-черные картинки и порой абсурдистские тексты к ним сложно представить. Учеба, отношения с учителями и сверстниками, собственное взросление и связанное с ним понимание самой себя, — все это прекрасно уместилось в книге, не хуже, чем в привычный роман. Любопытна реакция читателей: дети в восторге, а вот у взрослых, особенно учителей, «Соня» вызывает неоднозначные оценки — и, как мне кажется, это говорит о том, что авторы нашли правильную форму: яркую, скандальную и интересную. А иначе и не стоило бы за этот жанр браться.

2. В этом году со мной поделился рукописью пока не опубликованного романа живущий в Алма-Ате Михаил Земсков. «Новейший завет. Рассказ об улетевшем» — это тематическое продолжение романа Михаила «Сектант», вышедшего в издательстве «Эксмо» несколько лет назад. Люди в духовном поиске и «духовные спекулянты», кто пытается на них «нажиться» в самом широком смысле этого слова; пророки и лжепророки, есть ли между ними различие и к каким последствиям приводит вера в тех и других, — все эти важные для автора вопросы находят новое преломление. В начале тысячелетия проблема сектантства была крайне актуальна для России, но кажется, ее острота притупилась в 20-е годы XXI века. Однако роман Михаила Земскова интересен не столько социальной стороной этого вопроса, но в первую очередь той составляющей, которая не подвержена времени: необходимость для человека веры как таковой.

Надеюсь, что в будущем году роман будет опубликован.

3. Еще с прошлого года, когда была учреждена премии «Литблог», началось пристальное внимание к литературным блогам. В этом году, как мне кажется, тенденция получила продолжение: прошла конференция с симптоматичным названием «Литературная инклюзивность: критики, блогеры и толстые журналы», на Нонфикшене был круглый стол, посвященный блогам. Т.е. вопрос остается актуальным: смогут ли блогеры стать новой формой критики, как графический роман — новой формой литературы, или это только попытка заигрывать с публикой?

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Впрочем, пока сохраняется ощущение, что блогеры, рекомендательные критики и критики-аналитики продолжают говорить на разных языках как в своем основном жанре, так и на этих мероприятиях — слишком разный подход к вопросу, слишком разные цели и, как следствие, методы. Мне же, как автору, а вовсе не критику, просто интересно следить за этой дискуссией: глядишь, из нее что-то и выкристаллизуется в итоге.

Ольга Брейнингер, прозаик, литературовед (г.Бостон/Москва)

«Пришло время диалога»

1. 2019-й год, на мой взгляд, оказался одним из самых интересных и необычных литературных сезонов последних лет. Начался он для меня с объявления длинного списка премии «Нацбест», куда впервые за долгое время попало огромное количество новых авторов поколения нынешних тридцатилетних.

Тенденцию подхватила «Большая книга», на недавнем вручении которой на сцене среди финалистов оказались сразу несколько молодых авторов. Я очень рада за лауреата Григория Служителя и также болела за Вячеслава Ставецкого и Евгению Некрасову.

И, пожалуй, самое важное литературное событие года для меня — учреждение премии «ФИКШН35» (где читатели до 35 обсуждают и выбирают лауреата из своих ровесников — авторов до 35) и короткий список этой премии. Я думаю, что нынешний год для современной литературы переломный. В следующем году жду больше новых текстов от поколения тридцатилетних.

Важными для меня в этом году, кроме уже упомянутых «Жизни А.Г.» Вячеслава Ставецкого, «Калечины-Малечины» Евгении Некрасовой и «Дней Савелия» Григория Служителя были книги Булата Ханова («Гнев»), Степана Гаврилова («Опыты бесприютного неба»), Константина Куприянова («Желание исчезнуть»), Алексея Поляринова («Почти два килограмма слов»), Кристины Гептинг («Сестрёнка»), Артемия Леонтьева («Варшава, Элохим!»), Арины Обух («Муха имени Штиглица»), Павла Селукова («Добыть Тарковского»), Дмитрия Захарова («Средняя Эдда») и Михаила Елизарова («Земля»). В жанре нон-фикшн отдельно отмечу «Форпост. Беслан и его заложники» Ольги Алленовой.

3. Наиболее острой и интересной для меня продолжает оставаться дискуссия о блогерах и феномене литературного блогерства как таковом. Я рада, что проекты «Дружбы народов» — наша рубрика «Блог-пост», премия «Блог-пост» и проведенная в ноябре конференция «Литературная инклюзивность: критики, блогеры и толстые журналы» — внесли заметный вклад в развитие этой дискуссии и в утверждение статуса блогера. Собственно, переформатирование колонки «Блог-пост» в 2020 году связано именно с тем, что спорить о блогерах, на мой взгляд, уже не совсем актуально — пришло время диалога. В этом году жду в рубрике «Блог-пост» приглашенных авторов-блогеров.

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

Сергей Лебеденко, журналист, книжный блогер, создатель телеграм-канала «Книги жарь» (г.Москва)

«"Литература-1" не нужна "Литературе-2"»

1. Важнейшими текстами в этом году, безусловно, стали тексты Ивана Голунова, вокруг его дела, репортажи, посвященные «московскому делу» и делу сестер Хачатурян, и тексты, которые так или иначе пытаются эти события осмыслить. Это и нон-фикшн работы вроде «Невиновных под следствием» Алексея Федярова, и поэзия — стихи Оксаны Васякиной, Дарьи Серенко, Галины Рымбу и других, посвященные домашнему насилию и его преодолению, и тексты чисто художественные. Прекрасный портрет эпохи кремлевских политтехнологов и ресурсно-сословной экономики изобразил Дмитрий Захаров в «Средней Эдде». Дмитрий как бы в шутку говорит, что после этого текста его не возьмут работать в политическом пиаре, даже если бы он захотел, но воспринимать это заявление стоит серьезно: до Захарова никому в общем-то не приходило в голову, что, чтобы описать нашу политическую реальность, писатель должен зайти в высокие кабинеты и описать, что там происходит. Опыт Захарова позволил ему сделать это выразительно и при этом увлекательно.

Из нон-фикшна я бы отметил также «Форпост. Беслан и его заложники» Ольги Алленовой — блестящую работу спецкора «Коммерсанта». Год назад писатель и блогер Алексей Поляринов задавался вопросом: где же авторы, которые попытались бы осмыслить травмы постсоветской России? «Форпост» можно назвать невольным ответом. Алленова не просто детально восстанавливает картину событий и вопросы, на которые не удалось ответить официальному расследованию, но и вскрывает глубинную проблему: отношения центра и периферии, конфликт прав человека и государственных интересов. При этом книга свободна от наставления и патетики: Алленова вспоминает, как переживала события теракта лично, делится своими переживаниями, опрашивает свидетелей теракта и бесланских матерей, и эта личная оптика, попытка с помощью текста о травме общественной проработать травму личную позволяет Алленовой задавать по-настоящему острые вопросы: как так получилось, что спустя пятнадцать лет матери не знают, что погубило их детей? Как мы позволили себе забыть?

Из фикшна я бы отметил незаслуженно упущенные премиями роман «Калечина-Малечина» и сборник «Сестромам» Евгении Некрасовой — выдающиеся по мастерству сторителлинга и писательской проницательности тексты — и роман Линор Горалик «Все способные дышать дыхание». Мне кажется этот текст важным не только потому, что дает голос животным и таким образом вписывается в экологический и спекулятивный поворот в сегодняшнем философском и научном дискурсе, но и потому, что это попросту текст о том, как важна эмпатия — как важно проникнуться сочувствием даже к тем существам, которые, казалось бы, никакого сочувствия вызвать не могут. «Эмпатия» вообще становится одним из главных слов уходящего десятилетия — думаю, как раз потому, что нам в повседневной жизни и нынешней милитаризованной и пропитанной госпропагандой культуре ее как раз не очень хватает, хотя со всех

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

трибун нам кричат о необходимости перечитывать русскую классику. Но русская классика в первую очередь и говорила о любви к ближнему — ее-то как раз сегодня и недостает.

Из феноменов отмечу аудио-сериал «Пост» Дмитрия Глуховского — остросюжетный постапокалипсис, выпущенный исключительно в формате аудиокниги сервисом Storytel. Глуховский — писатель-визионер, способный разглядеть тренды прежде всякого аналитика. Его сериал пришелся как раз на небывалый бум аудиоформатов и изобретательно пользуется всеми инструментами своего медиума.

2. Я, к сожалению, мало слежу за литературной жизнью ближнего зарубежья и могу отметить лишь «Рай земной» проживающего в Ташкенте Сухбата Афлатуни. Это смелая попытка скрестить разговор об исторической травме с магическим реализмом, интересная хотя бы тем, что у нас эксперименты с жанрами и логикой повествования писатели проводят нечасто.

3. Меня удивляет острый интерес к теме статуса критика и блогера сегодня. Наверно, дело в том, что мы живем в эпоху кризиса экспертизы практически во всех культурных сферах и литература не перестает быть исключением. Что такое блогинг и критика, как они друг с другом соотносятся и как должны быть выстроены отношения фигур литературного процесса — эти вопросы стали движущей силой большинства полемик, которые мне в этом году довелось наблюдать, что, мне кажется, вскрывает гораздо более важную проблему, чем банальный номинализм. Широкое распространение книжного блогинга как явления — лишь еще один симптом кризиса традиционного книгоиздания. Широкий доступ информации и моделей его распространения вынуждает издателей изыскивать средства на продвижение книг и поиск актуального слова, но литература сегодня как способ времяпрепровождения обзавелась столькими конкурентами, что бороться за читателей становится все труднее. Не говоря уже о том, что распространение электронных книг и сервисов самиздата уже давно сформировало некую «Литературу-2» со своими писателями-звездами, которая абсолютно не зависит от традиционного литпроцесса и больших национальных премий. «Литература-1» не нужна «Литературе-2» — разве что для того, чтобы популярный в сети текст стал доступен на бумаге.

А блогеру не нужен издатель или СМИ — и это делает его свободным экономически и юридически субъектом и самостоятельным игроком на литературном рынке, к чему многие оказались не готовы.

Появление на литературном рынке субъекта, который избегает закрепления своего правового и экономического статуса и при этом непосредственно взаимодействует с аудиторией издательств, порождает определенный невроз и непонимание. Но эта свобода от правовых ограничений играет с блогерами и дурную шутку: некоторые издатели считают вполне приемлемым не спрашивать разрешения и копировать цитату-блерб блогера с одной книги на другую, например, или отказывать в информационной поддержке из-за того, что издателю не понравилось мнение блогера.

Все это тесно связано с системной проблемой в креативных индустриях, в которых работники младшего звена вынуждены перерабатывать и получать мизерные зарплаты, в то время как владельцы компаний и топ-менеджмент получают сверхприбыли и приобретают дорогостоящую недвижимость. Причиной тому: сверхмонополизация литературного рынка, 97 процентами которого владеют две монополии, каждую из

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

которых раздирает внутренняя конкуренция (одна поглощенная компания переманивает авторов у другой, переработки порождают текучку кадров и проч.).

Все эти проблемы будут решаться уже в начале двадцатых.

Илья Одегов, прозаик (г.Алма-Ата)

«Все соцсети бурлили...»

1. Начну с того, что в 2019 году вышла новая книга стихов Айгерим Тажи «Бумажная кожа/Paper-Thin Skin». И событие это значимо сразу по двум причинам. Во-первых, с момента выхода первой и единственной поэтической книги Айгерим («БОГ-О-СЛОВ») прошло целых 15 лет. Все это время за творчеством Тажи можно было следить по публикациям в журналах, но книг не было. А во-вторых, «Бумажная кожа» вышла в США, в американском издательстве *Zephyr Press* на двух языках — русском и английском (на английский стихи перевел Дж.Кейтс — известный американский поэт и литературный переводчик, переводивший Г.Сапгира, М.Айзенберга, С.Стратановского) и уже получила там, в Америке, две премии — грант от Национального фонда искусств США и премию *Käpylä Translation Prize*. Для литературы Казахстана — это уникальный исторический прецедент, ничего подобного прежде не случалось.

Стихи в книге короткие, но в каждом стихотворении — целый мир: тонкий и сложный, поэтому читать их мне нравится по одному в день, не торопясь, погружаясь все глубже и глубже.

Второе знаковое событие года, которое я хочу отметить — это появление премии «Поэзия». Впервые я увидел среди кандидатов в лауреаты поэтической премии представителей едва ли не всех современных поэтических эстетик, школ и направлений. И несмотря на то что далеко не каждое номинированное на премию стихотворение мне понравилось, я с большим интересом прочел весь «премиальный лист». На мой взгляд, получился отличный срез современной русскоязычной поэзии во всем ее разнообразии. А еще мне очень импонирует, что премия вручалась не за книгу, не за имя, не за статус, а только за одно стихотворение — лучшее стихотворение 2018 года. Обсуждая «Поэзию» в литературных чатах, я голосовал за понравившееся мне стихотворение Дмитрия Веденяпина, который и стал в итоге одним из победителей, чему я очень рад. Кстати, Айгерим Тажи в этой премии тоже засветилась, причем не только в «премиальном листе», но и в двух избранных «десятках лучших» — по версиям ресурса «Год литературы» и газеты «Комсомольская правда».

Назову еще два события. Одно — печальное. Журнал «Арион» в 2019 году прекратил свое существование, и мне кажется, что это не только прецедент, но и подтверждение тенденции: наступает время перемен. А другое событие — приятное. Уже под конец года в Алма-Ате прошел Фестиваль молодой литературы Казахстана, организованный фондом СЭИП и журналом «Дружба народов». Я сам имел

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?

3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

непосредственное отношение к проведению этого фестиваля и понимаю, что для целого ряда казахстанских авторов он стал временно открывшимся окном в большую литературу.

2. Да, конечно. Расскажу вкратце о трех книгах, которые произвели на меня наибольшее впечатление.

Проза: Павел Зальцман, «Средняя Азия в Средние века» («Ад Маргинем»).

Думаю, что с учетом того, что Зальцман родился в Молдавии, а большую часть жизни прожил в Казахстане, его можно отнести к писателям «ближнего зарубежья». Зальцман вообще писатель невероятного таланта. И «Средняя Азия» — замечательный роман, пусть и недописанный. Это яркая мистическая фантасмагория, одновременно и по-обэриутски абсурдная, и по-борхесовски метафизичная.

Поэзия: Сухбат Афлатуни, «Русский язык» («Воймега»). Ни для кого не секрет, что Сухбат Афлатуни — псевдоним ташкентского поэта, прозаика и литературного критика Евгения Абдуллаева. Если его романы выходят более или менее регулярно, то поэтических книг не было уже давно. Стихи в «Русском языке» очень разные: тут и медитативные поэмы, и игры со смыслами, и ироничные наблюдения. Меня все время удивляет то, что Евгений, будучи не просто автором, но и критиком — то есть человеком, глядящим со стороны, профессионально разбирающим произведения по частям, — умеет писать стихи не по-редакторски, а интуитивно, с явными откровениями, наитием. Это чувствуется, и именно это делает его стихи такими живыми.

Детская литература: Тоня Шипулина, «Землеройки и Щелезубы» («Абрикобукс»).

Казахстанская писательница Тоня Шипулина написала социально-злободневную и в то же время волшебную сказку о неравенстве и одиночестве. Мне кажется, что это тот самый редкий случай, когда очень важные для осознания детьми вещи о мироустройстве и об отношениях между людьми проговорены безо всякого морализаторства, увлекательно и метафорично. Кстати, за эту книгу Тоня Шипулина получила специальный приз на вручении Международной премии им.В.Крапивина.

3. Пожалуй, самая бурная полемика сопровождала уже названную мной выше премию «Поэзия». Не знаю, насколько эту полемику можно было назвать продуктивной, но она точно притягивала внимание. Все соцсети бурлили. Столкновение мнений, скандалы, споры, словесные дуэли, публичные обсуждения стихотворений из премиального листа... Следить за этим было интересно. А самое главное — в результате такого бурления многие довольно далекие от литературы люди начали читать современную поэзию. И не просто читать, но и говорить о ней, делиться своим читательским мнением. Этот результат, на мой взгляд, уже стоил того, чтобы премию затевать.

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

Алексей Поляринов, прозаик, переводчик, автор телеграм-канала «Поляринов пишет» и подкаста «Поляринов говорит» (г.Москва)

«Новые тридцатилетние» и повестка новейшей истории

1. 2019 год, мне кажется, стал очень важным для нас, «новых тридцатилетних». Не только литература, но и культура в целом заговорила о «сейчас», о новейшей истории. За примерами далеко ходить не надо — вышла книга «Форпост. Беслан и его заложники» Ольги Алленовой и кроме нее — сразу несколько документальных фильмов Беслане, о «Норд-Осте», о «Курске» — о тех трагедиях, о которых раньше особо не говорили, потому что «не принято» и «все и так все знают». И даже пермские журналисты недавно выпустили фильм о пожаре в «Хромой лошади».

На мой взгляд, это очень важный культурный сдвиг, и он напрямую связан со сменой поколений. Новые тридцатилетние не только не боятся говорить о новейшей истории, но и — в отличие от предыдущих поколений — говорят о ней прямо и открыто, без иносказаний и попыток прикрыть и разбавить свои размышления иронией. Еще в 2017-2018 годах книги Ольги Брейнингер и Анны Немзер с их актуальной и современной повесткой казались чем-то из ряда вон, теперь же в новом контексте они выглядят как первые примеры новой поколенческой прозы, в которой искренность и смелость выходят на первый план, в то время как приемы постмодернизма — ирония и нигилизм — стремительно теряют в цене.

2. Главным открытием года в номинации «ближнее зарубежье» для меня стал Сергей Жадан. Я давно слышал о нем, но до его текстов добрался лишь в 2019-м и уже по первым строчкам понял, что Жадан — одна из самых важных фигур в литературе Восточной Европы, а его «Ворошиловград» настолько хорош, что его хочется абзацами зачитывать вслух друзьям:

«В июне воздух прогревался, словно армейские палатки, и начиналась теплая пора малоподвижных мужчин на улицах и шумных детей в водоемах. Уже утром стало понятно, что готовиться нужно к жаркому лету, которое будет длиться бесконечно и выжжет всё, что попадется под руку, включая кожу и волосы. И даже летние дожди никого не спасут».

3. Самые интересные дискуссии 2019-го, мне кажется, опять же вращались вокруг современности. Разговоров о «здесь и сейчас» было как никогда много — начиная с выступлений на книжных ярмарках и заканчивая дискуссиями на премии для молодых авторов «ФИКШН35», где сами авторы, критики и блогеры пытались сформулировать, чего они хотят и ждут от современной прозы и как этого добиться. В 2020-м будет особенно интересно понаблюдать за тем, куда эта и ей подобные дискуссии нас выведут.

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Валерия Пустовая, литературный критик (г.Москва)

«Временное затишье: без идеологии, без иерархии, без борьбы...»

Этот год запомнится мне катастрофой и обновлением того, в чем я выросла и чем жила как человек литературы. Выходит последний номер «Ариона», взял долгую паузу родной «Октябрь», где я проработала с 2005 года, и в этот же год журналы «Дружба народов» и «Вопросы литературы» собирают конференцию «Литературная инклюзивность», на которой о будущем толстых журналов, критики и чтения говорится не с оптимизмом — это было бы голословно, а прямо-таки со знанием того, как на это будущее повлиять из нашего сейчас. Название конференции не обмануло: в течение целого дня лекций и дискуссий только однажды я отметила проклюнувшиеся было нотки противостояния — между редколлегиями новых литературных журналов «Незнание» и «Формаслов», но спор касался коммуникации с читателем, а не литературы.

Без идеологии, без иерархии, без борьбы — этот образ литературного процесса, да что там, просто литературной дискуссии для меня нов. Думаю, это затишье временное, и продлится оно до тех пор, когда новое поколение и новые литературные силы осознают, что грозит уже им — а не толстым журналам. Но, какие бы опасности ни принесло будущее, мне радостно, что обозначена точка невозврата в мир закрытости и элитарности. Литература в рамках конференции предстала не как поле власти, которое надо поделить и удержать, а как поле возможностей, которое каждый участник способен преобразить.

Вот, скажем, критик и блогер Владимир Панкратов организовал премию «ФИКШН35» — для писателей до тридцати пяти. По сути он предложил авторам своего поколения выбрать то, что представляет их в литературе и отражает их взгляд на современность. Премия безденежная — но с чередой продолжительных публичных дискуссий, каждую из которых можно посмотреть в Сети. Авторы и жюри до тридцати пяти — но длинный список хочется читать вне зависимости от поколенческих установок. Как это работает? Неужели дело только в том, что пришло наконец поколение, утверждающее не столько себя — сколько ценности литературы? В дискуссии на объявлении шорт-листа премии мне понравился акцент на вопросы художественности.

Еще одна премия, изменившая литературное поле, — «Поэзия», скоординированная Виталием Пухановым. И в ней так же, как в «ФИКШН35», сама идея и лист номинантов важнее итогов. Предложение судить поэта по одному только стихотворению в перспективе возвращает поэзию читателю, который выбирает своего автора не по книге или подборке — а вот так, открыв наугад и прочитав стихотворный текст на несколько вдохов.

Полемика, развернувшаяся в Фейсбуке вокруг премии «Поэзия», стала для меня самой плодотворной на поэтическом поле. Началось вроде бы с частностей: поэт

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

Евгений Никитин заявил, что попробует отдельными постами выкладывать разборы стихов, номинированных на премию; координатор премии Виталий Пуханов выразил неудовлетворенность суждениями, высказанными в рамках этих разборов, предположив, что Никитин ставит иных номинантов под удар критики. Защитить поэзию от критики, впрочем, не получилось: напротив, в результате этой битвы двух друзей родился новый — и уже читаемый и почитаемый — критик Никитин, который завел блог о стихах в Телеграме, а в этом блоге открыл возможность публичной о стихах дискуссии. И снова это история о том, как одиночка меняет соотношение сил и наши представления о возможностях в литературной игре. И снова это история без идеологии — потому что речь не о противостоянии лагерей и сообществ, а о том, как изъяснить поэзию читателю, как вообще читать, оценивать и понимать стихи.

В этом смысле знаковая победа в новой премии для критиков «Неистовый Виссарион» — критика с кристально деидеологизированной позицией. Ольга Балла в самом деле сейчас один из ведущих критиков: по работоспособности, по глубине понимания чужого слова, по широте критических интересов, — но в публичном поле ее образ лишен идейной нагрузки и потому не так заметен, как, например, образ Галины Юзефович, назначенной словно бы воплощением задач критики в глазах современного читателя.

Знак продуктивного слома иерархий — затеплившийся интерес крупных издательств к поэзии. В этом году в АСТ вышел увесистый том избранных стихов Инги Кузнецовой «Летяжесть», а в «Эксмо» под началом Юлии Селивановой выпущена антология современной любовной лирики «Кровь — любовь» (составитель Сухбат Афлатуни).

Из книг, вдохновленных национальным контекстом, отмечу дебютный роман Стеллы Прюдон «Дедейме» — семейную драму из жизни горских евреев. Обратила внимание на зарождающееся направление терапевтической литературы: на стыке самоанализа, манифеста и остросюжетной драмы — роман «Рюрик» Анны Козловой и вышедшая на излете года первая взрослая книга детского поэта Юлии Симбирской «Заяц на взлётной полосе». Неизбежным признала выбор победителем «Ясной поляны» Сергея Самсонова с его романом «Держаться за землю»: жюри угадало главное направление, вплотную приближающее художественное слово к описываемой реальности, — однако в самом романе вневременное дыхание земли и вещей показалось мне убедительнее живых историй людей, захваченных донбасской войной. Занятным показался роман Алексея Сальникова «Опосредованно», словно бы восстанавливающий утерянные права поэзии — и, шире, художественного слова — на магическое преображение человека и мира; жаль только, что из трактата о том, как писать стихи, роман скоро скатывается в поэзию бытописания, знакомую нам по «Петровым в гриппе». Книгой года хотела бы назвать долгожданное избранное Дениса Осокина «Огородные пугала с ноября по март»: тексты в книге не новые, но доказавшие, что способны пережить многие годы и тенденции.

---

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Алексей Саломатин, литературный критик (г.Казань)

Произведение искусства в эпоху его практической невозможности

Настоящий, некалендарный дветыщидевятнадцатый начался по старому стилю — с известия о закрытии «Ариона». Символична — то ли многозначительное совпадение, то ли не без горькой иронии умысел — уже сама дата: камертоном на грядущий год эта новость стала именно для тех, кто верен старине. Не потому, что солнце было зеленее (*изумрудных солнцев нет* — гр. Дм.Хвостов, «Ода к музам»), а потому что *у будущего будущего нет*.

Примечательно, что на суетных проводах журнала в Доме русского зарубежья молодежи почти не было, а из тридцатилетних — едва не сплошь приезжие. Молодежь взапуски ликовала в интернете, отмечая очередной праздник непослушания и по-детски радуясь «исчерпанности института толстых журналов»...

Когда в начале года я по горячим следам обмолвился о торжестве дилетантизма (http://cavalry.voplit.ru/january2019#rec86397409), я если и мог, то не хотел думать, что к концу года последовательный курс на безответственность и станет, пожалуй, пресловутой главной литературной тенденцией.

Восставшие массы требуют сделать им уже не красиво, а прикольно, а общество спектакля оборачивается массовкой комикса.

Апология неизбежного прогресса и аналогия с Гуттенберговым переворотом не работают: на наших глазах не просто меняется способ ретрансляции и репрезентации — происходит необратимая подмена означаемого.

Поэт ***, раздражаясь на самого себя, поделился как-то в частной беседе: по молодости он высокомерно предпочитал импрессионистов условному Репину и лишь с возрастом понял, что в рамках импрессионизма невозможно написать, скажем, «Возвращение блудного сына».

Есть эстетики (техники, практики, методики и т.д.), полагающие заведомые границы высказыванию. Либо отменяющие его возможность в принципе. И агрессивно навязываемый ныне формат бытования слова неотвратимо ведет к обессмысливанию высказывания как такового, а следовательно — всякой полемики, риторики, поэтики...

Все происходящее до ужаса напоминает эпизод известного сериала, в котором мультипликационный медведь-матершинник дослужился до предземшара. Похоже, прозорливец Дон Кихот, атакуя месящие пустоту ветряные мельницы, уже тогда понимал, что нет врага, страшнее виртуального, ибо он неуязвим именно в силу своей кажимости.

Тем отраднее исключения из общей, увы, безрадостной, картины.

Взять ту же назло всему разменявшую девятый десяток «Дружбу народов» — салютую юбиляру чреватой крепости чаем, под который пишутся эти глубоко полуночные строки (писано в 2019-м), — на чьих страницах появился фрагмент

---

1. Каковы для Вас главные события (в смысле — тексты, любых жанров и объемов) и тенденции 2019 года?

романа Ольгерда Бахаревича «Собаки Европы», вышедшего вскоре в издательстве «Время» и ставшего для меня, пожалуй, главной прозаической книгой года.

Можно, конечно, порадовавшись сочному языку и искусной композиции, попенять на то, что книга в итоге остается замкнутой на самой себе и представляет собой некую самозабвенную демонстрацию силы, пусть недюжинной, но разве не такова и должна быть изящная, прости Господи, словесность, дарящая чистую радость чтения и остающаяся приятна, сладостна, полезна, как летом вкусный лимонад?

Книги же избранных переводов Гонгоры «Поэма Уединений; Сказание о Полифеме и Галатее; Стихотворения» (издательство Ивана Лимбаха), кажется, вообще не могло быть — она смотрится каким-то чудесным артефактом из параллельного мира непобежденной культуры. Павлу Грушко удалось почти невозможное — во-первых, не в ущерб глубине живо и заразительно представить публике не самого простого поэта, а во-вторых, не просто провести филиграннейшую работу со словом (я, честно говоря, не припомню, когда в последний раз испытывал такое эстетическое наслаждение от чтения переводной поэзии), а создать *русского Гонгору* — в том смысле, в котором мы говорим о *русском Гомере* или *русском Джойсе.* Это ли не триумф переводчика?

Авторское собрание стихотворений Олега Чухонцева с присовокуплением трех эссе о поэзии «и звук и отзвук: из разных книг» (издательство «Рутения») на момент написания этого отклика еще не покинуло типографию, потому непроизвольно сбиваюсь на анонс. Прослеживая творческий путь поэта от ранних опытов к позднейшим, читатель познакомится не только с неизвестными редакциями хорошо знакомых стихотворений (тут особенно отличились «Поэт и редактор» и «Прощание со старыми тетрадями», а «В нашем городе тишь да гладь...» внезапно ошарашивает чуть ли не цитатой из Олейникова), но и с текстами, не входившими в книги и до поры рассыпанными по альманахам либо не публиковавшимися вовсе. И что примечательно — многие стихотворения, отвергнутые автором в свое время, сделали бы честь избранному иного стихотворца.

Вообще, всех виновников сегодняшней подборки роднит взыскательность к себе и ответственность перед читателем и словом.

За ответственность, пожалуй, я и осушу свой бокал чаю, пока тот ещё не остыл.

(Окончание в следующем номере)

2. Удалось ли прочитать кого-то из писателей «ближнего зарубежья»?
3. Наиболее продуктивные литературные полемики и дискуссии этого года.

Ольга Балла

Практики бессмертия

Борис КЛЕТИНИЧ. Мое частное бессмертие: роман. — М.: ArsisBooks, 2019.

Роман русского канадца, уроженца Молдавии Бориса Клетинича, гигантский (недаром писался больше двадцати лет, выращивался медленно и трудно, как своевольное дикое растение), устроенный так, что мог бы и еще разрастаться в разные стороны — хоть до бесконечности: гибкая, растяжимая, вбирающая в себя все, что только возможно, при этом очень плотная структура, способная показаться спутанностью многих нитей (да часто ею и бывает), — это, на самом-то деле, чистой воды историософия. Читатель, пожалуй, рискует ее не опознать: ключи к истинному смыслу романа, совсем небольшие, но щелкающие безошибочно, хитрый автор запрятал в разных местах громадного тела текста, но внимательное (а главное — последовательное и непременно целиком, до конца) чтение будет вознаграждено. Клетинич буквально, на живых примерах показывает нам, как, по его разумению, устроен исторический процесс, каковы механизмы, приводящие его в движение, — ну не то чтобы вот прямо все, но некоторые спусковые крючки — точно. Историософский трактат, осуществленный средствами романа, который, в свою очередь, объединил в себе тексты многих жанров и разновидностей, не только художественных.

Прежде всего, среди жанровых его моделей — разные виды романа. Это и — кем только в связи с «Частным бессмертием» не вспоминавшаяся! — семейная сага: история нескольких поколений нескольких семей внутри большой истории; история, увиденная через их частную жизнь, со всеми особенностями и ограничениями этого оптического прибора. В таком духе текст и начинается, запуская читательские ожидания — ну конечно же, по ложному пути, все окажется не совсем так — совсем не так — как мы, по первым десяткам страниц, совсем уж готовы были поверить.

Отчасти это и любовный роман. Сюжетных линий с такой структурой здесь несколько, они переплетаются, одни тянутся с (почти) начала до (почти) конца, другие возникают в разных точках и обрываются — далеко не всегда мотивировано как то, так и другое. Иной раз недолго и запутаться; идея составлять по мере чтения схему отношений и связей между персонажами представляется вполне конструктивной.

Далее, это — в мере уже куда более значительной — роман... нет, все-таки не совсем воспитания, но, во всяком случае, взросления. Таких линий тут даже несколько, по крайней мере — четыре основных (впрочем, если как следует всмотреться, наверняка можно разглядеть и еще). Две из них — самые мощные, сквозные: это взросление Вити Пешкова в 1970—1980-х годах (на нем как на одной из несущих конструкций держится весь роман) в Кишинёве и Москве и взросление одной из его бабушек, Шанталь (Шейндел) Дейч с начала тридцатых до начала сороковых годов того же столетия в румынской в ту пору Бессарабии, в Оргееве. Взросление третье (эта линия включается примерно в середине книги, и читателю долго еще не догадаться,

насколько она важна и вообще при чем она тут... но, опять же, терпение, терпение!) — в блокадном Ленинграде — персонажа под прозрачным криптонимом «Виктор Корчняк», — прозрачным настолько, что автор несколько раз — в официальных сводках о матче — называет героя прямо, именем его прототипа: Виктор Корчной. Да, тот самый шахматист Корчной, в романе он занимается тем же самым, и играет в шахматы с никак уже не маскируемым Анатолием Карповым, и терпит от него поражение в филиппинском Багио (что, как заметит уж совсем внимательный читатель, решает судьбу не только всех вовлеченных в эту историю людей — а их гораздо больше, чем может показаться! — но и мира в целом. Нет, все-таки еще один небольшой спойлер, невозможно удержаться: поражение Корчняка-Корчного в Багио — по версии Клетинича — предотвращает Третью мировую войну, в которую мир совсем уж был готов сорваться). В данном случае не существенно, в какой степени биография романного персонажа и он сам совпадают с жизнью и личностью исторического Виктора Корчного (это совсем не трудно установить — именно потому это не представляет никакого интереса). В мире же романа решающе важно, что Витю Корчняка с детства воспитывает как сына Хвола Москович, жена — а потом вдова — Витиного отца: важно, что выросла она вместе с Шанталь Дейч и второй бабушкой Пешкова, Софийкой-Соней, все в том же Оргееве. Оргеевский корень, вместе с растущими оттуда (а частью врастающими туда обратно) ветвями здесь вообще держит не то что многое, а просто все в целом. (Да, и мировую историю тоже. Всерьез.)

И четвертая линия взросления, начинающаяся совсем уже ближе к концу, но тоже очень важная, ее герою, ставшему ассистентом Корчняка, предстоит оказать решающее воздействие. Это взросление отца Вити Пешкова — Лёвы, сына Шанталь Дейч, в первом замужестве — Стайнбарг. Который на самом деле — точно не Пешков. Как ему досталась эта фамилия — неизвестно, нам остается лишь помнить, что случайного в этом романе ничего нет. Досталась она ему в детдоме, с которым его, четырехлетнего, забрав от матери, вывезли в эвакуацию перед самой войной, в июне 1941 года. Отдельный вопрос — он ли это был; кто на самом деле вырос под его именем — и кто умер от токсической диспепсии в оккупированной немцами Бессарабии, в трудовом лагере, где Шанталь, депортированная из захваченного Оргеева, работала на перелопачивании зерна... И этот вопрос, кстати, так и останется без ответа. И не он один.

Подхватывая оборванную было нить рассуждения: терминоподобие «роман взросления» кажется мне во всех этих случаях более предпочтительным, чем «роман воспитания», — строго говоря, никакого воспитания, выхода личности из хаотичного состояния в более, так сказать, космичное, ни в одном из случаев не происходит. Они просто переходят из возраста в возраст. В этих историях нет ничего «поучительного» (это точно не упрек автору, но констатация факта). По крайней мере, главный герой (так и хочется сказать, лирический) одной из сквозных линий «Частного бессмертия», Виктор Пешков, взрослеющий на протяжении всего романа, — дольше, чем кто бы то ни было здесь, — проживающий примерно десять лет своего биографического времени — от 10—11 лет до окончания института, ни в какую внятно артикулированную модель социального существования, строго говоря, за все это время не врастает, никакой отчетливой системы ценностей, которая превосходила бы его, не усваивает, никаких несовершенных состояний в пользу более совершенных и зрелых не преодолевает, — а ведь роман воспитания обыкновенно именно об этом. Витя Пешков просто растет, проходя при этом совершенно типичные, если не сказать банальные, стадии взросления с их типовыми сюжетами (спойлер к некоторому очень важному открытию он все-таки приходит, и в его открытии — еще один ключ к общему смыслу этого изобильного текста). И автор, кстати, довольно убедительно в целом воссоздает изменения, по мере взросления, его внутренней речи и выраженного в ней

мировосприятия. Впрочем, о внутренней речи героев, на которой тут все во многом построено, у нас еще будет случай поговорить подробнее.

Тем более что мы еще не исчерпали список разновидностей романа, черты которых вместило в себя «Частное бессмертие». Следует добавить — намеченный здесь, впрочем, лишь в самом зачатке, рамочно, но эта цепкая рамка все удерживает — роман детективный, в своем роде авантюрный. Это роман о судьбах еще одного романа, по идее, утраченного, из которого мы, впрочем, не прочитаем тут ни строчки. Узнаем только его название: «В детстве, то есть прошлой осенью...» — да еще то, что он — о судьбах бессарабских евреев в 1930—1940-х годах. Написанный в Советском Союзе, роман был передан на Запад, произвел там огромное впечатление (вызвав тем самым страшный скандал в отечестве автора) и был выдвинут на множество престижных международных премий.

«Протокол обсуждения рукописи нового романа» в Отделе культуры ЦК КПМ» описывает его содержание так:

1. О румынско-бессарабских “перебежчиках” в СССР (1935—1937 гг.).

2. О вынужденной подделке румынско-бессарабскими перебежчиками своих документов.

3. О воровстве и личной наживе сотрудников НКВД при проведении национализации частного имущества в МССР (июнь 1940 г.)

4. ...

5. ...

6. ...

7. ... О тяжелом моральном климате и признаках морального разложения среди партизан Одессы, скрывавшихся в Нерубайскизх катакомбах (1942 г.)

...

27. О насильственной репатриации в СССР бывших советских граждан на территории Румынии в 1945—1947 гг.

(Забегая если не вперед, то в сторону, стоит добавить, что обо всем упомянутом Клетинич, за невозможностью прочитать это в канувшей на Запад рукописи, так или иначе рассказал — хотя бы упомянул — и сам.)

Да, самое-то главное: написал этот роман — предположительно — дед Виктора Пешкова по матери, Петр Ильин (он же Вениамин Шор. Да, тоже из Оргеева), бывший всю жизнь известным как глубочайше советский писатель-конформист. Или не он. Для родных Шора-Ильина, разумеется, жизненно важно, чтобы не он. Авторство, проблематизированное на первой же странице романа в качестве пролога и задающее повествованию напряжение до самого конца, так и остается проблематичным. То есть к некоторому соглашению о нем заинтересованные лица в критическую минуту приходят, но ясно же, что это соглашение условно — потому именно, что в критическую минуту и что лица — очень уж заинтересованные.

(Для глубокого смысла романа Клетинича опять же совершенно неважно, что здесь автор прозрачным образом скрестил две очень различно устроенные — до чуждости друг другу — истории: Шолохова и Пастернака. — Для смыслов, менее глубоких, конечно, важно.)

Вообще-то есть сильный соблазн сказать, что своим историософским замыслом роман интересен прежде (и уж не более ли?) всего. Но торопиться не стоит (что медленно писалось — то и читать следует медленно), это, конечно, в известной мере было бы огрублением, — да и неспроста романное, беллетристическое «мясо» здесь уже самим своим объемом многократно перевешивает костяк идеи. Тут вообще многое зависит оттого, с какими запросами читать, что вычитывать. Текст отзовется на разные запросы, он выдерживает прочтение в разных модусах (скажу ужасное: не заметят его историософической внутренней косточки — тоже, на самом деле, ничего страшного. Будем считать, что она — для гурманов).

Его можно читать и как те самые любовные романы, и как описание — изнутри, со знанием дела — быта и нравов, отношений, условностей, ежедневных забот — словом, частной жизни — идущей внутри большой истории, но обращающей на нее минимум внимания — и попадающей, в слепоте своей, под ее колеса, и гибнущей под ними. Тут описываются прежде всего два (нет, все-таки три; ладно, пусть четыре) ее пласта. Кишинёв семидесятых, чуть-чуть Москвы ранних восьмидесятых (можно читать как воспоминания! — вряд ли сильно ошибешься), есть еще немного Ленинграда блокадных лет и начала 1950-х — и самое главное, самое захватывающее, потому что очень мало, если вообще, осмысленное в нашей литературе: бессарабская провинция предвоенных лет, с начала тридцатых до присоединения Бессарабии к СССР 28 июня 1940 года, когда новая власть стала наводить там свои порядки, и дальше, вплоть до начала войны. Тот самый Оргеев. Жизнь бессарабских евреев в их румынском окружении — тех самых, о которых написал свой таинственный роман Ильин-Шор (или не он). Их многоязычие, их человеческие типы, представления о жизни, повседневные практики, исторические судьбы. Кажется, «Частное бессмертие» — первый большой опыт серьезной художественной рефлексии на эту тему на русском языке. Не будь в книге ничего, кроме этого оргеевского пласта, — все равно было бы интересно.

Но автор поступил сложнее: с помощью этого он выговорил вещи, работающие, вообще говоря, на любом материале. Просто этот материал ему более всего известен и сильнее всего затрагивает лично. Можно спорить о степени автобиографичности одного из главных героев, Вити Пешкова (что она в принципе есть, Клетинич подсказывает и сам, делая героя своим ровесником, поселяя его в городе своего детства, отправляя его учиться во ВГИК, в котором — как сообщается в кратком его жизнеописании на обложке — учился и он...); о том, о своей или не о своей семье рассказывает автор (строго говоря, ведь и это ничего не меняет). Но во всяком случае, без личной уязвленности глубокого не увидишь.

И тут самое время сказать о других жанровых моделях «Частного бессмертия», которые Клетинич активно прививает к основному, романному стволу, и все они взаимодействуют с ним, питают его собой, обмениваются с ним элементами — и видоизменяются под его влиянием. В один из них — «Протокол обсуждения рукописи» — мы уже заглядывали; такого тут много.

Все это — разновидности документов: как «человеческих документов», прежде всего дневников (а также: писем, черновых записей, конспектов, записи шахматных партий и их результатов...), так и документов гораздо менее человеческих (справки, стенограммы заседаний, цитаты из уголовного кодекса...), а то и таких, которые хочется отнести к совсем нечеловеческим: акты приема конфискуемого имущества и его описи, протоколы допросов, донесения — «рапорты» — стукачей, записи подслушанных ими телефонных разговоров...). Если справки, протоколы чего бы то ни было и рапорты стукачей сохраняют свой неизменный, нерастворимый вид, то с дневниками — из поэтики и стилистики которых тут берется очень многое — существенно сложнее.

Обмануться легко — даже в открывающей книгу аннотации сказано, что роман написан «в форме дневниковых записей». Очень похоже, даже даты расставлены. О Вите Пешкове, глазами которого тут многое показано, прямо говорится — да еще его же словами, что он, по совету отчима, каждый день записывает в тетрадку события своей жизни — «хронограф». Как будто воспроизведена, да убедительно, внутренняя речь дневникописцев со всеми возрастными и культурными особенностями (в этом Клетинич очень напоминает Михаила Шишкина, делавшего нечто сопоставимое и даже бравшего в свой текст реальные документы без изменений):

«...я с отличием окончила 7 классов, — пишет Шанталь, — и была принята в гимназию m-me Angel,

— 2 раза в неделю гимнастировала в башне "Маккаби" на 3-м этаже (обруч и лента). Полгорода мечтало побывать на 3-м этаже и забегало передо мной на дорожки,

— мне исполнилось 16 и — ура! — я теперь считалась "молодежь". А если ты считаешься "молодежь", то — гуляй себе где хочешь!»

А вот сорок лет спустя ее почти одиннадцатилетний внук Витя — «пока только в уме, но скоро — и на бумаге»:

«И тогда он спрашивает — а сколько пацанов у тебя во дворе?

Я признался, что всего двое: я и еще один малый из 2-го класса, правда. здоровый.

А у них наберется на три команды, похвастал Хас».

Веришь немедленно. Но вскоре возникают слова, фрагменты речи, заставляющие насторожиться.

Витя: «Беспорядочный *людоворот* повлек нас вдоль Кремля центрального рынка... Фигурки в гетрах носились по *росчисти*, утоптанной до стука». (Выделено мной. — *О.Б.*)

Слова явно не из его лексикона, вообще неведомо из чьего лексикона.

Или простодушная Шанталь вдруг начинает изъясняться так, будто из нее заговорил кто-то другой — куда более тонкий, сложный, искушенный, — так, что обжечься можно: «...мне нравится его бег, такой свистящий, легкий, будто мы родились только сегодня утром <...>

Слепое лицо ее едва выгребало из темноты.

Но с самых донцев старого ее лица, обращенная на ешку, завивалась мышца взгляда такой оголенной силы, что я испугалась».

Навораживавший до тех пор читателю реальность, автор резко разбивает морок.

Так не говорят. Так не могли говорить ни в Кишиневе 1970-х (особенно в 10 лет), ни тем более в Оргееве 1930-х (особенно не слишком изощренные гимназистки). Так говорит единственный человек: автор. Критики (например, Борис Кутенков) не раз обращали внимание на необычно яркий язык Клетинича (местами, заметим, нарочито, избыточно, нефункционально, самоценно яркий. У него есть интересные находки, есть и чрезмерности). Но дело не в красотах стиля вообще: этими самоизобретенными словами-сигналами он маркирует свое присутствие. Всеприсутствие, всевидение.

Этот текст и в дневниковых, и в *не*дневниковых его частях написан в особенной оптике: внутренней речью героев (которая может быть и диалогичной, как у Алексея Лебедева, двоящегося иногда внутри себя на Лебедева-1 и Лебедева-2), но не вполне собственной их речью — или даже не их речью вовсе (убедительная стилизация здесь, легко заметить, — лишь на отдельных участках). Это — памятуя о кинематографическом образовании автора, перенимая соответствующую терминологию — *субъективная камера*. И управляет ею, и снимает ею сам автор — и не скрывает этого, и подчеркивает это: он переселяется в каждого из героев, не переставая быть собой, от собственного лица проживая все их времена, осуществляя таким образом *свое частное бессмертие*.

(Кстати, заметит ли внимательный читатель, что название таинственного романа со спорным авторством — «В детстве, то есть прошлой осенью...» — почти совпадает с первыми словами якобы-дневника юной Шанталь Дейч? — «В детстве, то есть еще прошлой осенью, я не могла дождаться Ужасных Дней: папиного лесного меда, игр в салки-догонялки на балконе синагоги, ночлега в шалаше...». Уж не переселяет ли он своих персонажей — добавляя и им *частного бессмертия* — еще и друг в друга?)

И не счесть ли признаком бессмертия, пусть косвенным, принципиальную разомкнутость этой романной структуры? Ведь многие сюжетные линии здесь оборваны, многие тщательно прописанные характеры резко и навсегда пропадают из вида, а некоторые важнейшие вопросы так и остаются без ответов. Ушел ли Иосиф Стайнбарг, умиравший от рака (Шанталь сама это видела!), на самом деле перед советским захватом Бессарабии с румынами на Запад? Кто лежит в могиле под его именем? Кто таков Лёва Пешков, что за мальчик умер вместо него в трудовом лагере (и его мать, Шанталь, сама это признала!), чей он был сын, существует ли он на самом деле?

Почему убедительные воспоминания героев так настойчиво расходятся с тем, что упорно выдает себя за факты?.. Что вообще такое реальность?

И наконец, об историософской идее, ради которой, как можно подозревать, это во многом и написано. Она вот какова: большие исторические силы (масштаба, например, мировых войн) приводит в движение каждый. Буквально каждый — своей как бы маленькой и как бы частной жизнью; неважно, понимает он это сам или нет, и даже тем вернее, когда не понимает. Потянув за тоненькую ниточку, можно вызвать лавину. Так Лебедев, случайно взявшись делать интервью с Корчняком, по неведению заставил его, простодушного, наговорить такого, что тому пришлось бежать на Запад, и это привело к такому международному напряжению, что мир чуть не сорвался в Третью мировую. Так еврейский святой Идл-Замвл совершенно всерьез говорит Шанталь, что Вторая мировая началась из-за нее — из-за ее нелюбви и измен. «Откуда, — восклицает потрясенная Шанталь, — Гитлеру известно о моем существовании?!» — «Адам, — отвечает Идл-Замвл, цитируя Вавилонский Талмуд, — был создан в единственном числе. И поэтому каждый из нас должен сказать себе: Ради тебя был создан мир!»

Так, как Оргеев, мировую историю держит каждое место, откуда расходятся линии человеческих связей. И наше тоже.

И да, конечно, все связано со всем. Каждый — с каждым. Нет безразличного, незначащего. Это тут так очевидно, что даже трюизм.

Можно поразмышлять, между прочим, и над тем, случайно ли оба героя, достойные статуса главных, Пешков и Корчняк, — Викторы и более того, даже Викторы Львовичи. Кроме этого, они не сходны решительно ни в единой черте, но это текстовое пространство настолько насыщено, даже перенасыщено, тонкими связями и закономерностями, что можно быть уверенными: это неслучайно никоим образом. Но внятных указаний на значение этого автор в наши руки не вкладывает. Впрочем, это не единственная загадка, которую Клетинич оставляет принципиально не разрешенной. Иногда он дает некоторые намеки на их возможное разрешение, иногда же — устраняется, предоставляя читателю самому разбираться со своими неведением и растерянностью. Впрочем... разве жизнь делает не то же самое?

Summary

Stepan GAVRILOV. Born agile

"Normally I used to tell her: after you disconnect put on the song called *Born Sleepy* by the London electronic band Underworld and listen carefully. At the minute seven when Karl Hyde's vocal dies down and the world's wildest techno begins I ring your doorbell. So I was saying while putting my mobile phone into my pocket". Modern time's hippies from the Urals (the characters of Stepan Gavrilov's long short story) love and suffer, bouncing back and forth between duty and conscience. And finally they discover their calling.

Poetry

Vladimir SALIMON's soft-spoken lyrical poetry is about our everyday life, about the love for nature, for Moscow and moscovites. Marina KUDIMOVA's powerful verses are of acutely societal, even topical nature, resonating with today readers' aspirations. The poetical collection by Elena LAPSHINA is dedicated to the mystery of Creation and the "All-hearing Ear Shell". Anna MARKINA reflects in her poems on the Poet's role and the meaning of his curing word.

Pavel KRUSANOV. A Discreet Journey through the Costa, the Selva and the Sierra

"Only boys were being born into this tribe for the yaxes' wives are the Forest Maidens that grow like flowers in the inviolate thickets on jialo trees, and the roots of there trees go as deep as the underside of the world" A group of friends from St' Petersburg are spending their vacation in Peru where they make the above-mentioned "discreet journey through the Costa, the Selva and the Sierra" while Nabokov, Gumilev, Pilnyak and other greats are peering over the author's shoulder It results in a form of the eternal conflict of Fantasy and Reality.

Lev ANNINSKIY — Igor DEDKOV. Some correspondence from 1973 to 1987

"I don't really feel bitter about this return of a "year-1956-type-Renaissance", I feel scared. Just think of this not hearing a single *new* word from anyone. They still tend to call for us, the old folk to mumble right away our words that *used to be new* long ago. Can you explain what they are doing to us, what we are doing and what we actually are in the present situation? How can freedom be *declared*, anyway?!"

Breaking the Hierarchies. Bloggers Come Into Real World

In the beginning of every new year DN according to its tradition summarizes the literary results of the past one. In this issue you will find reviews of new trends, new books by the authors from all over the former Soviet Union and most fruitful discussions and will see the situation through the eyes of writers, critics and literature bloggers Yevgenij ABDULLAEV, Irina BOGATIRYOVA, Olga BREININGER, Sergey LEBEDENKO, Ilya ODEGOV, Alexey POLYARINOV, Valeria PUSTOVAYA and Alexey SALOMATIN.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Дружба народов»

можно выписывать с любого месяца во всех отделениях Почты России.

Подписной индекс в каталоге «ГАЗЕТЫ. ЖУРНАЛЫ» — **70250**

Подписной индекс в зеленом каталоге «ПРЕССА РОССИИ» — **91826**

Электронную версию «ДН» можно купить на **http://дружбанародов.com**

Журнал продается в московских магазинах:

«Фаланстер» (Малый Гнездниковский пер., 12/27)

«Русский путь» (Нижняя Радищевская ул., 2. (Дом русского зарубежья)

Также журнал можно приобрести через интернет-магазин **Лабиринт.ру**

в любом городе страны.

Верстка: Елена ЖИРНОВА

Дизайн обложки: Степан ЛУКЬЯНОВ

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ
И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ
И ФОНДА «РУССКИЙ МИР»

Цена свободная

Индекс 70250

2/2020

Читайте:

Анаит Сагоян
Роман «Мосты горят»:

«— Кстати, о смерти, — Сандрик постарался остыть, набираясь терпения: — Я как-то бегал по двору. Лет шесть было мне, наверно. Слышу — курица из гаража хрипло горло себе надрывает. Там мужики возятся, держат её со всех сторон, а она, как человек, помощи просит, вырывается, во всю горланит. Деревенские бы давно управились, а эти суетятся. Я заглянул из-за ворот, а они перетянули тонкую ее шейку через бревно, один топором замахнулся и как закатил по бревну! Аж топор в дереве застрял. Кровь куриная по мужикам брызнула, они опешили, руки отпустили. А курица с бревна соскочила и понеслась вон из гаража, прямо по моим ступням. Я закричал, разревелся. Помню, как сейчас, через широкие отверстия своих босоножек тепло её лапок. Девятиэтажку нашу панельную обежала и вернулась назад, а остановиться и не думает. Да и думать ей теперь нечем — голова-то в гараже валяется!..»

Алина Гатина
Повесть «Душа и пустыня»:

«Видами из окна мы восторгались, как дети, а потом кончился асфальт, началась щебёнка, сломалась машина, полтора часа мы спускались к озеру, заселялись в коттеджи, и трупами, без малейшего восторга, лежали на цветастых затёртых одеялах, а потом, когда выбрались к озеру и увидели бирюзовую гладь, утонувшую в разноцветных холмах, а за ними — высокие синие горы, стояли как оглушенные, и всё молчали, потому что никто не хотел говорить первым, чтобы не портить восторга звуками обыденных реплик. Но солнце уходило быстро, и вода из бирюзовой превращалась в зелёную, потом в синюю, потом в чёрную, и становилось темно, и очень быстро проходил восторг, как очень быстро проходит голод, когда набрасываешься на еду сразу и без разбору сметая всё....»

ISSN 0012-6756

Дружба народов • 2020 • №1 • 1—272